

№179589

ОКТАБРЬ

1944г.

№№.3-4.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

В Крыму

Земля тапталась по русской речи,
Два года жила в огне и в дыму.
Братья, все вышло перекалечив,
Учили себя всему своему.

Но суд начнется правый ли скорый.
Мы закрепились на берегу,
И башки мои, как засияли горы,
Своей во рвухах и понесся гул!..

И рвуха моя — шипит под ногами,
Земля моя — в беспыльные бьет,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами,
И ветер мой — еще за холмами.

— Москва! — кричу.

Повторяют:

— Москва!

Не слышали, верно, ни разу и деды,
Чтоб горы так ликовали здесь.
Для нас это эхо — голос победы,
Для немцев — о мести, о смерти весть...

Вот здесь, когда мы еще отходили,
Был домик, —
Теперь даже пепла нет;
Во рву мы рубились,
Там воду пили, —
Не наш ли в кустах сохранился след?

Земля моя, —
В гальках, в зеленых росах,
Расправь свои плечи,
Живи, цветы!
Ты — наша. Мы снова с тобой — матросы,
Мы не могли назад не прийти.

Ты — русская!
Русь за тебя стояла.
Наш пот в любой твоей борозде.
Пусть скажут столетья:
Когда бывало,
Чтоб русский своих покидал в беде?!

Уже из пещер, из ущелий и гротов
Выходит на солнце родной народ.
— Вперед! —
Кричат моряки и пехота.
И горы, как гром, грохочут:
— Вперед!

Черноморский флот

Сестра нашей славы — весна

Стремятся ручьи по яруге
На вольный простор целины.
Еще не знавали на юге
Такой беспокойной весны.

Железо горит, как солома.
До неба — разрывов грома.
Такого весеннего грома
Не слышала степь никогда.

Секут по буграм и камням
Горячие струи свинца.
Весна боевым петершенем
Утроила силу бойца.

Размытых дорог непролазь
Нехота напором берет.
Тяжелые танки над грязью
Рыча шкелетают вперед.

Где в паводок плавают каты
На малых степных островках,
По черным трясинам солдаты
Орудья несут на руках.

Разбужен стогушечным гулом
Днепропетровский лазурный лиман
Огнем батарей за Ингулом
Разорван весенний туман.

Струною, наляпнутой туго,
Звенят ветерки на юру,
От берега Южного Буга
Зовут и торчат к Днестру.

В зеленом карпатском громаде,
Солдатской присяге верна,
Идет с нехотищами рядом
Сестра нашей славы — весна.

Рассказ гвардейца

То было в сорок первом, под Москвой.
На нас валом валела вражья сила.
Крепчала стужа. Пылью снеговой
Метель траншеи напы заносила.
И танков лязг, и пушек гром не молк,
От бомб земля дрожала, как живая.
Приметно таял наш гвардейский полк,
По семь атак за сутки отбивая.
А немец жал... Из мглы, из-за леса,
Во всей красе своих высоких башен,
До слез, до боли каждому близка,
Вставала белокаменная наша.
И мы держались...
Как-то в поздний час,
Когда у речки окопалась рота,
Я, не смыкавший трое суток глаз,
В траншее задремал у пулемета.
Мне в эту ночь такой приснился сон:
Клубится снег и дует ветер резкий,
И я, метельной пылью занесен,
Лежу за пулеметом, в перелеске.
Свозь белый лилей веток мне видны
Шлагбаум, насыпь, будка нежилая.
И двое, с той, с московской стороны

Идут ко мне, следов не оставляя.
Идут рядом бок о бок, над пургой,
Вдоль проволоки, мимо старой ели,
Один в пальто и кепке, а другой
В красноармейской шапке и шинели.
Замлело сердце. Бьется вперебой.
И мне глаза слепит пурга седая.
Они остановились. Меж собой
Про нас и немцев тихо рассуждая,
Взглянув туда, где бомбой снег разрыт,
Где вьюга вьется вдоль лесных прогалин.
Ильич совсем негромко говорит:
— Готовы ли полки, товарищ Сталин?
Пришло ль время отдавать приказ?
Все ль западни расставлены для зверя?
Со всех сторон весь мир глядит на нас
И трепещет, и веря, и не веря... —
И Сталин смотрит Ленину в глаза
И отвечает: — В нас твоя порода.
Железным вихрем страшная гроза
Прошла по сердцу нашего народа.
Расправил плечи богатырь-народ,
В огне боев созрел для дела чести.
Земля гудит, земля зовет вперед

И не уйти врагам от грозной мести.
Немецким псам запомнятся навек
Воронки эти, и руины эти...
Вот тут, в окопе, русский человек,
Пусть он будет третьим на совете.
Он трижды кровью присягнул стране,
Нокинул для нее семью и хату...—
И Сталин нагибается ко мне,
Гвардейскому пехотному солдату.
— Скажи, товарищ, мне и Ильичу:
Пришло время? Будет шемец сватен?—
Я забываю холод. Я кричу:

— Пора их гнать! Пора, товарищ
Сталин! —

И просыпаюсь...
В этот самый раз
Взгремели залпы над передним краем.
И по цепи передают приказ:
«Пришла подмога. Утром наступаем!»

С востока рдела дымная заря,
А запад мглою чернея предисподней...
Сон этот был шестого декабря,
Над занесенной снегом речкой Сходней

За Днепром

Войны имеют концы и начала...
Снова мы здесь, на великой реке.
Села в разоре. Земля одичала,
Серые мыши шуршат в сорняке.

В битвах пропитаны наши шинели
Запахом крови и дымом костра.
В зной наши души не раз леднели,
В стужу сердца обжигала жара.

Шли мы в атаку по острым камням.
Зарева нас вырывали из тьмы.

Впору поднять десяти поколениям
Тяжесть, которую подняли мы.

Ветер гуляет по киевским кручам,
И по дорогам, размытым дождем,
Наперекор нависающим тучам,
Мы за весной и за солнцем идем.

Только бы буря возмездья крепчала,
Гневом сильнее обжигала сердца...
В красном дыму затерялись начала.
Трубам победы греметь у конца.

Современник

Далеких внуков племени,
Свое земное счастье строя,
Не позабугут имена
Познавших бой и радость боя.

В сиянии славы боевой
Перед грядущим встанут рядом
Тот, кто сражался под Москвой,
Кто выстоял под Сталинградом.

Пред кем в сраженьи под Орлом
Была бессильна сталь литая,

Кто шел на запад напролом,
Отвагой армии сметаая.

Из уст в уста, из века в век
Пройдет молва, как т светлой цели
Шел непреклонный человек
В солдатской каске и шинели.

Сражаясь до последних сил,
В свою святую правду веря,
Он в трудной битве поразил
Всею миром проклятого зверя.

Застольная песня

Землянка тесна и темна.
За дверью землянки — война,
А ночь, как глухая стена.
Налейте в стаканы вина
И выпьем до дна
За нашу солдатскую службу,
За нашу окопную дружбу,
За братскую нашу беседу,
За нашу победу!

Семья боевая дружна.
Солдатская служба честна
И верностью дружбы сильна.
Налейте в стаканы вина
И выпьем до дна
За нашу солдатскую службу,
За нашу окопную дружбу,
За братскую нашу беседу,
За нашу победу!

Чтоб стужу сменила весна,
Чтоб вольно вздохнула страна,
Чтоб встретила мужа жена —
Налейте в стаканы вина
И выпьем до дна
За нашу солдатскую службу,
За нашу окопную дружбу,
За братскую нашу беседу,
За нашу победу!

Историей станет война,
Но дружбе, во все времена,
Семья наша будет верна.
Всегда по стакану вина
Мы выпьем до дна
За нашу солдатскую службу,
За нашу окопную дружбу,
За братскую нашу беседу,
За нашу победу!

Вице-адмирал Нахимов

П о в е с т ь

Глава первая

1

Шлюпки с младшими офицерами эскадры вице-адмирала Нахимова одна за другой подходили к флагманскому кораблю «Императрица Марья».

После сильного шторма, немилосердно трепавшего перед тем двое суток суда, заштилело, и даже зыбь успела улечься настолько, что шлюпки без особых усилий приставали к трапу корабля.

Мичманы настроены были празднично, собираясь по трапу на палубу. Еще бы!.. Во-первых, Павел Степанович не зря же вызвал их перед самым обедом: он, конечно, оставит их у себя обедать, и тут-то они разузнают как следует все новости, чтобы было с чем вернуться, кроме официальной переписки; во-вторых, они уже около месяца не сходили никуда каждый со своего судна и не видались с товарищами из других экипажей; в-третьих, наконец, подымало их настроение и то, что через них будут переданы командирам судов какие-то важные приказания насчет будущих действий, не говоря уже о конциях с царского манифеста о войне с Турцией.

О том, что война уже объявлена, еще два дня назад извещалось с флагманского корабля сигналом, но штормовая погода мешала общению между судами эскадры.

Весть о войне принес пароходо-фрегат «Бессарабия», пришедший из Севастополя. Всеми предполагалось, разумеется, что вместо этой короткой, но весьма значительной вестью пришел на имя Нахимова обстоятельный приказ начальника штаба русского флота, светлейшего князя Меньшикова, и настала, наконец-то, пора вполне ясных отношений к

турецким военным и купеческим судам, которые бороздили волны Черного моря бок о бок с русскими, но за действиями которых предписывалось только «наблюдать».

И вот, целое лето, с тех пор как прибыл в мае на пароходе «Громоносец» Меншиков из Константинополя после неудачных переговоров с турецкими министрами, только и делали, что «наблюдали».

Для этого от берегов Кавказа и до самого Босфора рассыпаны были небольшими отрядами крупные и мелкие суда. Но вести эту дзорную службу долгое время можно было только при помощи пароходов, которые и во время полного штиля имели способность подходить близко к парусным сторожевым судам и перекачивать на них шлангами пресную воду. Иногда же бочки с пресной водой спускались ими просто в море, а потом уж эти бочки пригоняли на буксире спущенные с судов шлюпки.

Тем же порядком, в бочках, доставлялась и зелень для комадн и солонина, и часто бывало так, что офицерский стол ничем не отличался от стола матросов.

Скучно было. Время заполнялось главным образом учебной стрельбой, но что делалось в мире, об этом в открытом море неоткуда было узнать. Можно было только гадать, догадываться, делать разные смелые предположения до тех пор, пока из Севастополя не приходили другие суда на смену сторожевым и не привозили свежие новости и газеты.

Однако вплоть до поздней осени ни из этих свежих новостей, ни из газет, ни даже во время стоянки в Севастополе, когда чинились суда и запасались провизией и водой, все-таки нельзя было узнать определенно, начнется ли в этом году война, или европейские дипломаты сделают все, чтобы она не возникла.

В октябре, 9/21 числа, Меншиков послал из Севастополя к берегам Анатолии эскадру Нахимова из четырех линейных кораблей, фрегата и брига. В предписании, полученном при этом Нахимовым от светлейшего, говорилось:

«По сведениям из Константинополя между прочим сделалось известным, что турецкое правительство дало наставление своим крейсерам, по миновании сего 9/21 октября, в случае встречи с русскими, и буде они в меньших силах атаковать их. Так как известие это неофициальное и следовательно со стороны нашей не должно быть принято за разрыв, а между тем такое распоряжение турецкого правительства, буде оно справедливо, может подвергнуть наших крейсеров внезапной атаке, то, в предупреждение сего, я предписываю: 1) пароходу «Бессарабия» находиться в вашем отряде; 2) вашему превосходительству распространить свое крейсерство к Анатолийскому берегу, между мысом Керемпе и портом Амастра, так, чтобы быть на пути сообщения между Константинополем и Батумом. Эскадра ваша может подходить на вид берегов, но не должна без повеления высшего начальства или открытия неприязненных действий со стороны турок вступать с ними в дело».

Это предписание заканчивалось тем, что все русские суда, разбросанные в море, должны были стянуться к эскадре Нахимова. Став таким образом во главе больших уже морских сил, Нахимов предупреждал всех командиров судов, какой линии поведения им надо держаться.

«Так как Россия не объявляла войны, то при встрече с турецкими судами первый неприязненный выстрел должен быть со стороны их; те же турецкие суда, которые на это решатся, должны быть уничтожены. Я убежден, что в случае разрыва между Россией и Турцией, каждый из нас исполнит свое дело».

Все флотские офицеры отметили тогда тон обращения Нахимова к командирам судов. Вице-адмирал не парил где-то в малодоступной выси и не гремел оттуда жесткими словами приказа: он не отделил себя ни от командиров, ни от экипажей своих судов; «был убежден» во всех точно так же, как и в себе. Он оставался верен себе и теперь, когда наступали грозные дни испытаний. Другим никто и не представлял себе Нахимова, иначе за что бы так любили его не офицеры только, но и матросы, называвшие его «отцом»?

Октябрь, как обычно на Черном море, был очень бурный, часто дул порд-ост большой силы, качавший огромные корабли, как ры-

бачьи лодки. Между тем эскадра Нахимова держалась, как и было ей предписано, в виду анатолийских берегов; вся широта Черного моря лежала перед ней, отделяя ее от родной бухты.

Ветер бушевал кругом по несколько суток подряд: лили дожди; замороженные паруса рвались, леденели палубы, так что на них невозможно было держаться при сильнейшем крене судов; иногда свирепые смерчи крутились и двигались по морю с большой быстротой, матросы и офицеры выбивались из сил, борясь не с врагами России, а только с разгулявшимися стихиями...

Но в конце октября впервые прозвучало и слово «враги». Из Севастополя пришел корвет «Калипсо» и привез от Меншикова весть, что враждебные действия на Дунае со стороны турок начались: из турецкой крепости Исакчи обстреляли продвигавшуюся вниз по Дунаю небольшую флотилию мелких русских судов, причем был убит командовавший этой флотилией, капитан 2-го ранга Варпаховский, а вслед за тем турки перешли на правый берег Дуная и заняли селение Калафат, «так что следует считать, что война не только объявлена турками, но уже идет. Поэтому и русской эскадре вменяется в обязанность задерживать турецкие военные суда, если она не будет оказывать сопротивления; если же будут сопротивляться и вступать в бой,— уничтожать их».

Однако, что касалось купеческих судов, то их приказано было пока не трогать и ждать особого распоряжения на этот счет. Неопределенность положения все-таки, значит, оставалась; она должна была замениться ясностью только теперь, с получением манифеста из Петербурга; кстати, точно парочью для этой именно цели, выдался ясный, тихий и очень теплый день.

2

В приказах Нахимова действительно была полная ясность, тем более что они не носили названия «секретных» или «тайных» и даже совсем не были похожи на приказания.

«Отец» матросов и младших офицеров остался самим собою,— у него был свой стиль. Бумажки, выданные в штабе флагмана мичманам, были такого содержания:

«Не имея возможности за крепким ветром и большим волнением передать на суда вверенного мне отряда копии с манифеста объявления войны Турцией, я передаю их теперь и предлагаю гг. командирам приказать священ-

якам прочитать их при собрании всей команды.

«Имею известие, что турецкий флот вышел в море с намерением занять принадлежащий нам порт Сухум-Кале, и что для отыскания неприятельского флота отправлен из Севастополя с шестью кораблями генерал-адъютант Корнилов. Неприятель не иначе может исполнить свое намерение, как пройдя мимо нас или дав нам сражение.

«В первом случае я надеюсь на бдительный надзор гг. командиров и офицеров; во втором,—с божьей помощью и уверенностью в своих офицерах и командах,—я надеюсь с честью принять сражение. Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика.

«Уведомляю гг. командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

«Не «приказываю», а «надеюсь»; не «предписываю», а только «высказываю свою мысль, не распространяясь в наставлениях», и в заключение — «совершенно уверен, что каждый из нас сделает...»

Небо было чистое, голубое; на море почти штиль. Оно не успокоилось совершенно, но зыбь была уже мелкая и сверкала под ярким солнцем, как битое стекло. Высокие гористые берега Анатолии, ничем не отличавшиеся издали от берегов Кавказа, перед тем несколько дней подряд заволоченные то дождем, то туманом, то низко лежащими тучами, теперь имели вымытый, праздничный вид и изумляли богатством и нежностью красок, и совершенно как-то не хотелось верить, что красивые берега эти — враждебные берега.

С корабля «Чесма» командирован был на флагманский корабль мичман Беллиц, с фрегата «Багул» — Забудский, с брига «Изоп» — Палеолог 2-й. Все они, как и другие два мичмана — с кораблей «Храброго» и «Ягудинла», — были народ крепкий, по-молодому энергичный, влюбленный и в море и в Нахимов, как в великого знатока и моряка и морской службы, такого несравненного знатока, похвала которого способна поднять каждого из них до небес.

Даже, пожалуй, мало было сказать о нем «знаток»: шпой знаток мог быть высокомерен, холоден, пренебрежителен к тем, кто не успел еще стать знатоком. Нахимов же был не только знаток, но еще и поэт-моряк.

Для него незнание дела было нелюбовью к делу, а нелюбовь к делу — все равно что

безправственность, преступление; если же он сталкивался с небрежностью, то это в глазах его было не чем иным, как нарушением присяги, — совершенно бесчестным поступком.

«Он был строг ко всяким неисправностям по службе, но все видели, насколько был строг он к самому себе, и все знали, что эта строгость необходима в море, что море не шутит с теми, кто вздумает не в добрый час пошутить с ним..

Биографии Нахимова тогда не было в печати, — он был слишком скромн для того, чтобы иметь биографов, — а в послужной список его попадали только казенные сухие фразы о том, где он проходил службу, когда и какой получил чин или орден. Но от старших моряков к младшим переходили рассказы о Нахимове, и каждый из мичманов, явившихся в этот ноябрьский день на флагманский корабль, их знал.

Так, известно им было, что случилось в Балтийском флоте лет двадцать назад, когда Нахимов был командиром фрегата «Паллада» — образцового фрегата, построенного на верфи в Охте под личным его наблюдением.

Изобилие шхер и вечные туманы делают плавание на Балтике несравненно более трудным делом, чем на Черном море, и вот, в бурную августовскую погоду, притом поздно вечером, шла крейсеровавшая под командой вице-адмирала Беллинсгаузена большая эскадра из семи линейных кораблей, семи фрегатов и нескольких бригов; в числе семи фрегатов была «Паллада». Эскадра шла вблизи Лагерорда, где был маяк, однако маяка не было видно из-за низко сплывавших густых туч, а место это считалось опасным, ввиду подводных камней.

На вахте «Паллады» стоял тогда лейтенант Алферьев, но командир фрегата слишком хорошо изучил Балтийское море, чтобы полагаться только на своего лейтенанта и успокоиться. Он не полагался даже и на командира эскадры, хотя Беллинсгаузен считался весьма опытным моряком, некогда совершившим плавание к Южному полюсу. Он неустанно смотрел в сторону берега, не покажется ли маяк.

И маяк блеснул — раз, два, три, — потом его снова затянуло тучами. Но Нахимов успел все-таки благодаря этим коротким миганиям маяка определить место, на котором находилась эскадра, и, к ужасу своему, убедиться, что она идет прямо на камни.

В это время сменяется лейтенант Алферьев (была уже полночь), и Нахимов с ним вместе еще раз проверяет по карте свой вывод и видит, что вывод верен. Но он всего только капитан 2-го ранга, а вице-адмирал Беллинс-

гаузен — старик очень крутого нрава. Чтобы предотвратить аварию, нужно сделать сигнал: «Эскадра идет к опасности!» Но это будет проступком против дисциплины: штаб-офицер не смеет учить вице-адмирала, что ему делать в море.

Наконец с минуты на минуту можно ожидать, что на адмиральском корабле будет поднят сигнал о перемене курса... Но минуты идут за минутами, никакого сигнала на адмиральском корабле не видно. И Нахимов приказал сделать то, что нужно было сделать: сигнал был дан, и фрегат «Паллада» поворотил в сторону, а за ним, разобрав грозный сигнал, повернула и вся эскадра, кроме корабля «Арсис», который весьма недолго шел прежним курсом и пушечными выстрелами донес адмиралу о своем бедствии, — на нем не разглядели сигнала «Паллады» или не сочли нужным с ним считаться.

«Арсис» сел на камни, дно его было пробито. Чтобы помочь ему сняться, пришлось сбросить в воду все орудия его верхней палубы и срубить мачты. Только через два дня удалось стащить его и на буксире отправить в Або. Оказалось, что еще два корабля могла бы постигнуть участь «Арсиса», если бы Нахимов поколебался дать сигнал и запоздал бы с ним на несколько минут: днища кораблей этих уже скользили по обочинам камней, когда делали поворот на новый курс.

Так спас этот пост-морьяк Балтийскую эскадру. Но года через два после того переведен он был в Черноморский флот, к адмиралу Лазареву, под командой которого сражался на «Азове» в Наваринском бою. На Николаевской верфи строился под наблюдением Нахимова корабль «Силистрия», и сам он был назначен командиром этого корабля.

Новый корабль участвовал в обычном практическом плавании, в котором ничто не грозило аварией в ясный день и на глубокой воде. И все-таки случилась авария: другой корабль, «Адрианополь», выполняя эволюцию вблизи «Силистрии», был так неудачно повернут, что предотвратить столкновение его с «Силистрией» оказалось невозможным.

Нахимов был наверху, на юте, он успел только скомандовать: «С кресла долой!» — чтобы люди при столкновении не попадали в море. Но этой команде матросы и офицеры бросились вниз, в сторону, противоположную той, которая была под ударом «Адрианополя», сам же командир, как стоял на юте, так и остался.

«Адрианополь» шел полным ходом на «Силистрию».

— Павел Степанович! Ради бога, сойдите вниз! — кричал старший офицер «Силистрии»

своему командиру, но Нахимов только поглядел на него и махнул кистью руки.

Настал страшный момент: «Адрианополь» врезался в борт «Силистрии»... Полетел вниз раздавленный двенадцативесельный катер, закачались мачты, рухнула стенга, обломки снастей посыпались около Нахимова, и только благодаря счастливой случайности он отделался небольшим ушибом плеча.

И весь вечер, и всю ночь, и целое утро экипаж «Силистрии» работал, исправляя повреждения, и всеми работами бессмысленно руководил сам Нахимов.

Но вот работы кончены, поднят сигнал: «Повреждения исправил», и старший офицер нашел момент спросить:

— Павел Степанович, скажите мне все-таки, отчего же вы не сошли с юта?

— Как же так, помилуйте-с, отчего не сошел? Что же тут непонятного-с? — удивлялся Нахимов. — Это ведь всего только несчастный случай, а если бы вдруг сражение-с? Что же я и во время сражения должен уходить с юта? Нет-с, на то я и командир, чтобы быть всегда на своем месте и команде подавать пример... С кого же пример будет брать команда, скажите на милость, если командир сбежит от опасности?

Но запанибрата с опасностью был он и в свои молодые годы, задолго до того, как сделался командиром корабля.

В 1824 году, двадцатидвухлетний лейтенант, отправился он в кругосветное плаванье на фрегате «Крейсер», которым командовал Лазарев. Цель плавания этого была — охрана русских колоний в Северной Америке.

Фрегат шел Южным океаном при очень бурной погоде. Его трясало так, что один матрос упал со снастей в воду. Кто тут же бросился спускать шлюпку, чтобы спасти матроса? Лейтенант Нахимов. Шлюпка была спущена с подветренной стороны фрегата, и вот Нахимов огибает судно, чтобы поспеть туда, где еще мелькает в волнах голова борющегося за свою жизнь матроса. Но палатет сильнейший внезапный шквал с ливнем, и шлюпка с Нахимовым уносится, исчезает из глаз, а на фрегате вся команда занята тем, чтобы сберечь судно, — поставить паруса, как это требовалось моментом. Не меньше как полчаса прошло в напряженнейшей работе, а тем временем прояснилось, и вспомнили, наконец, о шлюпке.

И сам Лазарев, и другие офицеры смотрели в зрительные трубы, не покажется ли где, хотя бы клем кверху злополучная шлюпка; смотрели и матросы с марса, смотрели час, два, три... Шлюпки не было. Явно — погибла она вместе с храбрым лейтенантом и шестью

греблями при нем так же, как потопив упавший матрос.

Стало вечереть, темнеть, и Лазарев отдал приказ продолжать плавание. Паруса уже начали наполняться ветром, как вдруг один зоркий унтер-офицер с салинга закричал:

— Вижу катер! Вижу катер!

Фрегат пошел навстречу шлюпке, и Нахимов со своей небольшой командой был спасен. Все были мокры с головы до ног, все успели почти оледенеть, но по крайней мере выхвачены из пасти океана живыми. А волнение было до того сильным, что шлюпку, так героически выдержавшую бурю, разбило о борт фрегата, когда ее поднимали на боканцы.

Радость Лазарева была безмерна: очень любил он и ценил молодого лейтенанта, и в Лаваринском бою Нахимов вполне оправдал эту любовь и доверие со стороны своего командира, когда был под его начальством на корабле «Азов».

Лаваринский бой стал боевым крещением не одного Нахимова: тогда, на «Азове» же, вместе с ним были и мичман Корнилов, теперь вице-адмирал, и гардемарин Истомина, теперешний командир корабля «Париж», капитан 1-го ранга.

«Азову» пришлось сражаться с несколькими турецко-египетскими судами, и от его метких выстрелов взлетел на воздух флагманский корабль египетской эскадры, затонули еще два фрегата и корвет, уничтожен флагманский корабль тунисского адмирала, наконец, сбит на мель и потом заложен восьмидесятипудовый турецкий корабль... И признанным героем дня на «Азове» был тогда Нахимов. Он — молодой еще лейтенант — умел уже, как никто другой, и воспитывать и обучать матросов.

Как и чем? Лишьками, как это было принято во флоте? Нет. Ни с кем из офицеров не чувствовали себя матросы так свободно, как с Нахимовым, ни к кому другому не подходили они запросто поговорить о своих нуждах, и никто другой из офицеров целого флота не был так хорошо известен матросам всех судов, как Нахимов.

И все знали случай, когда Нахимов, будучи командиром «Силистрии», получил замечание от только что переведенного из Балтийского в Черноморский флот вице-адмирала Чистякова за то, что на его корабле оказался один не чисто выбритый матрос.

— Ты почему же не выбрился как следует? — спросил Нахимов матроса, когда адмирал сошел с корабля.

— И ведь хотел же было выбриться сегодня, да, признаться, жена отговорила, — смущенно объяснил виноватый, который был все-

гда на лучшем счету, как старый, опытный баковый матрос.

— Вот видишь ли, друг мой, как бывает: жена твоя говорит тебе одно, адмирал же сорсем другое, — спокойно сказал Нахимов. — Раз начальство требует, чтобы бриться, так ты уж жегу не слушай, а сейчас же ступай и обрейся как следует: не такой это большой труд.

На другом судне, у другого командира, матрос, подведший его под замечание адмирала, был бы нещадно избит лишьками, а Нахимов приказал своим подчиненным, чтобы виновного пикто и пальцем не тронул.

В то суровое время даже и об офицерах так не заботилось начальство, как Нахимов о матросах.

Однажды, уже в адмиральском чине, Нахимов командовал отрядом судов у берегов Кавказа. Став на якорь против небольшого укрепления Субалпи, он отпустил офицеров на берег. Тут узнали они, что в лазарете лежит лейтенант Стройников, офицер корвета «Пилад», заболевший рожей.

Пошли проведать его и нашли его в жалком виде: без денег, без необходимых вещей, под маской из толстой синей бумаги, в солдатском белье. Стройников жаловался, что несколько дней не пил чаю, и просил прислать ему чаю и сахару.

Вернувшись, офицеры доложили об этом Нахимову, — и как же забесновился тот об участии лейтенанта чужого отряда!

— Много ли у нас денег? — спросил Нахимов своего адъютанта, ведавшего расходами, так как сам он никогда не занимался этим.

— Всего-навсего только двести рублей, — ответил адъютант.

— Ну, что же-с, вот и пошлите-ка ему все двести! — приказал Нахимов. — Пошлите также ему белья, чаю-сахару, лимонов, провизии, какая найдется.

— Павел Степанович, и лимонов, и провизии у нас теперь очень мало, — возразил адъютант, — и достать здесь нам этого будет негде.

— Лучше уж мы обойдемся, а больному надо.

И деньги, и чай-сахар, и лимоны, и провизия, и белье были тотчас же отправлены Стройникову, но Нахимов не ограничился этим.

Когда эскадра снялась с якоря и отправилась дальше, он приказал направить свой крейсер «Кагул» на сближение с корветом «Пилад», которому был дан сигнал: «Подойти для переговоров».

«Пилад» подошел, и командир его явился на «Кагул» с рапортом.

Приняв рапорт, спросил Нахимов очень сухо:

— Скажите-с, вы как же это бросили своего большого офицера на берегу, почти что на произвол судьбы-с?

— Развело тогда сильную зыбь, поэтому поторопились отойти от берега,— объяснил командир «Пилада».

— Однако несколько дней уже лежит он там, и вы о нем не вспомнили-с! Как же это так, а?.. Стыдно-с! Срам-с!.. Я—человек холостой, одинокий, и это скорее мне позволительно было бы иметь такое черствое сердце, а не вам—отцу семейства-с! Ведь у вас есть уж на возрасте сыновья-с... Что если бы с одним из ваших сыновей так поступили? Заболел бы он на корабле,—его бы и сбросили на пустой почти берег... Хорошо бы это было, а?.. Прочайте-с, больше я ничего не имею вам сказать!

Но ничего больше не сказав командиру «Пилада», он тут же распорядился перевезти Стройникова для лечения в Севастополь на шкуне из своего отряда.

Все мичманы знали и то, что унтер-офицер, который разглядел шлюпку с Нахимовым в Южном океане и тем спас жизнь ему и шестерым матросам-гребцам, потом получал от Нахимова ежегодную пенсию.

3

Нахимов, конечно, пригласил мичманов к обеду, так как в это время в кают-компании собрались уже все офицеры «Марии», столы были уставлены приборами, вносились дымящиеся суповые кастрюли.

«Мария» была кораблем гораздо более поздней постройки, чем такие ветераны Черноморского флота, как «Ягудина» и «Храбрый», заложенные еще при Павле,—поэтому и кают-компания здесь была и обширней, и светлей, и лучше обставлена.

Теперь, за обедом, как и ожидали мичманы, она была полна возбужденными, взвинченными голосами офицеров, на все лады обсуждавших то, что, наконец, началось,—войну. И хотя война началась с Турцией, но о Турции говорилось за обедом все-таки меньше, чем о ее покровительницах—Англии и Франции.

— В сущности, политическое положение вполне ясное,—говорил командир «Марии», капитан 2-го ранга Барановский—плотный, черноволосый, с несколько рачыми гла-

зами:—Англия прищвартовалась к Франции, а Турцию взяла на буксир.

— Конечно, Турция ни за что бы не начала войны, если бы не этот буксир,—соглашался с ним старший адъютант штаба Нахимова, лейтенант Остренко, тот самый, который ведал всеми личными деньгами адмирала и вообще всем его хозяйством на корабле и на севастопольской квартире.—Ведь это страшно нищая; англичане, разумеется, дадут ей денег, а наши разберут их по своим карманам.

— А как все-таки нищая?—спросил его мичман Белкин.

— Нищая!.. Россия в двадцать раз богаче!

— Флот однако же неплохой...

— Два турецких парохода я видел: хороший ход,—сказал мичман Папютин.—Нашим, пожалуй, не уступят.

— Осторожно сказано!.. Пароходы турецкие лучше наших!

— Есть и лучше, есть и хуже.

— У нас тихоходы,—потому что коммерческие, а у них есть настоящие военные... хотя конечно...

— Что «хотя конечно»?

— Для серьезного боя пароходы все равно не годятся... А вот я читал в какой-то статье, что у Турции семьсот тридцать миллионов дохода... Так как же она нищая?

— Чего семьсот тридцать миллионов?—усмехнулся на этот вопрос Папютина Остренко.—Пиастров? А пиастр—шесть копеек, да и того нет... Переведите-ка на рубли,—сколько будет? Полнейшие пустяки!

— Мусульманское духовенство зато богато,—оно и раньше давало на войну деньги и теперь тоже даст,—замечил Барановский.—У мусульман так: что ни война, то во имя пророка Магомета... Вытаскивай, значит, мулла денежки из сундука да кстасти и зеленое знамя.

— Стало быть, газават?—удивился Белкин.

— Газават, не газават—пока еще так говорить, конечно, не будут; однако до этого скоро они дойдут. Будет у них и благой мят и газават,—погодите!

— Значит, на Дунае уж сражаются? А там у меня брат—подпоручик,—сказал мичман Палеолог, обращаясь к сидевшему рядом с ним флаг-офицеру Нахимова Костыреву, тоже мичману.

— Есть слух о каком-то сражении там... Только будто бы не совсем удачном,—отозвался Костырев, услужливо наливая гостю с брига «Язон» красного вина в стакан.

— Неудачно? — быстро спросил Палеолог, поднял, как мог, высокого брови и вплылся в Костырева встревоженными глазами. — Это где именно?

— Не знаю, где именно, и насколько неудачно, тоже не знаю, — слышал вскользь... А вот Исаакчи, говорят, наши канонерки сожгли Гранатами, — лихо кивнул круглой головой Колтырев.

— Сожгли? Это здорово! А на Кавказе как? Должно быть, и насчет поста святого Николая одно вранье!

— Нет, там уже теперь турки... «Бессарабия» привезла подробности. Дело подлое: турки напали ночью и в больших силах, — а никто там этого не ждал, конечно, — раньше чем объявлена война.

— И действительно все там погбили?

— Все до единого... Весь гарнизон вырезал.

— Весь? Правда, значит?.. А что же наши? И что же мы стоим здесь, а не идем туда?

— Туда идет эскадра адмирала Серебрякова, — успокоил Палеолога Костырев. — И будьте уверены, дадут знать тюркосам, как по ночам людей резать без объявления войны.

— А что с пароходом «Колхида»? Есть подробности?

— «Колхида» сел на мель, попал под ружейный огонь с поста «Николай», не только под пушечный... Потери понес порядочные, и мячи пришлось срубить, — однако же снялся своими средствами и ушел.

— А турки уж к нему на своих кочермах устремились — думали, вот он, приз! Им всыпали по первое число.

— Конечно, один пароход туда же супулся — хотел вернуть пограничный пост! Турки его большими силами заняли и артиллерию туда навезли вдоволь.

— Ничего, Серебряков им задаст пфейферу!

Нахимов сидел в замке большого стола, как всегда, когда он обедал в кают-компании. Около него разместились: капитан-лейтенант Воеводский, его племянник; мичман Фельдгаузен, один из его флаг-офицеров; старший врач «Марии» Земан; судовой священник о. Лука и близко к нему — мичман Варницкий с корабля «Три святителя».

Что скажет Нахимов — вот на что все целиком свое внимание устремил Варницкий, но адмирал в начале обеда держал себя только как хлебосольный хозяин, которому доставляет удовольствие заботиться о гостях кругом; так что и начисто лысый со лба и затылка и с обильной перхотью на черной

рясе о. Лука, и старший лекарь Федор Карлович, не привыкший ни в малейшей степени сомневаться в себе, шумоватый человек с апоплексически короткой и толстой шеей, и даже мичман Фельдгаузен, благообразный, хорошо вышколенный немчик, принимали эту заботливость адмирала как должное, — до того уж успели, видимо, привыкнуть к ней.

Однако очень возбужденные лица и громкие голоса были у обедавших за длинным столом, и вот, подняв голову и присмотревшись ко всем очень необычными, светлоголубыми и как будто прозрачными, неожиданными для вице-адмирала глазами, Нахимов сказал, ни к кому не обращаясь, точно про себя:

— В задор входят!.. Да признаться и есть отчего.

Белокурые, мягкие, короткие волосы, заметно покатый лоб, несколько скуластое художеское лицо, однако не бледное — розовое, отчето выделялись белесые небольшие усы, в которых, правда, не было решительно ничего воинственного, — усы для формы, длинноватый и острый твердый нос и правильно закругленный подбородок, — часто видел таким Нахимова мичман Варницкий, но ему хотелось видеть его преобразившимся, своеобразно с теми переживаниями, которые были не только у мичманов, но и у всех почти за столом кают-компании «Марии».

Вот долетело до адмирала, должно быть, то, что было сказано в середине стола о мусульманском духовенстве, и он обратился к о. Луке.

— Есть известие, батюшка, будто султан на совещании со своими высшими сановниками колебался... колебался, да-с, объявлять ли войну или подождать-с.

— Ну, еще бы не колебаться, — поспешил прожевать кусок курятины и отозваться о. Лука. — Дело не шуточное — война!

— Колебался, да и все министры тоже... Но вдруг вскакивает с места шейх-уль-ислам и кричит: «Да будет сабля султана остра!..» Значит, колебания прочь, объявляй войну России... Ты, султан, вынмай свою саблю, а мы, духовенство, вынем деньги. Шейх-уль-ислам, а? Это ведь поважнее пост у магометан, чем патриарх константинопольский для нас грешных... Мусульманский папа, а? И какой оказался виновный!.. Впрочем, папы всегда бывали воинственны, особенно когда крест воздвигали на полумесяц.

— Но теперь-то уж, Павел Степанович, они, папы то есть, пачагли действовать обратным ходом: полумесяц патравливают на крест! Ведь вот что делают! — и сказав это

так, точно открытие сделал, о. Лука поглядел на Нахимова проникновенно и, выдержав необходимую паузу, потянулся к бутылке лафита.

Однако на слова о. Луки отозвался не адмирал, а лекарь Земан. Он засопел очень массивным, веселого огненного цвета, позреватлым носом, откашлялся звучно и сказал вдруг твердо, точно определил болезнь:

— И папа имеет свое веское основание для того, чтобы так поступать.

— Какое такое основание? — вскинул па него о. Лука вытаращенные глаза, держа уже, впрочем, в широкой белой руке бутылку.

— Основание это есть зависть.

— Зависть, вы сказали? — непонимающе повторил о. Лука.

— Да, вот именно: зависть... Много ли земли имеет папа от своих католиков? Скверное положение имеет папа, как это мы знаем из газет. А между тем этот самый шейх-уль-ислам, он же и шериф, он есть пер-вей-шее лицо в Турции... после самого султана, разумеется! А духовенству мусульманскому принадлежит три четверти всей турецкой земли, — то есть, конечно, не гор и не пустынь, это я хочу сказать, а пахотной... Ну, также и под садами. Называется это — вакуф!

И Земан победоносно посмотрел на о. Луку, но тот отказался признать себя побежденным или хотя бы убежденным.

— Тогда, стало быть, на луну и надо было ему натравить своих католиков, а почему же у него обратный ход? И при чем же тут зависть?

Пришлось Земану объяснять:

— Французы должны, батюшка, пройти у турок курс высших паук, как им надобно относиться и к папе, и к своему духовенству: три четверти всей пахотной земли, а также садовой, — вот! А вы говорите, при чем тут зависть!

И лекарь дружелюбно ткнул большим пальцем о. Луку в локоть и поставил ему под бутылку лафита свой стакан.

— «Да будет сабля султана остра», — как будто про себя повторил, глядя на Фельдгаузена, Нахимов. — Но ведь сабля султана, как и вообще турецкие сабли, очень кривая, вроде серпа... Молодая луна, а? Полумесяц?

— Вполне похожа на полумесяц, — подтвердил, улыбнувшись, Фельдгаузен.

— Страна полумесяца, да... — как будто в первый раз появив это выражение, удивлен-

но поднял негустые брови Нахимов. — И знаете ли, батюшка, — обратился он к о. Луке, — они ведь, турки, во время Наваринского сражения не придумали ничего лучшего, как построить свои суда полумесяцем... Колонна полумесяцем! Так сказать вполне раскрытые объятия для встречи врага — готовый охват с обих флагов! — Вот как-с!

И Нахимов растопырил руки, точно сам хотел удостовериться в точности своего определения. Но так как глядел он на о. Луку вопросительно, тот чел долгом вставить:

— Однако не помогло им это: проштрафился ихний полумесяц!

— Не помогло, нет... Хотя перевес в силах и был на их стороне: у них шестьдесят с лишком судов и больше двух тысяч орудий, у нас и затем-с у французов и англичан — только двадцать шесть судов, а на них тысяча триста орудий... Вот же ведь тогда французы и англичане были наши союзники, а теперь?.. Не так много, кажется, и лет прошло, а как все изменилось в политике!.. Да-с, по политике, конечно, не наше дело-с, — а вот тогда «Азов» очень пострадал от береговых батарей, когда входил в бухту, — так как рога-то полумесяца вон где были — на берегах-с!.. А старинное правило, батюшка, такое: пушка на берегу стоит целого корабля в море, вот как... А два орудия-с?.. Две пушки на берегу острова Корсики, отец Лука, отбились не от кого-нибудь, а от самого знаменитого адмирала Нельсона-с, вот как-с!..

— Ай-ай-ай! — укоризненно, в отношении знаменитого адмирала, покачал головой, блистающей двумя пледами, о. Лука, а Восводский, траспошекий крепныш, известный во флоте тем, что ще задумался броситься с корабля в море за упавшим матросом и спас его, сказал ему, улыбаясь:

— Да ведь и совсем недавно, лет пять назад, случилось нечто подобное, батюшка.

— А-а, это ты говоришь о шлезвиг-голландской береговой батарее! — оживленно подхватил Нахимов. — Да вот он, первый пример паллицы, и очень близкий пример! Два датских судна против четырех всего пушек: липнейный корабль и фрегат... И в результате перестрелки корабль взорвался, а фрегат вынужден был спустить свой флаг!.. Вот как иногда опасна бывает для нашего брата-морьяка пушка на берегу! Это в сорок восьмом году было-с... У береговых батарей есть еще привычка швыряться калеными ядрами в корабли, в результате чего бывают пожары-с, и командам приходится их тушить,

то есть терять дорогое время-с!.. А в Синопе, к примеру говоря, имеется, насколько нам известно, шесть береговых батарей, и не четырех, а шестипорудийных!.. Это уж серьезная защита против целой эскадры-с!..

4

Пароход «Бессарабия», состоявший как бы в ординарцах при отряде Нахимова, имел паруса, почему и назывался парохо-до-фрегатом. Не слишком доверяли тогда парусу: вдруг изменит, и что тогда делать экипажу в море? Привычные паруса казались надеж-ней.

Штиль продолжал держаться и на другой день, после того как Нахимов передал свой приказ командирам судов, так что только «Бессарабия» и могла двигаться вдоль берега, высматривая, не покажется ли где на горизонте та самая турецкая эскадра, которая, по сообщениям из Севастополя, покинув Босфор, направляется к Сухуму.

Где-нибудь идут враги, может быть даже и совсем близко,— в двадцати-тридцати ми-лях,— но ведь глубокая осень, даль то в дождях, то в туманах...

Русские суда разбросаны по морю,— это плап начальника штаба Черноморского флота Корнилова,— но ведь эскадра турок может оказаться гораздо сильнее каждого из неболь-ших отрядов русских судов, и если завяжет-ся бой, то успеет ли другой подобный отряд прийти на помощь атакованному в открытом море? Вернее всего; что нет, если даже и расслышаны будут залпы многочисленных пушек. При слабом ветре будут команды только горестно смотреть в сторону боя и беспокоиться об участи своих.

Пароходов же в Черноморском флоте очень мало,— всего только шесть, те самые, за постройкой которых в Англии следил Корни-лов. Все — колесные, и из них только один «Владимир» четырехсотенный, остальные гораздо слабее. Числятся, правда, еще не-сколько паровых транспортов, но боевого значения они не имеют, и если даже поста-вить на них малокалиберные пушки, иметь не будут.

Команде «Бессарабии» еще за день перед тем пришлось убедиться, насколько уступает она в ходе первому попавшемуся на глаза турецкому пароходу. Приказ Нахимова догнать его и вступить с ним в бой не мог быть исполнен: турок ушел от «Бессарабии», как от стоячей. И это видели с длинных кораб-лей: вместо удачи получились конфуз.

Теперь «Бессарабия» шла под самым бе-регом вблизи мыса Керемпе, укрытая сумер-

ками. Перед тем адмирал требовал ее «под корму» для нового приказа: замечены были с марсов флагманского корабля турецкие одномачтовые баркасы-чектырмы, которые можно было захватить, чтобы от их команд узнать, если удастся, не прошел ли уже к берегам Кавказа отряд босфорских судов, везущий туркам французские пушечеры, ан-глийские орудия, боевые припасы и, на транспортах, турецкий десантный отряд.

Однако подпавшийся попутный ветер помог баркасам уйти далеко, а обложной дождь со-всем скрыл их из глаз. Зато навстречу «Бессарабии», уже ночью, показался турец-кий пароход, вышедший из Сивнопской бухты.

Ночь была лунная. Гребешки небольших волн сверкали. На берегу очень отчетливо видны были и скалы, и гнездившиеся в их расщелинах пинии.

Чтобы придать «Бессарабии» вид мирного парусного судна (а такие суда у Анатолий-ского берега только и могли быть турецки-ми), матросы проворно принялись ставить паруса и закрывать трубу лиселями.

Однако, подходя ближе, турецкий пароход стал сбавлять ход; замечна была нерешительность его капитана. Наконец он, дей-тельно работая колесами, описал пенистый полукруг и пошел обратно.

Вслед ему раздался выстрел с «Бессара-бии». Он должен был остановиться для опро-са, но он повернул к берегу и с него по-спешно спустили шлюпки.

Сделав еще выстрел, подошла «Бессара-бия» почти вплотную. Один лейтенант с нее, несколько понимавший по-турецки, взобрался на пароход, но оказалось, что все его на-чальство бежало на берег, оставалось толь-ко несколько человек матросов. Двух из них лейтенант послал на берег за бежавшими — передать им, что их только опросят и от-пустят вместе с их пароходом; но, конечно, не вернулись и эти двое, хотя ждали их часа три.

Пароход имел имя «Меджире-Геджарет», это было транспортное судно в двести снл. Его взяли на буксир и повели к эскадре, как приз.

Осмотрев его, Нахимов сказал: «Пу, вот-с, у нас, значит, во флоте одним самоварчиком будет больше... Отправь его в Николаев для надобностей порта».

Ему хотелось узнать, не зашла ли в Синопскую бухту эскадра из Босфора, но мат-росы с парохода и оказавшийся между ними шкипер дали согласные показания, что в Синопе только два фрегата и два корвета.

Куда же делась эскадра, которую ждали

русские суда? Может быть, отряду Корнилова посчастливилось встретить ее или хотя бы напасть на ее след? Крейсирова от порта Амастро до мыса Керемпе в виду берегов Анатолии, трудно было угадать, что делалось в отдаленных концах Черного моря.

Глава вторая

I

Трудно было даже и решить, можно ли, не откладывая дела в долгий ящик, напасть на турецкие фрегаты и корветы, укравшиеся в Синопской бухте. С точки зрения здравого смысла — нужно, не только можно; по строгим правилам военной дисциплины — нельзя.

Приказы получались Нахимовым или от начальника штаба Черноморского флота генерал-адъютанта Корнилова, из Николаева, где было управление флотом, или непосредственно от начальника штаба всего русского флота князя Меншикова, из Севастополя; а выполняя ранее полученные приказы, он даже и не мог идти в Синоп, — он должен был нести сторожевую службу в отведенных ему границах — между Амастро и Керемпе.

С другой стороны, Синоп был приморским городом, а Нахимову было известно, что еще в сентябре правительства Англии и Франции взяли под свою защиту территорию Турции: 29 сентября (8 октября) английский адмирал Дундас предупреждал князя Меншикова в Севастополе, что «английский флот будет защищать территорию Турции против всякого покушения русских высадить на нее свои войска, как и против всякого враждебного против нее действия русского флота».

Как можно было уничтожить эти два фрегата и два корвета, не вступая в бой с береговыми батареями Синопа? И как можно было заставить замолчать береговые батареи, расположенные на набережной Синопа, не нанеся при этом большого вреда городу? А нанести вред городу — это значит вызвать на войну Англию и Францию на стороне Турции, что явно не может «содействовать видам» русского правительства.

Когда за несколько дней перед тем, только что узнав о манифесте, Нахимов оповестил об этом суда своей эскадры сигналом, он предложил командирам судов известить свои команды об объявлении войны Турции, что те и сделали. Команды радостно кричали «ура».

Но вот война уже идет, а крылья попреж-

нему связаны, и первый призовой пароход приходится отправлять главным образом затем, чтобы отправить с ним донесение о турецких судах в Синопской бухте и выяснить, можно ли напасть на них там, или непременно ждать их выхода в открытое море.

Нахимов знал, что еще в начале октября Корнилов подавал князю Меншикову докладную записку о необходимости занять десантными отрядами на европейском берегу Турции, в Болгарии, — Сизополь, на азиатском — Синоп, так как и тот и другой одинаково удобны для защиты их с сухого пути небольшими силами, а рейды их могут вместе и укрыть от зимних штормов отряды русских военных судов какой угодно численности. Это позволило бы совершенно прекратить сообщение морем даже турецких берегов со Стамбулом, не только берегов Кавказа.

Может быть, этот проект Корнилова каким-нибудь образом сделался известен турецкому правительству даже раньше, чем Меншикову, что и вызвало выступление адмирала Дундаса, после которого излишне было бы обсуждать проект. Да и сам Корнилов раза два с тех пор предупреждал Нахимова о том, что или соединенная эскадра англо-французов может появиться в Черном море, или одна английская, которая может воспользоваться сильной разбросанностью судов, состоящих под общей командой Нахимова.

«Опять предостерегаю от англичап, — писал он во втором письме. — Вам известно, как они решительны, когда дело идет об истреблении чужих кораблей. Я все опасаясь, что они выскочат из Босфора, чтобы на вас напасть».

Тогда Корнилов сидел в Севастополе, но вот теперь он сам рыщет по морю во главе эскадры пароходов, чтобы открыть, где движется или где отстает неприятель. Откроет ли? И как поступит, если откроет? Может быть, случится так, что нужно будет вести свой отряд ему на помощь... Но не окажется ли это плохо в том смысле, что беспрепятственно уйдут из Синопа стоящие там суда? Лови их потом, в море!

— Вот оно глупейшее положение Бюриданова осла между двух охапок сепал! — раздраженно говорил Нахимов Воеводскому, ложась спать во втором часу ночи.

— Между двух ли? — отозвался Воеводский. — По меньшей мере, кажется, между трех.

— Что, разумеется, еще хуже и еще глупее-с... Это ты о какой третьей охапке говоришь? О князе?

— Нет, я имел в виду не князя, хотя это

само собой, а те три турецких парохода, о которых поступило донесение...

— Да ведь это еще первого числа было донесение, что вышли, идут к Сухуму. О чем ты говоришь? — возразил Нахимов. — Конечно, они уж теперь там, около Сухума... С ними ведаться Серебрякову, кстати, в его отряде тоже есть пароходы... Дрянь на дрянь-с! И разве в этом дело-с?.. Политика петербургская — вот в чем корень всех зол и напастей... Боюсь я за Владимира Алексеича, горяч он очень... Ну, да за ним, я думаю, корабли четвертой дивизии идут следом: если начнется, придут на выстрелы... Что-то завтра нам скажет... Впрочем, скоро уж утро, туши-ка свечи...

Как бы поздно ни ложился спать Нахимов, вставал он, по очень давней привычке, рано — в один час с матросами. Так он встал и в этот день, 5 ноября, э, как всегда, вставши, прежде всего посмотрел на барометр.

Понижения не было. Утро в люк каюты глядело мутное, мгlistое. Стая черных бакланов, вытянувшись в шеренгу и прекрасно держа равнение, летела мимо корабля куда-то кормиться. Это говорило о том, что близко к берегу подошли косяки хамсы. Значит, погода не имела намеренья круто измениться во весь этот день: хамса — рыбка мелкая, нежная, она не любит волны и уходит от нее вглубь.

Но корабли не любят штиля, обрекающего их на бездействие. И Нахимов справился, есть ли ветер. Ему ответили, что ветер зюйд-зюйд-вест, SSW, хотя и не сильный, есть.

Когда он вышел из каюты наверх, ему рапортовали, что в море ничего не замечено, на корабле же, как и на других судах отряда, шла обычная утренняя уборка.

Она закончилась в восемь утра, а около десяти донеслась с северо-запада отдаленная, однако частая, пушечная пальба.

Выстрелы то становились отчетливей, то сливались в сплошной гул. На «Марию» все заволновались.

— Сраженье!

— Вот она, наконец, турецкая эскадра!

— Вся ли эскадра? Пальба не так сильна что-то...

— Кто на нее паткнулся? Новосильский?

— Эх, сколько времени мы тут торчали, и нам вот не повезло!

— О нас-то давно уж известно туркам, — они поэтому другим курсом и шли, чтобы с нами не встретиться...

Матросы на всех судах высыпали наверх, от их бушлатов зачернели верхние палубы. Ждали сигнала, какой будет поднят на адмиральском корабле, так как ветер унал.

Сигналом были вызваны пароходы «Бессарабия» и призовой, который не успел еще уйти в Николаев. «Бессарабия» приказано было Нахимовым взять на буксир «Марию», призовому — «Чесму» и двигаться по направлению выстрелов.

Слабые машины обоих пароходов пыхтели вполне добросовестно, но двигались и двигали тяжелые корабли так медленно, что Нахимов не раз, теряя терпение, ворчал: «Вот проклятые самовары!»

Впрочем, спешить с помощью было совершенно незачем: к часу дня, когда «Мария» и «Чесма» прошли не больше семи миль по курсу на W, пальба уже стихла, и двигаться дальше было как-то беспредельно. Неизвестно было только разошлись ли противники после трехчасовой перестрелки, или, если сражение кончилось победой, то чьей.

Сколько ни напрягал зрение Нахимов, оглядывая в свою неизменную подзорную трубу горизонты, море не открывало того, что на нем произошло только что — там, в направлении на запад.

2

Владимир Алексеевич Корнилов вышел из Севастополя в море еще в конце октября, и не с одними пароходами только, а и со всеми кораблями четвертой флотской дивизии, которой командовал контр-адмирал Новосильский.

Он надеялся, как писал об этом в приказе, что «если бы счастье нам благоприятствовало, и мы бы встретили неприятеля, то, с помощью божий, офицеры и команды судов, со мной отплывающих, вполне воспользуются случаем увеличить наш флот новыми кораблями».

Не истребить турецкую эскадру в открытом море, а захватить в плен и этим пополнить Черноморский флот!.. Он, начальник штаба, неизменно чувствовал себя хозяином флота, а какой же хозяин не озабочен главным образом тем, чтобы приумножить свои богатства? Поэтому не о победе над турками он говорил, — это разумелось само собою и не требовало в приказе слов, совершенно излишних, — а только о том, что команды судов его отряда должны довести турок до сознания, что им не остается ничего другого, как спустить перед ними свой флаг.

Он был администратор, в полную противоположность Нахимову. Он выхлопывал в Петербурге средства для постройки новых судов на Николаевской верфи, для ремонта старых, для расширения доков в Севастопо-

ле, для расширения морских казарм по мере увеличения экипажей судов, для пополнения арсенала новыми орудиями и боевыми припасами и для многого другого...

Если ему отказывали в морском министерстве, он обращался непосредственно к самому царю, стараясь точными выкладками побороть его скупость, с одной стороны, и упорное убеждение, что Севастополю ничто не угрожает,— с другой.

Высокий и тонкий, он казался слабым на вид и действительно утомлялся иногда до того, что, ложась на диван, закрывал глаза, бледнел, становился как бы умирающим; но несколько минут отдыха для него было достаточно, чтобы восстановить энергию, которая всех поражала.

Ничто не укрывалось от его пристальных глаз стального цвета ни на кораблях, ни в порту. Сбегающее впиз острым углом лицо его, казалось бы, совсем не умело улыбаться. Между тем он был примерный; семьянин и тоже, в противоположность Нахимову, отец многочисленных детей.

Он не сразу, не с юных лет, нашел самого себя, как Нахимов. Страдая морской болезнью, он хотел даже бросить службу во флоте. Он был ленивомыслен в молодости. Но вот (стоику французских романистов, лежавших в его каюте, выкинул через люк в море его командир, капитан 1-го ранга Лазарев и принес ему взамен книги по морскому делу, тоже французских авторов, а также и английских,—и Корнилов преобразился, чтобы стать со временем заместителем Лазарева в Черноморском флоте.

А Лазарев, в молодости пять лет прослуживший волонтером на судах английского флота и считавший себя учеником Нельсона, поставил черноморцев на большую высоту сравнительно с балтийцами, так что из Севастополя, а не из Кронштадта шло все новое в русском флоте; а Лазарев о Нахимове, когда тот был еще мичманом, в пяти словах сказал все, что можно было сказать о нем и через тридцать лет: «Чист душой и море любит»; а Лазарев, будучи уже полным адмиралом, не стеснялся обращаться своей сюртуком и, засучив рукава рубахи, показывать собственноручно матросам, как надо завязывать ванты; а Лазарев любил устраивать точные состязания всех парусных судов, посматривая на чины их командиров, и не раз, к его удовольствию, случалось на этих состязаниях лейтенантам побеждать капитанов 1-го ранга...

Очень тяжелая была задача стать на место такого начальника флота, каким показал себя Лазарев, и только Корнилов, а не кто-

либо другой, мог найти в себе силы взяться за ее решение. Но готовить суда и людей к бою все-таки совсем не то, что руководить ими в бою; и, заканчивая свой приказ по отряду, с которым выходил из Севастополя, Корнилов вполне совпал мыслями с Нахимовым.

«При могущем встретиться бое,— писал он,—я не считаю нужным излагать какие-либо наставления: действовать соединенно, помогая друг другу, и на самом близком расстоянии — по-моему, лучшая тактика».

Одно за другим выбегали из Большого рейда в открытое море суда: впереди, как разведчик, пароход. Флаг Корнилова был на двадцатипушечном корабле «Великий князь Константин».

Черное море осенью своеюравно. То норд-ост, то «бóра», как принято звать здесь северный ветер, бушуют на нем попеременно; а иногда и норд-вест не желает уступить им в свирепости. «Любить» море в такую погоду — значит, уметь с ним бороться, а для этого надобно было родиться подлинным моряком.

Но из природных моряков состояли и команды турецкого флота,— иначе эскадра парусных судов не решалась бы даже и выйти в открытое море из Босфора, да еще заранее зная, что ее стерегут и ждут там и сям разбросанные русские суда.

Если русский адмирал Лазарев гордился тем, что он пять лет учился у англичан морской науке, то учителя из Англии в изобилии присылались в ряды турецких моряков, а иногда просто поступали на службу в Турцию, принимая подданство султана и занимая во флоте высокие командные посты. Так, еще во время войны Турции с Россией в 1829 году, поступил на службу в турецкий флот молодой английский офицер След; теперь он уже был в адмиральском чине и назывался Мущтавер-паша.

3

Три двадцатипушечных корабля было в эскадре Корнилова, кроме «Константина»: «Три святителя», «Двенадцать апостолов» и «Париск», и два восьмидесятипушечных: «Святослав» и «Ростислав»; первые — трехдечные, то есть трехпалубные, вторые — двухдечные.

Но «Двенадцать апостолов» и «Три святителя» были почтенных лет. И Корнилов все беспокоился, выдержат ли они без аарии шторм в открытом море.

А шторм начался с утра 1 ноября и продолжался два дня,— тот самый шторм, ко-

тёрый выдержала эскадра Нахимова у мыса Керемпе. Опасаясь, чтобы в ночное время буря не расшвыряла суда, Корнилов приказал на «Константине» через каждые полчаса пускать ракеты, в ответ на которые остальные суда должны были зажгаться фальшфейеры. Эта переключка огней в ревущей темноте показывала ему, держатся ли суда соединенно.

Шквалистый ветер то с дождем, то с градом раскачивал суда и тешился ими всю ночь, а к утру 2 ноября началась гроза, не совсем обычная поздней осенью на юге,— сверкали ослепительные молнии, и гром гремел, как канонада боя.

Когда рассвело настолько, что стали видны очертания судов, Корнилов дал сигнал: «Все ли благополучно?» и был обрадован, получив даже и от двух своих ветеранов ответ: «Все в исправности».

Эскадра держала путь к мысу Калиакру, но пароход «Владимир» был послан как разведчик вперед, чтобы осмотреть турецкие порты по болгарскому берегу — Балчик, Варну, Сизополь: не скрываются ли там загнанные туда штормом неприятельские суда.

Командиром «Владимира» был капитан-лейтенант Бутаков, Григорий Иванович,— один из самых сведущих и энергичных молодых командиров флота, но Корнилов отчислил на пароход своего адъютанта, лейтенанта Железнова, поручив ему осмотр портов, чтобы не отвлекать Бутакова от его прямого дела.

Когда в большом отдалении, в спящей предутренней мгле, раздался со стороны Варны два пушечных выстрела, Корнилов выкинул было сигнал: «Изготовиться к бою», но тревога оказалась напрасной,— просто «Владимир» слишком близко подошел к крепости, был замечен и обстрелян из крепостных орудий, военных же судов на рейде лейтенант Железнов не обнаружил.

Их не было и в Балчике, не оказалось потом и в Сизополе,— ясно стало, что мимо этих трех портов, с их очень удобными для стоянки судов обширными бухтами, турецкая эскадра прошла, направляясь или волью азиатского берега или гораздо южнее. А между тем Корнилов был твердо убежден, подходя к мысу Калиакру, что застанет суда противника или в Балчике или в Варне. Он даже объявил сигналом по своей эскадре: «Если открою неприятеля в Балчике или Варне, намерен атаковать его; для сего заранее приготовить пеньковые канаты с кормы... каната потребуется до 75 сажен...»

Канаты необходимы были для поворачивания судов, когда они станут на якорь, для управления ими во время боя, но Корнилов

на листочке бумаги набрасывал и то, что считал пужным припомнить из опыта чужих больших морских сражений.

«Нельсон мочил косячные чехлы и брезенты на случай пожара»,— записывал он.— «Стрелять надлежит в корпус судов, это предпочтительнее, чем в рангоут...» «В Абукирском сражении корабли стояли против скулы противника». «Все предосторожности против огня. Помнить «Орлоу» при Абукире и «Ахилл» при Трафальгаре...» «Гребные суда, если возможно, то спустить...»

«Владимир» от Сизополя пошел в глубь залива, к Бургасу, но военных судов не нашлось и там, зато с «Константина» замечена была утром 4 ноября купеческая шхуна, идущая с юга, от Босфора,— видимо, в Варну.

Легкий бриг «Эней» получил приказ Корнилова: «Задержать и опросить судно и узнать о турецком и союзном флотах».

«Эней» тут же двинулся на пересечку курса шхуны и через час доставил донесение: «Турецкий флот в большом числе судов стоит в Босфоре, там же семь английских и восемь французских судов, между которыми есть и парусные, а два турецких фрегата и два корвета за день перед тем пошли в направлении на восток».

Спустя немного был опрошен также шкипер валашского судна, которое тоже шло с юга. Он подтвердил, что судов союзных держав стоит в Босфоре пятнадцать, из них шесть пароходов и восемь больших кораблей, но добавил, что отряд турецких судов, всего шесть фрегатов и корветов, крейсрует недалеко от пролива, а дней за пять перед тем три больших парохода повезли войска в Тренизопл.

Наконец лейтенант Железнов, задержав в Бургасском заливе только что прибывший туда австрийский пароход под турецким флагом, узнал от его шкипера, что отряд в шесть турецких судов крейсировал в море шведалеке от пролива, но потом снова вошел в пролив.

Надежды Корнилова сразиться с турками в море и захватить их суда рухнули. Сигналами передал он своей эскадре: «Неприятельский флот в Константинополе. Якорного дела не предстоит. Канаты можно убрать».

4

Угля в трюме «Владимира» оставалось уже немного,— надо было отсылать пароход в Севастополь — пополнить свои запасы. На «Владимире» же решил вернуться в Севастополь и сам Корнилов, отправив всю остальную эскадру в распоряжение Нахимова. Повоенный должен был передать Нахимову и

то, что удалось узнать от шкиперов задержанных судов, главным образом о трех пароходах, двух фрегатах и двух корветях, — то есть, то самое, что было уже известно Нахичеванцу.

Контр-адмирал Новосильский, один из столпов Черноморского флота, подлинный моряк на вид — широкоплечий, с обветренным, пышащим лицом, явно несокрушимого здоровья, нестарый еще годами, лет сорока пяти, — добравшись на шлюнке до корабля «Константин», поднялся на палубу, где его встретил Коршилов.

Можно было и не вызывать Новосильского для личных объяснений, можно было просто переслать ему пакет, командировав для этого одного из адъютантов, но Коршилову хотелось посоветовать на постигнувшую его неудачу перед тем, кого он уважал. Новосильский же не одною только своей физической мощью внушал уважение.

В молодости, в чине лейтенанта, он был участником знаменитого боя брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями, — боя, из которого слабосильный русский бриг, с его восемнадцатью небольшими пушками, вышел победителем.

Это смело можно бы было принять за сказку, если бы не случилось этого в действительности, здесь же на этих самых водах Черного моря, 14(26) мая 1829 года. Из двух кораблей, достигших брига, один был «Селим-мэ», шестидесятишестичный, — сильнейшее судно во всем турецком флоте; на нем был флаг самого капудана-паши, командующего флотом; на другом же, семидесятичетырехпушечном, контр-адмиральский флаг.

Явную мысль имел капудан-паша: увеличить флот султана одним русским бригом; с «Селим-мэ» раздавались даже крики на довольно чистом русском языке: «Убирайге на-руса! Сдавайтесь!». Но на эти крики с брига ответили залпом девяти орудий одного борта, и начался чудовищно неравный бой, продолжавшийся около четырех часов.

Перед боем, когда ясно уже стало, что не уйти от турецких кораблей, командир брига, капитан-лейтенант Казарский, созвал всех своих офицеров на военный совет; даже первый подавший свое мнение, младший в чине, штурман, подпоручик Прокофьев, заявил, что необходимо сражаться «до крайности», а лейтенант Новосильский добавил: «А за последней крайностью последний шаг: сцепиться с одним из кораблей противника и взорваться».

Это мнение и было принято всем советом, и перед боем Новосильский вынес из своей каюты заряженный пистолет и повесил его

на палубе так, чтобы всем, и офицерам и матросам, было известно, где его найти в момент последней крайности. Дулом своим пистолет этот был направлен к двери кают-камеры; выстрел из этого пистолета в кают-камере должен был вызвать взрыв брига, а вместе с ним и турецкого корабля, — чтобы гибель «Меркурия» куплена была турками очень дорогою для них ценой.

Казарский, как командир, обратился к матросам с кратким, но сильным словом о чести русского флота, о долге перед отчизной, о том, что если придется всем умереть, то умереть чтоб героями, истратив все средства защиты... Сияли глаза матросов, когда кричали они в ответ обычное: «Рады стараться!».

Турецкие корабли взяли бриг в перекрестный огонь, чтобы, обрушив на него лавину чугуна, заставить его спустить флаг, но команда маленького русского судна не потеряла спокойствия: спокойно, как на ученье, и очень метко стреляла орудийная прислуга, спокойно целились и стреляли из ружей остальные матросы...

Все было на стороне турок: не только 184 пушки против 18, но и гораздо больший их калибр; не только гораздо более высокие борта, но и куда более надежные по толщине; не только в несколько раз более многочисленная команда на кораблях, но и вполне уверенная в близкой и легкой победе...

И однако же случилось невероятное. Казалось бы, турецкие снаряды должны были и самый короткий срок обратить в кучу щепот гордый русский бриг, истребив всю его команду, но вышло обратное: на палубах обоих кораблей валялись груды убитых и раненых, в то время как команда брига потеряла всего несколько человек, а начавшийся было пожар потушила быстро.

Вместо русских матросов сломены были турецкие. Они покидали свои места у орудий и металась по палубам, ища спасения от русского огня. Слышны стали их возгласы «Алла!» и возмущенные крики их офицеров. Притом и повреждения на стонущем корабле «Селим-мэ» уже через час после начала боя оказались так значительны, что капудан-паша пришлось вывести его из боя: последний раз дал залп по бригу и ушел, зализывать раны.

Но другой корабль и один был все-таки: несколько раз сильнее брига, получившего уже много пробоин, и неравная борьба продолжалась еще три часа... Не одна пара глаз начала уж оглядываться на пистолет Цовоильского, на него самого и на командира брига: не пришел ли тот самый момент «последней крайности»? Однако видели, что

этот роковой момент еще не пришел: лицо Новосильского было так же далеко от беспокойства, как и Казарского.

Напротив, забеспокоился командир турецкого корабля, адмирал. Он видел, что паруса на его судне наполовину сбиты, потери в людях очень велики,— еще немного, и корабль будет лишен способности двигаться; abordаж же при таком упорстве русских мог кончиться только тем, что оба судна взлетели бы на воздух, в этом он несколько не сомневался и был прав, конечно. Поэтому он прекратил обстрел брига и даже постарался уйти от него на приличное расстояние.

Так необычайно, почти фантастично, кончился этот бой, единственный, не имеющий себе подобных в истории всех флотов земного шара. И если Казарский давно уже умер, заработав себе своим подвигом памятник в Севастополе с надписью: «Потомству в пример», то сподвижник его Новосильский остался живым примером для матросов и молодых офицеров, с георгием в петлице и пистолетом, попавшим, по особому рескрипту, в его герб.

Он и был потом примерным командиром — сначала брига «Меркурий», а после ступенчатой громады «Три святителя». Команда этого липейного корабля по чистоте и быстроте всей работы во время практических плаваний была признана лучшей в целой дивизии, а добитесь этого в среде таких строгих знатоков и ценителей морского дела, как черноморские моряки, было далеко не так легко и просто.

Чем же и как добился этого Новосильский? Жестокими наказаниями, которые применялись другими командирами? Несколько. Опять только личным примером, а лишки он совершенно изгнал из обихода жизни на своем корабле, подражая в этом Пахимову; и его не только матросы любили, но к нему под команду стремились попасть молодые офицеры и считали за счастье, если удавалось попасть.

— Федор Михайлович, дорогой мой, здравствуйте! Мне вам кое-что надо сказать,— обратился к нему несколько суетливо Корнилов, когда тот вошел на палубу.

— Здравствуйте, Владимир Алексеевич,— и, выжидающе улыбувшись только, но считая совершенно излишним какой бы то ни было вопрос, Новосильский утопал в своей мясистой теплой руке узкую и холодную руку Корнилова.

— Да что-то не повезло нам с вами, Федор Михайлович,— и я решил вас бросить на произвол судьбы, а сам отправляюсь сейчас в Севастополь, вот что-с,— быстро и отчетливо проговорил Корнилов.— По кое о чем

потолкуем с вами у меня за чаем, пойдете-ка... На турок я сердит за их скверную осторожность, в поясницу мне вступило, и вообще я совсем не в духе...

Корнилов не преувеличивал. В поясницу он действительно чувствовал боль, отчего и ходить и сидеть мог только держась совершенно прямо, боевое настроение его упало,— истрачен был почти весь его запас; кроме того, появилось беспокойство о мгномом, что делалось в Севастополе, пачаюте им лично и по доведенное еще до конца, по что должно быть доведено до конца в самом скором времени, а в его отсутствие может непростительно затянуться.

Одностороннее спокойствие — Новосильский, сидя в каюте Корнилова, представлял собою как бы умышленный контраст хозяйну каюты. Он и говорил расстановисто, точно с усилием подбирая слова, и медленно глотал чай, и еще более неторопливо посасывал свою короткую трубку с чубуком из соломенно-желтого янтаря.

— По воробьям из пушек, буквально по воробьям из пушек выскочили мы в море с такой эскадрой,— возбужденно говорил Корнилов.— Ну, что такое, какне-то там три турецкие парохода и прочее? Мелочь!.. Турки боятся выходить из пролива, тем более в такие погоды... А точнее, они хотя и выходят иногда порядочным отрядом, но попохают, чем пахнут из Севастополя, и уходят, как это мы узнали от австрийцев... А слух о том, что они к Сухум-Кале пошли, мне кажется заведомо ложный, чтобы только сбить нас с толку и заставить попусту тратить силы.

— Может быть,— отозвался Новосильский, так как Корнилов смотрел на него вопросительно.— Может быть, и ложный... На войне ложь — во спасение.

— Для турок — во спасение, для нас — в ущерб,— возбужденно подхватил Корнилов.— Суда зря изнашиваются, люди зря устают, и если случится принять противника всеми нашими силами, а половина кораблей будет в это время ремонтироваться, то что тогда делать?.. Нет, уж вы, Федор Михайлович, повидаться-то с Павлом Степановичем повидайтесь и передать ему все, что падобно, передайте, а эскадру свою ведите к^а домой,— нечего ее трепать раньше времени.

— Все эскадру вести в Севастополь? — спокойно спросил Новосильский.

— Ступенчатые во всяком случае все,— тут же ответил Корнилов.— Я рад, конечно, что старики наши браво выдержали шторм, но так ли браво выдержат они второй подобный, это еще вопрос... Их отвести непременно, а с ними и остальные тоже: у Павла

Степаныча сил довольно на случай чего... А я так пришел к убеждению, что даже и за-глаза довольно.

— Но ведь может статься, что у Павла Степаныча свои соображения по ходу дела у тех берегов, как же тогда быть, Владимир Алексееч?

— По ходу дела у берегов Апатолли? — оживленно подхватил это замечание Корнилов. — А что именно? По какому «ходу дела»? Вы полагаете, что турецкая эскадра все-таки прошла мимо нас, а?

Явное беспокойство начальника штаба слышалось Новосильскому не только в этих торопливых вопросах, но и в самом тоне голоса, каким они были сказаны, и глаза Корнилова возбужденно блестели; поэтому, почувствовав необходимость его успокоить, ответил Новосильский:

— Едва ли могла проскочить незамеченной нами эскадра в семь-восемь вымпелов... Это едва ли. Но я не о том хотел, а вот тот же самый шторм, который нас трепал...

— Ну, да, разумеется, конечно! — перебил его Корнилов. — У Павла Степаныча тоже есть старинки — «Ягудина» и «Храбрый»... Что ж, если они пострадали, заберите их с собой, а ему оставьте два восьмидесятипушечных... Словом, это уж сделаете по его усмотрению... Там у него еще и бриг «Язон»... И бригу, и команде брига тоже следовало бы уж дать отдых...

Минуты через две-три, так же прощипывая взглядом в прочное, выдубленное морскими ветрами лицо Новосильского, говорил Корнилов:

— Что же они, летучие голландцы что ли, а не турки, что могли проскочить мимо нас незамеченно?.. Предположим даже, для полноты всех вероятностей, что они проскочили, держась того берега, — то там ведь только один удобный порт, Амастро, но он под наблюдением Павла Степаныча...

— Да, Амастро и еще Пендерекли, — уточнил Новосильский.

— Пендерекли очень близко к Босфору!

— Близко, конечно... Но при необходимости отстояться, могли бы они завернуть и в Пендерекли, — ответил на пристальный, даже, пожалуй, строгий, взгляд Корнилова Новосильский.

Корнилов еще внимательнее взгляделся в небольшие, заволоченные синим дымком трубы карие глаза контр-адмирала и вдруг ударил пальцами правой руки по столу, как по клавишам рояля.

— Ну, что же, могли бы, так могли бы! Значит, если даже допустить, что они там, — попадут они, когда двинутся дальше, прямо

под пушки эскадры, вашей и Павла Степаныча... Но вероятнее всего, что они не там, а пока еще в Босфоре, и неизвестно, выйдут ли или постесняются... Ведь как мы справляемся о них и делаем опросы, так и они о нас... Так что вы, Федор Михайлыч, сделайте именно так, как я вам сказал, а потом следом за мной идите в Севастополь.

5

Эскадра Новосильского, вытянувшись в кильватерную колонну, двинулась на юго-восток, взяв курс на мыс Керемпе, вблизи которого, как это было известно, держался со своими кораблями Нахимов.

Корнилов же, пересев на пароход «Владимир», долго любовался стройными движениями уходивших судов, пойманных всеми парусами свежий попутный ветер и представлявших картину, привлекательную даже и для моряка.

Но сам он медлил отдавать приказ следовать в Севастополь. Он поручил лейтенанту Железнову как можно точнее определить, каковы запасы угля в трюме, — нельзя ли еще «поболтаться», как он выразился, в море; и когда Железнов доложил, что угля, как он убедился, еще достаточно, что смело может хватить его еще на целые сутки хорошего хода, Корнилов хлопнул в ладоши, радостно вскрикнул: «Бравнесимо!» и приказал Бутакову идти по направлению к порту Амастро.

— Для очистки совести — исключительно только для очистки совести — мы непременно должны побывать еще и в Амастро, — возбужденно говорил он, обращаясь то к Бутакову, то к Железнову. — Если турок нет ни в Балчике, ни в Варне, ни в Сизополе, ни в Бургасе, — нет и не было даже, то какой же из этого можно сделать вывод? Только один и единственный, что никаких крючков они делать не намерены, а пойдут в Требизонд прямым рейсом, что и было нами предусмотрено, когда пятая дивизия получила свое назначение.

— Кажется, ваше превосходительство, «Коварна» крейсирует около Амастро, — сказал Бутаков, которому несколько горбатый, широкли в перепопке нос придавал особую виновность; это был крепкий, высокий человек, соединявший в себе большие знания морского дела с не менее большою сметкой.

— «Коварна» или другое судно, — слегка поморщившись при этом замечании, возразил Корнилов, — по сути дела в том, что, по прямому смыслу приказа князя, наше судно не имеет права заходить в самый порт, а мы, уж так и быть, на свой страх и риск зайдем,

так как тут, на месте, выясняется необходимость в этом.

Несколько помолчав, Корнилов добавил:

— Зона между Амастро и Босфором для нас совсем запретна, по соображениям петербургской политики... А между тем турецкая эскадра, может быть, стоит в Пендерекли... Соображения министерства иностранных дел доходят до нас с очень большим запозданием, а турецкая эскадра движется, то есть имеет полную возможность двигаться, гораздо быстрее... И кто будет отвечать в случае чего, боже сохрани,—мы или чиновники министерства?

Ничего не приказывал, говоря это, Корнилов. Он только глядел при этом на Бутакова серьезным, даже строгим взглядом, и Бутаков, поднеся руку к козырьку фуражки, по-нахлестки сидевшей на его вытянутой спереди назад голове, отозвался вполголоса:

— Есть, ваше превосходительство,—и отошел.

Через четверть часа, хлопотливо работая лопастями колес, «Владимир» шел уже не на Амастро, а несколько западнее, на порт Пендерекли, хотя сам Корнилов этого и не знал. Ему только хотелось, чтобы утром, когда, по всем расчетам, будет виден азиатский берег, можно было узнать что-нибудь положительное и относительно Пендерекли.

Можно было не посылать к Пахимову всю эскадру Новосильского, если бы у Корнилова была только одна цель — оставить в распоряжение Павла Степаныча два восьмидесятипушечных корабля: «Ростислав» — новый корабль и «Святослав» — старой постройки. Их командиры и без Новосильского могли бы довести свои суда до мыса Керемпе и передать все то, что хотел передать Корнилов.

Но Корнилов про себя верил совсем не в то, что говорили пикшеры задержанных у румелийских берегов шхун, а в то, с чем он свывся уже в своем представлении, начиная с минуты выхода корабля «Константин» из Севастопольской большой бухты в открытое море: эскадра турецкого адмирала покинула уютный Босфор и идет на восток; эта эскадра должна стать добычей Черноморского флота.

И ложась спать, когда совершенно почерпело море (небо было плотно и сплошь задернуто тучами), он таил в себе уверенность в том, что на рассвете увидит в отдалении неясные, но желанные очертания турецких судов. Тогда «Владимир», не обнаруживая себя, пошел бы к объектам дивизии — четвертой и пятой, которые должны к тому времени соединиться, и он, Корнилов, принял бы над ними начальство в предстоящем бою. А так

как русские силы были бы подавляющими сравнительно с турецкими, то турецкому адмиралу не оставалось бы ничего другого, как сдаться.

Боль в пояснице, которую почувствовал Корнилов днем, стала гораздо чувствительнее, когда он лег; и долго ворочался он на узкой койке, стараясь отыскать такое положение тела, когда можно бы было забыться. Но в конце концов усталость, мерная работа машины и легкое покачивание парохода — все это его усыпило, и проснулся он только на рассвете, когда берег отделился уже от моря, — индигово-синяя узкая полоса от широкого белесого полутьнца.

Тумана не было, но дали моря все-таки были подслеповаты от очель мелкого, похожего на туман, когда он поднимается, дождя. Извилистыми рядами, как черные бусы, низко, над самой водой, летели, дружно действуя широкими крыльями, бакланы.

Корнилов, поднявшись на капитанский мостик, пристально глядел по сторонам в зрительную трубу. Его боль в пояснице не утихла за ночь, но он старался о ней не думать и хотя морщился при движениях, но, стискивая зубы, преодолевал ее.

Бутаков привел свой пароход на высоту Пендерекли. Корнилов же знал и помнил только то, что он приказал идти к Амастро, а даже не спрашивал, какой это городок бежит там, на берегу, в глубине небольшого залива.

Его внимание привлекли очень зыбкие, даже и в трубу видимые смутно, верхушки мачт нескольких судов к северо-востоку, и он все сильнее сосчитал, сколько там было судов. Уставали глаза, тем более что все колыхалось: и капитанский мостик, и море около и смутные мачты этих загадочных судов.

— Это, конечно, эскадра Павла Степаныча,—сказал, наконец, Корнилов лейтенанту Железнову,—только я никак не могу сосчитать, сколько там кораблей... Ну-ка вы, у вас глаза помоложе моих... и не болят так пекстати поясница, как у меня. Поглядите-ка, вы скорее сосчитаете их

Железнов прильнул к трубе прищуренным глазом.

Это был любимый флаг-офицер Корнилова, а стать любимым флаг-офицером такого требовательного адмирала, как Корнилов, было не так-то легко. Однако все, что ни приходилось делать в штабе Железнову, он делал, казалось бы, без малейших усилий: он был как будто прирощенный адъютант, этот ловкий во всех движениях, девически-топкий в поясе, круглолицый, охотно и часто улыбающийся блондин, который если и хотел придать не-

которую важность своему лицу, то только хмуры свои почти безволосые брови и старался глядеть исподлобья.

— Шесть вымпелов, ваше превосходительство,— сказал он, не отнимая трубы от глаз, а Корнилов подхватил с жемством:

— Ну, вот! Шесть, действительно, шесть! Мне и самому так казалось, только я боялся ошибиться... Шесть и должно быть у адмирала Нахимова: «Мария», «Чесма», «Храбрый», «Ягудил», затем «Кагул» и... и, новидному, «Коварна», а бриг «Язон», может быть, послан был охотиться за турецкими каботажными...

— Сейчас штиль, ваше превосходительство,— осторожно напомнил Бутаков, стоявший около и тоже глядевший на эскадру в свою трубу.

— Я вижу, что штиль. И «Язон» мог быть послан совсем не сейчас, а когда был ветер,—недовольно возразил Корнилов.— А вот там шароходный дымок, видите? Это куда-то послал Павел Степаныч «Бессарабию»... Только не сюда, к Амастро, а в сторону Севастополя... Ну да, «Бессарабия» идет с донесенным в Севастополь, а это совершенно лишняя трата угля, и нам надо бы оставить этот наш пароход.

— Наш ли?— усомнился Бутаков, повернув свою трубу в сторону дыма.

Он был в очень неловком положении. Вечером ему казалось, что он отлично понял намек своего начальника вести «Владимир» к Пепдерекли, и он добросовестно вычислял, где в тот момент находился его пароход, чтобы не случилось ошибки.

Ошибки не случилось как будто, однако адмирал, показывая в сторону Пепдерекли, говорит «Амастро», и доказательство этому нашли: эскадра Нахимова к востоку от Амастро, где она и должна была стоять теперь, в мертвый штиль, и пароход, который держит курс на Севастополь, не может быть никаким другим, только «Бессарабией», но все-таки...

— Мне кажется, что это не «Бессарабия»,— сказал он, однако не очень уверенно.

— Вам кажется?— несколько иронически подхватил Корнилов.— Хорошо, сейчас мы это узнаем... Полный ход и за ним!.. К Павлу Степанычу мы всегда успеем, а если вы открыли, что это турок, тем лучше! А вы что думаете насчет этого парохода?— обратился Корнилов к Железнову.

— Мне бы не хотелось, чтобы это был «Бессарабия»... Я предпочел бы турка, ваше превосходительство,— политично ответил Железнов, который не мог ничего разобрать, кроме полоски дыма повыше и другой, более плотной, полоски судна пониже.

— Он предпочел бы!— весело отозвался Железнову Корнилов.— Я сам предпочел бы это! Попробуем сблизиться, узнаем...

И «Владимир» пошел за уходящим к югу пароходом, оставив в стороне эскадру из шести вымпелов. А между тем именно то, что так жадно хотел встретить в открытом море Корнилов, стояло перед его глазами: эскадра эта была не Нахимова, а старого турецкого адмирала Османа-паши, такого же участника Павариинского боя, как и сам Корнилов, и Нахимов, и Истомин... В его эскадре было пять фрегатов и корвет.

6

Полчаса самого быстрого хода, какой только могла развить четырехсотсильная машина «Владимира»,— и стало возможно уже разглядеть трубу и мачты парохода, за которым гнались. Однако теперь и Бутаков не говорил уверенно, что это не «Бессарабия»: если эскадра оказалась нахимовской, если, вместо Пепдерекли, «Владимир» вышел к порту Амастро, то, разумеется, пароход мог быть и «Бессарабией».

Но «Бессарабия» имеет всего двести двадцать сил, так что особого труда не будет догнать ее или, по крайней мере, подойти к ней настолько, чтобы оттуда разглядели сигнал адмирала, а направление обоих пароходов одно — на Севастополь.

Корнилов почти безотрывно наблюдал рангоут парохода и трубу его, которые становились все отчетливей, по ходом «Владимира» он был недоволен. Он волновался. Несколько раз срывалось у него с языка разочарованно: «Пужели это в самом деле «Бессарабия»?.. Какая досада!»

Но прошло еще три четверти часа, и он сказал Железнову:

— Ага, нас там заметили, наконец!.. И, кажется, принимают за турок! Смотрите! Железнов взял корниловскую трубу и воскликнул:

— Меняют курс к берегу! Вот так умницы!

— Прикажете, ваше превосходительство, идти на пересечку?— спросил Бутаков.

— Разумеется! И поднять опознавательный сигнал,— приказал Корнилов.

Ясно было, что с того парохода так же точно наблюдали за «Владимиром» и оставались в недоумении, чей это пароход.

Со стороны эскадры в шесть вымпелов, оставшейся довольно далеко уже позади, никакого вмешательства в действия пароходов не могло быть: стоял попрежнему штиль. И когда минут через двадцать преследуемый

«Владимиром» пароход снова повернул в море, Железнов решил:

— «Бессарабия»! Разглядели, что мы — свои... Опознавательный сигнал помог...

На лице Корнилова сквозило явное неудовольствие, и он проговорил сердито:

— Чорт знает что! Отчего же они видят сигнал и не отвечают?... Григорий Ивапыч! Прикажите поднять русский флаг!

Бутаков бросился исполнять приказ, и результаты сказались вскоре: пароход вдруг пошел назад, навстречу «Владимиру», по... поднятый на нем флаг был турецкий.

— Вот вам и «Бессарабия»! — торжествуяще обратился Бутаков к Железнову.

Он мог торжествовать не только потому, что, усомнившись в самом начале, оказался теперь совершенно прав, но и потому также, что торжественно было и лицо Корнилова. Не то, чтобы мелко радостно, а именно торжественно: перед ловцом появившись, сам на ловца бежал зверь...

Однако бежал он недолго: разглядев русский флаг, там круто повернули снова назад. Но этот маневр был уже бесполезен: еще несколько минут, и «Владимир» подошел к турецкому пароходу на пушечный выстрел.

По знаку Корнилова, этот выстрел и был сделан, — ядро шлепнулось около самого носа парохода... Вдруг пароход, стоявший к «Владимиру» левым бортом, окутался пороховым дымом, блеснули желтые огоньки, раздался грохот орудий... Огоньков насчитано было пять: пароход оказался десятиорудийным.

«Владимир» имел небольшое преимущество: всего на одно орудие больше, но из его пушек три было пекановских — 68-фунтовых, так что сила его залпа значительно превосходила силу залпа турецкого парохода. Однако капитан этого парохода не спустил флага, как ожидал Корнилов, он решил сражаться.

Как узнали потом, он был черкес родом, мамелюк адмирала египетского флота, Саид-паша, человек мужественный, уже немолодой,

На залп его парохода ответил залпом «Владимир», и ядро сбilo флагшток с турецким флагом, но тут же проворно поднят был новый флаг.

Так начался в десять часов утра 5(17) ноября 1853 года на Черном море первый в истории флота бой парохода с пароходом, причем оба они были колесные. Раскаты орудийных залпов этого именно боя и допелись до эскадры Пахимова, вызвав со стороны флагмана понуктки помочь своим.

Не пужна была, впрочем, эта помощь: ма-

тросы «Владимира» стреляли гораздо лучше турецких, то и дело дававших перелеты.

Лавируя около турецкого парохода, Бутаков замечал, что кормового орудия он не имеет и лишеш будет возможности защищаться, если стать ему в кильватер и открыть по нем продольный огонь.

— Так можно скорее заставить его сдать-ся, — говорил Бутаков Корнилову об упорном капитане турецкого парохода.

«Владимир» стал за кормой противника, но успел сделать один за другим только два залпа, как турок повернулся к нему бортом и, отстреливаясь, решительно направился к берегу.

Между тем уже около трех часов тянулась перестрелка, и видно было, что турок достаточно обит: на корме зияло большое отверстие. Корнилов опасался, что пароход затонет и придется спасать на шлюпках его команду, а приза не будет.

— Сблизиться на картечный выстрел, — приказал оп Бутакову.

Трудно было предположить, что меткая пальба из орудий, нанеся видимый вред и корпусу и рангоуту судна, не вывела из строя многих его защитников, однако сопротивление не слабело, хотя ни один человек не пострадал на «Владимире».

— Картечь и abordаж!.. Это единственное, что осталось, — возмужденно говорил Корнилов и, обратясь к Железнову, добавил: — Сойдите-ка в каюту, принесите мне мой пистолет.. А то вдруг при abordажном бое может оказаться, что их команда больше нашей... Может быть, там еще и рота солдат, — ведь неизвестно... Так чтобы русскому адмиралу не попасть к туркам в плен, — было бы хоть из чего застрелиться!

Железнов кинулся по трапу вниз и через минуту вернулся с оружием: сам нацепил кавказскую шапку, Корнилову протянул его пистолет.

Пальба между тем прекратилась, и был слышен только перебор лопастей пароходных колес, похожий на топот коней, скачущих галопом.

Капитан турецкого парохода, очевидно, попял замысел русского адмирала приблизиться на картечный выстрел: так как дым отволокло в сторону, на палубе заметно стало усиленное движение матросов.

Но их было что-то много, сравнительно с небольшой командой «Владимира».

— Посмотрите, у всех ли наших людей есть abordажные пики, — обратился к Железнову Корнилов. — Бой будет жаркий, если не сдадутся: там, кажется, имеются и турецкие пехотинцы, кроме матросов.

Железнов, выполнив поручение, снова стал около Корнилова и, так как минута наступала весьма серьезная, пахмурил брови и глядел на турецкий пароход исподлобья, держась левой рукой за эфес шашки.

Топотали колеса, взбивая в белую пену зеленую воду, и вдруг почти в одно время грянули два залпа — отсюда и оттуда; и Корнилов изумленно поглядел на своего адъютанта, правой рукой ударившего его в подбородок и потом повалившегося мешком на палубу.

— Что? Что с вами? — напустился было к нему Корнилов, но отшатнулся тут же: Железнов был убит папавал, — картечь пробила ему лоб над переносьем, лицо его было залито кровью...

А залпы гремели один за другим с такими малыми промежутками, что трудно было бы сосчитать их, и вдруг, как отрезало, упала тишина, это Бутаков заметил, что турки спустили флаг.

— Отбой! Бей отбой! — скомапдовал Корнилов.

— Отбой! — передали команду дальше, и барабанный матрос истоиво отстучал короткую, но значительную по своему смыслу дробь отбой.

Бутаков поглядел на свои часы, — было около часу, бой продолжался три часа.

7

Имя неприятельского парохода оказалось «Перваз-Бахры», что значит «Морская выюп», и принадлежал он к египетскому флоту; мощность машины его была двести двадцать сил. Упорное сопротивление его «Владимиру» объяснилось геройством его капитана, как только он был убит картечью (в одно время с Железновым), команда решила сдаться. Два других офицера, бывших на «Перваз-Бахры», погибли раньше капитана. Пехотных солдат, как думал Корнилов, пароход не вез, но очень многочисленна была его команда — полтора человека, сорок из них было убито и ранено; в то время как на «Владимире» выбыли из строя только три человека матросов и лейтенант Железнов.

Приз был в руках хозяина Черноморского флота, но в таком жалком виде! Корнилов сам осмотрел его, как опытный хирург осматривает тяжело раненого, и покачал головой.

— В таком состоянии мы не доведем его до Севастополя!

Мачты были расщеплены, труба измята и пробита в нескольких местах, палуба продырявлена здесь и там, корпус изувечен так, что Бутаков решил:

— Не больше, как через полчаса, эта развалина затопет.

Но Корнилов был не из таких, чтобы допустить это.

— Как можно! — возмутился он. — Дать ему ремонт, если только машина в исправности.

— Едва ли успеем осмотреть как следует машину, ваше превосходительство.

— Пужко успеть осмотреть и пужко успеть починить, — отозвался на это адмирал и не сомел с приза, пока не услышал, что машина не пострадала.

Тогда начали в открытом море стучать топоры и молотки русских матросов, старавшихся предохранить добычу от немедленного потопления.

Но в то же время опрашивали пленных, куда и зачем шел «Перваз-Бахры», и установили, что шел он в Пендерекли.

— Откуда шел?

— Из Синопа.

— Зачем ходил в Синоп?

— Отправил туда какие-то важные письма.

— Почему именно пужко было идти в Пендерекли?

— Там назначено было ожидать эскадру фрегатов Османа-паши, которая должна была прийти из Босфора.

При опросе пленных присутствовал сам Корнилов. Когда он услышал, что турецкая эскадра, которую искал он столько дней напрасно, ожидается, если не пришла уж, в Пендерекли, он всех свободных матросов с «Владимира» и все, что могло пригодиться для ремонта «Перваз-Бахры», послал туда, чтобы ускорить дело и быть свободным для встречи этой эскадры.

Однако часа три возились, накладывая пластыри на разбитый пароход, и Корнилов, нетерпеливо ожидая на «Владимире» донесения об окончании работ, говорил Бутакову:

— Это, черт его знает, совсем так получилось, как в крыловской басне насчет медведя: «Чему обрадовался едурю? Знай колет, — всю испортил шкуру!»

По вот к четырем часам дня донесение о том, что приз в состоянии держаться на воде, и, пожалуй, даже не на буксире, а вполне самостоятельно может дойти до Севастополя, было получено, и одновременно с этим были замечены две эскадры, подходившие к месту недавнего боя: одна — с юга, другая — с запада.

Эскадры были далеко, однако шли они на парусах, так как дул уже ветер. Приняв, как оно и могло быть на самом деле, первую эскадру за нахмювскую, соединившуюся уже с эскадрой Новоенльского, Корнилов, указывая на вторую, крикнул Бутакову:

— Григорий Иваныч! Вот они, наконец, турки! Итти им навстречу!

Он забыл о своей боли в пояснице еще в начале боя с «Перваз-Бахры», теперь же он показался уравновешенному Бутакову как будто освещенным изнутри, так что не только одни его глаза стали цвета, но и все худощавое лицо светилось.

Бутаков понимал план адмирала: подойти к турецкой эскадре как можно ближе и, завязав перестрелку, отступить на свою эскадру, дав ей тем самым время как следует изготиться к бою. Однако чем ближе «Владимир», шедший полным ходом, подходил к турецкой эскадре, тем больше сомневался Бутаков, что она действительно турецкая.

Наконец сомнения подтвердились: он ясно различил в трубу знакомые очертания флагманского корабля «Константин», а за ним в кильватер шли «Три святителя», «Двадцать апостолов» и другие суда эскадры Новосильского, которую задержал утрешний шталь.

Но то же самое успел разглядеть и Корнилов. Он потемнел.

Бутаков ждал от него приказа о перемене курса, так как падо было все-таки беречь уголь, чтобы быть в состоянии дойти до Севастополя, но Корнилов не отдавал такого приказа.

— Федора Михайловича нужно предупредить, что эскадра Османа-пашы ожидается в Пендерекли,— сказал он,— и чтобы Павлу Степановичу передал он об этом и о нашем с вами призе.

А русская команда этого приза, влачившегося за победителем, как тело Гектора за колесницей Ахилла, все еще продолжала лаять его на ходу, чтобы коварно не вздумал он утонуть по дороге в чужой для него порт, где могли бы его как следует вылечить в доках.

«Владимир» подошел к эскадре Новосильского, и команды русских судов встретили его криками «ура». Корнилов приказал обойти все суда, чтобы все команды видели первый приз Черноморского флота в эту войну, захваченный после упорного боя. Это должно было поднять дух команд для предстоящего им большого сражения с турецким флотом, который ожидается к приходу в Пендерекли, а потом пойдет к берегам Кавказа.

Было около пяти часов вечера, а в это время в поябре на Черном море наступают уже сумерки. При этом редко случается так, что погода бывает ясная: большей частью или идут дожди, или ползает белая, как стада овец, клубы тумана, или висит какая-то неопределимая мгла.

Подобная мгла надвинулась и теперь и про-

пизывала сквозь шинель худое и зябкое тело Корнилова, но он старался выдерживать это стойчески: он был перед командами судов не только главным начальствующее лицо Черноморского флота, но и победитель, только что выигравший сражение. Кроме того, он привез командиру эскадры сведения о другой русской эскадре, с которой на соединение пужно было итти на юго-восток, и итти при том недолго, так как она стоит совсем близко, хотя ее совершенно не видно теперь, да не могло быть видно отсюда и часом раньше...

Увы, передавая это Новосильцеву, Корнилов не знал, что, став жертвой ошибки в семь часов утра в этот день, он продолжал оставаться во власти этой же ошибки и теперь, в сумерки: эскадра, которую он уверенно принял за Нахимовскую, была все та же турецкая эскадра Османа-пашы.

И среди судов Черноморского флота было одно, которое еще 1 ноября, ранним утром, почти вплотную подошло к этой эскадре, приняв ее за русскую,— это был пароход «Одесса».

Он должен был выйти из Севастополя вместо с «Владимиром», так как входил в отряд Корнилова, но задержался из-за неисправности в машине и вышел двумя днями позже, надеясь догнать отряд благодаря быстроте своего хода сравнительно с ходом парусных судов.

Он шел по тому же курсу, по все-таки дождливая погода не дала ему возможности отыскать своих у румелийских берегов, и он повернул к югу, окопчательно разойдясь с ними. Тут-то, вблизи берегов Анатолии, он и столкнулся с турками.

Темная, ненастная ночь укрыла его, и он продолжал итти теперь уже на восток, чтобы передать о своей встрече эскадре Нахимова. Однако, дойдя до мыса Керемпе, не пашел к этой эскадре. Между тем он получил серьезные повреждения лопастью колес и, кое-как починившись своими средствами, лег на курс в Севастополь.

Так что, когда Корнилов, прoderжавшийся в море еще целую ночь благодаря углю, взятому из трюма «Перваз-Бахры», и все это время потративший на ремонт своего приза, явился, наконец, в Севастополь, там уже знали, что турецкий флот разгуливает в море.

Глава третья

1

Получив от Корнилова указания, где найти эскадру Нахимова, Новосильский думал соединиться с ним через час, через два. Однако

«совершенно стемнело, погасли вечер, наступила ночь,—эскадры не было видно, хотя суда шли хорошим ходом. Осман-паша увел свои фрегаты по направлению к Пендерекли.

В то же время и на судах Нахимова вахтенные, помня приказ адмирала, зорко следили, не покажутся ли где в тяжелой сырой темноте приближающиеся дочки, хотя бы и очень слабых за дальностью, огоньков турецкого флота.

И вот огоньки действительно прорезали темь, и они не то что бы проходили мимо,—они явственно приближались, когда настало время сменяться вахтенным,—полночь. По тревоге все заняли свои места — офицеры и матросы... Шла не то что бы неожиданная и совсем не нежеланная гостя: ведь этого момента, когда покажется, наконец-то, турецкая эскадра, возбужденно ждали и раньше все на эскадре Нахимова, начиная с него самого, а после перестрелки, продолжавшейся в этот день целых три часа кряду, возбужденно достигло предела.

Неизвестно было, кто добедил в этом бою, но ясно было для всех, что враг где-то близко. И вот, иллюминированная всеми огнями, движется, конечно, чужая эскадра, и сотни орудий, направленные на нее, ждали только сигнала к бою; и быть бы большой беде, если бы во время не взвились на головном корабле «Константин» опознавательные знаки, так как огни на судах Нахимова потушены не были, и их различили издали с судов Новосильского.

Большое оживление в мопотонную, хотя и трудную, жизнь экипажей судов Нахимова внес этот ночной приход четвертой дивизии. Как всегда в подобных случаях, никто на отдельных судах, кроме флагманского, ничего толком не знал, и все строили смелые догадки о каком-то близком бое с большим турецким флотом,— бое ни больше ни меньше, как за обладание Черным морем.

Но утром только произошел намеченный Корниловым обмен судами: «Ягудиня» и бриг «Язон» присоединились к эскадре Новосильского и вместе с нею пошли в Севастополь отдыхать и чиниться, а «Ростислав» и «Святослав» из отряда Новосильского остались у Нахимова, чтобы поперешить его на случай встречи с эскадрой Осман-паши.

Все, что было ему передано Новосильским, Нахимов выслушал весьма внимательно, изредка вставая:

— Так-так-с... Да-да-с... Воп как-с!

Однако без одобрения отнесся к бою, дающему Корниловым один-на-один турецкому пароходу.

— И зачем это было ему рисковать по

пустякам, не понимаю-с! — сказал он, хмурясь и тмывая.— Ведь где же стоял этот убитый лейтенант Железнов? С ним, разумеется, рядом... А картечь, разве она разбирает? Могла ведь и ошибиться адресом, и лишились бы мы тогда своего начальника,— ради чего именно, скажите на милость?.. Да и Железнова жалко: такой дельный офицер был, и вот на тебе, погиб ни за что!.. И пароходию этот все равно бы от нас не ушел,— рано или поздно, мы бы его захватили или истребили... Что же за каждым из них гоняться, как за зайцами? Им надобно дать вместе сойтись, вот как-с!

— Хорошо, как сойдутся, а если... — начал было Новосильский, но Нахимов перебил его:

— Непременно сойдутся! Непременно-с должны сойтись!.. Вот тогда их и истребить всех, чтобы чувствительн был для Турции удар... А так — она и за ухом не почесается, вот что-с! А Владимир Алексееч шел на непростительный риск,—это я ему и сам скажу при первой нашей встрече-с...

И, как бы в доказательство того, что такие совершенно пустяковые штуковины, как пароходы, если и брать, то разве что без бою, Нахимов распорядился отправить вслед за ушедшей эскадрой Новосильского свой призовой пароход «Меджере-Теджерет».

Из всего переданного ему Новосильским он отметил особенно то, что эскадру Осман-паши ожидали накануне в Пендерекли, и что захваченный Корниловым пароход отвозил в Синоп какие-то важные бумаги; из этого он вывел, что турецкая эскадра через день, через два непременно придет в Синоп, где стоят уже два фрегата и два корвета. В соединении с ними и под прикрытием береговых батарей она представит из себя внушительную силу, но в то же время мешать этому соединению было бы неразумно.

Он принял, что писал ему еще перед выходом из Севастополя в свою рекогносцировку Корнилов: — «С удовольствием ожидаю с вами встретиться и, может, свалить дело в роде Паваринского...» Но «дело в роде Паваринского свалить» можно было бы только большими силами и против больших сил, а для этого пада было прежде всего удостовериться, собрал ли, и где именно, противник эти большие силы.

В то же время раза два употребил Новосильский в почном разговоре своим словом «усмотреше». «По вашему усмотрешню»...

Нахимов не был вполне убежден, к чему собственно отнеслось это «усмотреше»: к тому ли только, чтобы оставить у себя два двухдечных корабля — «Ростислав» и «Свя-

тослав», или к дальнейшим действиям всего своего отряда. Но так как ему хотелось, чтобы было именно это последнее «усмотрение», а письменного приказа или даже простой записки за подписью Корнилова он не получил, обстановка же, сложившаяся в море, требовала действий, а не ожидания приказов, то он и решил передвинуть свой отряд поближе к Синопу, чтобы легче было наблюдать за этим портом; для наблюдения же за портом Амастро отделен им был фрегат «Кагул».

2

Это часто случается и на суше, что в распри двух противников, из которых каждый взвесил все доводы в свою пользу, вмешается вдруг шестой третий, несущий прозаическое имя «погода», и вот летят со своих прочных, казалось бы, мест все доводы и все расчеты. Но гораздо чаще случается это в море.

Дул легкий порд-вест, когда, часов в шесть вечера, Нахимов отдал приказ по своей эскадре двигаться в кильватерной колонне за флагманским кораблем «Марией». Движение это сознательно было начато, когда уже стемнело, чтобы для наблюдателей с берегов загадочной было, в каком направлении ушла русская эскадра. Однако весьма загадочно было и поведение ветра: иногда он слабел до того, что паруса теряли свою напряженность, иногда крепчал порывами.

Утром он дул уже не ослабевая и заставлял каждого из командиров судов то и дело взглядывать на барометр. К полудню же начался шторм гораздо большей силы, чем бывший несколько дней назад.

По три, по четыре якоря бросали команды с каждого судна в море, чтобы только удержаться на месте, чтобы буря, как бы свирепо ни швыряла она суда, не могла все-таки погнать их на береговые скалы, где они разбились бы в щепки.

В зрительные трубы видно было, как белел около берега кипель редкостного по силе прибоя, и моряки представляли, что делалось там, у берега, какой вышины достигали там бешеные валы и как они там ревели.

Но минуты, когда можно было приглядываться к тому, что делалось у берегов, выпадали все-таки очень редко за два дня сверхчеловеческой борьбы со штормом, когда даже слова команд приходилось выкрикивать в рупор, чтобы что-нибудь могли слышать матросы, так свистел ветер в снастях, так скрипели мачты, — вот-вот рухнут на палубу, — так жестоко блись о борта волны...

Опасна была ночь с 7 на 8 ноября, — длиннейшая и темнейшая ночь, когда только

и слышно было, как разногласно выла буря, а устоять на судах было невозможно: их бросало, как жалкие лодочки, и кренило, казалось бы, до предела.

Но все-таки это был далеко еще не предел: наивысшей силы достиг шторм утром, когда все суда потеряли грот-марсель, когда у фрегата «Коварна», кроме того, треснула грот-мачта, а корабли «Святослав» и «Храбрый» получили такие повреждения в райгоуте, что не могли уже нести все паруса.

Пароход «Бессарабия» тоже пришел в такое состояние, в каком не был «Владимир» и после трехчасового боя с «Перваз-Бахры», притом же и запас угля на нем приходил к концу.

Песвоевременный и жестокий шторм этот не только приостановил движение эскадры к Синопу, но еще и вывел из рядов четыре судна в такой момент, когда у Нахимова вполне созрел дальнейший план действий.

Все рушилось... Допосення о состоянии судов Нахимов получил вечером, когда упал ветер, но они оказались так тревожны, что на другой день утром он сам навестил все потерпевшие суда.

Глазам поэта парусного флота предстали корабли со сломанными фока-реями, с безнадежно треснувшими грот-реей у одного и грот-мачтой у другого... Запасного леса не было, да если бы и был, починка таких поврежденных в открытом море была почти немислима: суда готовились не к стоянке в бухте, а к большому сражению, и не калеками, кое-как залеченными, должны они были идти в бой не только с многочисленной турецкой эскадрой, но и с береговыми батареями вдобавок.

Только три корабля оставались исправными: «Мария», «Чесма» и «Ростислав». Но с тремя кораблями безумно было бы самому связываться в сражение, в котором все преимущества на стороне врага. И Нахимов решил, наконец, отправить поврежденные парусные суда в Севастополь на ремонт, а «Бессарабия», которая должна была притти гораздо раньше их, туда же, с письмом на имя Мешникова, содержащим просьбу о замене пострадавших от шторма кораблей здоровыми, способными к близкому бою.

Но он не забыл и о «Кагуле», оставленном в виду Амастро на сторожевом посту. Этот одиноко стоявший фрегат мог оказаться в таком же положении, как и товарищ его «Коварна», а между тем он слишком далеко, чтобы подать ему какую-нибудь помощь...

— Да и какую же помощь мы ему можем оказать, если у него вдруг так же лопнула грот-мачта, как у «Коварны»? — говорил

Нахимов, стоя рядом с Барановским и провожая глазами отходившие суда.— Разумеется, если он получил повреждения, то должен все-таки притти к своему отряду, поскольку исполнить порученное ему дело он уже будет не в состоянии...

— А так как его что-то не видно, то, значит, он остался целехонек и продолжает оставаться на своем посту,— сказал Барановский и добавил:— Что же третье еще с ним может случиться?

— Как же так-с — «что третье еще»? А турецкая эскадра-с? — метнул строгий взгляд в выпуклое лицо Барановского Нахимов.

Барановский же знал, что пароход «Бессарабия» послышался к «Кагулу» утром седьмого числа и в полдень, уже при начале шторма, вернулся с донесением, что фрегат стоит на своем месте и неприятельских судов поблизости от него им не обнаружено. Вечером же в тот же день, ночью и восьмого, то есть, накануне, бушевал шторм, во время которого «Кагул» или был поврежден, как «Коварна», или отделался пустяками, как, например, двухдечный корабль «Ростислав», и стоит, как и прежде, на своем посту; трудно было бы предположить что-нибудь третье.

И однако случилось именно это третье... И в то время как Нахимов, беспокоясь о своем фрегате, говорил о нем с командиром «Марии», «Кагул» шел на всех парусах, преследуемый четырьмя фрегатами Османа-пашы и держа курс не на свой отряд, а прямо на Севастополь.

Это преследование «Кагула» началось еще вечером накануне, когда утих шторм. Как раз в Амастро и отставалась вся эскадра Османа-пашы — пять фрегатов, шлюп и два транспорта с десантным отрядом, предназначенным для высадки в Сухум-Кале.

Турецкая эскадра вошла в порт ночью под седьмое, в дождливую пору; дождь не переставал и седьмого весь день, почему с «Кагула» и не было замечено ее присутствие в порту. Потом начался шторм, и на «Кагуле» все были заняты почти сверхсильной борьбой за целость судна.

Судно отстоять удалось,— повреждений не допустили. Но только что дали себе вполне заслуженный отдых вечером, как показалась в море против фрегата вся турецкая эскадра.

Команда «Кагула» едва успела натянуть паруса и сняться с якоря, так как борьба с пятью турецкими фрегатами и шлюпом была совершенно немислимой и могла бы закон-

читься только гибелью судна, как бы ни была славна эта гибель.

Капитан-лейтенант Спицын, командир «Кагула», решил положиться на легкость хода своего судна; дул же теперь, к почти зюйд-вест, что и определило направление хода.

Старому турецкому адмиралу представлялась и заманчивой, и даже легкой, задача захватить этот русский фрегат так же, как был захвачен в 1829 году другой, тоже сорокапушечный, фрегат «Рафаил», окруженный со всех сторон и после короткого боя спустивший андреевский флаг. Этот бывший «Рафаил», переименованный в «Фазли-Аллах» («Богоданный»), как раз находился в отряде Османа-пашы.

Но в самом начале погоны «Фазли-Аллах» стал отставать от других четырех фрегатов, гораздо более поющих; отстал и шлюп, и вместе с транспортом они старались только не терять из вида свой отряд.

Об этом, конечно, не пришлось уже думать ночью. «Кагул» был ходкий фрегат, так что турки вынуждены были гнаться за ним всю ночь и почти весь день 9 ноября, но все-таки не могли приблизиться к нему на пушечный выстрел, а когда близки уж стали берега Крыма, совсем прекратили погоны.

Но зато они вышли на высоту Сипона и, соединившись с остальными судами своего отряда, пошли к Синопу, счастливо разминувшись с эскадрой Новосильского, которую шторм застал в открытом море.

Впрочем, далеко продвинуться в направлении Сипона не смогли турки: как это часто случается, настал после шторма штиль, и к утру десятого числа весь отряд Османа-пашы остановился и стоял неподвижно млях в пятидесяти от так же неподвижно стоявшей эскадры Новосильского.

За дальностью расстояния противники не видали друг друга, хотя погода в этот день была ясная.

3

Ясная штилевая погода была в этот день и у берегов Кавказа; но эта погода оказалась вполне благоприятной для трех турецких военных пароходов, задумавших атаковать такой же, как и «Кагул», сорокапушечный фрегат «Флору», недалеко от русского укрепления Гагры, против мыса Пидунда.

Эти три парохода были те самые, о которых говорили турецкие шкипера лейтенанты

Железнову. Они были под общей командой Мухтавер-паши — англичанина Следа, — державшего свой адмиральский флаг на пароходе «Танф», если и не более сильным из трех, то наиболее быстходном.

Фрегатом «Флора» командовал капитан-лейтенант Скоробогатов, человек еще молодой, в то время как адмирал След был старый и опытный морской волк: в чине капитана английского флота он участвовал в бою двух турецких кораблей с бригом «Меркурий» и на службу к султану поступил после этого боя.

Силы у Следа-Мухтавер-паши были более чем двойные, и три его парохода могли гавировать, как хотели, вокруг неподвижно, по причине штиля, фрегата. На море была только мертвая зыбь, качавшая фрегат, как полку, а темнота ночи несколько времени скрывала неприятельские пароходы от команды «Флоры».

Их заметили только в два часа ночи, когда небо очистилось от туч и стало гораздо светлее; как раз к этому времени подул, хотя и очень слабый, ветер, и фрегат начал двигаться со скоростью узла полтора в час. Пароходы замечены были впереди на небольшом расстоянии — около мили.

Скоробогатов думал вначале, что это свои, и на всякий случай приказал поднять фонари опознавательных знаков. Пристально вглядываясь потом матросы и офицеры, что ответят пароходы, но ни одного огонька не появилось на их мачтах, потушены были даже огни, видные сквозь люки; наконец, стало заметно, что пароходы идут к фрегату.

— Значит, турки, — решил Скоробогатов и приказал готовиться к бою, — первому в своей жизни и в жизни каждого из людей команды «Флоры».

Приготовления к бою шли, однако, быстро: все видели, что и враг спешил застать русский фрегат врасплох.

Пароходы шли один за другим, направляясь к носовой части фрегата, чтобы взять его под продольный огонь; фрегат повернули к пароходам левым бортом. Вот пароходы, шедшие очень малым ходом, остановились, открылись их борты, и раздалась первая выстрелы. Одно ядро гулко ударилось в борт фрегата, сделав пробой. По шестнадцати орудий одного борта было насчитано у каждого из двух больших пароходов, одиннадцать — у меньшего; так что сорок семь орудий приходилось против двадцати двух на «Флоре». И, однако, русские матросы, несмотря на мертвую зыбь, с первых же залпов

дали почувствовать противнику, что они куда лучше как артиллеристы.

Двадцать минут выдерживали пароходы их пальбу и отошли: в то время как выстрелы из турецких орудий давали перелет за перелетом, русские ядра то там, то здесь попадали в цель.

Это был первый бой парусного судна с паровыми; и парусное, хотя и больше чем вдвое слабое, за себя постояло. Сердце Нахимова, не лежавшее к пароходам, могло бы порадоваться вместе с сердцами матросов «Флоры».

Видя, как уходят, выходя из-под обстрела, суда противника, Скоробогатов приказал прекратить стрельбу.

— Сколько раненых и убитых? Узнать, живо! — понеслась по палубе передача от командира, и не больше как через две минуты дошел до него ответ: — Ни одного!

Быстро, как делается все на судах в море, начали заделывать единственную пробойну, а пароходы стояли вдали, и адмирал След, приведя в известность свои потери, обсуждал с командирами своего отряда план нового нападения на колючий фрегат.

Обсуждение длилось недолго, минут десять, — решено было плана не менять, а действовать, как и прежде; и пароходы снова подошли на выстрел со стороны носа фрегата, который снова же повернулся к ним левым бортом.

Команда «Флоры» понимала, конечно, что окружить фрегат было бы невыгодно пароходам: тогда пришли бы в действие против них все орудия обоих бортов, а это уравновесило бы силы.

Опять загрела пальба. Еще одно ядро впилося в борт фрегата, но зато каждый из пароходов пострадал настолько чувствительно, что через полчаса все они отошли снова на две.

Поспешно застучали матросы-плотники на фрегате, заделывая новую пробойну и приводя в исправность рангоут.

— Много ли убитых и раненых? — спросился Скоробогатов.

И снова тот же ответ:

— Ни одного!

Шутками перекидывались матросы: из такого неравного боя вышли они победителями и без потерь. Но торжествовать было еще рано: адмирал След был не из таких, чтобы примириться со своей неудачей и уйти совсем.

В четвертом часу все три парохода подошли снова, обогнув фрегат, чтобы действо-

вать против его кормы, но залпы их встретили орудия правого борта. В темноте ночи невозможно было определить, насколько успешна была стрельба русских комендоров, по турецкие стреляли из рук воп плохо: снаряды их все время летели через рангоут фрегата.

Но вот прекратилась пальба оттуда, и на «Флоре» ударили отбой. Матросы весело хохотали:

— Тижэют, хо-хо-хо!.. Не поправилось!

Пароходы ушли на этот раз поспешнее, чем прежде, не сделав даже и повои пробони ни в борту, ни на палубе. И Скоробогатов немедленно после прекращения пальбы получил донесение:

— Ни убитых, ни раненых не имеется.

Теперь даже и сам Скоробогатов думал, что турки оставят его в покое и удалятся, но он ошибся: нападения повторялись еще два раза и прекратились только к шести часам, когда появились первые признаки близкого рассвета. Новых пробони не было, потеря в людях тоже.

Когда рассвело, с фрегата увидели, с кем вели такую упорную борьбу ночью: на всех трех пароходах, стоявших вне выстрелов, впились турецкие флаги, адмиральское судно выкрашено было сплошь в черный цвет, два других имели белые полосы вдоль бортов. Все были трехмачтовые.

Скоробогатов, долго не отрывавший глаз от зрительной трубы, оживленно вскрикнул, наконец, обращаясь к своему помощнику, лейтенанту Кондагурову:

— Посмотрите-ка, Павел Апаньевич! Впиде-адмиральский флаг на фор-брам-стенге у черного парохода! Воп с каким чортом мы столкнулись! Что же это за адмирал?

Кондагуров взял трубу у Скоробогатова, но его вниманье привлекло другое:

— Ох, неотбойные! — сказал он. — Кажется, они опять хотяг итти к нам!.. Идут ведь!

Бессонная и беспокойная ночь ничем не отразилась на лице Скоробогатова. Это было лицо твердых линий; остро глядели небольшие серые глаза, часто появлялась на тонких губах насмешливая улыбка.

Улыбнулся Скоробогатов и теперь, беря снова трубу у лейтенанта. Поглядел и отозвался ему:

— Стремятся в бой... Ну, что же: честь и место... Вот теперь то мы им всыпдем в загривок!

Пароходы теперь разделались: адмиральский шел прямо на фрегат, два других захо-

дили между фрегатом и берегом, до которого было на глаз миль десять.

Это показалось загадочным Скоробогатову, но вот он уловил в том направлении, которое взяли два парохода, какое-то маленькое судно и догадался, что это шхуна «Дротик», которая вот-вот станет добычей турок.

— Э-э, воп что, голубчики!

Долго думать над тем, как спасти «Дротик», не приходилось. Скоробогатов приказал повернуть фрегат правым бортом к адмиральскому пароходу и открыть огонь. Первые ядра дали недолет, но теперь, при утреннем свете, Муштавер-паша не рискнул уклониться от боя с почти неподвижным русским фрегатом. Он придвинулся ближе, и началось единоборство, опасность которого для парохода «Танф» увидели командиры других пароходов.

Они оставили шхуну и повернули к фрегату. «Дротик» на веслах пустился к берегу, а на «Флоре» все поняли, что предстоящий бой с турецкими пароходами начинается только теперь.

Двадцать два орудия одного борта пужно было распределить по трем целям, и Скоробогатов десяти из них приказал стрелять в адмиральский пароход, на котором заметил в трубу матросов в европейской одежде.

— Во-он в чем дело, братцы мои! — шумлеши стратился он к Кондагурову.

Через час стало заметно, что черный пароход пострадал больше других, — не все орудия его стреляли. Прошло еще полчаса, — медленней и неуверенней начали отстреливаться и два других парохода; наконец, они ушли, и теперь уже видно было, что ушли совсем, — не к берегам Кавказа, а на запад, к адмиральский пароход позорно тащился на буксире.

— Урра-а! — кричали матросы «Флоры» и снятыми с голов бескозырками махали им велед: парусный русский фрегат одержал полную победу над тремя турецкими «самоварами», которые были вдвое с лишном сильнее, чем он.

Нечего было и спрашивать Скоробогатову, есть ли убитые и раненые: все его матросы и офицеры были палицо. Никаких новых пробони в корпусе судна, ни подводных, ни подводных, не оказалось, рангоут был тоже цел.

Даже сам Скоробогатов был удивлен таким результатом почти двухчасового боя и говорил смеясь:

— Я палину коптр-адмиралу Вукотичу донесение обо всем этом деле, а вдруг он мне не поверит, что тогда?

Как объяснилось в тот же день, турецкие пароходы хотели атаковать Сухум-Кале, на защиту которого мог выступить — конечно, вполне безуспешно — один только маленький тендер «Скорый», так как эскадра, стоявшая там раньше, — два фрегата, два корвета, бриг и четыре парохода, — ушла накануне, под командой вице-адмирала Серебрякова, в экспедицию против вероломно захваченного турками поста св. Николая.

4

Этот пост был атакован эскадрой Серебрякова еще седьмого числа, но об этом не знали ни на «Флоре», ни в Гаграх, ни в Сухум-Кале.

Турки успели со времени захвата поста устроить там несколько батарей и встретили эскадру сильным огнем, так что атака не увенчалась удачей.

Потеряв несколько человек после двухчасовой перестрелки, Серебряков счел за лучшее сняться с якоря и идти к Требизонду, но на пути застал эскадру шторм, хотя здесь он и не был такой большой силы, как между Амастро и Синопом. После этой второй неудачи Серебряков решил вернуться в Сухум-Кале, куда и пришел десятого к ночи, одновременно с «Флорой».

Ни о подвиге команды «Флоры», ни о неудаче адмирала Серебрякова не знал Нахимов, когда с тремя восьмидесятипудовыми кораблями и бригом «Эней» он подошел, наконец, 11 ноября к Синопу.

Это была торжественная не только для самого Нахимова, но и для всех команд четырех его судов минута, когда разглядели они не только белые стены города, его мечети и минареты в одной стороне и греческие церкви в другой, но и мачты укрывшегося в бухте турецкого флота.

— Так вот где она, наконец, эта турецкая эскадра! — радостно говорили матросы.

Нахимов на «Марип» подошел к самому входу в бухту, чтобы подсчитать турецкие суда, и долго и внимательно разглядывал он их глазами опытного моряка. Тут было семь фрегатов, три корвета и шлюп, два транспорта и два парохода — один большой, черного цвета, другой — малый.

Большой пароход был тот самый «Танф», который более двух других потерпел при столкновении с «Флорой». Доведя его на буксире до Синопа, где можно было ему чиниться (здесь были доки), его товарищи ушли в Востор.

С эскадрой же из двух фрегатов и двух корветов, бывшей под командой адмирала Гусейна-паши и стоявшей здесь раньше, соединилась пришедшая сюда в ночь с 10 на 11 ноября эскадра Османа-паши, которую Корнилов дважды принял за эскадру Нахимова.

Бухта, известная в глубокой древности как самая удобная из всех на Анатолийском берегу, прикрывалась с севера гористым высоким полуостровом, самый же город, расположенный на узком перешейке, — родина Митридата, царя Понтийского и столица его царства, — некогда был многолюден, теперь было в нем жителей тысяч двенадцать. Привластная к Синопу местность была лесиста, и оттуда вывозился лес. Здесь была и верфь для постройки небольших судов. Длинный мол тянулся в бухте вдоль берега.

Одну береговую батарею разглядел Нахимов с правой стороны, при входе в бухту, другую — с левой, но об этом он знал и раньше. Самое же важное, о чем он только мечтал, как о том, что едва ли случится, исполнилось, будто турецкие адмиралы проникли в тайники его души и решили пойти навстречу его желаниям: они объединились под надежной защитой городских укреплений.

Но надолго ли? Успеют ли починиться к этому времени корабли «Ягудил» и «Храбрый» и вернуться в отряд? Хотя бы фрегат «Багул» явился на подкрепление сил! Нельзя же с тремя восьмидесятипудовыми кораблями атаковать целый турецкий флот. С ними опасно идти даже и на один береговой батарея!

— Вот бы когда пригодились самовары! — сокрушенно говорил племяннику Нахимов.

— Может быть, придет какой-нибудь пароход из Севастополя, — пытался успокоить дядю Воеводский.

— Как это «может быть»? Почему это «может быть»? — возмущался Нахимов. — То есть незначай как-нибудь забредет ко мне?... Нет-с! Послать должны-с! Вель турки наш рагрут отлично видели через перешеек, когда мы подходили, а тем более теперь видят-с... Четыре судна всего, считая с бригом, — ты думаешь это им неизвестно? Прекрасно известно-с!.. Им остается только выйти из порта и па меня напасть, — чему я и буду рад-с! Очень рад-с!

— Нехватит смелости у них на это.

— Ага, вот видишь!.. И нехватит! И не выйдут, чтобы па меня напасть, а выйдут, чтобы уйти из ловушки, вот что-с! Потому что это для них ловушка и гибель, да-с!

— Едва ли они так думают, что для них гибель! Не наоборот ли?

Под диктовку Павла Степановича Воеводский написал рапорт командиру севастопольского порта, вице-адмиралу Станюковичу:

«Обозревши сего числа в самом близком расстоянии порт Синоп, я пашел там не два фрегата, корвет и транспорт, как доносил, а семь фрегатов, два корвета, один шлюп и два больших парохода, стоящих на рейде под прикрытием береговых батарей.

«Предполагая, что есть какая-нибудь цель у неприятеля, чтобы собрать такой отряд военных судов в Синопе, я положительно останусь здесь в крейсерстве и буду их блокировать до прибытия ко мне двух кораблей, отправленных мною в Севастополь для исправления повреждений; тогда, несмотря на вновь устроенные батареи, кроме тех, которые показаны на карте, и я не задумаюсь их атаковать.

«Убедительнейше прошу ваше превосходительство поспешить прислать два корабля моего отряда и фрегат «Кулевчи», который, вместо двух недель, как предполагали отправить его из Севастополя, стоит там более месяца. Если корабли «Святослав» и «Храбрый» прибыли, то их легко снабдить реями и парусами со старых кораблей, если же нет, или они имеют более значительные повреждения, тогда нельзя ли прислать один из новых, ступенчатых, и корабль «Ягудия».

«В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них, как без рук. Если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два.

«Последние новости от опрошенного греческого судна, которое вышло из Константинополя четыре дня назад: английский, французский и турецкий флоты стоят в Босфоре; для снабжения провизией французского флота как в Константинополе, так и в Черном море, делается подряд.

«При этом представляю план расположения неприятельских судов в Синопе».

С рапортом послан был бриг «Эпсй», по его командиру приказано было Нахимовым непременно дойти раньше до места стоянки «Кагула» и передать, что фрегат должен немедленно отправляться к Синопу, на соединение со своим отрядом.

Было утро 12 ноября, когда вестовой бриг отбыл на запад, к мысу Керемпе и дальше, но направленню к Амастро, где мог находиться «Кагул».

Не найдя фрегата, «Эпей» повернул к Севастополю, но он потерял напрасно целые сутки, а «Кагул» в это время сам шел от берегов Крыма к эскадре Нахимова.

Курьер Нахимова, бриг «Эпей», привез рапорт адмирала командиру севастопольского порта Станюковичу в полдень 16 ноября, а часов в десять утра в тот же день совершилось самое счастливое событие в жизни Нахимова: на горизонте, в северном направлении, показались корабли, державшие курс как раз на мыс Пахиос, около которого стояла эскадра из трех судов, осмелившаяся блокировать Синоп со всеми фрегатами и корветами, нашедшими убежище на его рейде.

На трех кораблях Нахимова было всего только 250 орудий против 460 на турецких судах, — насмешкой могла бы показаться такая блокада!

В уютном порту, в бухте, глядевшей на юг, отрезанной от Черного моря, — действительно черного в это время года, — спокойно стоял турецкий флот, и длинные пушки шести береговых батарей служили ему надежным оплотом: флот был у себя дома. А три двухпалубных русских корабля крейсеровали в открытом море четверо суток, стараясь только об одном, как бы не выпустить, не упустить из их же порта турок, которые были почти вдвое сильнее их!

Все это время дули сильные ветры, часто переходившие в бурю, за которой следовал то проливной дождь, то снег, — казалось, где-то назрел уже «бора» и несется сюда, чтобы искалечить и эти три последние корабля так же, как несколько дней назад были искалечены три других и пароход «Бессарабия».

Дошли ли они до Севастополя?.. Где тепло, там и вьется, — могли потерпеть новую аварию в пути. А к туркам не пойдут ли за эти дни новые силы?.. Было над чем думать командиру маленькой русской эскадры!..

Даже и эти суда, которые разглядели с салингов матросы, могли быть турецкими, а совсем не своими. Рапгюты их маячили неясно в снежной метели — то появлялись, то исчезали, и матросы то и дело сбивались в счете судов, тем более что суда шли в кильватер.

Однако, хотя и матчы, на которых сидели матросы, качались под свежим ветром, и снег слепил глаза, все-таки допосещения от них шли такие, будто приближаются несколько кораблей — три или четыре, или даже пять, между тем как Нахимов ожидал только двух, отосланных им же самим чиниться после шторма.

Не менее получаса прошло в колебаниях:

чи это суда, которых неожиданно несколько, а не два? На всякий случай приказано было готовиться к бою... Но вот пронесло метель, прояснилась даль, а суда подходили быстро, полным ходом. И, наконец, сам Нахимов разглядел, что головное судно был стопушечный корабль «Париж», с контр-адмиральским флагом, а в кильватере за ним — «Константин».

— Ого! Ого!.. Вот как-с! — радостно бормотал Нахимов, не отрываясь от своей трубы. — «Париж» и «Константин»!.. И... неужели «Три святителя»? Ого! Ого!.. Вот это так! Вот за это спасибо Владимиру Алексичу!.. Вот удружил так удружил! А? Вот «ура» так «ура»! И «Кагул» мой в хвосте!.. Ведь это «Кагул»?.. Ну, разумеется, «Кагул»!.. Как же он очутился тут, с кораблями четвертой дивизии?.. Вот это подарок так подарок! «Кагул» и есть!.. Три стопушечных и фрегат, и все дошли в исправности! Молодчина Федор Михайлович!.. Ах, что за молодчина! Конфетка! Положительно, конфетка!

Он не знал, что это торжественное шествие русских кораблей на помощь ему, Нахимову, воочию представил еще накануне старый турецкий адмирал Осман-паша. Число кораблей, занятых блокадой синопского порта, удвоилось в его глазах еще 15 (27) ноября, когда послал он телеграмму в Константинополь, что перед Синопом крейсируют шесть линейных кораблей! Он добавлял к ним еще бриг и два парохода, чтобы в Константинополе прониклись ужасом его положения и поспешили его спасать. Не забыл он при этом и «Кагул», за которым гнался почти двое суток, но в телеграмме его один русский фрегат выразил в восемь фрегатов, и вся флотилия эта, с двумя пароходами впереди, крейсировала, по его словам, между Синопом и Босфором.

Это была не телеграмма, а крик сердца. Но... но в Константинополе как раз в это время праздновали «победу турецких пароходов над русскими фрегатами», известие о которой привезли сюда те самые два парохода, которые, отбуксировав «Таиф» до Синопа, отправились дальше в Босфор. При этом «Флора», от которой постыдно бежали все три парохода, превратилась не больше, не меньше, как в целую эскадру самого Нахимова!.. Если три турецких парохода, — под командой, правда, Мунтавер-паши, — смогли разгромить эскадру Нахимова, то, разумеется, только явной трусости могли приписать в Константинополе телеграмму Османа-паши. А незадолго перед этим корреспондент одной лондонской газеты сообщал в Лондон, что египетский пароход «Перваз-Бахры» притащил на буксире в Константинополь разби-

тый им русский пароход «Владимир», и находившийся на нем адмирал Корнилов теперь в плену у турок...

Толки о блестящих успехах турецких моряков не прекращались в Константинополе, разнесаясь и по другим европейским столицам, и вдруг зов о безотложной помощи из такого сильного порта, как Синоп! Конечно, этот зов был приписан неуместному малодушию, да и непрерывно бурная погода совсем не располагала к тому, чтобы турецкое правительство решилось послать свой парусный флот сражаться не столько с русскими судами, сколько со шхорами: и без того в истории турецкого флота достаточно было случаев гибели, не только порчи кораблей во время равнодушных бурь, особенно сильных осенью.

Подходили перенесшие не одну бурю в пути корабли эскадры Новосильского и приставший к ним фрегат «Кагул». Их паруса были занесены снегом, кое-где оледенели, — но это только прибавляло торжественности долгожданной минуте. Даже сам Нахимов кричал «ура», не только многотерпеливые команды трех его судов.

2

В кают-компании «Марии» шло вечером в этот день совещание флагманов и командиров судов о предстоящем деле: получив столь неожиданно для себя такую сильную подмогу, Нахимов спешил посвятить в свои планы весь высший командный состав.

Крылья небывалого еще в жизни счастья, осенявшие его утром, когда подходил Новосильский, чувствовались всеми сидевшими с ним теперь за столом кают-компании: как помолодели вдруг голубые пятидесятилетние глаза! Какая убежденная и даже плавная появилась речь! Какая осанка у этого привычно для всех сутуловатого, очень простого в обращении со всеми человека, говоря с которым даже мичманы иногда забывали, что он вице-адмирал!..

Теперь, в это совещание перед боем, об этом последнем помнили и капитаны 1-го ранга; и один из них, командир корабля «Париж» Истомин, — красивый, лысоватый седеба, спокойных и уравновешенных манер, — поднявшись, обратился к нему не по имени-отчеству, как это было тогда принято у моряков, а по чину:

— Ваше превосходительство, меня занимает вопрос, каким образом мы, вступив в перестрелку с турецкими судами, можем не задеть снарядами городских строений... Вель непременно будет стрельба по такелажу, бу-

дут и перелеты,— нельзя ручаться, что их совсем не будет,— а если так, то пострадает, разумеется, и город, в той или иной степени. А между тем мы этого допустить не смеем,— так пришлось слышать мне в Севастополе.

— Вам пришлось слышать, а я получил такой приказ от князя, вот через Федора Михайловича,— очень живо отозвался на это Нахимов, кивнув в сторону сидевшего с ним рядом Повосильского.— И хотел сказать об этом сам,— вы меня предупредили. Мне, господа,— обратился он ко всем,— очень хорошо известно это было и раньше: ведь это не только желание князя, это идет от министерств, из Петербурга. «Уничтожать турецкие суда при встрече с ними в море»... Так-с, прекрасно-с!.. Вот Владимиру Алексеичу посчастливилось одно такое судно встретить в открытом море, и он его уничтожил, или почти уничтожил... Не спросил я вас, Федор Михайлович, дошел ли этот экипаж до Севастополя?

— Дойти дошел, только едва ли куда годится,— ответил Повосильский.

— Ну, вот-с, значит, почти уничтожен!.. Повезло, выходит, Владимиру Алексеичу, а не шам-с! Если турки не вышли из Синопа, когда у меня только три корабля было, то теперь их и калачом не выманишь! А между тем у меня в руках приказ: истребить два фрегата и два корвета, сто-я-щие в Синопском порту! Запоздалый приказ, как всегда бывает: теперь уже там целая эскадра, а не два фрегата. Но приказ остается приказом: мы должны напасть на турецкие суда, сколько бы их там ни оказалось. Сто-я-щие в порту! Вот как-с!.. Значит,— это наша основная задача: получив не только разрешение, но и приказ, мы должны действовать безотлагательно... Великой важности вопрос поднят вами, Владимир Иванович,— обратился он к Истомину,— но ответ на него даст только будущее; да-с, только будущее. По возможности, господа, мы должны щадить город,— об этом вы скажете командам своих судов, да, наконец, я должен буду упомянуть это и в приказе по отряду, да-с; но-о не в ущерб для своих действий,— это прошу иметь прежде всего в виду-с!.. Если турецкие корабли стоят на причале, скажем, у самой набережной, а вдоль этой набережной расставлены орудия береговых батарей, которые каменными ядрами в нас лупить будут, отчего у нас непременно,— это прошу иметь в виду-с!— непременно начнутся пожары, то как же команды наши сохранят ледяное хладнокровие для ответной стрельбы, чтобы ни-сколько не пострадал от нее город? Я по крайней мере не в состоянии этого себе пред-

ставить... Вот вы, Владимир Иванович, были сами в Наваринском бою...

— Отлично помню, ваше превосходительство,— снова поднявшись, заговорил Истомин.— Помню, что турецкие суда взрывались и горящее дерево с вих несло на город

— Вот! Вот-с! Именно это я и хотел сказать!— подхватил Нахимов, щелкнув пальцами.— Пожары, возможно, будут у нас на судах, пожары — непременно это — будут у них на судах, и пожары — мы избежать этого не сможем — начнутся и в городе, поближе к месту боя... Это — закон!.. Это — война! Это — не какая-то там игра девичья! Фанты:

Вам прислали сто рублей,
Что хотите, то купите,
Черного-белого не покупайте,
Что угодно приказать?

Нахимов проскандировал это с таким увлечением, что все улыбнулись, а он продолжал с еще большим задором:

— «Черного-белого не покупайте», по берегам огню не стреляйте, а то англичане на нас надуются,— не турки, нет! Однако же турки напали на наш пост св. Николая? Напали! Всех там уничтожили и самый пост захватили? И уничтожили, и захватили! Так почему же мы это должны терпеть-с, я вас спрашиваю? Мы воюем или нет? Воюем,— был выпущен высочайший манифест о войне с Турцией. Суда турецкие топить в море можем? Можем,— это право нам дано... даю, несмотря на то-с, что Англия претендует на очень многое, господа! На то претендует, как вам и без меня известно-с, чтобы во всем мире, на всех океанах и морях, не было сделано ни одного выстрела без ее, Англии, на то разрешения, вот на что-с!.. Так что если мы истребим хотя бы два фрегата турецких, разве мы не обидим Англии и этим?

— Оскорбим смертельно!— ответил за всех капитан 1-го ранга Кузнецов, командир «Ростислава», человек широкий, приземистый, и суровый не только на вид.

— Верно-с, оскорбим смертельно, и все равно войны с нею не избежим,— подтвердил Нахимов.— Так что, к чему эти всякие дипломатические увертки и самостеснения, мне мало понятно... Но я отвлекся в сторону от сути дела, господа... А суть заключается, помоему, вот в чем... Орудия на берегу,— их всех оказалось сорок, господа, так как две батареи у них по восьми орудий, остальные четыре — по шесть,— эти орудия для нас наиболее опасны-с, это первое, да-с... Но ведь турецкие адмиралы надеются не только на них, иначе они не стояли бы в своей луже-с...

— Не думают ли они нам ловушку устроить?— спросил Новосильский, так как к нему обращен был взгляд Нахимова.

— Именно-с! Именно-с это самое!— и вздернул плечи, как бы внезапно пораженный такою догадливостью, Нахимов.— Но как же все-таки устроят они эту ловушку?

Теперь Нахимов переводил глаза с одного на другого из сидевших около него за столом, и командир корабля «Три святителя», Кутров, ответил за всех:

— Допустить можно, что хотят поставить нас в два огня, ваше превосходительство.

— В два огня? Каким образом в два огня?

— А это я в том смысле, что, может быть, уже идет другая турецкая эскадра сюда из Босфора,— объяснил Кутров.

— Прекрасно-с! Это был бы для нас самый лучший выход из положения!— очень оживленно отозвался Нахимов.— Я лично был бы очень рад и с тремя своими кораблями пошел бы второй эскадре навстречу, а Федор Михайлович со своими встретил бы как нельзя лучше синопцев! Таким образом мы избежали бы чего именно-с? Да прежде всего необходимости подставлять себя под выстрелы береговых батарей, вот чего-с! А в ничто и заключается эта самая для нас приготовленная ловушка-с!

Тут Нахимов выждал некоторое время, переводя глаза с Истомина на Кузнецова, с Кутрова на Ергомышева— командира корабля «Константин», и добавил, понизив голос, точно выдавал нечто весьма секретное:

— Не знаю-с, как сделают турецкие адмиралы, а я бы сделал на их месте так: снял бы орудия со всех судов с одного борта да поставил бы их на берегу-с, вот как-с!.. А вдруг они именно так и сделают, господа, а? Ведь у них берег, а не у нас, а половина их орудий все равно им бесполезна для дела... И вот при таком обороте, господа, мы имели бы против себя на берегу не сорок, а двести семьдесят, если не больше, пушек. Вот если мы с этим столкнемся, то тут-то и будет для нас ловушка-с! Вот это и будет значить вполне и решительно: поставить нас в два огня-с!

Озабоченно переглянулись командиры судов, а Новосильский сказал успокоительно:

— Не догадаются сделать так турки, Павел Степаныч!

— А если там есть, кроме турок, и англичане и французы?— обратился к нему Истомин.

Спицын же, командир «Кагула», покрутив головой и улыбаясь, ответил Истому за Новосильского:

— Хотя я и не турок, а скорее англича-

нин или француз, но тоже ни за что бы не догадался так сделать!

И все улыбались, глядя на этого бедового капитан-лейтенанта, который сорок пять часов тащил за собой, как на невидимом буксире, четыре фрегата противника, справедливо рассудив, что бой с ними не может сулить ему победы, и к чему в таком случае напрасно и заведомо отдавать гибели и судно и команду, если можно этого избежать?

— Вы, Федор Михайлыч, говорите: не догадаются, но нам надо действовать так, чтобы не допустить их до этого, если бы они и догадались вдруг,— сказала Новосильскому Нахимов.— Пока они этого не сделали,— я лично за этим слежу,— а за один завтрашний день уж не успеют этого сделать; двести с лишком орудий снять с судов,— на это на одно пушко большое время, но ведь пушко не только их снять, а еще и установить на берегу в укреплениях,— на это времени втрое больше-с; так что, опоздали они с этим, господа!— протянул он и укоризненно, по адресу турецких адмиралов, покивал головой.

— Да, если бы они сделали так раньше!— сказал командир «Чесмы», Микрюков.

— А у них было время именно так сделать,— дополнил сказанное им Барановский. Нахимов же заключил:

— Тогда они были бы неприступны-с! А если бы вдруг они взялись за это сегодня, то завтра же утром мы их должны были бы атаковать... Но я думаю все-таки, что завтра мы еще можем дать несколько отдохнуть и оглядеться в незнакомой местности командам новоприбывших судов, что я считаю очень важным, а восемнадцатого, господа, может быть атака, и там уж что бог пошлет, да-с, что бог пошлет!.. Однако в успех я верю. Надеюсь вполне на вас, что верите и вы все; а уж что касается младших офицеров и молодцов-матросов, то в этих не может и тени возникнуть сомнения, что они обрадуют Россию... и тени сомнения быть не может... Расскажите, господа, вашим командам о Наваринском бое... Вот вы, Владимир Иваныч, как очевидец, да и дар слова имеете, хорошо можете это им напомнить! (Истомин поднялся, слегка наклонил корпус и сказал: «Есть, Павел Степаныч!») Напомните матросам, как еще за месяц до Наваринского боя турки выказывали страх перед русскими,— не перед английскими, не перед французскими, а именно перед нашими судами! Когда мы, делая эволюции только, сближались с их судами,— это видели тогда все, господа!— турки бежали в сто-

рону английского флота!.. Английский флот им казался гораздо менее страшен, чем русский: вот как палубал их еще адмирал Ушаков! Я сам читал после, — где-то в английской газете печаталось письмо сына адмирала Коррингтона из Наварина матери в Лондон; от тех времен письмо, — и он буквально пишет матери то самое, что я вам сейчас сказал. Так что, стало быть, и англичане этот страх тугок перед русскими моряками заметили-с!.. А строй их и перед Синопом такой же самый, как и в Наваринской бухте: подкова-с... полумесяц... самый неудачный для них строй, так как не станут же они идти на охват нас с обеих флангов! Вообще я уверен, что двигаться они не станут, поэтому и мы станем на якорь, как только войдем и построимся против них...

— Этот строй удобен для них только затем, чтобы выбрасываться на берег, когда они будут разбиты, — вставил Новосильский, лишь только сделал паузу Нахимов.

— Да, они выкинутся, это так, и едва ли, едва ли, господа, нам удастся захватить что-либо из этих судов, — посетовал Нахимов. — Если ветер послезавтра не переменится, то он будет нам в спину, а нам в лицо, — вот еще причина, что мы должны удерживаться на своих местах, иначе нас ветер погонит на их суда, — а это худо. Войти же на рейд мы должны будем двумя колоннами: я с тремя кораблями буду действовать против их правого крыла и батарей, а вы, Федор Михайлович, тоже с тремя — против левого и тоже двух или трех береговых батарей, — это смотря по тому, смогут ли нас достать их крайние две батареи; мне кажется, что они у них стоят неудачно, однако дело покажет, сколькo дальнoбойны там орудия... Что еще мне вам остается сказать, господа?.. Подробности будут изложены мной в приказе, за которым прошу прислать по одному младшему офицеру завтра утром, а пока думаю я, что туркам ничего больше не остается, как защищаться отчаянно... Они хотя и верят в виснет — в судьбу; по судьба судьбой, а дешево они жизни не продадут, и потери у нас должны быть не малые — главным образом от береговых батарей, разумеется. Так что если мне суждено будет погибнуть во время сражения, погиб же Нельсон в бою, — то команда эскадрой переходит к контр-адмиралу Новосильскому.

На другой день утром показалось со стороны Севастополя еще одно парусное судно, шедшее явно на соединение с отрядом Нахимова. Скоро узнали в нем фрегат «Кулевчи», бывший под командой капитан-лейтенанта Будищева, человека прекрасного и в то же время общего любимца во флоте, способного выкинуть любую озорную штуку, бонмотиста, игрока, кутилы. Он не пустился бы уходить от четырех фрегатов Османа-паши, он непременно бы затеял с ними драку — и, как знать, может быть, драка эта кончилась бы у него тем же, чем и у Казарского, на бриге «Меркурий»..

Под его командой даже и самый этот фрегат «Кулевчи» приобрел какой-то озорноватый вид. Задор сквозил во всех его снастях даже и теперь, после двух суток пути по очень беспокойному морю.

По приказу Меншикова, он вышел из Севастополя на рассвете 15 числа, чтобы передать, наконец, Нахимову «высочайшее повеление», как ему следует поступать. Хотя это повеление было уж передано ему на словах Новосильским, но одно дело — на словах и совсем другое — на бумаге.

От Будищева Павел Степанович получил тот самый пакет, который послал Меншиков раньше, с пароходами «Одесса» и «Громомосец». По оба парохода попали в шторм 7—8 ноября, который так повредил их, что они, не дойдя до эскадры Нахимова, повернули снова в Севастополь.

Высочайшие повеления состояли из трех пунктов: во-первых, турецкие приморские города не атаковать; во-вторых, турецкий флот стараться истребить; если он вышел в море; и в-третьих, стараться отрезывать сообщение между Константинополем и Балумом.

Повеления эти весьма запоздали: они были помечены 23-м числом октября.

— Так-с... Да-с... Очень хорошо-с... Я уж шад этим думаю и говорил вчерашний день-с, — бормотал Нахимов. — В Синопе есть консульства... На них непременно выкнут национальные флаги, а как вы полагаете? — спросил он Будищева, продолжая держать полученную от него бумажку.

Невысокий, рыжий, с маленькими косоватыми глазками, Будищев тут же ответил:

— Не только свои флаги выкинут, а и себя тоже как можно дальше от Синопа, чуть только увидят, что корабли наши входят на рейд, Павел Степанович!

— Ну, да-с, это, конечно, так и будет, — согласился Нахимов. — Насчет консульских

домов можно будет вставить в приказ, а гарантии дать, что они останутся в целости,—этого уж от меня не просите-с!

Был, кроме этого пакета, еще второй, более поздний, от Меншикова. Глязяд писал:

«Приказываю вам, по истреблении в Синопе неприятельских судов — двух фрегатов и двух корветов, пройти с эскадрой вдоль Анатолии к восточным берегам Черного моря, у которых появились турецкие пароходы и делают нападения на крейсирующие там суда...»

— Вот как? — изумился Нахимов. — А на какие же суда делались ими нападения, не знаете? И кто именно привез эти сведения в Севастополь?

Будищев ответил, что сведения получены там от командира парохода «Херсонес», Руднева, который был в эскадре Серебрякова при атаке поста св. Николая, окончившейся неудачно, — а нападение трех пароходов на «Флору» было блестяще отбито и совершенно без потерь.

— Ах, молодцы! Вот молодцы! — обрадовался Нахимов, услыхав о «Флоре». — Команда, команда у Скоробогатова молодец к молодцу! Да ведь и сам молодец, — весь в команду свою; а команда — в него-с. И неужели же столько часов боя — и так-таки ни одного человека не потерял?

— Руднев привез донесение! об этом от контр-адмирала Вукотича.

— Ну, с нами уж этого быть не может, — озабоченно возразил Нахимов. — Береговые батареи — вот что будет нам в тягость... Против адмирала Серебрякова что же там могло быть выставлено на берегу? Пушечки-с! И то вот, вы говорите — неудача, а в Синопе совсем не шутяки, да, кроме того еще и двенадцать военных судов, из них два парохода. В умелых руках эти два парохода могут зайти нам в тыл и обстреливать наши корабли продольно, — вот что скверно-с! Да еще есть предположение, как вы доложили, что среди команд их видели англичан, а не кого-нибудь... В таком случае, вы будете, вместе с «Кагулом», оба фрегата, отражены на предмет наблюдения... за действиями этих самых двух пароходов, — так будет лучше всего-с... А что они — те самые, два из тех трех, — в этом сомнению быть не может-с... Третий же или сейчас в Требизонде или ушел в Босфор, за подмогой Осману-паше... Да это скорее всего, что он послан в Константинополь, и нам поэтому надо завтра же покончить с этим делом...

Прощайте-с пока, готовьте своих людей к сражению; хотя они и усташи, но что же делать-с. А часа через два одного из младших офицеров пришлите ко мне за получением приказа.

Так как сражение предстояло весьма серьезное, то и приказ Нахимова оказался довольно обширным. Он касался и диспозиции судов во время боя, и действий их перед началом боя, и в самом начале, — справедливо полагая, на основании опыта Наварина, что раз бой начался, то руководить им в дальнейшем ему, командиру всего отряда, будет трудно.

Вот этот исторический приказ с небольшим сокращением:

«Располагая при первом удобном случае атаковать неприятеля, стоящего в Синопе в числе семи фрегатов, двух корветов, одного шлюпа, двух пароходов и двух транспортов, я составил диспозицию для атаки их и прошу командиров стать по одной на якорь и иметь в виду следующее:

«1. При входе на рейд бросать якорь, ибо может случиться, что неприятель перейдет на мелководье, и тогда стать на возможно близком от него расстоянии, но на глубине не менее десяти сажень.

2. Иметь шпринг¹ на оба якоря; если при нападении на неприятеля будет ветер N, самый благоприятный, тогда вытравить цепи шестьдесят сажень, иметь столько же и шпрингу... Вообще со шпрингами быть крайне осмотрительными, ибо они часто остаются недействительными от малейшего невнимания и промедления времени.

«3. Перед входом в Синопский залив, если позволит погода, для сбережения гребных судов на рострах, я сделаю сигнал спустить их у борта на противоположной стороне неприятелю.

«4. При атаке иметь осторожность, не палить даром по тем из судов, кои спустят флаги, посылать же для овладения ими не иначе, как по сигналу адмирала, стараясь лучше употребить время для поражения противящихся судов или батарей, которые, без сомнения, не перестанут палить, если бы с неприятельскими судами дело и было кончено.

¹ Шпринг — особое приспособление, состоящее из канатов, которое можно назвать в жалами корабля. Одним концом прикрепляясь к якорю, другим — к битенгу — толстому брусу внутри кормы. — шпринг служит для поврачивания корабля бортом в нужную сторону.

«5. Ныне же осмотреть заклепки у цепей на случай надобности расклепать их¹.

«6. Открыть огонь по неприятелю по второму адмиральскому выстрелу, если пред тем со стороны неприятеля не будет никакого сопротивления нашему на него наступлению; в противном случае, палить, как кому возможно, соображаясь с расстоянием неприятельских судов.

«7. Став на якорь и уладив шпринг (то есть повернув им корабль бортом к неприятелю), первые выстрелы должны быть прицельные; при этом хорошо заметить положение пушечного клипа на подушке мелом, для того, что после, в дыму, не будет видно неприятеля, а нужно поддерживать быстрый батальный огонь. Само собой разумеется, что он должен быть направлен по тому же положению орудия, как и при первых выстрелах.

«8. Атакую неприятеля на якорь, хорошо иметь, как и под парусами, одного офицера на грот-мачте или салинге² для наблюдения при батальном огне за направлением своих выстрелов, а буде они не достигают своей цели, офицер сообщает о том на шкапцы, для направления шпринга.

«9. Фрегатам «Кагул» и «Кулевчи» во время действия оставаться под парусами, для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему.

«10. Завязав дело с неприятельскими судами, стараться, по возможности, не вредить консульским домам, на которых будут подплеты национальные их флаги.

«В заключение выскажу свою мысль, что все предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего свое дело, и потому я предоставляю каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнять свой долг.

¹ Заклепки были на якорных цепях и их приходилось по одной на каждые пятнадцать сажень цепи. При необходимости поспешно сняться с якоря гораздо легче и скорее расклепать такую заклепку, чем вытянуть всю длинную якорную цепь; освобожденное таким образом от якоря судно быстро могло переменить место.

² Грот-марс — первая площадка на грот-мачте, то есть самой большой мачты корабля; салинг — вторая площадка на той же мачте. Офицер-наблюдатель, поместившись на одной из этих площадок, где пороховой дым не так мешает видеть действие своих выстрелов, может и должен передавать результаты своих наблюдений вниз, на палубу, и этим содействовать тому, чтобы стрельба велась по целям, а не впустую.

«Россия ожидает славных подвигов от Черноморского флота, от нас зависит оправдать ожидания».

Получив этот приказ, командиры судов не нашли в нем ничего для себя нового: картина предстоявшего им большого и решительного боя была и без того ясна каждому из них после совещания с командиром отряда, заключение же приказа было обычно-нахимовское: «все предварительные наставления» тщательно отметались, так как они «при переменившихся обстоятельствах могут только затруднить командира, знающего свое дело».

Морской бой обыкновенно бывает очень короток сравнительно с сухопутными боями, но в то же время чрезвычайно значителен по своим результатам, и командиры судов знали, конечно, что им надо готовиться к сражению, которое назовут историческим, но в то же время знали и другое, — что успех его будет зависеть от всей подготовки к нему, тягущейся и для них самих и для команд их судов долгие, очень долгие годы.

Глава пятая

1

Нахимов в своем приказе, датном 17(29) ноября, не назначил дня атаки. Он сознательно, конечно, допустил полную неопределенность в этом, откладывая сигнал к атаке до «первого удобного случая». Военное судно, крейсируя в море во время войны, всегда должно быть готово к этому сигналу, и нет нужды заранее назначать для этого определенный день или час, тем более что «первый удобный случай» вполне может разминуться с этим заранее назначенным днем, даже часом.

Однако про себя он решил действовать без промедлений: слишком долго он ждал, крейсируя без захода в порт свыше месяца в штормовые погоды, именно этого «удобного случая», чтобы упустить его, когда он представится во всей желанности и силе.

Утро 18(30) числа было мглисто, сеялся мелкий дождь, видимость была скверная... Но при всем этом дул самый благоприятный для нападения на суда в Синопской бухте ветер — норд, хотя и шквалистый; временами он ревел глухо, как в лесу, в онастях восьми русских судов, временами слабел.

Ночью ветер был гораздо яростней, и дождь лил крупный, упорный, и темнота кругом была крошечная, так что трудно было ожидать, чтобы утро предоставило «удобный случай» для атаки турецкого флота.

Скучно и медленно пробивался свет сквозь сплошную тучу, окутавшую небо над морем. В восемь часов все кругом было еще очень неразборчиво, только в девять, наконец, прояснилось, и дан был сигнал с адмиральского корабля «Мария» спустить гребные суда соответственно приказу.

Это показало всем, что скоро начнется дело. Спуская шлюпки с палубы за борт, матросы взглядывали на мачты «Мария»: не появится ли новый сигнал, после которого окончательно должен стать ясным даже этот, только что наступивший, дождливый день. И сигнал был поднят в половине десятого: «Притовориться к бою и идти на Синопский рейд...» Слов было очень мало, — смысл их ясной.

Но как же все-таки нужно было «готовиться к бою, когда и без того все и всегда было к нему готово? Это знали судовые священники: боцмана, взвизывая за свои свистки, вызывали всех матросов «паверх», на якорь, который тянулся довольно долго. Но вот он кончился, заплескались на брантеньгах национальные флаги, отданы были коря, и эскадра двинулась к Синопу, строя по заранее полученной диспозиции, на одну, в две колонны; правую вел Нахимов на «Марии», левую — Новосильский на корабле «Париж». Вместо «Ростислава», в колонну Нахимова вступили вторым «Константин», третьим оставался «Чесма», так что колонна Новосильского, в которой было два стопушечных корабля — «Париж» и «Три святителя», называлась сильнее колонны самого Нахимова, — это был жест великодушия со стороны командира отряда.

Но, кроме этого жеста, было также и сожаление, казавшееся Нахимову вероятным: заметил, что наиболее сильные турецкие суда — шестидесятипушечные фрегаты, которых было всего четыре, расположились на лангах, на рогах полумесяца, по два с каждого фланга, а более слабые, сорокапушечные, — в середине; причем между обоими рядами был интервал, дававший возможность действовать большой батарее, расположенной прямо на набережной Синопа.

Против колонны Нахимова должно было прийти шесть судов, против колонны Новосильского — только четыре, но за то на эту колонну ложилась задача борьбы и с береговой батареей на набережной, в то время как суда Нахимова должны были не только подавить огонь пяти турецких фрегатов и корвета, но еще и уничтожить батарею укрепле-

ния, лежавшего вне городской черты, однако в близком соседстве с городом.

Каждой из колонн, кроме того, предстояло выдержать и потушить огонь батарей, охраняющих вход в бухту; две же остальные батареи, которым Нахимов не придавал особого значения, не могли влиять на исход боя, так как находились довольно далеко от Синопа, но их нельзя было миновать, опояывая полуостров, чтобы войти в бухту.

Когда началось движение русских судов, шел уже двенадцатый час.

Продолжал идти дождь, продолжал гудеть порывистый ветер; команды всех восьми кораблей были приподнято настроены: никто не сомневался в победе; однако, не всякий был уверен в том, что уцелеет в бою, а на судно под вице-адмиральским флагом, на «Марии», глядели напряженно, чтобы не пропустить сигнала к началу боя или последних важных приготовлений к нему.

Но вот действительно взвился сигнал.

— Что там? Какой сигнал?.. — И не верят глазам: адмирал, как на ученье, в мирной обстановке, показывает: «Полдень...» И ничего больше. «Полдень...» Можете посмотреть на свои часы и поставить их по адмиральским.

Через пятнадцать — двадцать минут начнется жестокий бой, один из тех, которым присвоено название исторических, а пока ничего — полное спокойствие, «адмиральский час» — полдень, суда идут полным ходом при попутном ветре, и сквозь кисею дождя уже видны, на перешейке полуострова, стены Синопа.

Чтобы не подвергать суда своего отряда действию двух передовых турецких батарей, Нахимов прошел мимо них в расстоянии больше, чем миля. Хотя огонь ими и был открыт, — снаряды не долетали. Две батареи эти могли бы оказать большую услугу туркам в случае высадки русского десанта на полуострове, как это и предполагал сделать еще в сентябре Корнилов, но припадении непосредственно на Синопский флот двенадцать орудий этих батарей были бесполезны для защиты.

Зато, чуть только оба флагманских корабля, «Париж» и «Мария», подошли на пушечный выстрел к середине полумесяца турецких судов, как с флагманского фрегата «Ауни-Аллах», на котором был вице-адмиральский флаг Османа-паша, раздался первый выстрел.

Вслед за ним засверкала, захохотала, запылилась, задымилась вся бухта. Командиры

турецких фрегатов и корветов стремились со всею поспешностью воспользоваться выгодой своего положения. Их суда стояли уже в боевом строю, охватывающем две параллельные колонны русских судов, которые деланы были еще строиться в боевой порядок, неизбежно такой же самый, как и у их противника: полумесяц против полумесяца, меньший по дуге против большего; тем более что, кроме парусных, у турок во второй линии дымилась трубы двух пароходов, — это слева от входа в бухту, а справа, за линией боевых судов, виднелись два транспорта, и в третьей линии — два купеческих брига.

Но рассмотреть такие подробности можно было только с подхода, пока еще запылела канонада; потом белый, как вата, густой пыльный дым покрыл все море от судов до берега, а русские корабли засыпало обвалом чугуна.

Турецкие артиллеристы целились вверх, в мачты, в такелаж: так было им приказано, такова была тактика морского боя у турок, — тактика паука, который, кидаясь к запутавшейся в его паутине мухе, прежде всего откусывает или окручивает паутиной ей крылья, чтобы лишить ее способности двигаться.

У турецких командиров был и еще расчет на то, что русские матросы будут посланы вверх по вантам убирать паруса, представлявшие слишком благодарную цель, и вот тогда-то они посылаются вниз, как яблоки с яблонь во время осенней бури.

Но Нахимов был опытен: он помнил Наварин, когда познакомился впервые с тактикой турок. Его забота о парусах была проявлена раньше, когда он приказал их «взять на гитовы», чтобы уменьшить давление на них ветра, и тем уменьшить их площадь.

Отнюдь не без выстрела шли обе колонны: орудия правого борта кораблей Нахимова и левобортные пушки Новосильского отстреливались направо и налево; но в то время, как турки имели перед собой одну цель и одну задачу — нанести нападающим как можно больше вреда, нападающие должны были под смерчем снарядов устанавливать при помощи шпрингов свои корабли, становиться на якорь в определенной дистанции друг от друга... Это проделывалось на учениях в море, но тогда обстрел с неприятельских судов или береговых батарей только предполагался, теперь он гремел со всего полукруга.

Кроме сплошных ядер, летели и клиппо-

ля, — снаряды, состоящие из двух полушарий, скрепленных общим железным стержнем. Они обрывали снасти судов, — это и было их назначение... «Вы пришли, но вы не уйдете назад!» — так можно было перевести грозный рев и гул открытой турками канонады.

Восточный климат — рок, судьба — стоит тут же со своими весами, на которых все взвешено заранее, и ничего изменить нельзя, но на чашу этих весов прежде всего положены искусство и доблесть турецких моряков — старинные доблесть и искусство.

Четыреста лет тому назад турецкий флот принес гибель Византии и вслед за тем овладел всеми берегами Черного моря. 1853 год был юбилейным годом для турок, а какой флот был у русских четыреста лет назад?

Фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» остались позади и вне выстрелов даже со стороны береговых батарей, а головные корабли «Мария» и «Париж» в полуверсте от противника остановились и повернулись к нему — первый правым, второй левым бортом, как это было предусмотрено диспозицией. Спокойно и быстро там и тут опустили якорь. По флагманским строились остальные суда. Пальба, начавшаяся на ходу, стала теперь и сильнее и серьезней: каждый из кораблей сосредоточил весь свой огонь на одной определенной цели.

Два старых наваринца очутились друг против друга: Нахимов на «Марии», Османпаша на сорокачетырехпушечном фрегате «Ауни-Аллах». Только полкилометра разделяло их, но глазомерно на таком же почти расстоянии от «Марии» стал «Париж», потому что таков был интервал между соседним с фрегатом небольшим корветом «Юли-Сефид» и ближайшим к нему фрегатом «Дамиад» из правого крыла турецких судов. В интервале же действовала береговая батарея в двенадцать орудий большого калибра.

Страшны по своему действию такие орудия береговых батарей, и лучше, чем кто-либо другой, знал это Нахимов, но он надеялся на свой противобес — бомбовые пушки Пексана, из которых состояли батареи нижних палуб крупнейших судов Черноморского флота. Эти пушки назывались то пексановскими, по имени изобретателя их — французского генерала Пексана, то шестидесятивосьмифунтовыми, по весу заряда для них.

Английские газеты ничего не писали об этом. Но как бы ни замалчивали постиже-

сотивосьмифунтовые русские гаубицы англичане, они очень внушительно заговорили сами в этот злосчастный для турок день, и когда заговорили, то трудно уж было даже офицерам-наблюдателям со своих салингов, а тем более с грот-марсов, разобраться как следует в том аду, который точно из недр Синопской бухты вырвался и забилел перед их глазами.

Как при извержении вулкана, поднявшегося со дна моря, бухта вся клокотала, клубилась дымом, белела высокими фогганами здесь и там, вздувала волны, стонала, ревели, грохотала, сверкала огнями выстрелов, как молниями из туч...

Нахимов все время находился на юте с неизменной подозрительной трубкой. Кусок стеньги, разбитый ядром, упал вниз, ему на плечо. Наваченная шпатель и энолет сюртюка опасались его плечо от перелома. Мелкие щепки и ключья разорванных парусов и вапт сыпались на него, но он держался совершенно спокойно, как держался бы под дождем.

Не только за стрельбой с «Марии» следил он, насколько возможно было что-нибудь разглядеть, но и за действиями других судов. Он даже хотел, как на ученьи, поднять сигнал — благодарность «Парижу» за быстроту и отчетливость его маневров, но не на чем было поднять этот сигнал: фалы — сигнальные веревки, — были перебиты.

Оба флагманских корабля, «Мария» и «Париж», приняв на себя всю тяжесть первых минут боя, нанесли и первые большие потери врагу. Не больше как через полчаса после начала сражения «Ауни-Аллах» уже отклепал свою якорную цепь...

Кто и зачем приказал это сделать, — сам ли Осман-паша, бывший уже десять лет в чине адмирала, или командир фрегата, на свой страх и риск, — но фрегат под вице-адмиральским флагом первым вышел из строя.

Он и не шел, — разумной человеческой воли не было заметно в его движении, — его несло ветром между линиями сражающихся судов, вправо от того места, где он стоял. Весь растерзанный бомбами с «Марии», с грудями трупов на палубе, он похож был на призрак фрегата и, однако же, двигался куда-то, неизвестно зачем...

Выйдя из-под огня «Марии», попал он под пушки «Парижа» и, наконец, полуразрушенный, выкинулся на мель под правой береговой батареей.

Некогда было следить за его судьбой, — и у «Парижа», и у «Марии» оставалось еще

довольно противников, кроме сильной береговой батареи, с которой только теперь, в середине боя, начали вдруг лететь каленные ядра.

Но поздно! Ральше, чем вызваны были ими легкие пожары на русских судах, пламя охватило «Фазли-Аллах», стоявший в соседстве с флагманским фрегатом, бежавшим из боя так бесславно и так ничкемно.

«Фазли-Аллах», бывший «Рафаил», пылал, точно исполняя заблаговременно приказ царя Николая: «Предать фрегат «Рафаил» огню, как недостойный носить русский флаг, когда попадет снова в наши руки...» Все офицеры этого фрегата, возвратившиеся из турецкого плена, были разжалованы в матросы без выслуги, а фрегат, хотя и старой постройки, старательно подновлялся и берегался турками, как единственный их трофей во всех боях с русским флотом, начиная с времен Орлова-Чесменского.

Теперь этот трофей пылал, как факел, черным столбом своего дыма выделяясь над белым полотнищем дыма от пушек... Но вот стало заметно, как этот черный столб и языки багрового пламени под ним двигаются к берегу, под батарею; это командир фрегата решил повторить маневр своего адмирала: якорная цепь была расклепана, пылающий фрегат выкинулся на берег.

Почти вслед за этим настала очередь и корвета «Гюли-Сефид»: бомба с «Парижа» проникла в его кройит-камеру, и корвет взлетел на воздух от взрыва. В облако дыма метнулось снизу темное облако обломков и человеческих тел и упало в бухту около мола.

Но с «Парижем» не корвет «Гюли-Сефид» вел борьбу, а два шестидесятипушечных фрегата — «Дамиад» и флагманский «Низамие», с контр-адмиральским флагом, — по числу орудий равные «Парижу».

Покончив с бывшим «Рафаилом», Нахимов хотел было дать приказ «Марии» идти на помощь «Парижу», но разглядел, что «Дамиад» уже пятится к берегу, чтобы выброситься так же, как и «Рафаил», а долго ли мог сопротивляться «Парижу» один «Низамие», у которого были перебиты уже все мачты? Вот уж и на нем отклепали якорную цепь, и, отодвинувшись к берегу, он загорелся вдруг, подоженный, видимо, своей же командой.

Прошло всего только сорок минут с начала боя, а половина турецкого флота — четыре фрегата из семи и корвет — погблел, сражаясь против двух только русских кораб-

лей, погибла, несмотря на могущественную поддержку береговой батареи.

Однако огонь батареи этой не ослабел, и потому сначала «Мария», а за нею «Париж» направили против нее все свои пушки одного борта, как против сильнейшего из звеньев всей вражеской цепи.

Эта батарея, по тому месту, какое занимала она в общем ряду береговых батарей, называлась у турок пятой; влево от нее по берегу расположена была (вне города) четвертая, вправо — шестая, последняя.

Пока «Мария» и «Париж» боролись с пятью турецкими судами и пятой батареей в их тылу, корабли правой, нахимовской колонны, выдерживая усиленную пальбу с четвертой и более далекой — третьей батареей, боролись с двумя шестидесятипудовыми фрегатами — «Навек-Бахри» и «Насим-Зефер» и корветом «Педжин-Фешап».

Минут двадцать длилась перепалка — казалось, так, без всяких результатов. Против двух крупных кораблей действовали две батареи, и эта помощь менее сильным, чем русские, судам, но только уравновешивала силы, но могла бы стать сокрушительной, если бы не табуицы Пексапа, занимавшие пижнюю палубу «Константина».

«Константин» был уже окружен фрегатами и корветом; на нем тушкити два небольших пожара, возникшие от каленых ялер; «Чесма», ведшая в это время перестрелку с третьей батареей, спешила уже, снявшись с якоря, ему на помощь, как вдруг раздался взрыв, покрывший страшным грохотом всю канонаду: снаряд одного из бомбических орудий «Константина» поколебил с фрегатом «Навек-Бахри».

Взрыв корвета «Гюли-Сефид» мог бы быть назван слабым сравнительно со взрывом этой громады... Мгновенно возникнув из дыма огромным столбом, обломки, обрывки, куски человеческих тел — все это обрушилось на четвертую батарею, запрокинув ее так, что она ужомкнула совершенно. Видно было в трубы, как бежали от нее в сторону города турецкие артиллеристы.

«Чесме» оставалось только усилить свой огонь против этой батареи, чтобы срыть ее до основания и повернуться потом к третьей, которую обезвредить было гораздо труднее. А «Константин» повернулся на шпринге и продолжал бой с фрегатом «Насим-Зефер» и корветом, и минут десять еще длилась эта борьба, пока ядро не перебило якорную цепь фрегата.

Ветер понес его к молу против греческой части Синопа, и на корвете сочли, что больше ничего не остается сделать, как последовать за своим товарищем. Провожаемые огнем «Константина», фрегат и корвет выбросились на берег около пятой батареи; их команды бежали в город.

2

Бой нахимовской колонны с левым крылом турецких судов, которым руководил вначале непосредственно Осман-паша, почти закончился здесь. Сопротивлялась огню «Чесме» только третья батарея, но бой колонны Новосильского с правым крылом был к этому времени еще в разгаре.

Казалось бы, что это крыло, состоявшее только из трех фрегатов и корвета, под начальством контр-адмирала Гуссейна-пашы, было слабее левого, но оно пользовалось мощной поддержкой пятой и шестой батарей, а для русских судов, предводимых «Парижем», несчастливо сложились в самом начале случайности боя, которые невозможно предотвратить, потому что нельзя предвидеть.

В то время как «Париж» крыл своим огнем корвет «Гюли-Сефид», — крайний в левом крыле, — и отражал весьма энергичный огонь двух фрегатов правого крыла — «Дамнада» и «Низамча», стоявший непосредственно за ним «Три святителя» вступил в бой с фрегатом «Кадзи-Зефер», а на долю «Ростислава» пришлось задача, гораздо более сложная: кроме корвета «Фейзи-Меабуд», против него направила все свои усилия шестая батарея.

Неудача корабля «Три святителя» состояла в том, что он в самом начале боя потерял возможность управления: неприятельское ядро перебило его шпринг. Оставшись на одном только якорю, огромное судно это по воле ветра повернулось и к своему противнику-фрегату и к шестой батарее кормою, то есть попало под продольные выстрелы врагов, — положение самое опасное из всех, в какое могло попасть парусное судно: его орудия обоих бортов не в состоянии отвечать при таком положении на обстрел врага.

Ядра и гранаты летели в корабль с двух сторон. Одна за другой были разбиты в две-три минуты все мачты. Желая выручить попавшего в беду товарища, «Ростислав» перестал отвечать корвету «Фейзи-Меабуд», а все орудия левого борта направили против батареи.

Нужно было заметить перебитый шпринг,

и с корабля «Три святителя» были спущены баркас и полубаркас с матросами под командой мичмана Варницкого, чтобы завести вери (якорь) с кормы.

Но так далеко от носа корабля до кормы водою, но кругом в эту воду и в корабль летели ядра, и одно из них ударило в полубаркас, на котором был Варницкий и несколько матросов; при этом толстою щекою разбитой лодки мичман был ранен в руку.

Однако кругом пенилась вода, лодка тонула,— некогда было думать о ране, и мичман первым перескочил в баркас, за ним вся его команда... Ледяная вода бурлила от шлепаншихся в нее ядер, дым ел глаза, залпы своих и чужих пушек гремели кругом, по завести якорь было необходимо, и это сделали матросы, и промадина вновь грозно оцептывалась против врага жерлами шестидесяти двух орудий.

Но прошло после этого не десяти минут, как расстрелянный фрегат «Канди-Зефер» принужден был бросить свое место в строю и выбиться на берег. Но как раз в это время величайшая опасность угрожала и «Ростиславу».

В одно из его орудий ударила граната большого калибра; она не только разорвала это орудие, но, разбив также и палубу, воспламенила пороховой ящик. Взрыв этого ящика (когора) произвел большое опустошение среди скученных на палубе матросов: до сорока человек из них были ранены или получили тяжкие ожоги. Но страшное действие роковой гранаты на этом не кончилось: на корабле начался пожар, причем загорелся так называемый кожух, и горящие ключья его стали падать как раз у входа в крыйт-камеру, где пороху было куда больше, чем в одном когоре, а дверь в крыйт-камеру как раз и была приоткрыта.

Буквально секунды были отпущены кораблю, а спустя эти несколько секунд он неминуемо должен был взлететь на воздух, точно так же, как это случилось не с одним уже турецким судном: одной искры, которая попала бы в крыйт-камеру, было довольно, чтобы взорвать «Ростислав».

Нужно было, чтобы кто-то, мгновенно поняв это, проявил полное хладнокровие и тут же бросился бы к дверям крыйт-камеры, чтобы затворить их, и к пылавшему кожуху, чтобы потушить пожар. Эту находчивость и хладнокровие проявил бывший тут и случайно уцелевший при взрывах гранаты и когора молодой мичман Колокольцев.

Он не только закрыл дверь,— дверь в

ничто, в небитые и корабли и всей командой,—но, схватив багник и став спиной к этой двери, начал обрывать и отбрасывать багником подальше горящие ключья кожуха... Конечно, тут же на помощь ему подскочили матросы, которые сорвали, наконец, весь кожух с крючьев и сбросили его в море.

Так был спасен «Ростислав». Обожженных и раненых вынесли с палубы с той поражающей непривычных людей быстротой и четкостью движений, с которой все делается на кораблях во время учений и боя, очистили палубу от мешающих обломков, и, как бы в награду за это, увидели через две-три минуты, что корвет, приславший им гранату, сильно качаясь на ходу, двинулся к берегу вслед за фрегатом «Канди-Зефер». Все-таки этому корвету «Фейзи-Меабуд» удалось продержаться чуть-чуть дольше, чем всем остальным военным турецким судам, и покинуть поле битвы последним.

А тем временем пожар, охвативший «Фазли-Аллах», бывший «Рафаил», дошел до его крыйт-камеры, и сильнейший взрыв при усилившемся порде засыпал горящими обломками турецкую часть Синопа.

Загорелся город. Горел фрегат «Низамие», подожженный, как оказалось после, бежавшей с него командой. Горели также и один из транспортов, и купеческий бриг; другие затонули от русских снарядов. Горел и один пароход — меньший. Другой же, «Тайф», бежал еще в самом начале боя: адмирал След помнил,—и трудно ведь было забыть за такое короткое время,—свое сражение с одним, почти неподвижным при безветрии русским фрегатом, и этого было с него довольно, чтобы отказаться от попытки зайти в тыл русской эскадре, чтобы обстрелять тот или иной корабль продолжными выстрелами своих бомбических орудий.

Под прикрытием дыма, от первых же залпов турецких и русских судов он вышел на рейд, но считал более умным совсем бросить и свою эскадру и Синоп и бежать по направлению к Босфору. Конечно, куда так хорошо быть первым вестником победы, но иногда неплохо бывает стать и первым вестником поражения,—особенно когда поражение это может быть, да и должно быть, соответствующим образом освещено, чтобы возвести его в ореол героизма, а победителей заклеймить бесславию.

Адмирал След в самом начале боя предвидел, конечно, чем может он окончиться для турок, и хотя числился на службе у султан-

на, хотел явиться в Константинополь истым англичанином, больше политическим деятелем своей страны, чем моряком турецкого флота. Но для того чтобы явиться с обстоятельным докладом, ему необходимо было, конечно, продержаться за спинами сражавшихся до конца.

Однако в тылу стояли «Кагул» и «Кулевчи», назначение которых в том только и состояло, чтобы следить за действиями пароходов; и хотя «Таиф» не проявлял никаких действий, все-таки они двинулись было к нему, испытывая при этом все неудобство состязания в скорости между парусными судами и паровым.

Следу ничего не стоило лавировать, как он хотел,—пароход слушался руля, но совсем не то было с парусами при перемене курса: на долю русских матросов выпала очень сложная и трудная работа.

След не видел для себя опасности в весьма неповоротливых фрегатах, от которых он всегда мог уйти, как от стоячих, и в то же время пужно было досмотреть до конца кипевший бой.

Однако, когда уже большая часть турецких судов была или взорвана русским огнем или вышла из строя, выкинувшись на берег, а два русских фрегата стали обходить «Таиф» справа и слева и дали уже по нем первые залпы, за большим расстоянием не причинившие ему вреда, След решил, отстреливаясь, обогнуть полуостров, тем более что наблюдателю с мачты через перешеек полуострова гораздо лучше было видно, что еще происходит на рейде, да и в самом городе.

Но, уйдя от «Кагула» и «Кулевчи», «Таиф» наткнулся на русские пароходы, из которых головной, «Одесса», был под флагом вице-адмирала Корнилова.

3

Вернувшись из своей рекогносцировки с призом, Корнилов отправился в Никополь, где находилось управление Черноморским флотом — место его службы. Надо было сделать там много распоряжений на зиму, но, сделав их, 15 ноября он возвратился в Севастополь.

Нахимов ошибался, когда думал, что подхваченная к нему шестнадцатого числа эскадра Новосильского послала благодаря заботам Корнилова: последний узнал об этом в подробностях только в Севастополе, от Меншикова. Но, узнав, он сразу решил всю энергию, на какую был способен.

Как ни ничтожен оказался приз, захвачен-

ный им с бою, приз, доставивший ему так много хлопот, пока он довел его до Севастополя, он все-таки не бросил своей прежней мысли хозяина флота: не истребить, а захватить турецкие суда, прижавшиеся к Синопу.

Для того же, чтобы Нахимов с большим успехом мог выполнить именно это, он убедил Меншикова послать к Синопу еще три парохода-фрегата: «Брым», «Одессу» и «Херсонес», под общей командой контр-адмирала Панфилова.

Испытав во время своего недавнего плавания на «Владимире», чем может грозить недостатка угля в открытом море, он просил Станюковича, командира севастопольского порта, не жалеть угля (семидесятилетний Станюкович был очень скуп, как многие старики), поэтому углем не только загрузили трюмы этих пароходов, но его в мешках павалили везде, где было можно, и на палубах.

Четвертый пароходо-фрегат, «Громомосец», в таком же виде самостоятельно отправлялся в распоряжение Нахимова. Корабли «Храбрый» и «Святослав», сильно потрепанные штормом 8 ноября и отправленные Нахимовым чиниться, теперь, с приездом Корнилова, усиленно готовились к обратной отправке к Синопу. Наконец приказано было очистить доки от стоявших там уже давно старых и безнадежных судов: корабли «Султан-Махмуд» и фрегата «Агатопль». Несколько команд матросов посланы были к этим инвалидам, чтобы как можно скорее разломать их и убрать из доков, которые должны были, по расчету Корнилова, пригодиться для ремонта турецких судов, хотя и израненных в бою, но все-таки новой постройки.

К утру 17 ноября все три парохода отряда Панфилова были уже готовы к отплытию, но как же мог усидеть в Севастополе Корнилов, когда там, в Синопской бухте, уже назревал бой?

Он не был уверен только в том, согласится ли Меншиков отпустить его после того, как он, начальник штаба Черноморского флота, вздумал, точно мичман, рисковать своею жизнью, не только атаковав один-единственный турецко-египетский пароход, но еще и приказав подойти к нему на картечный выстрел, чтобы потом свалиться на бордаж.

Тогда он действительно рисковал жизнью по пустяковому поводу, но за то теперь... Корнилов, идя к Меншикову, чтобы представить ему неотразимые резоны, придумал возможность такого оборота событий, когда Нахимову пужна будет помощь для отражения

атаки с тыла; тогда-то вдруг и явится, как снег на голову, против нового отряда турецких судов, с тремя пароходами он, Корнилов.

Правда, назначен уже Панфилов, но он — адмирал еще очень молодой, неопытный; пожалуй, не сумет в бою расставить силы, как надо... Если бы были уже готовы к отплытию корабли «Храбрый» и «Свято-слав», то положение было бы гораздо проще: Панфилов мог бы отправиться с этими кораблями, он же — непременно с пароходами, чтобы не явиться к шалкам; но увы, все ремонты судов во флоте делались очень медленно...

К удивлению Корнилова, никаких поводов ему приводить не пришлось: Меншиков с первого же слова не только согласился с ним, но даже сказал:

— Я думаю, что это совершенно необходимо.

Тут он сделал весьма сложную гримасу, отдавая дань своему тибку, и, оправившись, добавил:

— Адмирал Нахимов, конечно, хорошо знает свое дело, в этом ни я, ни кто другой, мы усомниться не можем... Но-о, Владимир Алексеич, между нами говоря, морской бой, который предстоит ему, — это ведь не ученье... пет... Тут распорядительность нужна... Тут, как бы выразиться яснее (он пощелкал пальцами и прищурился), глазомер нужен, — то есть, другими словами, сообразительность быстрая и очень точная, вот, что нужно... Находчивость, да. А где же она у Нахимова? Ведь он, — это, прошу, пусть останется между нами, — туноват и неповоротлив, старомоден, если можно так выразиться. Он не найдет, что ему нужно сделать, так, как могли бы пойти в трудный момент вы, Владимир Алексеич... Он, между нами говоря, просто какой-то бодман в адмиральском мундире!

Корнилов понял, к чему клонил Меншиков, и просиял, но он ждал большей определенности, почему и счел нужным возразить князю в пределах приличия:

— Едва ли, ваша светлость, представится Нахимову такой уж из рук вон трудный момент, чтобы он не смог пойти! Тем более что атакующим будет ведь он, — следовательно, времени обдумать все возможности этой атаки у него будет вполне довольно.

Меншиков поглядел на него пытливо и отозвался на это:

— Времени еще больше будет и у противника... Мне не один раз приходилось атаковать турок в их укреплениях, — они защи-

щаться умеют, смею вас уверить, и защищаются отчаянно... В таких случаях надо придумать такой маневр, чтобы он ошеломил их, чтобы о-он... заставил их растеряться, а не то что идти шалролом, бить в лоб... Бить в лоб — это только им паручу... В лоб и... и в Синоп, что запрещено самим государем, как вам это известно.

— Что же может сделать Павел Степаныч, чтобы избежать этого? — спросил Корнилов.

— Что он может сделать, этого-то именно я и не знаю, а вот вы, Владимир Алексеич, я уверен, что-нибудь могли бы придумать там, на месте, чтобы выманить турок в открытое море...

— Спрятать, например, часть судов, а с двумя-тремя войти в бухту и вызвать за собой погоню всей турецкой эскадры, — попробовал догадаться вслух Корнилов, вопросительно глядя на Меншикова, — но может случиться, что спрятанные суда не успеют подойти во-время, и тогда получится еще хуже, чем атаковать, не мудрствуя, прямо в лоб.

— На месте виднее, как распорядиться, — уклончиво отбывался Меншиков, — но надо распорядиться умно... умно, — подчеркнул он, — это главное.

Несколько помолчав, он добавил:

— Кроме того, я, конечно, не сомневаюсь в победе нашего отряда судов над турецким отрядом, и мне хотелось бы, чтобы честь этой победы принадлежала вам, Владимир Алексеич, а не Нахимову.

Что князь не благоволил к Нахимову, это было известно Корнилову, но все-таки он не думал, что князь договорится до этого, хотя бы с глаза на глаз. Его охватила шелковость, и он ответил:

— Ваша светлость, Павел Степаныч старше меня по производству.

— Это решительно ничего не значит! — поморщившись и презрительно махнув рукой, сказал на это Меншиков. — Он старше вас по производству в вице-адмирала, вы старше его по своей должности в Черноморском флоте... Кроме того, что вы — генерал-адъютант!

— Все-таки одного моего словесного заявления со ссылкой, разумеется, на вас, ваша светлость, будет совершенно недостаточно для того, чтобы мне принять командование там, в виду Синопа, — попробовал возразить Корнилов.

— Затем же одно только словесное заявление? Я вам сейчас же напишу предписанные по этому поводу, а вы передадите его

Нахимову перед сражением и вступите в командование во исполнение моего приказа.

И Меншиков, усевшись за письменный стол и приставив к своим старым глазам лорнет, начал писать мелко, но разгониисто. Корнилов же, дождавшись, когда он окончил и, по привычке посылав написанное песком из бронзовой песочницы, тяжелой, причудливой формы, сказал последнее, что еще было у него против решения князя:

— Павел Степанович больше месяца крейсировал у берегов Анатолии — ждал турецкую эскадру, — и вот теперь вдруг, когда он ее, наконец-то, дождался, являюсь замещать его я!

— Но ведь вы тоже крейсировали в открытом море с неделю, — возразил Меншиков, стряхнув песок со своей бумажки и протягивая ее Корнилову. — Можно и нужно пожалеть, что эта эскадра не встретилась тогда вам, но если же встретилась в море, то вы ее найдете в Синопской бухте, — только и всего.

— Весьма благодарен вам за доверие ко мне, ваша светлость, — сказал Корнилов, принимая бумажку и кланяясь, — хотя все-таки мне даже и после победы будет думаться, что победа эта подготовлена Нахимовым, и я пожну, по существу, его лавры.

Меншиков пристально поглядел на него, откинувшись на спинку кресла, и, слегка улыбувшись непонятно чему, заметил наставительным тоном:

— Насколько известно мне лично, государю будет приятнее дать за эту победу высшую награду вам, а не Нахимову.

Возражать против этого было уже нельзя, — можно было только ниже, чем обычно, наклонить голову и пожелать князю спокойной ночи, так как шел уже двенадцатый час. Необходимо было и самому поспать перед отплытием пароходов, назначенным на шесть часов утра.

Эту ночь Корнилов спал довольно крепко, так как утомился за день, но когда пароходы вышли в море, достаточно было времени, чтобы подумать над тем, что говорил Меншиков шакалуне, и над его бумажкой, лежавшей теперь в боковом кармане сюртука.

Два вице-адмирала, столпы Черноморского флота, Корнилов и Нахимов, соревновались между собою, как два больших артиста, влюбленных в одно и то же искусство, по они не были соперниками. Их близкое знакомство было давним, со времен Наварина, когда один был на чии моложе другого.

Однако, и догнав Нахимова в чинах и да-

же став несколько выше его в служебном положении, Корнилов с неизменным уважением относился к Павлу Степановичу. У Корнилова, в его семейной квартире, останавливался Нахимов, когда приезжал из Севастополя в Николаев. У Нахимова, в его холостой, но просторной квартире, останавливался Корнилов, когда приезжал из Николаева в Севастополь.

И вот вдруг полойти на своем пароходе «Одесса» к кораблю «Императрица Мария», взобраться по трапу на палубу, где с открытыми объятиями будет ждать его Павел Степанович, и... вынув из кармана бумажку князя, подать ее ему, а самому отвернуться? Неудобно!.. Даже страшно как-то, почему и зачем очутилась у него в кармане эта бумажка... Воля князя? Польза службы? Желание царя?..

Но ведь если отбросить первое и третье, то откуда взять уверенность, что для пользы службы, для пользы дела будет гораздо лучше, если он, Корнилов, отодвинет Нахимова и примет командование над эскадрой?

Уверенность в победе у него была, но план действий, который почти диктовался ему Меншиковым, требовал все-таки разработки, — его нельзя было провести сразу, с приходу. План этот сводился к тому, чтобы, атакуя турецкий флот, не повредить Синопу. Но для этого надо, чтобы турецкие адмиралы позволили выманить себя из-под защиты береговых батарей, — то есть потеряли бы разум... «Ципа-ципа-ципа!» — зовет кур хозяйка и бросает перед собой зерно из подола, чтобы намеченную для обеда поймать, когда все пачнут жадно клевать зерно. Но такой старый турецкий адмирал, как Осман-паша, далеко не курица, — Корнилов познакомился с ним в бытность в Константинополе вместе с Меншиковым весной, когда князь вел переговоры о ключах Иерусалимского храма и с прочем подобном, — переговоры, приведшие к войне.

Между тем времени терять было нельзя — вот-вот могла бы подойти, — а может быть, и подошла уже, — помощь туркам, попавшим в блокаду; так что единственный маневр, который остается применить, и как можно скорее, это — лобовой удар...

Пароход «Одесса» был переделан в военный из пакетбота и нес на себе только шесть орудий, то есть был вдвое слабее «Владимира», притом гораздо тихоходнее его; но «Владимир» стоял в ремонте. За то командир «Владимира», Бутакон, вел теперь «Одессу»: это было сделано по приказу

Корнилова, так как командир «Одессы» лежал больной у себя дома.

Такими же шестирудийными и такими же тихоходными, как «Одесса», были и «Крым» и «Херсонес», не все три парохода, щедро нагруженные углем, шли бодро, в кильватере, топоча своими колесами и держа курс прямо к Синопу. На «Крыме» вилял флаг контр-адмирала Панфилова, но Корнилов не хотел поднимать своего флага на «Одессе», оставляя за Панфиловым честь командования этим маленьким отрядом, а за собою право поднять флаг свой на большом стопушечном корабле перед началом исторического боя.

4

Так как дуг попутный ветер, то все три пароходо-фрегата шли на полных парусах, и это помогло им пересечь Черное море за сутки: на рассвете 18(30) ноября они подошли к мысу Пахиосу, где Корнилов предполагал найти эскадру Нахимова.

Эскадры этой, однако, не было видно. Явилось даже сомнение, действительно ли очень слабо видневшийся вдали берег — мыс Пахиос, тем более что лил дождь, за которым берег совершенно скрывался иногда, а если очертания его проступали, то были очень смутны, расплывчаты.

Корнилов дал сигнал свернуть паруса и застопорить машины, пока станет виднее и можно будет определить, куда идти на соединение с Нахимовым.

Так, в нерешительности, простояли пароходы до десяти часов, когда, наконец, ослабел дождь и значительно рассеялась мрачность горизонта.

Тогда Корнилов приказал Бутакову подвести «Одессу» к самому берегу и идти по направлению к Синопу, другим же двум пароходам идти к Синопу тоже, но на расстоянии самого дальнего сигнала и высматривать русскую эскадру.

Пароходы шли медленно, тихим ходом, — и два часа понадобилось им, чтобы подойти к Синопскому перешейку, через который в это время уже летели первые русские ядра и пелили море.

Корнилов увидел в трубу русский флаг на фор-брам-стенге корабля «Мария», понял, что опоздал, — все же на какой-нибудь час, не больше, но опоздал, — и у него отлетело от сердца. Раз сражение уже началось, бумажка, данная ему Меншиковым, теряла свою силу. Он выпнул было даже ее, чтобы бросить за

борт, но, повертев в руках, положил снова в карман. Обращаясь к Бутакову, он сказал:

— Ну, помоги, господи, Павлу Степаньчу! — и перекрестился, набожно сняв фуражку.

Потом приказал дать сигнал остальным пароходам: «Держаться соединенно», а на «Одессе» велел поднять его, Корнилова, флаг.

Было несколько минут задержки, пока сблизилась с «Одессой» «Крым» и «Херсонес»; затем полным ходом все три парохода двинулись, огывая полуостров, в бухту, где бой был уже в разгаре, — шел второй час дня.

Однако разглядеть, что делалось в глубине бухты, не удалось Корнилову: он увидел, как навстречу «Одессе», но вне выстрелов ее орудий, шел большой черный пароход, явно турецкий, и за ним двигались два фрегата, очень знакомые по очертаниям, — «Багул» и «Кулевчи».

Догадаться, что турецкий пароход просто бежал, а русские фрегаты гнались за ним без всякой надежды его догнать, было не трудно, и Корнилов приказал сигнализировать: «Пароходам атаковать неприятеля, поставив его в два огня».

Два фрегата сзади, три парохода спереди, — положение Следа могло бы показаться довольно трудным, но только для людей, мало знакомых с морским делом.

Англичане позаботились о турецком флоте: такого быстроходного, сильного по вооружению парохода, как «Тайф», не было у черноморцев. Самый мощный из их паровых судов, «Владимир», был ровно вдвое слабее «Тайфа»; значительно слабее его были и все три русских парохода, взятые вместе: они имели только восемнадцать орудий против двадцати двух на «Тайфе», у которого к тому же батареи были закрытые и два орудия — бомбические, десятидюймовые.

Прикрываясь первой и второй береговыми батареями, След вел свой пароход вдоль берега, в то время как оба фрегата, погнавшиеся за ним, безнадежно отстали, а пароходы «Крым» и «Херсонес» еще не подошли на пушечный выстрел.

Однако Корнилов приказал Бутакову на полных парусах и полным ходом машин идти на пересечку курса турецкого парохода.

Это был уже чисто охотничий зазор. Так наперерез матерому волку, бегущему вразвалку, спешит молодой гончак, далеко опередивший свою небольшую стаю. Матерой волк силен, — ему не очень страшна и целая стая гончих, если бы и в самом деле ей удалось

окружить его, тем более это шупленький молодой пес, и он даже не думает прибавлять ходу, вполне уверенный в том, что задришка не кинется в борьбу с ним, а явную для себя гибель.

Не будь на «Одессе» Корнилова, «Таиф» ушел бы, не обменявшись ни одним выстрелом со слабым и тихоходным русским пароходом, бывшим пакетботом. Но Корнилов очень ярко помнил свой совсем недавний успех в бою с «Перваз-Бахры», который к тому же не бежал, а напротив, держался весьма уверенно. Этот же пароход бежал, и ведь неизвестно было, в исправном ли состоянии. Может быть, он уже довольно тяжело подбит, почему и не развивает хода.

Новый приз,— так смотрел на большой черный турецкий пароход Корнилов.

«Перваз-Бахры» решено уже было Меншиковым переименовать в «Корнилов», и вот перед глазами еще добыча, новая и сильная единица Черноморского парового флота, для которой тоже найдется подходящее имя.

— Открыть огонь! — скомандовал Корнилов, — и первые ядра полетели в «Таиф», в то время, когда и «Крым» и «Херсонес» были еще далеко, хотя и спешили на помощь «Одессе».

Перед «Таифом» был пока всего один небольшой русский пароход, привлекавший внимание Следа светом вице-адмиральским флагом. Противник был достоин ответных выстрелов, и перестрелка завязалась.

Дождь, прекратившийся было в полдень, незадолго перед встречей с «Таифом», начался снова. На палубе «Одессы» все было мокрое, скользкое. «Таиф», бежавший вдоль берега, представлял собой плохую цель: его силуэт сливался с такими же туманными силуэтами береговых скал; русский же пароход довольно отчетливо выделялся на фоне моря, и желание нанести ему большой вред, если даже не потопить совсем, заставило Следа уменьшить ход «Таифа».

Залпы по «Одессе» следовали быстро один за другим, однако снаряды давали перелеты. На «Одессе» же единственное бомбическое орудие не могло отвечать противнику, так как платформа его соскочила со штыря, и в самое горячее время команда возилась с этой платформой, утверждая ее на прежнем месте, что было не так легко.

Корнилов стоял на площадке, поминутно то глядя в трубу в своего противника — нет ли попаданий в него, то озираясь назад, — близко ли «Крым» и «Херсонес». От нетерпения команда казалась ему

совершенно необученной стрельбе из орудий на ходу судна. Он нервничал. Над головой его свистели большие снаряды турок, но он не о них думал, а о том, что, как только подойдет поближе «Крым», он прикажет вышут сигнал: «Свалиться на бордаж».

Он, прибывший сюда с планом Меншикова непременно той или иной хитростью выманить турецкие фрегаты из их убежища в открытом море, совсем не предполагал подобной же хитрости у врага.

Он видел, что враг этот бежит, — значит, разбит. Ход его тихий, — значит, развить полного хода он не может. Он тем не менее не спускает флага, как не хотел спустить его и «Перваз-Бахры»; значит, надо принудить его к этому, подойдя, так же как и в тот раз, на картечный выстрел.

«Крым» приближался, однако и стрелки карманных часов Корнилова приближались уже к трем часам: не менее как полтора часа длилась погоня за турецким пароходом.

Между тем дождь усилился; за его плотной кисеей с трудом уже можно было различить черный «Таиф», как бы прилипший к темным скалам.

— Ага! Ну, вот, наконец-то! — довольно сказал Корнилов, когда услышал первые выстрелы с «Крыма».

В это время он был на корме «Одессы», как вдруг, совершенно неожиданно для него, привыкшего уже к перелетам неприятельских снарядов, как к неизменному закону боя, ядро с «Таифа» перебило железную шлюп-балку, пробило насквозь шлюпку, разбило стойку штурвала и, в довершение всего, оторвало ногу унтер-офицеру Ярьско, которого Корнилов отметил еще с начала сражения за его расторопность.

Дождь между тем лил уже нешуточный, — стало гораздо темнее кругом, тем более что день клонился к вечеру. Корнилов слышал редкие выстрелы «Крыма», но не было слышно ответных выстрелов противника, и это его поразило вдруг.

— Что? Сдается? Спустил свой флаг? — спрашивая он то у своих адъютантов, то у Бутакова.

Но Бутаков даже и сквозь дождь разглядел, наконец, что черный пароход уходит, прекратив стрельбу.

— Как уходит? — изумился Корнилов. — Успел исправить повреждения свои под нашим огнем? Что вы говорите такое?

— Уходит на всех парах, — не отрываясь от зрительной трубы, проговорил Бутаков, и

тут же вслед за ним разглядел это сам Корнилов.

— Догнать его! — закричал он.

— Едва ли, Владимир Алексеевич, мы его догоним, — отозвался на это Буталов, — только зря потеряем время.

Дождевую тучу между тем пропесло, и всем стало видно, что «Тайф» уже вне выстрелов «Одессы» и «Крыма», и с каждой минутой расстояние между ними становится все больше и больше.

— В таком случае он совсем не был поврежден, — сказал, наконец, Корнилов. — Зачем же, спрашивается, он бежал?

На это никто из адъютантов его и офицеров «Одессы» не нашел ответа.

Между тем пальба со стороны Синопа прекращалась, и Корнилов, приказав прекратить погоню и повернуть «Одессу» назад, дал сигнал «Крыму» и «Херсонесу»: «Следовать за мной».

5

В Синопской бухте в это время, — то есть в три часа дня, — шла перестрелка русских кораблей с береговыми батареями — третьей, пятой и шестой, так как только четвертая молчала уже, скрытая до основания залпами «Чесмы».

Нахимов не мог признать боя законченным, пока могли еще наносить вред береговые орудия, хотя турецкие суда и были уже все истреблены час назад.

Если не все они были взорваны, как «Фазли-Аллах», или «Навек-Бахры», или корвет «Юли-Сефид», и не все горели, как «Низамия», один из транспортов, пароход и купеческий бриг, то, приткнувшись к берегу или к мели, были уже бескисельны и в большинстве совершенно лишены своих команд, частью погибших, частью бежавших на берег.

Синоп горел. Зажженный только ли горящими обломками бывшего «Рафаила», разлетевшимися при его взрыве вдоль набережной, или еще и гранатами с судов, он пылал в разных направлениях в турецкой части, в то время как греческая оставалась невредимой.

Это объяснялось просто тем, что пятая береговая батарея, наиболее сильная и по числу, и по калибру орудий, и по количеству снарядов к ним, и по своим укреплениям, находилась против турецкой части, прикрывала, оставляя греческую без защиты, поэтому большая часть русских снарядов и направлялась против этой батареи, отчего

неминуемо должны были пострадать и постраждали турецкие кварталы.

Нахимов предвидел это, хотя и знал, как неодобрительно посмотрят на это там, в Нертербурге, да и в Севастополе, в Екатерининском дворце. Усердно глядя в трубу, он сплился разобрать в дыму и пламени, цел ли еще там хоть один дом с каким бы то ни было флагом, но не находил ни одного такого, явно консульского дома, хотя и сам же приказывал их «сбить по возможности».

Зато он видел и знал, как сильно пострадал в бою его флагманский корабль «Мария»: в нем было до шести десятков пробиты, причем несколько из них подводных. Командиру «Марии» Барановскому перебило обе ноги обломком мачты, разбитой турецким ядром. Мичману Костыреву, который был одним из флаг-офицеров Нахимова, оторвало осколком гранаты два пальца на левой руке; кроме того, ранено было еще два молодых офицера и человек шестьдесят матросов. Шестнадцать матросов оказались убито.

О потерях на других судах Нахимов еще не знал, но предполагал, что они не меньше, и это его утешало.

Но вот «Чесма» и «Константинополь» справились, наконец, с третьей батареей, а шестая хотя и посылала еще выстрелы, но редко: большая часть орудий там была уже подбита. Несколько залпов еще с «Марии» и «Парижа», и пятая батарея была скрыта, а следом за ней перестала действовать и шестая, приведенная к молчанию кораблями «Ростиславом» и «Три святителя». Турецкий берег утих.

Но как раз в это время показались один за другим пароходы, идущие полным ходом к эскадре, а от головного из них, «Одессы», отвалила плюшка по направлению к турецкому фрегату «Насим-Зефер», рядом с которым горел другой фрегат, подоженный бежавшей командой.

Хозяйский глаз Корнилова усмотрел опасность для первого фрегата от второго и послал лейтенанта Кузьмина-Караваева с командой матросов отстоять непременно от огня «Насим-Зефер», как приказ, который должен быть отправлен в Севастополь.

Но чем ближе подходила «Одесса» к русским кораблям, тем яснее видел Корнилов, в каком состоянии некоторые из них, особенно «Три святителя» и «Мария», — так велики повреждения их в рангоуте и такелаже.

— Однако! Не так дешево досталась победа Павлу Степановичу! — проговорил он, обратясь к одному из бывших в его свите —

Сколкову, подполковнику, молодому стрелному человеку, адъютанту Меншикова, который заранее был назначен светлейшим отвезти в Гатчину, царю, донесение о Синопском бое.

Не вина Сколкова была, что он, в сущности, не был очевидцем боя: он должен был докладывать царю, как очевидец и даже участник, и вот теперь он боялся пропустить какую-нибудь мелочь и очень внимательно оглядывался кругом, чтобы все запомнить.

— Бой был жаркий, ваше превосходительство! — ответил он Корнилову. — Мне кажется, что больше всех наших кораблей пострадала «Императрица Мария», а Павел Степаныч как раз ведь и должен был находиться на «Марии».

— «Должен был находиться», — повторил Корнилов. — Вы это говорите таким тоном, как будто он может теперь уж и не находиться там!

— То есть, моя мысль была... — начал было объяснять Сколков, но Корнилов перебил его:

— Мысль эта мелькнула и у меня тоже: «А что если вдруг Павел Степаныч ранен?» Чего, боже сохрани, конечно!..

— Передайте, чтобы все кричали «ура!» — обратился он к своему адъютанту, лейтенанту Жданру.

И еще не поравнялась «Одесса» с «Чесмой», как загрело «ура» матросов. Радость их была неподдельной, радость их была бурной... В этой радости тонула с головой досада на неудачу в деле с «Тайфом».

Но эту радость оборвали по приказу Корнилова, который закрыл, подняв глаза к верхней палубе «Чесмы»:

— Здоров ли адмирал?

Этого здесь не знал никто из офицеров.

Но «Одесса» двигалась дальше, к кораблю «Константин», и, разглядев флаг Корнилова, навстречу пароходу отправился на катера командир «Константина» Ергомышев.

— Жив ли Павел Степаныч, не знаете? — не дождавшись, когда подойдет поближе катер, нетерпеливо и встревоженно крикнул ему Корнилов.

— Павел Степаныч? Слава богу, жив и здоров! — ответил Ергомышев, улыбаясь, и Корнилов, не задерживаясь долго около «Константина», где матросы также кричали «ура», приказал вйти прямо к «Марии».

Подойдя, он покинул «Одессу». Усевшись в шлюпку, поданную с «Марии», и увидав издали на шанцах сутуловатую фигуру Нахимова, он зааплодировал ему, как записной

театрал любимому актеру, кричал: «Браве Павел Степаныч!» и махал приветственно фуражкой.

Встреча двух вице-адмиралов была живая картина, благодаря непритворной пылкости одного и столь же непритворному спокойствию другого, хотя и находившегося два с лишком часа под огнем.

— Поздравляю, поздравляю от души, Павел Степаныч! Поздравляю с победой! — восторженно говорил Корнилов, обнимая Нахимова.

— Да ведь я тут при чем же? — вполне искренно удивлялся его бурности Нахимов. — Ведь это все команды сделали, а я только стоял на юте, смотрел и совершенно ничего больше не делал-с!

— Команды?.. А команды кто так обучил, — не вы ли?

— Нет-с, не я-с! — поспешно отозвался Нахимов. — Это все покойный Лазарев, Михаил Петрович, — все он, а я что же-с... Я и сам-то только его ученик...

— Ах, скромник! Ах, какой он скромник, этот Павел Степаныч! — любуясь Нахимовым, качал головой Корнилов. — Ну уж так ли, иначе ли, а победа славная!.. Гораздо выше Чесмы победа! Что Чесма! Выше Наварина даже! Выше, выше Наварина не спорьте! Я уж вижу, что хотите спорить!.. Потому выше, что там не одни мы были виновники победы: англичане приписали ее себе, французы себе... А здесь у вас никаких ни помощников, ни менторов не было — русская победа!

Нахимов, однако, сказал, что хотел сказать:

— Да ведь невелика честь турок-то бить — при Чесме ли, при Наварине ли здесь ли... Вот кабы других-то удалось побить, — другое бы дело-с!.. Однако же, надо правду сказать, и турки дрались хорошо, — ни одно судно ведь не спустило флага, кто-то впустил их командам большую строптивость, вот как-с!

— Это они просто забывали сделать от страха, Павел Степаныч!

— От страха, вы полагаете? Однако ж кое-какие суда положили самп.

— Сами подожгли? Как так самп?

Этого не ожидал от турок Корнилов. Это его возмутило.

— Надобно им было воспрепятствовать этому! — вскричал он. — Надобно и сейчас пока еще не совсем поздно, послать шлюпку ко всем их судам, чтобы спустили флаг, и сейчас же надо перевозить оттуда на наши суда пленных.

Но, спохватившись, что говорит с Нахимовым, с победителем, командным тоном, Корнилов добавил:

— Это мое мнение, Павел Степаныч, дорогой, а вы, может быть, распорядитесь как-нибудь иначе?

Нахимов успокоил его, сказав:

— Я уже приказал спустить плюшки и газпачил офицеров парламентарам; сейчас они отправляются... Также и в Синоп назначил мичмана Манто. Он, как грек, сумеет поговорить со злыми греками, если не найдет в Синопе турок.

— Как не найдет турок? Почему не найдет? — встревожился Корнилов.

— Я полагаю, что все уж они бежали отсюда как можно дальше, — спокойно ответил на это Нахимов.

6

Шлюпки, катера, полубаркасы, отправленные с русских судов к неохваченным еще пока пожаром турецким судам, бороздили в разных направлениях поверхность бухты, теперь уже совершенно утихшей.

Поразительна была эта тишина после недавнего страшного грохота нескольких сот орудий в течение двух с лишним часов. Теперь слышны были только команды или просто окрики на русском языке, а там, со стороны турок — треск дерева, пожираемого огнем; людей нигде на берегу не было видно.

Когда матросы с «Одессы» под командой лейтенанта Кузьмина-Каравачева пристали к фрегату «Назими-Зефер», никто не оказал им сопротивления, никто даже не подошел к трапу, по которому они поднимались на батарейную палубу; можно было думать, — так и подумали, — что на фрегате нет ни одной живой души.

Однако один матрос, подымаясь, заметил, покрутив головой и потянув посом:

— Пе-ет, должно, люди тут есть: шибко турецким табаком пахнет!

И действительно, на палубе турок оказалось много: они сидели на полу, подобранные под себя ноги, и почти все безмятежно курили: кишет — сульба, — ничего не поделаешь, остается только ей покориться.

У Кузьмина было человек десять матросов, и его, как и всех матросов, поразило то, что по всей палубе между курильщиками был рассыпан кучками порох, который каждую секунду мог взорваться от первой попавшей в него искры.

— Вам благородие, что же это такое! — испуганно обратился к лейтенанту

один старый матрос, остановившись у открытой двери. — Ведь это у них в кройт-камеру дверь!

— Сейчас же закрой! — крикнул ему Кузьмин и, повернувшись к туркам, так скомаандовал: — Не ку-ри-ить!.. Бросить все трубки за борт! — что турки проворно выскочили и опустили руки по швам, хоть и не поняли команды.

Среди матросов был один, немного говоривший по-татарски; но пока он объяснялся с ближайшими к нему турками, другие матросы поспешно кинулись отбирать трубки и швырять в море.

— Закрыть весь порох на палубе водой! — снова скомаандовал своим лейтенант, когда отобраны были трубки, и матросы рассыпались по фрегату, отыскивая ведра, так как не надеялись найти у турок помощи, и ругались при этом:

— Вот народ бесхозяйственный! Вот лодыри, черти!.. Возля пороху сидят и, себе знай, журят, как миленькие! Ну, и наро-од!

Посчитали потом пленных, — оказалось около двухсот человек здоровых, человек двадцать раненых. В стороне лежали убитые — восемнадцать тел. Остальные из команды фрегата, как оказалось, пустились вплавь к берегу, и одни доплыли, другие утонули.

Около капитанской каюты нашли тело командира фрегата.

Нужно было расклепать якорную цепь, чтобы отвести фрегат подальше от другого, жарко плававшего фрегата, но это оказалось не так просто: болты были сильно заржавлены. Пришлось рубить одно из звеньев цепи, а пока возлились с ней одни матросы, другие занялись перевозкой пленных на ближайший корабль «Три святителя».

— А раненые? Что же делать с ранеными? — раздумывал вслух лейтенант, не получивший на этот счет никаких приказаний от Корнилова, и решил вдруг внезапно: — Чорт с ними! Перевести их на берег, — пусть их турки лечат, а не мы будем с ними возиться!

— Ваше благородие, — обратился к нему матрос-переводчик: — Тут, коло раненых, доктор ихний, турецкий, есть, только он из армян.

— Отлично! Вот пусть он и отправляет в синопский лазарет. А в помощники ему оставить, так и быть, на каждого раненого по здоровому турку!

Когда переводчик-матрос передал лекарю, что сказал лейтенант, тот только высоко

вздернул пышные черные брови и перевел вопрошательные глаза на русского лейтенанта. Однако вскоре убедился, что никакого издевательства нет в том, что он услышал.

Катер подтащил на буксире вместительную турецкую баржу, стоявшую между фрегатом и берегом и счастливо уцелевшую, потом приказано было двадцати здоровым турецким матросам уложить на эту баржу своих раненых товарищей, перетащить туда же и их и свой багаж и запас сухарей, взятых из брод-камеры. Наконец, Кузьмин-Караваев кивнул на баржу лекарю-армянину, сказав при этом:

— В Синоп, в госпиталь...

Лекарь шепнул, что он не пленный больше — упав на колени, он запел от радости «Ave Maria». Радость его сообщила и туркам, усевшимся уже возле раненых, и они чуть не опрокинули баржу, бросившись к борту ее, чтобы приветствовать русского офицера криками благодарности.

Несущий турками флаг был спрятан и отправлен на «Марию», Нахимову, как трофеем, а фрегат отвели, наконец, подальше от его плававшего товарища и от русского корабля, но, увы, он был до того разбит снарядами, что дотащить его до Севастополя было бы совершенно невозможно. Решено было поэтому съечь его, чтобы не оставлять туркам.

В таком же точно состоянии были другие два фрегата, уцелевшие от огня. На флагманский «Ауни-Аллах» взшел с посланной Нахимовым шлюпки мичман Папютин с несколькими матросами. «Ауни-Аллах» тонул уже, большая часть его корпуса погрузилась в воду.

На нем не думали уже найти никого, поэтому велико было удивление мичмана, когда он увидел на палубе седобородого старика, но пояс в ледяной воде, державшегося дрожащими руками за пулечный брюк, — то есть канат, которым орудие прикрепляется к борту.

Глаза его были вылачены, лицо тряслось, форменная феска была надвинута на оттопыренные уши, но ни шинели, ни даже мундира на старике не было, — только рубашка, мокрая вплоть до ворота.

Старик стоял на одной левой ноге, — правая оказалась перебитой; более бедственное положение трудно было представить.

Папютин сам кинулся в чем был в воду, чтобы его вытащить, так как гибели судна можно было ожидать с минуты на минуту. Он не знал, что это за старик. Когда матро-

сы на руках вытащили погибавшего и спасенного от близкой смерти в свою шлюпку, он только слабо стонал и бился от потрясающего озноба.

Его отравили на «Марию», и только там подтвердилась неуверенная догадка мичмана, что спасенный им не кто иной, как сам Осман-паша.

Обогретый, перевязанный судовым врачом Земаном, он рассказал Нахимову и Курдюкову на плохом французском языке, как его не только бросили, но еще и ограбили команда фрегата, спасаясь с тонувшего судна на берег.

— Показалась течь, — рассказывал бедный адмирал, — вода все прибывала... Надежд уже не было никаких... И вот началось бегство и офицеров и матросов... А я был ранен в этот как раз момент и лежал с перебитой ногой. Я приказывал взять меня в шлюпку, но меня уже не слушали... Раненых всех бросали, если они не могли двигаться сами, не могли плыть к берегу, потому что шлюпки ушли, но они не вернулись... Сегодня бросили их там, на берегу, а сами бежали. Когда один матрос приподнял меня, я шлогал, что он хочет отнести меня на руках на шлюпку, но он только вытащил мои золотые часы, положил их себе в карман и побежал дальше. Когда другой матрос присел около меня на корточки, я думал: вот этот помнит воинскую дисциплину, и он возьмет меня, старого своего начальника, чтобы я не попал в плен к русским... Но он только обшарил меня, вытащил копейки с деньгами и побежал догонять товарищей... Тогда я собрал все силы и кое-как поднялся; да и лежать было уже нельзя, — на палубе оказалось на четверть воды... Последние матросы оставались — трое... Они раздевались, чтобы удобнее было плыть... Я им крикнул: «Возьмите меня!..» и они подплыли... И они раздели меня, точно я тоже мог бы плыть с моею перебитой ногой рядом с ними... Они раздели меня, так что я остался в одном белье, потом связали все мое верхнее платье в узел, и один из них, самый крешкий, прикрепил веревкой узел к своей спине и бросился в море плыть с ним к берегу... А я остался!.. Я остался в воде, достигавшей уже до колен, раненный вашим снарядом и ограбленный и брошенный на погибель своей командой, — я, который сорок два года провел на морской службе и последние десять лет из них был адмиралом его величества султана!..

Старик плакал, рассказывая это врагам, которым обязан он был своим спасением.

Слушая его, Корнилов изумленно пожимал плечами и вопросительно глядел на Нахимова, а когда Осман-паша попросил разрешения укутаться с головой в одеяло, так как теперь весь дрожал от больше нервной дрожью, чем от озноба, Корнилов не выдержал, чтобы не обратиться к победителю турецкого адмирала с вопросом:

— Ведь даже и думать нельзя, Павел Степанович, чтобы наши матросы позволили себе что-нибудь подобное с кем-либо из адмиралов нашего флота, а?

Нахимов поглядел на него с оттенком укоризны и ответил:

— Что касается меня, Владимир Алексеевич, то мне даже и вопрос подобный как-то некогда не приходил в голову.

7

Однако не один только Осман-паша был оставлен на гибель своими же матросами: та же участь постигла и тяжело раненного командира фрегата «Фазли-Аллах» и капитана одного из корветов, и так же точно, как и Осман-паша, спасены от неминуемой для них смерти они были русскими моряками.

Один из них при опросе рассказывал, что был очевидцем того, как русский снаряд попал в шлюпку, на которой хотел переправиться на берег с горевшего «Низамие» Гуссейн-паша. Разбитая шлюпка перевернулась килем кверху, и адмирал, побарахтавшись с минуту, пошел ко дну.

Синоп же между тем горел, и незаметно было, чтобы кто-нибудь тушил там пожары, хотя перестрелка и прекратилась.

Мичман Мапто с небольшой группой матросов довольно бесстрашно шагал по пустынным улицам, воздух которых был горяч, душен, пропитан гарью и дымом. На рукаве черной шинели мичмана белела повязка парламентаря; в кармане шинели лежала темного-словная бумажка, полученная непосредственно от самого Нахимова, — обращение к населению города, которому рекомендовалось немедленно приступить к тушению пожаров и восстановлению порядка. При этом население предупреждалось, что если раздастся хотя один выстрел по русской эскадре, то весь город будет уничтожен бомбардировкой.

Пылали и рушились здесь и там крыши домов, ревел в ужасе скот, выли собаки, метаясь в дыму голуби, но что касалось населения, то оно не попадалось мичману Мапто в турецкой части Синопа.

Напротив, население греческой части, где, кстати сказать, не горел ни один дом, почти все было на улицах.

Зато и стремление греков было не из Синопа к горам, густо поросшим лесом, а из Синопа — к морю, где стояли русские суда.

— Возьмите нас всех с собой! Возьмите нас всех в Россию! — кричали, густо обступив мичмана Мапто, греки и гречанки.

— Что вы, что вы! Куда же нам взять несколько тысяч человек? — пробовал возражать Мапто, но греки были в напическом ужасе. Они кричали:

— нас всех завтра же к вечеру перережут турки, если вы утром уйдете отсюда!

— Мы христиане! Русские должны спасти своих единоверцев!

— Мы пошлем депутацию к вашему адмиралу.

— Что же может сделать наш адмирал? Куда он денет несколько тысяч человек? Суда наши не поднимут столько! — пытался урезонить кричавших соплеменников своих мичман Мапто, но тем это казалось только отговоркой.

Они клялись, что не возьмут с собой никакого багажа, что им лишь бы спасти свои жизни, что русский царь будет благодарен за них своему адмиралу, так как они, синопские греки, в большинстве своем или корабельные плотники, работавшие здесь, на верфи, или каменщики, слесари, кузнецы, огородники, садовники, — вообще рабочие люди, которые будут трудиться и в России.

— Все это хорошо, но почему вы все-таки так боитесь, что турки вас перережут? — спросил Мапто. — За что именно будут они вас резать?

— Как за что? — удивились в свою очередь греки такой недогадливости русского офицера. — Ведь турецкий квартал сгорел, а не наш, — вот за это и будут резать.

— Попробуйте счастья, пошлите депутацию к адмиралу Нахимову, — сказал, наконец, Мапто. — Только лучше бы вам было вооружиться самим чем угодно и защищаться от турок, если они нападут...

Из лиц, которых можно было хотя бы с натяжкой причислить к властям, Мапто, после долгих поисков, нашел только австрийского консула, которому и передал требование Нахимова. Греки же действительно послали депутацию на корабль «Мария», и Нахимов, выслушав взволнованных синопцев, сказал, что он был командирован сюда для сражения с турецкой эскадрой, а совсем не затем, чтобы вывезти отсюда в Россию несколько тысяч человек поданных султана, и что этот шаг, если бы он его сделал, грозил бы большими политическими осложнениями

для России, не говоря уже о том, что суда его теперь слишком чувствительны ко всякой лишней тяжести, так как очень повреждены.

В этому времени им были уже собраны сведения о том, насколько пострадали суда его отряда. Кроме «Марии», больше других пострадал корабль «Три святителя»: на нем насчитывалось до пятидесяти пробойн, и все мачты были сбиты. «Константин» также остался без мачт и получил тридцать пробойн. Посчастливилось только одному «Парижу»: у него было всего шестнадцать пробойн, и мачты целы, а потери в людях ничтожны, хотя он сражался с несколькими турецкими судами и самой сильной из береговых батарей — пятой. Не зря Нахимов хотел во время боя благодарить сигналом команду «Парижа».

Больше других потерял людей «Ростислав» из-за взрыва кокора: на нем вышло из строя свыше ста человек, — почти половина общих потерь эскадры. У турок же, по подсчету их плененных офицеров, погибло в этот день не менее четырех тысяч.

В темноте наступившей почти последние турецкие фрегаты, подожженные командами русских матросов, пылали злоеще и жутко, но на израненных в бою кораблях багровый свет пожаров как в море, так и в Синопе помогал судовым плотникам заделывать брешки в обшивке и устанавливать запасной рангоут на палубах.

Среди пробойн были и подводные, — их нужно было заделать в первую очередь, чтобы вода не залила трюмы. За необходимым ремонтом судов следили все четыре адмирала, и всю ночь в турецкой бухте стучали русские топоры и молотки, стоял гомон горячей работы.

«Мария» и «Три святителя» особенно беспокоили Нахимова.

— Не знаю, не могу судить теперь, почью, дойдут ли они до Севастополя, Владимир Алексеич, — обратился он к Корнилову. — Очень обиты оба — и «Три святителя», и «Мария».

— На буксире у пароходов придется их вести, — отозвался на это Корнилов, — но при этом условия должны дойти.

— Должны, да-с, должны... А вдруг в открытом море прихватит шторм такой силы, как был восьмого числа? Зальет! Потонуть могут...

— Ну, так уж непременно и шторм! Не шторм, а неприятельская эскадра может нас прихватить на обратном пути, вот что скажите, Павел Степаныч!

— Это было бы все-таки лучшее из двух

зол: тут, с одной стороны, боееспособность нашего отряда не потеряна, да у нас, тем более, есть еще в запасе два фрегата, не бывших в бою, и пароходы... А с другой стороны, такой силы эскадры, как наша, едва ли пошлют из Босфора.

— Вот видите, и вы правы, конечно!.. Такой большой силы эскадры турок мы встретить не можем, а с Англией и Францией мы еще пока в мире, так что их судов мы во всяком случае не встретим.

— Зато нас встретит весь Севастополь, когда мы будем входить в рейд, Владимир Алексеич, вот что-с! — горевал Нахимов. — И вот мы входим, победители хотя, но в каком плачевном виде!

— Павел Степаныч! Не забывайте Нельсона! Разве не приходилось ему приводить свои корабли в гавань со сбитыми мачтами? Разве так уж дешево достались англичанам победы при Абукире и Трафальгаре?.. А Сервалтес, Сервалтес? Помните, что он писал о битве при Лепанто? По его мнению, это было величайшее сражение как прошедших веков, так и будущих! Но где же было ему в шестнадцатом веке предвидеть Синопский бой!

Говоря это, Корнилов не то, чтобы задавался целью поднять настроение Нахимова, — тот не нуждался для этого в сравнениях и восклицаниях, — нет, он был вполне искренно восхищен результатами боя, особенно, когда убедился, наконец, что захватить при столь упорной защите хоть одно турецкое судно в исправном более-менее виде было нельзя.

8

Матросы работали в две смены, хотя и нуждались в полном отдыхе после жестокого боя.

Но чуть только рассвело настолько, что можно было разглядеть сигнал, поднятый на «Марии», судовые священники принялись служить заупокойную обедню и панихиды по убитым, которых на всех кораблях было около сорока человек матросов и офицеров.

На «Чесме», впрочем, хотя и обедня и панихида служились, как на других судах, но не по своим убитым, так как их совсем не было здесь, да и раненых оказалось только четверо. Зато о. Луке на «Марии» пришлось отпевать шестнадцать человек, тела которых торжественно опускали в море одно за другим.

Первый и единственный раз за всю историю России и Турции служилась заупокойная обедня и панихида на боевых судах в

Синопской бухте; матросы-певчие истово пели: «И вижу во гробе лежащую пашу красоту, безобразну, бесславу, немущую вид...» А между тем не было никаких гробов, и красота, безмолвно лежащая в ряд на падуе, была отнюдь не бесславна.

Можно было бы, конечно, доставить тела убитых в Севастополь, где схоронили бы их в гробах на кладбище, чтобы на их могилы пришли иногда погрустить их домашние, у кого они были, но величав обычай отдавать умерших ли, убитых ли во время плаванья моряков их стихиям.

Отдали последний долг павшим, и на судах загремел молебен. Поздравили потом команды судов с победой; матросы прокричали «ура!», и прервавшая часа на два работа началась снова.

В бухте было затишье, но в открытом море с утра завывал норд-ост, и перекатывались огромные валы. Такое состояние моря настойчиво требовало, чтобы суда, имевшие много пробоев, были почищены на совесть,— это понимали все матросы; адмиралы же знали, со слов Османа-пашы, что еще 15(27) числа была послана им телеграмма в Константинополь о прозящей турецким судам и городу опасности от блокирующих бухту русских кораблей.

Четыре дня прошло уже с того часу, когда отправлена была телеграмма, а состояние от Босфора до Синопа немногим больше расстояния от Синопа до Севастополя.

Неизвестно, конечно, было, как отнеслись французы и англичане к телеграмме Осман-пашы, но вестник поражения, адмирал След на «Тайфе», при его быстром ходе в этот день, к вечеру мог уже быть в Босфоре, и Нахимов вполне справедливо оценивал свое положение, когда говорил Корнилову:

— Мы не находимся в состоянии войны с Францией и Англией, это верно-с, но если они только желают воевать с нами, то лучшего повода к войне у них и быть не может,— смею вас уверить, Владимир Алексеевич... И зачем нам объявлять нам войну, когда без этой формальности обошлись даже турки? Они могут просто ввести весь свой соединенный флот в Черное море и напасть на нас по пути в Севастополь, если мы сегодня же не успеем починиться как следует, чтобы можно было сплывть нам завтра утром... Вот как-с обстоит дело, на мой взгляд-с!

— Прежде всего, не успеют они этого, Павел Степаныч, хотя флот для нападения имеют вполне достаточный...— начал было

развивать свои предположения на этот счет Корнилов, но Нахимов поспешил вставить:

— Не успеют только в том случае, если мы успеем починиться как следует!

— Это само собою разумеется... А затем, едва ли осмелятся они даже выйти из тихого Босфора в такую бурную погоду,— вот что, мне кажется, важнее. Но самое важное все-таки не в этом, а кое в чем другом, а именно: они, то есть англичане и французы, имеют теперь повод для войны с нами, но не забывайте того, Павел Степаныч, что подготовили-то войну они только здесь, в Турции, а не у себя дома,— вот в чем тяжесть вопроса! Там, у себя, они только теперь начнут звонить о войне на всех колокольнях... Так что починиться мы успеем, хотя мешкать нам нельзя,— надо добраться поскорее до Севастополя.

— Ну, да ведь мы и не мешкаем: стучим, что есть мочи!

Стук на кораблях действительно был вполне добросовестный; образовалась как бы целая русская верфь посредине турецкой бухты, в ближайшем соседстве с верфью синопской.

Команды с четырех пароходов,— так как пришел еще и «Громоносец»,— а также с двух фрегатов, «Кагула» и «Гулевчи», помогали командам кораблей. Запасного леса на судах было довольно, так что незачем было тащить необходимый для ремонта материал из Синопа, как неприкосновенны остались и мирные подданные султана — греки, неотступно умолявшие Нахимова и Корнилова и в этот день, чтобы их увезли в Россию.

Вечером оба вице-адмирала заняты были осмотром всех шести кораблей, внимательнейшим и подробным. Осмотр показал, что еще немного, и сделано будет все, что возможно было бы сделать, не заводя кораблей в доки. Ночью на двадцатое работы утихли, а утром вся эскадра снялась с якоря. Позади чернели, дотлевая, днища турецких судов, чернело и дымилось пожарище в турецком квартале Синопа, но это уже оставлялось, оставалось, на глазах уходило в прошлое, а впереди, в ближайшем будущем, открывалось во всю свою неприглядную ширину море, на котором не только не улеглись, но не собиравшись и через два-три дня улечься крупные волны.

Ветер продолжал дуть с северо-востока, тая в себе возможность перейти в шторм. Но медлить с выходом в родной порт было

уже нельзя, и эскадра пошла! огибать полуостров.

Однако не вся: «Мария», только пройдя с мило, притом в бухте, дала течь и ее пришлось оставить на дополнительный ремонт, порученный контр-адмиралу Панфилову. Ремонт был закончен только к трем часам дня, когда этот более всех других избитый корабль смог, наконец, отважиться идти вслед за другими судами на буксире «Крыма» и под конвоем обоих фрегатов.

Но из ушедших утром только «Париж» и «Чесма» могли двигаться без помощи пароходов, как наиболее уцелевшие. «Одессой» был взят на буксир «Константин», несший теперь флаг Нахимова, «Херсонес» вел громадину «Три святителя», «Громовосец» тащил «Ростислава».

Однако слишком сильная зыбь, встреченная в открытом море, заставила пароходы отдать буксены, а корабли — натянуть паруса. «Чесма» и «Париж» явились в этом опасном рейсе конвоирами для остальных. Корнилов же, снова на «Одессе», на всех парах отправился в Севастополь, чтобы не только стать вестником победы, но и выслать навстречу эскадре-победительнице возможную помощь.

Для Нахимова наступили часы гораздо большей тревоги за свои суда, чем это было во время боя. Часы эти тянулись утомительно долго и в первый день плавания, но наступившая ночь не только не принесла покоя, — напротив, усилила тревогу.

Особенно старый, ровесник самому флагману корабля, корабль «Три святителя» внушал опасения... Что, как не выдержат пробиты сильных и настоячивых ударов волны?.. Ведь это тараны, а не волны!.. Корабли то зарываются в них, то взлетают стремительно. Что, как раскроются их раны как раз в эту бесприсветно-темную ночь, когда так издевательски свищет в снастях ветер? Как спасти команды тонущих кораблей в такую погоду ночью? Ведь половина их, если не больше, непременно должна погибнуть!..

Ити вперед нельзя, — однако и не ити нельзя! Можно считать почти чудом, если эскадра дойдет благополучно, но она должна прийти благополучно, иначе такой дорогой ценой будет куплена Синопская победа, что можно уже будет не считать ее и победой: вместо славы для черноморцев — всемирный позор.

Нахимов заснул только на рассвете, когда суда сигнализировали, что все благополучно.

Проснувшись в обед, он услышал от одного из своих адъютантов, что грозивший все время разыграться в шторм шквалистый норд-ост утихает.

— Прекрасно-с! Очень хорошо-с! — обрадовался Нахимов. — Но вот вопрос: где-то теперь «Мария»? Удалось ли исправить ее как следует?

И весь остаток этого второго дня плавания, которое стоило большого сражения, Нахимов провел, но расставаясь со своею трубой: все думалось ему, все хотелось думать, что сзади, на горизонте, смутно замаячат мачты четырех судов эскадры Панфилова.

Оба фрегата были легки на ходу, у «Марии», нового корабля, тоже был хороший ход... был, но каков-то теперь?

Нахимов за ужином должен был признаться вслух, что для него этот рейс гораздо беспокойнее любого боя. В эту ночь он хотя и лег спать, но часто просыпался и требовал ответа: как «Три святителя»? как «Ростислав»? не подошла ли «Мария»?

Радость ожидала его утром двадцать второго числа: ему доложили, что милях в четырех к западу замечены суда, идущие тем же курсом. Он тут же вышел на ют и навел трубу.

— Ну, вот! Ну, вот! Это «Мария»! — обрадованно вскричал он. — «Мария» и оба фрегата... И пароход... Они нас обходят. И очень хорошо-с, прекрасно-с! Поднять сейчас же сигнал: «Вице-адмирал Нахимов благодарит контр-адмирала Панфилова...»

Сигнал был поднят. Небольшая эскадра Панфилова около часу красовалась перед глазами Нахимова, потом, уходя вперед, скрыла свои мачты за горизонтом. А в обед, когда стих ветер, показался пароход «Одесса», высланный на помощь эскадре. Наконец можно уже стало различить хорошо знакомые всем очертания берегов Крыма и белеющие в голубом мареве точки Севастополя, куда раньше своих боевых товарищей пришла гораздо опаснее их израненная «Мария».

Глава шестая

1

Севастополь того времени был город, тесно сплетенный с флотом. Огромные здания береговых фортов, правда, были тогда уже возведены и поражали своими исполинскими размерами, но вооружение их не было еще закончено.

В Петербурге, в военном министерстве, заседали «ученый артиллерийский комитет», составивший новую программу вооружения крепостей, и летом, для проведения этой программы, приезжал генерал Безак.

Политическое положение после разрыва с Турцией было тогда уже очень тяжелым: эскадры держав-покровительниц Турции стояли вблизи Дарданелл, а «ученый комитет» старался действовать методически, систематически, стратегически — всесторонне обдуманно.

Даже Меншиков, тоже не проявлявший никаких признаков торопливости, и тот возмущился действиями Безака, который, выполняя программу комитета, прежде чем вооружать форты по-новому, приказал совершенно разоружить их.

«Севастополь лишается всех средств защиты в продолжение по крайней мере двух месяцев. Неужели к этому и стремилась новая программа? — писал Меншиков военному министру, князю Долгорукову. — Этого нельзя считать благоразумным в эпоху, когда эскадры двух морских держав находятся в таком положении, что через пять или шесть дней могут явиться перед Севастополем. Я не говорю, чтобы это было вероятно, но в случае войны считаю это дело возможным».

Однако именно то, что считал возможным Меншиков, представлялось совершенно бесчеловечным в военном министерстве, и тот же генерал Безак, вновь командированный в Крым, в октябре писал в докладной записке военному министру, что для охраны Евпатории вполне достаточно одной сотни казаков, что же касается Севастополя, то «быть может, неприятель будет стараться высадить десант, дабы действовать с сухого пути; в таком случае резервная бригада в самом Севастополе, а на Северной стороне один полк пехоты с полевой батареей, при содействии морского ведомства, кажется достаточно охраняли бы Севастополь».

Таким образом, устами своего представителя военное министерство считало, что три полка пехоты вполне способны защитить Севастополь от натиска трех европейских держав, если соблюдено будет только одно условие: «поддержка морского ведомства».

Поэтому-то гарнизонной артиллерии было всего-навсего четыре с половиной роты, а между тем, чтобы обслуживать все крепостные орудия нужной было вчетверо более артиллерийской прислуги. Это заставило Меншикова завербовать из всякой нестроевины сухопутного и морского ведомства в

артиллеристы людей, не имеющих никакого понятия об орудиях и снарядах, и приказать заняться обучением их в самом спешном порядке.

Обучали, не прибегая ни к каким сложным командам, чтобы зря не затуманивать мозги: «Подай, братец!...» «Вложи, братец!...» «Пали, братец!...» «Ядро, братец, — все равно, что крутой хлеб, а бомба — широк с начинкой!...»

Подавали снаряды, вкладывали в орудия, палили, учились отличать ядро от бомбы, — поджидали нападения Европы, надеясь на «поддержку морского ведомства». А морское ведомство действительно было и многолюдно и благоустроено.

Морское ведомство первым приняло вызов противника; морское ведомство снарядило суда в экспедицию против турецкой эскадры; морское же ведомство — семь матросов с Корабельной слободки и офицеров из города — вышло в этот день возвращения русских судов в родной порт, на берег и открыло шлюпками и яликами рейд и Южную бухту.

Привезенная Корниловым весть о победе разнеслась по городу с сорокатысячным населением не больше как в течение часа, и с раннего утра двадцать второго числа на пристань и на берег к маяку спешили толпы народа.

С маяка далеко было видно море, на маяк были обращены петербургские взгляды всех ожидающих победоносных кораблей. И вот перед полднем с маяка раздалось желанное:

— Есть! Видно!.. Идет наша эскадра!

Это шла «Мария» на буксире парохода «Крым», а по обоим сторонам ее фрегаты «Кулевчи» и «Кагул».

Для встречи эскадры празднично расцветены были флагами все суда, стоявшие на рейде: линейные корабли, фрегаты, корветы, бриги, тендеры, бомбарды, яхты, транспорты... По рядам судов расставлены были матросы в парадной форме, — как знак высшего почета виновникам блестящей победы. Там и здесь, на берегу и в шлюпках, ярже нестреяли букеты цветов, — георгины, хризантемы — в руках детей и женщин. Встреча победителей всею многотысячной морской семьей Севастополя готовилась исключительно торжественная. Но... все ограничилось в этот день только тем, что кричали «ура» и приветственно махали букетами, платками, фуражками...

Достаточно оказалось только одного чело-

века, который оледенил вдруг весь этот горячий восторг; таким человеком был светлейший князь.

Его катер появился на рейде тогда, когда — приблизительно полчаса спустя после прихода «Марии» — торжественно вошла с моря на рейд вся остальная Нахимовская эскадра.

Да, была совершенно исключительная торжественность в этих пробитых во многих местах бочьих кораблях с их парусами, взорвавшими кнншпелами и ядрами, со светлыми залпатами на изувеченных мачтах! Одержав одну победу в Синопской бухте над турецкой эскадрой и батареями, они держали и другую — над бурным морем. Вид этих кораблей, один за другим, вслед за флагманским «Константином», входивших на рейд, вызывал взрывы ликования с бесчисленных шлюпок и с берега. Даже то, что первые три из них, «Константин», «Три святителя» и «Ростислав», шли на буксире пароходов, совсем не умаляло, а как будто увеличивало любовь к ним, как к живым существам: подвиг их был труден, но тем не менее он совершен.

И когда отвалил от Графской пристани и пошел на всех веслах навстречу эскадре вместительный катер князя, все приготовилось к началу большого праздника, все соответственно настроилось, все впилилось глазами в этот катер, буквально летевший вперед; гребцы-матросы старались не потому только, что везут князя, свое высшее начальство, — но главным образом потому, что везут его славным бойцам навстречу...

И доставили, подошли к «Константину»; увидели: стоит на палубе «отец», Павел Степанович, около него офицеры, а за ними — длинные ряды матросов... И как ревностно исполнили они, гребцы, команду князя — подняли весла, салютуя Нахимову!..

Этим жестом Меншиков как бы действительно хотел выразить свою признательность победителю при Синопе, неутомимым выслеживанием противника в течение нескольких недель, в исключительно трудных условиях крейсерства, подготовившего блестящий успех.

Но вот он, высокий и узкий старик с холодным взглядом сапожника, взошел по трапу на палубу и... прежде чем подойти к Нахимову, гнусавым, брезгливым голосом приказал поднять карантинный флаг, так как на «Константине» были пленные турки, а именно: раненый Осман-паша и два командира сожженных фрегатов.

И, только отдав этот приказ, он соблаговолит выслушать рапорт Нахимова, принять от него донесение о подробностях боя и, наконец, поздравить его с победой.

Потом, как бы вспомнив, что надо бы сделать еще и это, он поздравил офицеров и матросов, а после их обычного в подобных случаях ответа подал руку Нахимову, прощаясь, и повернулся уходить.

— Ваша светлость! — в полном недоумении обратился к нему Нахимов. — Этот флаг карантинный означает, разумеется, что никто из экипажа корабля не может сойти на берег?

— Разумеется! А что же еще он может означать? — сухо ответил ему князь.

— Значит, и на меня тоже распространяется это?

Меншиков сказал еще суше, чем раньше:

— Поскольку и вы, Павел Степанович, вернулись из Турции, неблагоприятной по холере, и привезли пленных турок, то, конечно, нельзя будет исключения сделать даже и для вас.

— И что же, как долго будет поднят у нас этот флаг? — спросил Нахимов.

— А это уж я тогда дам вам знать, — ответил Меншиков, подходя к трапу.

Другие корабли он не посетил, по на всех заплескались карантинные черные флаги.

День, как по заказу для всенародного торжества, выдался теплый, тихий и яркий; тысячи людей приготовились к этому торжеству. И вот — никакого торжества не вышло.

Катер светлейшего полетел к Графской пристани, и от кораблей-победителей, как от зачумленных, мало-помалу отхлынули все шлюпки, вышедшие им навстречу так радостно.

2

Бывает такая высокая степень упоенности своей властью, что даже море приказывают бичевать пенями за то, что разметало и потопило оно корабли; так, если верить древнему историку, поступил царь Ксеркс.

В Севастополе, весьма удаленном от Петербурга, вся власть была в руках Меншикова, и в глазах его, море-то вело себя довольно сносно, — несносен был только Нахимов, который не дождался Корнилова, чтобы передать ему и командование над отрядом, и лавры победы.

Корнилов на «Одессе» пришел в Севасто-

поль почти на сутки раньше всей эскадры, и у Меншикова было достаточно времени, чтобы узнать все подробности боя и принять то решение, какое он принял.

Корнилов был очень возбужден, когда рассказывал ему о разгроме турецкой эскадры; он переживал виденное и старался как можно ярче передать то, чего не видел сам, по что неотступно рисовалось перед ним по результатам боя. Глаза его горели, руки дрожали, так что он часто потирал их одна о другую, чтобы согреть.

Закончили он теми же самыми словами, какие наворачнулись ему на язык при свидании с Нахимовым:

— Победа знатная! Выше Чесмы и выше Наварина!

— Но ведь Синоп, вы говорите, сожжен! — недоуменно отозвался на весь его доклад Меншиков.

— Да, половина Синопа — турецкая — сожжена.

— Это все равно, половина или больше! Важно то, что поступлено вопреки воле его величества, — это раз, и вызовет неизбежно политические осложнения, — это два!

Корнилов услышал от светлейшего то самое, что говорил Нахимов, но говорить это там, в виду горевшего Синопа, было одно, слышать же здесь, в Севастополе, притом из уст Меншикова, показалось ему совсем другим, — как бы незаслуженным упреком. Подумалось иронически крыловское: «Чему обрадовался едур? Знай колет, — всю испортил шкуру!..» И он возразил горячо:

— Павел Степанович, ваша светлость, разумеется, принял все меры, чтобы не было в Синопе пожаров от наших снарядов, но ведь в пороховом дыму невозможно точно управлять огнем, так что, конечно, несколько бомб могли произвести пожары... А главное, ветер был с моря на город и нес туда всякие пылавшие обломки с турецких судов... Так что сами же турки виноваты в пожаре Синопа: слишком уж тесно прислонились к нему сминами, — вот и последствие!

— Союзники турок этого разбирать не будут, чтобы объявить нам войну, — жестко сказал Меншиков. — В сущности, это даже и не победа наша над турками, а последняя грань обострения наших отношений с англичанами и Наполеоном!

— То же самое и я говорил Нахимову, — согласился с князем Корнилов.

— Ну, вот видите!

— Ту же мысль развивал мне и он: то

мнению Павла Степановича, война с Европой теперь неизбежна.

— Так что, значит, и он, этот тупой человек, понял, что он такое сделал? — как бы удивился даже Меншиков. — Поздно понял!

— Может быть, ваша светлость, он понимал это и раньше, до боя, но не нашел способов поступить иначе, — осторожно вставил Корнилов.

— А раз не нашел способов, то должен был подождать вас!

— По ведь он не был извещен и даже не мог быть извещен заранее, что я назначаюсь вами командовать его отрядом...

— Э-э, об этом умные люди догадываются сами, — презрительно ответил светлейший и поморщился, но большим усилием воли предотвратил гримасу. — А то, что же он сделал? И суда ему все изрешетили турки — страшно смотреть; и потери немалые — триста человек; и, в довершение всего, мы через неделю-другую увидим с вами англо-французский флот перед Севастополем. Что же он думает, — что ему' полного адмирала даст государь, и он таким образом станет вам начальником? Нет, не получит он адмирала!.. Георгия — да, но не повышение в чине, — об этом будет сделано мною особое представление, так что вы, Владимир Алексеевич, можете быть на этот счет спокойны.

Корнилов сидел тогда у светлейшего, как на иголках. Он достаточно уже знал своего непосредственного начальника, чтобы не видеть истинной причины его недовольства. Он понимал, конечно, что, сгорев хоть весь Синоп, лишь бы не Нахимов, а он, Корнилов, вел бой с турецкой эскадрой, Меншиков не поставил бы этого ему в большую вину. Дело было только в том, что ему, князю, приходится представлять к высокой награде вице-адмирала, который был ему крайне противен.

Между тем бой прошел бы именно так, как он был подготовлен Нахимовым, если бы этот последний дождался всего какой-нибудь час, когда пароход «Одесса» открыл бы, где именно стоит русская эскадра, и бумажка о передаче командования была бы вручена по назначению.

Бой прошел бы так же точно, или приблизительно так же, как он и прошел, победа русских судов осталась бы тою же блестящей победой, но о нем, о Корнилове, пошла бы в Петербург такая бумага князя, в результате которой он получил бы наверное не только Георгия, но еще и чин адмирала.

Несколько ничтожных как будто причин: не совсем точно взятый курс парходов, и в то же время значительная передвижка эскадры Нахимова к востоку, в сторону Синопа, сквернейшая погода утром в день боя и потому из рук вон плохая видимость, а главное, незнание того, что предрешен уже момент начала сражения,— и вот, в результате всего этого потерян исключительный случай вознести свое имя на большую высоту, поставить его в ряд исторических имен России.

— Да, признаться, поторопился Нахимов, очень поторопился!.. Весьма поспешил начать бой в самых невыгодных для нас условиях!.. Задержался он на час, на два, и обстоятельства сильно бы изменились... Можно было бы обсудить как следует все доводы за и против и принять наилучшие решения.

— Я говорю о том же самом,— энергично поддержал его Меншиков.— А то что же получилось, посудите сами! Ведь это называется отдубасить своими собственными боками! Вы говорите, что могут даже быть потерянными «Императрица Мария» и «Три святителя»?

— Очень плохи они, ваша светлость! Если дойдут благополучно в такую погоду, это будет стоить целой победы если и не в таком бою, как в Синопском, то все же в серьезном...

Точнее говоря, он печаянно сказал это вполне теми словами, какие и были необходимы, так как о решении Нахимова оставить «Марию» на дополнительный ремонт он не знал, когда отправлялся в Севастополь.

— Вот видите!.. Недоставало еще этого, чтобы они затонули! — подхватил Меншиков.— А при вас, я вполне убежден в этом, такого недосмотра,— ибо это явный недосмотр командующего отрядом,— быть не могло бы! Нет, нет! Если о какой-нибудь победе можно сказать: лучше бы ее не было совсем этой победы, то имеем о Синопской!.. И все это потому, что Нахимов... он, может быть, и не плохой службист, но в морские стратегии не годится!

Этот разговор светлейшего с Корниловым показал начальнику штаба Черноморского флота не только всю глубину ямы, в которую он как бы свалился благодаря тому, что опоздал на час, на два, но также и то, как глубоко ненавистен князю Павел Степанович. Однако и он, отплевывая от Графской пристани вместе с князем приветствовать благополучно, вопреки опасениям, пришед-

шую в свой порт эскадру, не предполагал, что князь тайно приготовил победителям такую жестокую, такую обидную встречу.

3

Обида, оскорбление,— это было чувство, общее всем на судах — адмиралам, офицерам, матросам,— только в первые часы смягчало его ожидание, что вот-вот подойдет снова катер с приказом Меншикова сплести карантинные флаги, раз не обнаружилось ни одного холерного ни между пашеными, ни среди судовых команд.

Однако шли часы, наступал уже вечер, холерных не было, но приказа сплести позорные флаги не приходило.

Как ни крепился Нахимов, как ни старался он подавать своим подчиненным пример «беспрекословного подчинения приказанию высшего начальства»,— не выдержал и он, чтобы не прорваться в присутствии приглашенных им к себе адмиралов Новосильского и Панфилова и всех командиров судов.

Это было уже после вечерней зари, когда матросам полагалось спать, офицеры же имели право и бодрствовать, если хотели.

В городе весело горели огни, хотя на глаз и не казалось, чтобы этих огней было больше, чем всегда; Синопская победа не праздновалась и в городе, не отдавалось такого приказа светлейшим. Да и странно было бы праздновать победу в то время, когда виновники торжества сидели в карантине.

Нахимов засветло побывал на всех судах своей эскадры, поздравляя виновников еще и другого торжества — торжества над бурным морем, не только над сотнями турецких орудий, береговых и морских. Раненые суда, как и раненые матросы в судовых госпиталях, очень волновали Павла Степановича теперь, когда он сидел в кают-компании «Константина» со всеми приглашенными на ужин.

— Бедному Майстрепко с «Ростислава» выжгло взрывом оба глаза,— говорил он.— Страдает, мучается, хотя и терпит... Его бы теперь же в госпиталь на берег,— там у лекарей больше средств утихомирить боль; а вот на ноги,— нельзя отправить на берег! Терпит матрос!.. И сколько их там, на «Ростиславе», — положительно вповалку лежат; однако и для них не сделал исключения князь!.. Признаться, не понимаю—с.. Совершенно не в состоянии понять—с.. Матросы—то чем же оказались виноваты? За что на них положили взыскание?.. А вы, Владимир Иванович, какого редкостного штурмана

лишились, — обратился он к Истомину. — Какая потеря для всего флота — этот штабс-капитан Родионов!

— Он держится бодро, хотя, конечно, страдает, — отозвался Истомин. — Главное, что его мучает, — как жена его встретит, безрукого... И что замечательно, говорит, руки по самое плечо нет, а чувствую все время, что пальцы на этой самой руке очень болят, и их вроде как сводит судорогой...

— Чем же ему оторвало руку? — спрашивался Папфилов. — Ядром или...

— Ядром... Мичман Ребиндер с верхней батареи кричал Родионову на ют: «Укажите направление батарее!» За дымом с нижних меков Ребиндери не было видно, куда стрелять, а береговая батарея ленила в пас ядро за ядром... Родионов Ребиндера все-таки слышал, и ему с юта было, конечно, гораздо виднее, но тут вдруг ядро попадает в катер, и катера щепки летят прямо в лицо Родионову... Он левой рукой обтирал кровь с лица, а правую протянул, чтобы дать направление мичману, и вот тут-то как раз ядро и ударило в эту руку — оторвало прочь... Так это сначала рука Родионова упала на пикапы, а потом и он сам... Да, веселый такой человек всегда был, что как-то даже не верится, что больше уж ему не придется служить во флоте... И мичман все тоскует: «Если б не я, — говорит, — со своим глупым вопросом, ничего бы такого не случилось!»

— Да, вот-с, ждет жена и не знает, что случилось с мужем, ждет жены матросов и тоже не знают, — и с той стороны и с этой напрасные только волнения, вот что-с, — казал Нахимов. — И хотя бы князь приказал доставить нам лес для починки судов, днако же и этого нет... А что если неприятельский флот подойдет к Севастополю, а? Как мы тогда? Ведь мы его в таком состоянии и встретить не можем, вот что-с! Вот то будет тогда позор так позор, когда нам придется прятаться от противника за свои юрты-с!

— Не в этом ли и заключена причина карантинных флагов? — спросил его Новозильский. — Есть такая украинская поговорка: «Кругом та не перекрутуй!» Вот это мне как кажется, Павел Степанович, нам и хотел внушить князь: «Перекрутили, мол, гильмецы!» Послали, дескать, вашу свору только заповелевать оленя, а вы его слопали овсем с трубухой!

— Хорош олень! — засмеялся Папфилов, который хотя и не был сам участником боя, но «Марин» мог судить о силе турецкого огня.

— Да ведь у князя об этом звере свое понятие, а в Петербурге он, может быть, кажется и совсем ручным, — объяснил Новозильский.

— Мы наказаны, это очевидно, — сказал Гутров. — Карантинные флаги — просто дисциплинарная мера!

— Эскадра пришла и с приходу посажена под арест вся в целом, — уточнил его слова Кузнецов, а Микрюков дополнил:

— Особенный гнев князя вызвал, конечно, капитан Барановский тем, что переломил себе обе ноги мячтой!

— Да, вот, господа, потерял наш флот очень хорошего штаб-офицера! Жаль, весьма жаль! — покачал головой Нахимов. — Говорил мне Земац, что одну ногу придется, пожалуй, отрезать; и куда же он тогда, бедный? Хотя бы смотрителем в какой-нибудь лазарет взяли.

— Земац, говорит одно, а в нашем госпитале, на берегу, может быть, сказали бы и другое, — заметил Истомин. — Ведь рапы такого свойства не могут ждать, когда карантинные флаги прикажут снять с судов. Не снять ли с «Марин» Барановского этой ночью, да не отправить ли его в госпиталь?

Нахимов отозвался на это не совсем определенно, однако для всех понятно:

— Князь, Владимир Павлович, не Осман-паша... С Османом мы сладили, а тут... — И он поиграл пальцами по столу и добавил: — На Османа князь даже и поглядеть не захотел, так боялся получить от него холеру... По довольно все-таки об этом... Что же, как говорится, всякому свое: кому сражаться с турками, кому с турецкой холерой. Но я не политик, господа, я моряк и в политике смыслу мало-с, да-с, очень мало-с... Ловушка? — вдруг раздельно и несколько даже фальцетно выкрикнул он. — Кто это мне — кажется, Владимир Алексеевич — сказал: «А что если это нам Англия ловушку поставила в Синопе, а мы в эту ловушку и втяхались с головой!» А совсем бы не надо?.. Погорячились? Дурака свалили? Вот как-с? Дурака... А если бы нас побили, тогда бы мы оказались умники? Так, что ли-с?.. Однако князь поздравлял же с победой, пусть и не от чистого сердца... Поздравил и поспешно нас оставил, и — в карантин-с!.. Да, трудно, трудно тут что-нибудь понять-с, господа! Поэтому напрягать мозгов не будем напрасно, а приступим своими силами и средствами к ужину.

Нахимов, обращаясь к флагманам и командирам судов своего отряда с последними

словами, старался показаться бодрым, боевым — именно боевым, — как будто предстоял всем третий бой, но уже не с турками, не с бурным морем, а с непосредственным начальством, противником, наименее постижимым и совершенно непобедимым, какую бы доблесть ни проявили командиры и команды.

И хотя по адресу Меншикова было сказано в этот вечер на «Константине» достаточно едких словечек, но все-таки ничему не оставалось делать, как сойтись на мнении, что утро вечера мудренее, что утром на другой день, когда окончательно будет установлено, что ни одного случая холеры на судах, пришедших из Синопской бухты, не наблюдается, карантинные флаги будут, разумеется, сняты, и победа будет отпразднована в Севастополе так звонко, как только можно.

А между тем по приказанию светлейшего эскадра-победительница была оцеплена корюном мелких сторожевых судов, с которых должны были зорко следить, чтобы никто, даже сам Нахимов, не вздумали отправиться на катере на берег: нечего было и думать свезти в морской госпиталь ни капитана 2-го ранга Барановского, ни старшего штурмана Родионова, ни матроса Антона Майстренко с выжженными взрывом глазами.

Холерные законы прилагались как нельзя более кстати, чтобы доказать победителям, что их, вопреки известной поговорке, судят.

4

Настало утро. Меншикову передано было, что «ни одного случая холеры на прибывших судах не обнаружено»; ждали, что придет ялик с одним из адъютантов князя и привезет распоряжение о снятии карантина, — однако ждали, как оказалось, напрасно.

Порядок же дня на судах начался обычный, будничной, введенный Нахимовым в своей пятой дивизии и принятый во всем Черноморском флоте.

До восьми утра матросы мыли свое белье и койки. Потом, после завтрака, началось, как всегда, обучение рекрутов, хотя и сдавших уже свой боевой экзамен. «Что такое казенная часть орудия и что — дульная часть?.. Что такое «брюк» и к чему служит?.. Для чего банник? Для чего пыжовник? Как посылается ядро — прежде пыжа или после?.. Для чего комендор затыкает запял затычкой? Когда банят, и какие от небрежения сей должности могут быть по-

следствия?.. Для чего ведро при орудии? Для чего швабра?..» Эти и много других подобных вопросов задавались, и требовались точные заученные ответы.

Как ни велико было недовольство матросов, но они старались приноминать и не сбывались отвечать, зная по опыту, что «от небрежения сей должности» могут быть последствия очень плохие.

В этом на судах кое-как прошло время до обеда. Нахимов ждал, что хотя бы в обед получится распоряжение князя, но берег, хотя и продолжал салютовать флагами, безмолвствовал относительно снятия карантина.

— Но ведь если нам и сегодня не дадут леса для починки подводных пробойн, «Мария» и «Три святителя» могут ночью затонуть на рейде! — возмущался Нахимов и приказал после обеда собрать все дерево, какое еще оставалось на судах, и заняться починкой того, что было расшатано штормом.

В стане победителей вместо празднования раздался рабочий стук и не прекращался до темноты.

— Ну, еще ночку потерпим, а там — на берег! — говорили друг другу матросы и офицеры, укладываясь спать после этого трудового дня.

Утром доложено было Меншикову: «Ни одного случая холеры на прибывших из экспедиции судах обнаружено не было».

Меншиков не отозвался на это ни словом. Карантинные флаги продолжали красоваться на судах и в этот день; и так как дерево было уже истрачено до последней доски, оставалось только докучать матросам будничными вопросами: «Для чего бомбы? Для чего пустое ядро? Для чего брандсугель? Какое ядро далее хватает: пушечное, полупушечное или карронадное?.. Когда употребляется фитиль?..»

Чем дальше тянулось учение, тем больше темнели лица матросов. Следующий день был воскресенье. Ожидания всех устремились именно к этому дню: ради праздника, дескать, прикажут, наконец, снять ненавистные флаги. Увы! Праздник был в городе, праздник был на судах, не выходявших с рейда, но в нем сказано было и в этот день судам-победителям!

Нахимов приказал выдать матросам по чарке водки в обед. После обеда на судах играла музыка, пелись песни... Меншиков grimасничал, когда ему докладывали об этом, но запретить этого не нашел возможным, как трудно было бы запретить яликам из города приближаться шагов на полтора к судам.

Только на четвертый день по прибытии судов в родную бухту получен был от светлейшего приказ снять карантин, и команды, наконец-то, получили возможность сойти на берег.

Но, сославшись на нездоровье, Меншиков не явился в морское собрание на чествование офицеров флота. Однако в окна собрания все могли видеть, как он из своего екатерининского дворца, верхом, окруженный адъютантами тоже на конях, поехал куда-то за город.

Впрочем, это была не просто прогулка.

Вполне безошибочно, конечно, решив, что после разгрома турецкой эскадры в Синопском бою западные державы непременно придут на помощь «больному человеку», и соединенный флот их появится в виду Севастополя, Меншиков на всякий случай отпустил из казенных средств ровно 200 рублей на устройство полевых укреплений на подступах

к городу. Теперь он выехал определить на глаз, как именно должны были быть эти укрепления по линии не мало не много как в семь верст.

Одному из его адъютантов показалась очень скаредной та сумма, какую он отпустил на оборонительные работы с суши, по светлейший ответил на это вполне убежденно:

— Да ведь инженеры кто? Халуги и воры. Отпусти им двести рублей или двести тысяч рублей — все равно украдут. Так лучше уж пусть украдут только двести, чем двести тысяч.

Среди адъютантов князя не было одного только подполковника Сколкова: он был уже отправлен в Гатчину к императору Николаю с донесением Меншикова, как «очевидца» боя.

Уезжая, он не сомневался в том, что вернется в Севастополь полковником.

НИКОЛАЙ БРАУН

★ ★ ★

Не опомнишься — войдет
За зимой весна.
Рухнет, хлынет, пропадет
Снега белизна.
Хлынет речкой, все мосты,
На пути сметет,
Всей лазурью с высоты
Глянет небосвод.
Грянет жаворопком день,
Птичьим бубенцом,
По скворешням деревень,
Затрепещт скворцом,
Изумрудом дорожкам
Встанет в зеленях,
Лопнут выстрелом тугим
Почки на ветвях.
И, встречая первый зной
С внешней высоты,
Первой зеленью сквозной
Задрожат кусты.

Не опомнишься — влетит
За зимой весна.

Отпылает, отгрозит,
Отшумит война.
И прожектор склонит вниз
Желтые рога,
И последней бомбы свист
Рухнет на врага.
И снарядов длинный вой
Оборвется вдруг,
Необъятной тишиной
Наполняя слух.
Вдоль по фронту пошлывает,
Хлынет тишина,
Как поток весенних вод,
Зашумит она.
И войдет победный день
Мирной высотой,
Городов и деревень
Песенкой простой.
Пропадет, замрет беда
В дали голубой, —
И тогда... и вот тогда
Встречусь я с тобой!

Клятва¹

(Записки фрезеровщика Николая Шаронова)

X

Однажды ночью, когда я уже ложился спать, пришел Тихон Васильевич. Вошел он тихо, крадучись: вероятно, думал, что я сплю. В прихожей он шептался с Аграфеной Захаровной, виновато оправдываясь в чем-то. Потом настала тишина, скрипнула дверь. Я вышел в прихожую, постучал в кухню и, не ожидая ответа, вошел к ним. Тихон Васильевич сидел за столом, красный, всклокоченный, очень усталый. Но встретил он меня с такой радостью в глазах, точно мы очень давно не видалсь с ним.

— Ну, явился, наконец!.. — приветствовал я его, протягивая руку. — Как тебе не стыдно издеваться над женой?

Видно было, что ему до смерти хочется спать. Аграфена Захаровна хлопотала у плиты. Она не обернулась, но я по спине ее видел, что она довольна.

— Коля, кировцы первого места не завоюют, будь спокоен. Большие дела делаются...

Аграфена Захаровна радостно огрызнулась:

— Ежели так будешь изо дня в день варить себя вместе с своей сталью, на карачках заползаешь. Я вот жаловаться на тебя пойду к директору.

Тихон Васильевич подмигнул мне и кивнул головой на Аграфену Захаровну. Потом показал большим пальцем назад за свое плечо.

— У кировцев — львы, дьявольский народ! Там один татарин есть, Османтулов. Зверь! С ним покоя не жди. Письмо мне прислал сегодня: признаю, говорит, себя в этот месяц побежденным, а в будущем месяце угрожаю перекрыть тебя, дорогой товарищ. Ну, как тут спать будешь?

Взглянув исподлобья на мое лицо, он покачал головой, и в глубине его глаз засветилась очень добрая улыбка.

— Тоже и ты вот... не спишь, Коля. Трудно тебе, друг... Нам что! Мы — дома! А ты, можно сказать, в кулаке сердце свое держишь... И воюешь... да еще как!

Оба они всегда трогали меня своим участием, и мне было совестно, что я ничем не мог отплатить за их сердечность, кроме горячей моей привязанности. Вот и сейчас не о себе, не о своей работе говорил Тихон Васильевич, не о том, что вынуждает его не спать по суткам, а обо мне, забывал, что его работа в тысячу раз тяжелее моей.

— Обо мне не толкуй, дорогой Тихон Васильевич... — упрекнул я его. — А вот нормального отдыха ты не знаешь — это, брат, совсем пехорошо; не к твоей чести.

Аграфена Захаровна быстро обернулась ко мне и одобрительно улыбнулась. Она даже подбодрила меня взглядом, чтобы я покрепче пробрал Тихона Васильевича.

— Разрешн, брат, поругаться с тобой. Если ты решил соревноваться с кировцами, то проиграешь, каким бы ты богатырем ни был. Хоть вы, уральцы, и упрямый народ, но работать нахрапом и штурмом — заслуга небольшая. В соревновании победитель тот, кто утомляется меньше, а работает больше.

Аграфена Захаровна, ободренная, набросилась на него:

— Хорошенько его, Николай Прокофьевич!.. Кроме стали, у него ничего нет в голове. Только и остается — ловить его и под замком держать.

Он хрипло захохотал, подхватил ее своей ручищей и привлек к себе.

— И будет запирать, ей-богу!.. И позору моего не устроится...

— И правильно делает: берегает твои силы и в разум приводит. Впускает тебе, товарищ Работкин: в соревновании надо уметь сочетать и труд и отдых. Для этого люди придумывают разные приспособления, чтобы в час дать продукции столько, сколько даешь в смену, а потом пользоваться спокойным отдыхом и не мучить близких людей. Зачем ты пропадаешь на заводе в неполезное время? Значит, брюхом берешь, а не технологней.

Он с угрюмой усмешкой взял кусок хлеба, груто посолил его и с жалостью вонзил в него зубы.

¹ Окончание. Начало см. № 1—2 журн. «Октябрь» за 1944 г.

— Вы, стапочники, можете всякие фокусы строить, а у нас, на мартенах, быстро не разыграешься.

— Но ведь ты решаешь какие-то задачи... я знаю...

— А как же? У кировца такие звери и ловкачи, что оторопь берет. Один Османтулов чего стоит... Пошеволе приходится разведки делать... Поучиться уму-разуму я всегда непрочь.

— Выходит, что шапками закидать новых людей уральцам-то не так легко... — пошутил я. — Война спесивых не любит.

Графена Захаровна поставила перед ним полную тарелку щей, сама круто посыпала перцем и размешала большой деревянной ложкой (он любил есть только деревянной ложкой). Он раз за разом отправил в рот две ложки щей, и лицо его стало вдруг благодушно-кротким.

Ел он как-то вдумчиво и деловито: хлеб откусывал от большого ломтя, чтобы не терять крошек, щи брал полной ложкой и подносил ко рту медленно, осторожно, с суровым лицом. Я ни разу не видел, чтобы Аграфена Захаровна сидела рядом с ним за столом: она только обслуживала его, стоя у плиты, и пристально следила за каждым его движением. Это было в обычае уральцев и сибиряков, и, хотя Тихон Васильевич прошел большой путь революционной борьбы и был ударником пятилеток, обычай этот держался и в его семье.

— Наш род Работкиных — старинный, «столбовой», уральский, — говорил он не раз, когда мы сидели за чаем. — Еще при царе Петре мой пращур у печи стоял. С тех пор мы, Работкины, все — литейщики и сталевары. Деды и отцы свои секреты имели и передавали их от сыновей к внукам. Только эти секреты для нашей советской индустрии маленько устарели...

Ученики Тихона Васильевича рассеяны были по всем заводам Урала, и их с уважением называли «работкинским выводком». Он гордился этим и, когда читал в газете об успехах своих учеников, радостно волновался и щелкал пальцем по измятому листу газеты.

— Вот он, стервец, как шурует! Работкинская наука всегда высокого класса. Уральцы не посрамят земли русской.

Мне была понятна его уральская гордость: ведь и мы, ленинградцы, дорожили своими пролетарскими традициями и непрочь были подчеркнуть при случае свою историческую роль.

Сначала мне казалось, что уральцы встретили нас неблагоприятно и хмуро. Они

чуждались нас, разговаривали сухоотно, иногда пренебрежительно насмешничали:

— Что ж... мы — люди гостеприимные: милости просим! А вот немцев бьют наши гвардейцы, и техникой снабжаем армию мы, уральцы...

А однажды на конференции передовых людей производств один пожилой рабочий, такой же «столбовой» уралец, как и Тихон Васильевич, во время перерыва самодовольно сказал в разговоре с нами:

— Вы, москвичи и ленинградцы, может, поучить нас думаете? В ваших выступлениях душок этот чувствуется: технология да технология! А ведь не было еще таких искусников, которые удивили бы уральцев. Своего первенства. Урал никому не уступал и не уступит.

Но Тихон Васильевич всегда был деликатен со мной и никогда не кичился предо мной, хотя этот уральский патриотизм и в нем таился довольно упорно. Когда же мы монтировали свой завод и в самые сжатые сроки, не жалея себя, готовили цеха и агрегаты к пуску, а потом, в жестокие морозы и вьюги, чуть ли не под открытым небом, пускали в ход станки, он первый с изумлением поглядывая на меня и озадаченно бормотал:

— Здорово закручиваете... даже уральцам в диво... вопреки всяким невозможностям... Вот это — настоящая война!..

Один за другим мы открывали цеха, люди не уходили со своих участков по несколько суток, а инженеры трудились, как рядовые рабочие. Строительные работы шли параллельно, новые коробки сбрасывали свои леса, прокладывались подъездные пути, и за недостатком транспорта толпы рабочих и инженеров тащили лямками тяжелые детали машин на броневых листах. Несколько цехов были пущены раньше срока. Но старый завод развертывался медленно и трудно, переоборудование проходило с задержками. Литьем он нас снабжал с перебоями. Новогоднее письмо вождю мы подписывали вместе с уральцами, но наш завод вызвал их на соревнования и поразил смелыми и уверенными обязательствами. Я был один из делегатов по заключению договора, и, когда мы в тревожной тишине приступили к обсуждению условий договора, я впервые увидел теплоту в глазах уральцев. Тихон Васильевич, лукаво улыбаясь, выступил и с озорным вызовом оглядел каждого из нас.

— Заранее предупреждаю вас, товарищи ленинградцы: знаете ли вы, с кем хотите соревноваться? Мы, уральцы, от кировцев вызов получили... сильный, сурьезный коллек-

тив... и приняли этот вызов с легкой душой. И они и вы хорошо учитываете наши преимущества. Но этого мало. Вы еще не знаете нашего уральского духа. Подумали ли вы хорошо, товарищи?

Отвечая ему улыбкой, я с достоинством представителя ленинградцев сказал:

— Мы подумали основательно, товарищ Работкин, и рады выразить вам свое уважение. Но вы, уральцы, не учитываете сил и возможностей рабочих города Ленина. Нам лестно побороться с вами, поэтому мы смело вызываем вас на честный бой...

Тихон Васильевич молодцевато пожал мне руку и первый расписался на договоре.

При встречах с ним у себя дома мы ни разу не говорили о ходе соревнования: как-то бессознательно избегали такого разговора, точно щадили самолюбие друг друга. Борьба шла уже два месяца с переменным успехом. Но когда цех Брякина начал выправляться, завод наш сразу пошел вверх по всем показателям. Литье попрежнему поступало с перебоями, и мы послали на старый завод «толкачей». Мы с Петей внесли предложение о введении часового графика в нашем цеху. В виде опыта этот график применяли на нескольких станках. Контролер непрерывно принимал продукцию, а распределитель собирал у него сведения и отмечал на миллиметровой бумаге. Линии на бумаге вздрагивали, шли горизонтально или опускались и поднимались. Сейчас же выяснялись причины снуждения или рывков и устранялись те препятствия, которые мешали равномерной работе. Весь цех взбудоражился, и однажды в обеденный перерыв рабочие и подростки собрались около нас и потребовали ввести часовой график всюду — на всех отдельных операциях и на рабочих местах. Наш начальник цеха, скромный и молчаливо-деловитый человек, распорядился немедленно перестроить работу на часовой график во всем цеху. Теперь ход всех операций учитывался с математической точностью. Потом этот график введен был всюду на заводе. Уральцы забили тревогу и тоже схватились за график. Завязался горячий поединок. В этом поединке Тихопу Васильевичу было нелегко: ему приходилось драться и с кировцами и с нами. Мы лезли вверх и одолевали уральцев по всем показателям.

И вот в этот вечер Тихон Васильевич особенно был кротким. Сидел он за тарелкой щей, ел с аппетитом голодного человека и, отдыхая, говорил благодушно:

— Ты вот об отдыхе толкуешь, Николай Прокофьевич. А я всю жизнь около печей.

Привык. Придешь, бывало, домой, выспишься, а потом и не знаешь, что делать: руки лишние, голова устала, и все тело тяжелое. Я так сильней уставал. А придешь на завод, к своему месту, — сразу встрепнешься. Сейчас я и сменщику своему помогаю: способный парнишка, а еще молодой, — надо его самого переваривать.

Аграфена Захаровна стояла у плиты и, любясь им, слушала и не могла наслушаться. Действительно, Тихон Васильевич говорил о стали, как о живом существе, словно сказку рассказывал:

— Плох тот сталевар, который не чувствует душу металла. Надо уметь уловить ту секундочку, когда плав созревает, и в свой момент дать ему свободу. От этого зависит и крепость брони и сила оружия. У нас, у уральцев, это чувство — в крови.

К этому добродушному силачу я чувствовал дружескую теплоту и встречаться с ним мне всегда было приятно. Когда же он пропадал на заводе, и я не видел его по нескольку дней, или он приходил, когда меня не было дома, или я уходил, когда он хранил в своей комнате, — я испытывал что-то вроде тоски по нем. Разговаривать с ним было интересно и легко: в нем привлекала любовь к труду и ощущение своей силы. Его личная жизнь и его работа были нераздельны: говоря о себе, он говорил о заводе, говоря с мартепах, он выражал свои заветные чувства. Но меня иногда раздражало его уральское самолюбование: выходило, что уральцы — это особый народ, какая-то исключительная порода людей, которым свойственны особые качества и таланты. Я подтрунивал над ним, и он благодушно усмехался.

— И чего это вы, уральцы, так кичитесь и любуетесь собою? Мы, Тихон Васильевич приехали к вам не в гости. Урал принадлежит в такой же степени и нам, как и вам. Разве приезжие мешают вам создавать какие-то свои чудеса? Не спорю, очень многие из нас ворвались к вам в дома, в насыженные углы, — это очень неприятно; но они привезли с собою, кроме индустрии, энергию, энтузиазм, изобретательность. Ни вам, ни нам кичиться нечего. А вот помочь друг другу позаймствоваться друг у друга мы можем многое.

Он смотрел на меня исподлобья и ел безмятежно, с улыбкой добряка.

— А я ничего не говорю, Коля... Мы все — дети одной матери. Ну, иной раз поозорует для затравки, чтобы раззадорить.. Конечно, есть у нас такие пустоболты, но и

в счет ставить нельзя... Мы — на войне, и жить нам нужно дружно, тесно...

Аграфена Захаровна не на шутку встревожилась, но подошла к нам тихо, осторожно и по-матерински положила руки мне на плечи.

— Это хорошо, Николай Прокофьевич, что вы пошлели его: есть у них, у этих горняжков, свое чванство: будто благородным тавром шеголяют...

— Во, видал? — с притворным негодованием крикнул Тихон Васильевич. — Это называется, — честь мужа поддерживать...

Но Аграфена Захаровна спокойно и мягко продолжала:

— Только Тиша не такой. Вы не сердитесь на него. Слова-то у него больше так, для забавы... Побалагурить любят...

И вдруг с милой строгостью набросилась на него:

— А тебе нечего словами баловаться!.. За слова не спрячешься. Задали вам перцу приезжие, а теперь ты и из завода не вылазишь. Попробуй-ка сейчас по-повому перестроиться — вот это будет заслуга. Лучше бы с Николаем Прокофьевичем посоветовался...

Тихон Васильевич похлопал ее по спине и засмеялся.

— Ах ты, Милитриса Кирбитьевна! Нет тебя на свете краше, а меня, молодца, храбрее... Верно, Коля: ничего не возразишь... Здорово вы нас постегали! Приходится драться с вами не только хребтом, но и башкой. Вспомнишь своего папашу... Себя перестаешь узнавать... Другим человеком стал... Я о себе говорю... А ребята, между прочим, тоже в смуте... Новое — всегда трудно. Зато — это наука, победа.

Аграфена Захаровна радостно всплеснула руками.

— Ну, слава богу!.. В себя стал приходиться... Я спокойна теперь: как в бане вымылся...

Мы от души посмеялись.

XI

Я уже разделся и хотел выключить свет, но в этот момент гул далекого взрыва потряс весь дом. Что-то упало в кухне и разбилось. Электричество потухло. Я подбежал к окну и увидел над крышами домов кровавое зарево и черную тучу, которая поднималась вывес. У меня бурно забились сердце. Взрыв на заводе... выведены из строя цеха... Что-то произошло страшное... У меня тряслись руки и ноги, и я никак не мог сладить с своей одеждой. Кое-как я нашел спички и зажег

лампу. Аграфена Захаровна, потрясенная, вбежала ко мне в комнату.

— Что это, Николай Прокофьевич?.. Рвануло-то как... Уж не немцы ли?..

— Ничего, ничего, Аграфена Захаровна... Идите к себе... Успокойте Тихона Васильевича... Я сейчас побегу, узнаю, в чем дело.

Она скрылась в черной дыре отворенной двери, и через минуту я услышал хриплый бас Тихона Васильевича:

— Отойди, Груня!.. Слышь, что ли?.. Как я могу... ежель печи? Не мешай, говорю!.. Коля! Николай Прокофьевич!

Но я спростемью выбежал на улицу. Впереди полыхало багровое зарево. Черный дым клубился высоко над бульваром. Всюду перекликались тревожные голоса, хрустел снег под ногами бегущих людей. Вдали звонили колокола пожарных машин.

В проходной была толкотня. Двое милиционеров боролись с напавшей толпой и, освещая фонарями лица людей, орали:

— Пропуска, пропуска, товарищи!.. Не напирай!.. Сохраняйте порядок!..

А из толпы ревели:

— Давай, давай!.. Не видишь, люди с ума сошли. Тут завод взрывают, а ты хочешь порядка!..

Я кое-как пробрался вперед и выскочил на заводской двор. Всюду была кремнистая тьма, пронизанная мутно-багровыми вспышками. Перегоняя друг друга, бежали рабочие и, тяжело дыша, перекликались:

— Это — баки... Горючее полыхает... Эх, как бушует!

— Какая же это бдительность! Где охрана-то была?..

— Обязательно, братцы, диверсия!.. Говорят, трансформаторы разнесло...

На самой задней части территории завода, за градирнями, где проходили подъездные пути и лежали кучи обрезков металла и всяких отбросов, рвались вверх и гудели огромные языки пламени. Баки с горючим были изуродованы взрывом и валялись, как трупы каких-то невиданных чудовищ. Одна металлическая мачта высоковольтной передачи была спутана толстыми проводами, как паутиной. Рабочие, освещенные пламенем, перебежали с места на место, лихорадочно работали лопатами и просто руками, бросали снег в огонь на земле. В оранжевых сугробах снега текли огненные ручьи, как лава, а ураган пламени ревел над баками, и развороченные цилиндрические их стены, раскаленные докрасна, корчились от жара. Пожарные в сверкающих шлемах что-то бросали в бушующий огонь, а через их головы летели красные фонтаны воды.

Мимо меня быстро прошел Павел Павлович, за ним — Седов и главинж. Я догнал Седова и схватил его за рукав.

— Что это такое, Алексей Михайлыч?

Он как будто не узнал меня, но замедлил шаг, словно вспоминая что-то. Потом сказал будничным голосом:

— Тыловое благодушие... С горючим будет туговато. Через час восстановим электропередачу. Иди домой, Николай. Ничего особенного, к счастью... только наглядный урок. Иди и выспишься хорошенько.

В толпе я столкнулся с Петей. Глаза его блеснули лихорадочно и в отблесках пламени лицо его казалось похудевшим и ожесточенным.

— И здесь! И здесь эти убийцы и диверсанты!.. Какие мы доверчивые дураки!

Огонь начал быстро утихать, и мы пошли обратно к проходной. Вместо того чтобы расстаться на площади, мы тихо пошли по бульвару. Кое-где в окнах домов тускло маячили огоньки. Заревое, вздрагивая, уже потухало. Черная туча в красных отблесках растянулась широко над поселком. Петя, как-то странно поживаясь, бесвязно рассказывал о своем последнем свидании с Наташей. Она попрежнему не узнавала его, но в ее поведении произошла большая перемена: она нежно разговаривала с Верочкой и счастливо пошмыгивалась, прижимая к себе призрак.

— Мне почему-то кажется что это — возвращение к жизни... Как ты думаешь, Коля?..

Я прижал его руку к себе и успокоил его.

— Да, Петя, Наташа скоро выздоровеет, и вы опять заживете вместе. Я опять, как в Ленинграде, буду приходить к вам в гости. Жаль только, что пет Лизы... И лешня бы пошла, и поспорили...

Так, тихо разговаривая, замолкая и мечтая каждый о своем, мы дошли до конца бульвара и, когда повернули обратно, услышали позади скрип торопливых шагов. Две тени остановились и слались в одну. Они что-то невнятно забормotalи, перебивая друг друга, и так же торопливо разошлись в разные стороны. Одна из теней была выше другой на целую голову. Я узнал в ней того военного, который остановил меня на этом же бульваре. Крепко схватив руку Пети, я рванул его вперед:

— Это диверсанты, Петька... Я знаю... Бежим, захватим этого высокого!.. Его имени!.. Он раз уже задирает меня...

Мы сорвались с места одновременно и побежали вслед за высоким, который быстро шагнул по дорожке, пересекающей бульвар.

Он на мгновение остановился, потом рванулся вперед и перемахнул через ограду на мостовую.

— Стой! — крикнул я, задыхаясь. — Стой! Стрелять буду...

Петя побежал по сугробу, но провалился до колен. Я тоже проваливался глубоко в снег, но добежал до ограды и прыгнул на другую сторону. В этот миг раздался выстрел, мне почудилось, что пуля свистнула около моего уха. Далеко по переулку бежал человек, скрипя сапогами по снегу. Мы со всех ног бросились за ним. Когда-то мы с Петей были хорошие бегуны и не раз первыми приходили к финишу. Петя обогнал меня и перебежал на другую сторону переулка. Человек стал ближе, мне казалось, что я слышу хриплое дыхание. Мелькнула вспышка, и опять раздался выстрел. И вдруг я увидел, что из снежного сумрака этот человек несетя прямо на меня. Инстинктивно я подобрался, чтобы наброситься на него, но он вскинул руки с револьвером.

— Ага, тебя мне и надо... — прохрипел он.

Я ударил его по руке, выбил револьвер и в ту же секунду схватил его за ногу. Он со всего размаха прохнулся в снег. Я оседлал его, схватил за горло, но он гибко вывернулся, сковал рукою мою шею и пригнул мою голову к земле. В этот момент Петя ударил его в бок ногой и отшвырнул меня в сторону. А когда я очнулся и вскочил на ноги, он душил человека и остервенело бил его по голове.

— Врешь... врешь, сукин сын!.. — падаюно рычал он. — Теперь не уйдешь... Я тебя прикончу... своими руками задавлю... убийца... бабдит!..

Прибежавшие милиционеры помогли мне поднять Петю на ноги. Он сразу же припел в себя и посмотрел на свои руки. Мы подхватили человека подмышками, он рыхло повис у нас на руках. Голова его болталась, как у трупа. Мы потащили его по дороге, и ноги у него влочались по земле, вспахивая сапогами снег. Я поднял револьвер; на тротуаре, спрятав его в карман. Человек очнулся только у дверей отделения милиции.

ХИ

Деталь, которая сковывала весь прорывной цех, наконец, вырвалась из плена токарного станка. Вместе с Брякиным мы оборудовали фрезерный станочек и приспособили один из моторчиков гулять задом наперед. С каким наслаждением любовались мы этим веселым задором! Фрезеры грызли металл, разбрызгивали эмульсию, дымились, дышали паром, ро-

котали, и мне казалось, что они радостно ворковали. Первую деталь обработал я сам. Около меня стоял по одну сторону Баранов, а по другую — Брякин. Я очень хорошо чувствовал, как они волновались. Я вынул готовенькую блестящую игрушку и посмотрел на часы: шестнадцать минут! Баранов глядел и на меня и па червяк, и у него дрожала на лице улыбка ребенка.

— Это же... это же, товарищ Шаронов... чорт-те знает что!.. Это же ведь... погодите-ка... в час четыре игрушки, а за смену... Товарищи, ведь это же за смену — сорок!..

Он оттолкнул меня от станка и дрожащими руками охватил болванку. Я уступил ему место с удовольствием. Но его уверенным движением я понял, что парень хорошо может работать и на фрезерном станке. Мы взволнованно переглянулись с Евграфом Семеновичем, и я увидел, что черные глаза его влажны.

Я вспомнил, с каким увлечением работал он над реконструкцией станка: он постоянно обращался ко мне за советом по всяким пустякам, точно боялся, как бы ему не ошибиться, не оскандалиться передо мною, сам возился с разборкой и сборкой, как простой рабочий. Встречал он меня радостно. Он распахнул передо мной свою душу: рассказывал, как безотрадно жила с пьяницей-отчимом, литейщиком, как учился в школе с постоянным страхом в душе, что не выдержит и убежит из дому, где он каждый день попадал под кулаки отчима. Эта пелюдиность и озлобление остались с тех диких лет. Но он все-таки добился своего — кончил школу и поступил в индустриальный институт. Работал он над собою с большим трудом. Близких товарищей у него не было, сходилась с людьми туго, общее развитие было слабое: на чтение книг пехватало времени.

Он жил одной мечтой — быть инженером и работать на каком-нибудь большом заводе. Окончил он институт отлично и получил место конструктора на одном из уральских гигантов. Тут он как-то незаметно женился на дочери одного старого инженера. Сам-то он, может быть, и не решился бы на это, но девица была шустрая, напористая, рвалась из родительского дома и сама проявила инициативу. Тестя его был, вероятно, честный человек. Брякин работал под его руководством и пользовался его симпатией. Он был своим человеком в семье этого старого инженера. Как-то старик откровенно сказал ему:

— Вы парень трудолюбивый и инженер способный. Искренне предупреждаю вас, Евграф Семенович: с Ленкой вам будет труд-

но — избалованная девчонка, своенравная. Изматает она вас, милый человек.

Брякин не ужился на заводе и его перевели к нам технологом. Как и нужно было ожидать, жёпа работать отказалась.

— Я выходила замуж не для того, чтобы работать. Неужели ты, Евграф, был таким idiotом, что принимал меня за ключу?

— Но нам трудно жить, — попытался он убедить ее, — мой заработок небольшой. Для вечеров, угощений и нарядов средств у нас нет.

— А это уж твоё дело. Не надо было жениться. Своим принципом я не пожертвую для тебя. Впрочем, насчет вечеров и нарядов — это не твоя забота. Мне папа поможет. А потом у меня есть связи. Это ты застрял на своем заводе, а я с обществом не порывала и связи свои укрепляю.

При чем тут были связи, он никак не мог понять и махнул на нее рукой. Но она постоянно деньгами все-таки требовала, и он отдавал ей всю заработную плату. С раннего утра он уходил на завод, возвращался поздней ночью, голодный, усталый, и сразу же попадал в шумную компанию. Кто были эти гости — завитые, накрашенные девицы и дамы и какие-то актеристого вида молодые люди, — он не знал. Для приличия он сидел с ними с полчаса, танцевал фокстрот под шатфон, а потом незаметно уходил в другую комнату и ложился спать. Как жена проводила время без него, он не представлял, да и интересоваться было некогда.

— Вам, Евграф Семенович, не такую жену нужно, — сказал я ему на вопрос, как я смотрю на его семейную жизнь. — Вы из рабочей семьи, прошли суровую школу, сами работята. Ваш тестя был прав: стрекоза и муравей — плохие товарищи.

Он угрюмо замолчал, и мы опять потрудились в работу. Я уже забыл о нашем разговоре, вдруг в то время, когда мы прилаживали мотор, он прервал работу и сказал:

— Ну, так вот я и жду, когда она убежит от меня. Я тоже упрямый: денег больше ей не даю. Только на обед, домработнице.

Наша работа над реконструкцией станка вызвала большое волнение в цеху. Все лихо-радочно ждали того дня, когда мы пустим его в ход. Меня и Брякина ловили на каждом шагу и нетерпеливо спрашивали, что мы делаем с моторами, как будут работать фрезеры и когда, наконец, наша диковина покажет себя. И вот в одну из дневных смен Баранов с засученными рукавами стал на свое место. Со всех сторон к нему бросились люди. Некоторые взобрались на верстаки, и их невозможно было стащить. Особенно рвалась

вперед молодежь, а старые рабочие стояли с застывшими на лице улыбками и внимательно рассматривали оттопыренный моторчик. Баранов, бледный, взвищенный, укреплял фрезеры, вставлял болванку и часто стирал пот со лба. Перед ним горкой лежали заделы, и мне казалось, что он поглядывал на них с оторопью. Он никогда не переживал таких жгучих минут, и ему было жутковато начинать работу перед возбужденной толпой. Но, чтобы побороть свое волнение, он весело подмигивал кому-то и смущенно улыбался. Мы с Брякиным стояли около него и следили за каждым его движением. Я сам волновался, кажется, не меньше его. И мне потому, что опасался какого-нибудь срыва, а потому, что был заражен общим волнением. Конечно, волновался я и как автор: мне очень хотелось, чтобы все эти юнцы и старики удивились и загорелись, чтобы каждый из них с радостной завистью рванулся к своему станку, как боец к своему оружию. Я смотрел на эти запачканные заводской пылью лица, на горящие глаза парней и девушек и чувствовал в их напряженном молчании не простое любопытство, а жажду нового, ожидавшие большого события.

Пришел Владимир Евгеньевич и скромно стал рядом со мною. Он не сказал ни слова, но я знал, с каким терпением ожидал он сам этого дня. Приходил он к нам несколько раз за смену и подолгу следил за нашей работой. Он задавал нам вопросы, и мне казалось, что наши разъяснения он слушал с раздумчивым сомнением. Прибежал и Седов. Пожимая нам руки, он улыбался всем с лживым задором: вот, мол, сейчас опарашим вас, потрясем ваши души, берегитесь!

— Ну как, готово, товарищи? — спросил он, не угасая улыбки. — Значит, начинаем? Вот и отлично. Действуйте!

Все зашевелились, кто-то рядом со мною вздохнул облегченно, кто-то торопливо зашептал. Я дал знак Баранову, и он включил мотор. Маленький моторчик, как живой, двигался около вращающейся болванки, фрезеры со страшной быстротой стали вгрызаться в металл. Брызги эмульсии и пар всером разлетались в стороны. Но Баранов действовал осторожно: он еще боялся, как бы не запороть и фрезеры, и деталь.

— Давайте быстрее! — подбодрил я его и сам протянул руку к рычагу, но Баранов отклонил ее и, повернувшись ко мне, озорно ухмыльнулся, фрезеры захрипели, заскрежетали еще сильнее, пар за клубился еще гуще. Брызги разлетались далеко и, как иголки, вонзались в лица людей. Они инстинктивно

стирали пальцами уколы, переглядывались и подмигивали друг другу.

Все эти плотно сбитые в кучу люди стояли, как замороженные, их глаза блестели и не отрывались от станка. Щеки у девушек пылали румянцем. Так все безмолвно стояли, и, когда Баранов остановил мотор, толпатуго поднянулась вперед и как будто охнула. Баранов выпнул серебристый червяк, окунул его в воду и, как фокусник, показал его всем, поворачиваясь и вправо и влево.

— Вот этого червяка я точил, ребята, целую смену, а сейчас, как видите, продрал ее в четырнадцать минут. За такие дела виновников награждают...

И он схватил меня за плечи и поцеловал три раза крест-на-крест, а потом бросился и к Брякину. Нас оглушили аплодисменты, смех, крики. Толпа забурилла, сдвинула нас со всех сторон, и каждый старался продаться ко мне, к Брякину, к Баранову, чтобы восторженно пожать нам руки. Девчата и парни наперебой спрашивали нас о чем-то, тормозили, требовали чего-то, и в этом вихре криков и толкотни ничего нельзя было разобрать. Мне стало душно. А Баранов кричал срывным голосом:

— Ты пойми, голова: ведь сорок пяти норм! Это же ведь чорт-те знает что!.. Месяц спрессовали в один день... а?.. Теперь знаю, что такое летать на крыльях...

Кто-то из толпы поднимал руку и кричал истошно:

— Товарищи! Слово прошу... Товарищ Седов!..

И, не ожидая, когда обратят на него внимание, закричал, стараясь покрыть гул и крики толпы:

— Товарищи, мы, правду сказать, спали... спали и ждали... Дождались, когда ударили... Пришли к нам... и даже оглушили, товарищи... А нам надо было самим... Гряну гром, и я стал другим человеком...

Кто-то обиженно обрезал его:

— Да что ты раскричался... Один ты, что ли?.. При ветре-то весь лес шумит...

А этот голос перебили другие голоса:

— Теперь каждому пошуметь хочется... А почему раньше не шумели?

— А потому... когда нет ветра, и лист не шелохнется...

— Как это нет ветра?.. Буя сейчас, товарищи... Войла... Выходит, мы и войны не чуяли?.. Не дело говорите, товарищи...

Крики и толкотня разгорались. Все хотело говорить, каждый старался высказать, что бурляло у него в душе. Сам собою начался

митинг. Седов поднял руку и с трудом добился тишины.

— Товарищи,— это больше, чем победа: это — переворот. Для вашего цеха наступили дни подъема и большой борьбы. У вас есть за что бороться и есть силы, чтобы победить. Вам не только придется догонять самих себя, но и драться так, как дерутся те товарищи, которые пришли к вам на помощь. Они многое для вас сделали, а главное, показали вам, что надо быть находчивым, смелым, изобретательным, чтобы побороть препятствия. Соревнование создает постоянное беспокойство и горячее стремление быть победителем... Поблагодарим товарища Шаронова и товарища Брякина за их замечательный пример... Бригада товарища Шаропова...

Дальше ничего не было слышно, что говорил Седов: отчетливо было слышно одно слово:

— Соревнование... соревнование...

Я спросил у главинжа:

— А где же Никодим Фомич?

Он бесстрастно ответил:

— Он — хороший человек, но плохой музыкант. В нем нет горячего. Спят.

В этот день я не имел ни одной свободной минуты: переходил от одной бригады к другой, выслушивал различные предложения, давал указания, разъяснял, подбодрял, успокаивал горячих и рьяных...

XIII

Большой радостью для меня было возвращение в свой цех, куда я принес готовую конструкцию приспособления для непрерывной обработки одной детали. Она не давала мне покоя. Мне казалось, что если я не доведу до конца этой работы, я не выполню своей клятвы. Пожалуй, я даже и не думал о своей клятве: она, как кровь, была неотделима, но насыщала все мое существо. К тому же меня захватила повизна конструкции; каждую минуту я был во власти этого образа. Он преследовал меня и в цеху и дома, он то приближался, то удалялся от меня.

Я не раз хотел посоветоваться с Петей, но сдерживал себя в последний момент. У меня как-то вошло в привычку хоронить в себе свой замысел — до тех пор таить его, пока не добьешься ясности и законченности. Я боялся одного: стоит только открыть тому же Пете мою мысль, стоит выложить все, что терзает меня, и вся прелесть мечты, вся волнующая острота борьбы исчезнет.

Были один из тех вечеров конца марта, когда чувствуются и первые запахи весны, и острота ночных морозцев. Снег еще лежит

сугробами в палисадниках, у фасадов домов и на обочинах бульвара, а мостовая уже чернеет булыжником или асфальтом. Покрывают потревоженные галки на деревьях, а по аллеям бродят, тесно прижимаясь друг к другу, юные парочки. Я с удовольствием дышал свежим воздухом, хотелось подольше побывать на улице, полюбоваться густой россыпью мерцающих звезд. Я люблю смотреть на небо такими вечерами: в нем всегда читаешь книгу своей жизни, оно говорит о детстве, о годах юности, о самом дорогом, милом и незабвенном. Оно, как поэзия, сохраняет только самые трогательные воспоминания. Это небо, эти созвездия сейчас там, в Ленинграде, а Лиза, может быть, тоже смотрит на них и думает о нашей молодости, о нашем счастье...

На бульваре было безлюдно, только изредка попадались навстречу одинокие прохожие. Иногда с оглушительным грохотом проносился трамвай, туго набитый людьми, и на фоне пролетающих огней ветви деревьев причудливо сплетались между собою, как кружево.

Мимо прошли две девушки под руку. Одна была крупная, высокая, а другая — маленькая, как подросток.

— Это Шаропов... Слышь, Шурка!..

Я хотел было свернуть на боковую дорожку, чтобы выйти на тротуар, но услышал за собою бегущие шаги и взволнованное дыхание.

— Николай Прокофьич! — робко и виновато позвала меня Шура. Я узнал ее по этому ее первому и робкому голосу. — Николай Прокофьич! Подождите минутку!..

Я остановился.

— Николай Прокофьич, вы, пожалуйста... простите меня...

— Ну, Шура!.. Что за церемонии!

Она подбежала неуверенно и смущенно, а когда остановилась, вскинула голову, глубоко вздохнула и стыдливо засмеялась. Подруга ее медленно удалялась от нас и таяла в спешной полутьме.

— Николай Прокофьич, я... я давно хотела... посоветоваться с вами...

— А чего вы так волнуетесь, Шура?

Я взял ее под руку и полвел к скамье.

— Что-нибудь случилось с вами, Шура?

Она пемного отдышалась и опять первую засмеялась. Мы сели на скамью, врытую в землю, очень низенькую, запесенную давшащим снегом.

— С кем это вы гуляете, Шура?

— Мы не гуляем... Мы из госпиталя шли... Это Тамара... Она вас первая и заметила... А как только назвала вас, я сразу и

остановилась... И броситься к вам хотелось, и страшно было...

— Да полно вам глупости говорить, Шура!

— Ничего не глупости... Вы вот очень хороший... И никогда не говорите грубых упреков... Я никого еще так не уважала...

— Ну, перестаньте, Шура!

— Ах, Николай Прокофьевич! Мыслей у меня много, желаний много... Родина такая большая, а я такая ничтожная... И вот даже на маленький подвиг, должно быть, не способна... Думаешь: ну, хоть бы выпало мне счастье собой пожертвовать!..

— Вы же работаете, Шура, чего же вам еще нужно? Подвиги не ищут — их совершают, не думая о них. Подвиги там, где горячая любовь, — любовь к труду, к борьбе, к людям... Я думаю, Шура, что вы-то именно и совершаете эти подвиги, а мы не видим, да и сами вы не сознаете.

Она подобралась и осмелела.

— Нет, не говорите мне этого, Николай Прокофьевич! Я еще девочка. Что я могу? Ни знаний, ни опыта. Хотела на фронт медсестрой — не выпущу. Донором стала... но разве это подвиг?.. На завод пошла. А что из меня толку?.. Все у меня как-то нелепо, глупо... точно плутаю на голом месте... И вот последнее... Тут я уж совсем увязла... Тамара сейчас прогнала меня, чтобы я вам все выложила... И я думала, да духу нехватало... Но вы все поймете... потому что вы сами страдали и страдаете... У вас жена в Ленинграде, а там люди умеют страдать и бороться... Там-то и держат экзамен на человека...

— Почему же только там, Шура? — мягко возразил я. — Экзамен на человека мы держим и здесь.

— Да, конечно... — живо согласилась она, но торопливо добавила: — Я только говорю о том, Николай Прокофьевич, что там, вероятно, люди считают преступлением хвастаться, рисоваться, жадничать, хамить...

Я знал ее мало: я видел ее у станка, старательной, восприимчивой и немного страшной. А теперь я чувствовал ее иной: она жила не только работой у станка, не только интересовалась своими трудовыми успехами и обычными делами, но и чем-то другим — большим, опалившим ее душу. В голосе ее, в круглом лице, в больших глазах, в склоненной голове чувствовалось смятение.

— Эти два месяца, Николай Прокофьевич, для меня прошли, как два года. Мне кажется, что я даже состарилась. Вы знаете, что мы, комсомольцы, взяли шефство над одним госпиталем. И вот мы, девушки, стали ходить к раненым бойцам и командирам — чи-

тали им, писали письма и... всякие там услуги... Привязалась я к одному лейтенанту... ну, и он ко мне, конечно... Молодой совсем, как мой одноклассник. А ранение у него очень серьезное: кисть руки оторвало и половина лица изуродована, кожа сорвана сверху до подбородка. Но глаза такие ясные, такие доверчивые... Читаю я ему и чувствую: смотрит он на меня не отрываясь и что-то переживает. Оторвусь от книги — встречаю молчаливые глаза, жуткие такие. Вижу, не слушает он меня, а думает о чем-то мучительно. Однажды я спросила: «Миша, что с тобой? Почему ты так страдаешь? Тебе больно?» Мы уже привыкли звать друг друга, как близкие товарищи: он меня — Шурой, а его — Мишей. Платок у него на груди всегда лежал. Взял он здоровой рукой этот платок и вытер слезы. Чужим каким-то голосом ответил мне: «Да, Шура, мне больно... но от ран мнх, нет... а страдаю и больно мне оттого, что для радости жизни я — человек уже конечный. Какая девушка полюбит меня теперь без руки... с ободраным лицом?.. Я могу только возбудить... хотя бы вот у тебя... одну жалость, сострадание...» — «Что ты, — говорю, — Миша! Разве любят только за здоровое тело? Любят человека, Миша». И прямо в лицо ему, не задумываясь, сказала: «Я очень тебя полюбила... Понимаю тебя и чувствую... И ты мне дорог на всю жизнь...» — «Ах, — говорит, — что ты мне толкуешь, Шура! Ведь это только слова... такие слова, которые может сказать каждая сердечная медицинская сестра... И хотел бы, — говорит, — да не могу поверить... Не понимаю, — говорю, —...и ничто меня не убедит...» — «Хорошо, — говорю, — Миша, я готова сейчас же стать твоим близким другом на всю жизнь, женой твоей, и буду счастлива, если ты будешь счастлив со мной». Только я это сказала, он глаза закрыл, поблдевел. Я даже испугалась и хотела уж на помощь звать. Но он открыл глаза и тихо, с ненавистью приказал: «Уходи от меня сейчас же! Слышишь? Уходи и больше ко мне не являйся!» Слушаю его, а ноги и руки немеют, сердцу холодно, и все закружилось вокруг.

Она замолчала и опустила голову на грудь. Мне показалось, что она изо всех сил борется со слезами. В эти минуты она мне стала близкой и дорогой, как сестра, которая ищет у меня поддержки.

— Ну, и что же, Шура?.. Видели вы его после этого?

Она судорожно вздохнула и твердо ответила:

— Я приходила к нему два раза, но он

не допустил меня. А сегодня, когда я вошла к нему в палату, он даже на локте поднялся и крикнул: «Уходи! Я не хочу тебя видеть. Сейчас же уходи!..»

— Скажите мне откровенно, Шура, действительно ли вы его любите? Нет ли здесь самообмана, насилия над собой?

Она помолчала, подумала и горячо сказала:

— Я сама потом мучилась... Но одно скажу: для меня сейчас такая радость быть около него...

И вдруг в порыве отчаяния и надежды она схватила меня за руку и умоляюще воскликнула:

— Ну, скажите мне, Николай Прокофьевич... Скажите мне, что делать... Он мне не верит... Он думает, что все это у меня от жалости к нему, что я жертвую ему хочу принести...

Я слушал ее и чувствовал, что сам беспомощен. Ну, что я могу посоветовать ей? Чем могу помочь? Не идти же мне самому к этому лейтенанту, чтобы убедить его в том, что он неправ, что он не оценил души этой девушки? По его поведению видно было, что он парень честный и не способен красть счастье; обманное счастье он отвергает, потому что такое счастье — непостоянное. Он хочет не жертвы, а полной молодой радости. Он не верит Шуре потому, что в себя не верит: как может здоровая, милотвицкая девушка полюбить калеку?

— Я не знаю, что вам сказать, Шура... — сказал я сдержанно. — Но мне кажется, что вы должны заставить его почувствовать, что вы именно та девушка, которая пришла к нему сама...

Она рванулась ко мне.

— Но как? Как, Николай Прокофьевич? Он же меня не допускает к себе...

— Не знаю. В этих случаях советовать нельзя. Если вы действительно любите его и он вас любит... мне кажется, что любит... вы сами найдете выход... У любви — своя дорога, для нее нет преград.

Она нерешительно встала и задумчиво протянула мне руку.

— Спасибо вам, Николай Прокофьевич!..

— За что же?

— За то, что вы слушали... и почувствовали.

Она медленно пошла по дорожке бульвара и растаяла в снежном сумраке ночи.

XIV

Огромная радость...

Из заводоуправления я получил раскрытую телеграмму:

«Нахожусь в госпитале в Казани. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, целую. Игнат Шаронов».

К телеграмме была приложена записка Павла Павловича:

«Дорогой Николай Прокофьевич! Не сердитесь за вскрытую телеграмму: распечатана по ошибке. Счастливы вместе с вами. Если вы пожелаете поехать или полететь к брату, рад содействовать вам. Когда же пускаете в дело ваше новое приспособление? Крепко жму руку. Ваш П. Буераков».

Все смешалось передо мною: машины и люди застегали в воздухе, и сумеречный цех залился светом. Помню, что я замахал руками и закричал во всю глотку:

— Игнашка жив!.. Братишка мой родной!..

Я кружился на одном месте, потрясая телеграммой и смеялся. Первый подбежал ко мне Вася, схватил за плечи:

— Говори, что стряслось, а то сам плясать буду...

— Пляши, Вася! Игнаша, братишка, жив... Вот телеграмма... В Казани, в госпитале...

Вася выхватил у меня телеграмму и впился в нее глазами.

К нам начали подходить рабочие, и телеграмма пошла по рукам. Меня поздравляли, жали руки, обнимали... Я не видел лиц и не ощущал рук. Не заметил я также, когда разошлись рабочие и как водворилась тишина. Очнулся я от тихого голоса Шуры:

— Николай Прокофьевич, я остановила ваг станок: деталь запорота. Поздравляю вас, Николай Прокофьевич!

В этот день я дал новый рекорд и решил завтра вместе с Петей провести испытание нового моего приспособления. Удивительно, я не испытывал никакого напряжения. Я довел станок до последних пределов скорости. Фрезы дымелись, эмульсия дышала паром и мельчайшими брызгами вонзалась в лицо.

Петю я нашел в инструменталке. В синем халате, он стоял у стола и, увлеченный какой-то работой над аппаратом, не заметил, как я подошел к нему. Я сузил ему телеграмму и посмотрел на него так, что он растерялся.

— Ты... не пьян?.. Что-то я тебя таким никогда не видел...

— Пьян, Петя... от счастья пьян... Читай скорее!..

Он пробежал глазами текст телеграммы и, возвращая ее, сказал спокойно:

— Поздравляю. Очень рад за Игната. По-едешь?

— Пепременно.

Он опять повернулся к аппарату. Этот диск, похожий на металлический цветок, был еще в первородной чешуе, он не сверкал еще отполированной красотой своих частей, и в нем не было еще жизни, но он, казалось, трепетал от желания срастись со станком. Он лежал перед нами на столе, освещенный электричеством, и мы чувствовали, что он нам бесконечно дорог, сколько заключено в нем бессонных ночей, сколько мучительной борьбы, тоска и кропотливой работы. И вот в результате — простая игрушка, каруселька с автоматическими зажимами, которая непрерывно подхватывает новые и новые подделки, и фрезеры начинают жевать сразу же двадцать деталей. Это — маленький конвейер, который вращается плавно, словно играя, смеясь и воркуя.

Мы еще раз проверили его на станке и еще раз пережили радость творческого удовлетворения.

— Как чудесно вышло, Николай!.. — с улыбкой сказал Петя, снимая халат. — Воскрес Игнатий и явилась на свет эта карусель... В этом хочется видеть какой-то глубокий смысл...

Мы вышли на площадь, горящую мартовским солнцем. Старый снег, покрытый пеплом, изрыт был солнечными лучами, слезился и сверкал алмазными иглами. Высокие дома вокруг площади ослепительно блистали белыми и желтыми стенами. Оралли грачи на бульваре, и от их радостного крика хотелось смеяться. Как-то особенно отчетливо звучали голоса людей. Далеко за городом, на взгорьях, туманно темнели сосновые леса; и воздух там был сиреневый. Сверкая плоскостями, реяли над нами, очень высоко, несколько призрачных самолетов. Их струнный звон плыл к нам глухими волнами.

— Новая партия штурмовиков... — сказал Петя, сказал невольно, отмечая свое впечатление и совсем не думая о них. И, когда я увидел их перламутровый блеск, я не утерпел и крикнул:

— Игнаша, родной! Увижу его скоро... Ах, Петя, как это замечательно!..

Он медленно повернулся ко мне и грустно посмотрел на меня.

Мне стало стыдно своего счастья.

Расстались мы молча. Он пожал мне руку и, не оглядываясь, пошел своей дорогой.

На бульваре меня поджидала Шура. Большие ее глаза смотрели мне навстречу пристально и нетерпеливо.

— Я вас провожу немножко, Николай

Прокофьич, — сказала она, взглянув на меня вопросительно.

Мы некоторое время прошли молча.

— Вчера я получила записку от Миши. К нему меня не пустили.

Она вынула измятый клочок бумаги и прочла:

«Не приходите ко мне больше, Шура, забудьте обо мне. Вы, конечно, будете этому рады. Но я с ума схожу... Иногда мне кажется, что вы еще сидите возле меня с книгой в руках, и я вижу ваше лицо и глаза, в которых светится ваша душа. Но... я предпочту скорее умереть, чем принять вашу жертву».

— Ну, что вы на это скажете, Николай Прокофьич?

— А у вас-то самой, Шура, есть ответ?

Она вздохнула и подняла голову.

— Сейчас я иду к нему... И никто меня не удержит. Я измучилась, Николай Прокофьич, но для этого последнего решения сил у меня хватит...

Лицо ее раскраснелось, и глаза лучились. Я уже по-родному любил ее — простую, горячую русскую девушку, жаждущую беззаветной любви и подвига. В ней я чувствовал что-то общее с моей Лизой.

XV

От Лизы не было ни писем, ни ответа на телеграмму. И я опять начал нервничать. Я телеграфировал ей, что Игнаша жив и находится в госпитале, и что на-днях я поеду к нему в Казань.

Обидно, что отец не прислал мне за этот год ни одного письма. Впрочем, не удивительно: он вообще никому не писал. О своем трудном житье и работе он тем более не будет писать. Держать ручку или карандаш он не охотник. Это занятие он предоставляет Лизе и знает, что она напишет мне о нем все, что найдет пугливым.

Испытание моего приспособления прошло хорошо, но никогда еще я так не волновался, как на этот раз. В цех нагрянули все руководители завода во главе с Павлом Павловичем, Алексеем Михайловичем, главинжем и начальником конструкторского бюро Забываемым — седовласым молодым человеком, который почему-то смеялся при разговоре. Слушает он других серьезно, но, когда отвечает или доказывает что-нибудь, смеется.

Первый подбежал к нам Забываемый и сразу вцепился в прибор. Он начал вертеть его в руках и жадно осматривать со всех сторон.

— Любопытно, за-ни-ма-тель-но... — сиповатым тенорком бормотал он и смеялся. —

Можно было бы приготовить изящнее и для глаза привлекательнее, но по простоте, по целесообразности — это творение природы...

И трудно было понять: восхищается ли он, или издевается над нашим изделием. Но Павел Павлович лукаво подмигнул нам и прикрикнул на Забываева с шутливым негодованием:

— Ну, ну, чего заграбастали! Вот завиднее бюро! Печего чужими руками жар загребать, сами выдумайте...

Он выхватил прибор из рук Забываева и сразу стал серьезным, вдумчивым и строгим. Внимательно и неторопливо осмотрел он каждую деталь и соображал, как должна идти работа с помощью этого аппарата. Седов прислонился к Буеракову и даже приложился щекой к его шапке. Главинж, Владимир Евгеньевич, стоял неподвижно и смотрел на прибор бесстрастно. Но он успел уже раньше ознакомиться с ним, и теперь как будто совсем им не интересовался. Откинувшись назад, Павел Павлович торжественно протянул Петю аппарат.

— Вручаю вам это творение природы и прошу вдохнуть в него душу.

Но Петя отступил на шаг и улыбнулся мне.

— Не по адресу, Павел Павлович. Вот автор этого творения.

Я загорячился:

— Это возмутительно, Петр Иванович! Я такой же автор, как и ты.— Подхватил прибор из рук директора и сердито перенес его на станок.

Седов улыбался про себя и хранил молчание. Павел Павлович озадаченно поднял брови. Он обменялся с Седовым и главинжем лукавой переглядкой и развел руками.

— А все-таки кто же из вас автор-то? Пу-ка, разоблачайте друг друга.

Петя показал пальцем в мою сторону и засмеялся.

— Ну, копечпо, он.

Я огрызнулся:

— Я — в такой же степени, как и он.

Но Петя уже серьезно пояснил:

— Моя роль была скромной: я был только консультантом.

Седов усмехнулся, пожал плечами и обличил меня:

— Ну, чего прибедняешься, Николай Прокофьич! Ведь все же знают, что замысел и конструкция принадлежат тебе, что тебя все время была лихорадка. Знаем также, какие вы закалычные друзья с Петром Пвапычем. Лучше начинай-ка работу, доставь нам удовольствие.

А я все еще не мог успокоиться:

— Я вовсе не желаю, товарищи, чтобы Петр Иванович из ложной скромности преуменьшал свою роль.

Петя оимть засмеялся.

Все подошли близко к станку и стали пристально наблюдать за нашей установкой аппарата. Я включил мотор, и диск начал медленно вращаться. Я вставил в гнездо деталь, затем другую, и так, по мере вращения диска, детали вставлялись в очередные гнезда, а первые детали обрабатывались набором фрез. Все молчали и пристально следили за движением маленького конвейера. Готовую сверкающую деталь я спял и передал Пете, а Петя — директору. Павел Павлович даже шапку задрал от удовольствия и, любуясь деталью, щелкал по ней пальцем.

— Хорошо, хорошо! Не придержишься.

Деталь пошла по рукам. Седов смотрел то на нее, то на меня и очень озабоченно размышлял над чем-то. Потом подошел к станку и несколько секунд наблюдал за работой конвейера и фрез. Рядом с ним встал и Павел Павлович, а Забываев даже низко наклонился над аппаратом.

— Сколько же ты думаешь дать за смену, Николай Прокофьич? — быстро повернувшись ко мне и улыбаясь, спросил Седов.

Все сгрудился вокруг нас с Петей и с терпеливым ожиданием следили за нашими лицами. Мы обменялись взглядом с Петей, и он с проницательной скромностью потупился.

Я не сдержал счастливой улыбки, но ответил деловым тоном:

— Мы тут прикидывали с Петром Ивановичем... Думаю, что норм сорок дать можно...

Седов пытливо оглядел меня, а Павел Павлович размашисто написал пальцем в воздухе цифру 40. Седов громче, чем нужно, объявил, точно никто не слышал моего ответа:

— Товарищи, Николай Прокофьич обещает снять за смену сорок норм. Похлопаем ему?..

Я остановил мотор. Седов обнял и поцеловал меня.

— Николай, дорогой! Ведь то, что ты сделал, замечательно. Этого же нигде нет в мире. Ах ты, милый мой друг!..

И сейчас же бросится к Пете.

— Спасибо, Петруша! Ты знаешь, как мы любим тебя и как ты нам дорог...

И совсем неожиданно, с юношеской теплотой, распахнулся:

— Ведь оба они — мои товарищи детства и молодости, вместе росли, вместе учились. И отцы наши были друзьями и товарищами по борьбе...

И в эту минуту он опять стал прежним Алешей, простым и скромным парнем, с горячими глазами, которые смущали девушек. Вспыхнули в памяти наши домашние вечера, споры, гулянье на островах, катанье по Неве... Родная Нева, прекрасная река моей жизни!..

Павел Павлович положил деталь на стол, вынул платок, сорвал шапку и вытер лоб. Всматриваясь в меня лукавой прищуркой и покачивая головой, он сказал:

— Крепкая голова, драгоценная, Николай Прокофьевич! Теперь я, как никогда, уверен, что знамя Комитета Оборона за нами... На этих днях лечу в Москву и доложу о наших чудесах.

И мне и Пете он крепко пожал руку. А Петя смотрел и на него, и на Седова недоумевающими глазами и смущенно бормотал:

— Напрасно вы, честное слово... Чем же я виноват в этом событии?..

В тот же день я опять стал на сталинскую вахту. Когда я настраивал станок, около меня собралась толпа рабочих. Вася толкался у станка и ласковыми пальцами трогал и гладил части аппарата. Яков и Митя не подходили близко, а молча смотрели издали с благоговейным уважением. Чертаков, который стоял на этой детали, все время смущенно посмеивался. А перед самым пуском станика он, потный и растерянный, спросил мушкетера:

— Сколько же ты, Шаронов, выжмешь из этой черепахи?

Вася насмешливо поправил его:

— Это, брат, не черепаха, а многоголовая гидра. Всю твою смешную продукцию схлещет одним глотком.

Но Чертаков оттолкнул его и со злой настойчивостью переспросил:

— Я спрашиваю, сколько ты выжмешь за омену, Шаронов?

Я дружески улыбнулся ему:

— Сорок норм, родной. А может быть, и все пятьдесят.

— Верю. Шаронов не врет. Значит эта гидра будет и у меня.

Он обвел всех торжествующим взглядом, щелкнул пальцами и, решительно расталкивая людей, пошел на свое место.

Вася подмигнул ему вслед и покрутил пальцем у сердца.

Толпа разошлась неохотно. Кое-кто подходил ко мне и пожимал руку:

— С добрым почином, Николай Прокофьевич!.. Самой тебе максимальной удачи!..

Я не буду рассказывать, как провел свою вахту: повторилось почти то же самое, как и на вахте с первым приспособлением. Конвейер работал почти автоматически, только приходилось внимательно следить за полочкой поделок да снимать готовые детали. На станке могли даже работать подростки. Приходил Седов с бессонными глазами, приходил директор, и оба смотрели на мою работу с тревогой и волнением. Я знал, что их тревога и волнение не оттого, что они опасались за успех дела, а от нетерпеливого ожидания результатов работы. Посетил меня даже и главинж, Владимир Евгеньевич. Он молча и как будто равнодушно постоял около меня и, уходя, сообщил:

— Мы рассматриваем это как большое событие на заводе, товарищ Шаронов. Вы и Польшцев достойны самой высокой награды.

XVI

Вася и Яков также переживали в эти дни горячку: оба они старались жерещеголять друг друга в усовершенствованиях своих станков. Яков все время громко разговаривал с фрезерами, с инструментами. К его оживленной беседе с механизмами и вещами привлекли, но иногда посмеивались, слушая его разговор, а Вася громко подтрунивал над ним:

— Тебе бы, Яша, нянькой надо быть... ну, в детсаде, что ли... Зря пропадает талант. Ты хоть рассказал бы нам, о чем поют тебе твои приспособления...

Но Яков не обращал на него внимания, да едва ли и слышал его голос. Во время работы он забывал обо всем. Среди гула и рокота машин я иногда ловил его говорок:

— Ну, ну, братишка, забирай!.. Покрепче, посмелее!.. Ага, дрожишь, робеешь, стервец!.. Ничего, привыкнешь... А ты не суйся, пятерня, когда нет нужды!.. И ты не злись, не фыркай и не плюйся! Ишь, разбушевался, зубастый!.. За ритмом следи, Яков Федорыч!..

Его голос звучал и строго, и нежно, и ласково, и сердито.

Большим событием для завода была телеграмма товарища Сталина. Он благодарил нас за выпуск боевых машин сверх плана, поздравлял с победой и призывал к еще большему напряжению сил для помощи фронту. Эта телеграмма вождя была в ответ на рапорт завода о перевыполнении программы. Во всех цехах происходили митинги.

К нам пришел Алеша Седов и прочел телеграмму в мегафон. По всему цеху гремел взволнованный голос Седова, а в ответ шквалами забушевали аплодисменты. Как-то само

собой случилось, что часть рабочих хлынула к Алеше, а со всех сторон, и близко и далеко, надсадно закричали голоса. Они что-то требовали, но я не мог понять, в чем дело. У молодых и пожилых рабочих, которые подбегали к Седову, горели глаза, все нетерпеливо поднимали руки и требовали слова. В это время около Седова очутился Вася и поднял обе руки. Похудевший от волнения, он крикнул, подчеркивая каждое слово:

— Товарищи, вы все сейчас готовы дать разные обязательства, и обязательства эти выполняете, конечно. Но у нас у всех есть одно общее обязательство. Не будем терять времени, оно дорого для нас. Предлагаю прервать работу ровно на пять минут и дать торжественную клятву товарищу Сталину...

Как морской прибой, загрели аллюдисменты и дружные голоса:

— Клятву, клятву!.. По местам!.. К станкам, товарищи!..

Седов взмахивал рукой и говорил что-то, но его не слушали. Все побсжали обратно к своим станкам, перекликались. Вася подошел ко мне и схватил меня за плечо.

— Пиши текст клятвы, Коля! Живо! Несколько строк, не больше... Но чтобы крепко и ударно!

Алеша стоял в стороне, встревоженный, смущенно улыбаясь. Таким я его видел очень редко. К нему торопливо подошел Петя и спросил у него что-то. Алеша подал ему телеграмму.

Я быстро написал карандашом две-три строки и остановился: слова горели в мозгу, но не могли вырваться на бумагу, — их было много, они толпились, ослепляли, обжигали меня... Вася наклонился над бумажкой, нетерпеливо читал написанные строки и сам бессильно путался в трудных, цветистых словах.

— Ну, пиши же, наконец, Колька! Ты же литератор... Время-то не ждет...

У меня дрожали руки, и я леденел от отчаяния, что нужных, простых и объемных слов не пахожу в этот решительный момент. К нам присоединился Петя и вдруг спокойно подсказал эти большие слова. Мы позвали Алешу, но он отрицательно покачал головой.

Шум моторов и грохот металла, хрипенье электродов электросварки и говор людей стали быстро потухать, и тишина начала надвигаться на нас со всех сторон. Большая толпа в несколько секунд окружила нас плотной стеной. Парни, девушки, полные рабочие и даже ребятишки смотрели на нас с пристальной готовностью. Капала где-то вода, осторожно переступали люди с ноги на ногу.

В этом безмолвии было что-то огромное, какая-то непередаваемая сила. Кто-то закашлял, кто-то неосторожно перекинулся словами с соседом, засмеялся какой-то лариншка. На них зашикали. Вася выдвинулся вперед и сказал вздрагивающим голосом:

— Товарищи, принесем клятву... Пусть наш уважаемый товарищ... товарищ Шаронов... будет говорить слова этой клятвы, а мы каждый повторим ее слово в слово...

Все в безмолвии устремили на меня глаза, и я увидел в этих истовых и строгих лицах трепет от ощущения необыкновенного события. Я снял кепку, и все в тот же момент обнажили головы. Дрожащей рукой я поднял бумажку и, задышав, произнес первое слово:

— Клянусь...

И все гулко и разногласно повторили:

— Клянусь...

И это слово пронеслось по цеху волною откликов.

Я произнес дальше:

— ...все свои силы... не жалея себя... полностью отдать... напряженной работе... на вооружение Красной Армии... для скорейшего разгрома... кровавого врага...

Глухой многолюдный хор голосов сотрясал воздух и раскатывался по цеху. Казалось, что и станки, и нагромождения металла, и штабеля пушечных стволов, и произительные огни электрических лампочек напряженно вслушивались в каждое слово и повторяли его вместе с людьми. Душа наполнялась восторгом и огромной верой в свои силы, и с каждым вздохом грудь дрожала от порыва совершить что-то большое. Я видел, что все, от подростка до старика, переживали то же самое. В эти короткие минуты они забыли о всяких своих личных заботах, о своих семьях, о том, чем жили они за пределами завода и своего цеха.

— ...Клянусь... ежедневно, ежедневно, без усталости... увеличивать во много раз... выработку оружия и боевых машин... бороться за новые методы труда... помогать отстающим... Клянусь... быть таким же беззаветным воином в тылу... как самоотверженный боец... на поле сражения... в беспощадной борьбе с врагами...

Я кончил и, не отрываясь, всматривался в лица людей: они были торжественно-строгие, озаренные внутренним светом. Сейчас все мы были готовы без раздумья броситься на любую борьбу, на любые жертвы и, не жалея жизни, совершать любые подвиги.

Вася взмахнул рукой и с улыбкой крикнул:

— А теперь к станкам, товарищи! Поже-

лаем друг другу успехов... Пусть горит эта клятва в наших сердцах постоянно!..

Все молчаливо, с сосредоточенными лицами стали расходиться по своим местам.

Через минуту цех опять зарокотал, зазвонили моторами, залязгал металлом, и опять засверкали молнии и зазвонил колокол электрического крана.

Алена и Петя ушли незаметно.

XVII

В госпитале меня с живым любопытством встретили раненые в стеганых куртках, с костылями, с палками, с забинтованными руками. Я оставил свой чемоданчик в раздевалке, снял пальто, и гостеприимные бойцы повели меня, стуча костылями, куда-то в глубь коридора. Ребята, должно быть, рады были свежесму человеку и расспрашивали меня, откуда я, к кому, почему с чемоданом.

Навстречу нам шла, вся белая, высокая сестра, чернобровая, с усиками, чем-то взволнованная.

— Вам Шарова?— переспросила она, осматривая меня с тревожным раздумьем.— Не знаю уж как... Он недавно прибыл... Состояние у него не из важных... Без разрешения врача как-то...

Мы пошли по коридору и через вестибюль углубились в другой коридор. В конце его сестра отворила стеклянную дверь и первая вошла в палату. Комната была белая, светлая; в огромные окна било золотое солнце. Вдоль стен стояли кровати. Больные встретили нас без всякого любопытства. Они лежали не шевелясь, бледные, худые, изнуренные своими ранами. Сестра подошла к одной кровати, направо, и, беспокойно оглянувшись, приложила палец ко рту. В палате была тишина и сдержанное покряхтыванье. Я стал рядом с сестрой и обомлел. На меня смотрели в упор, не моргая, глаза слепого. Лицо было незнакомое — багрово-красное, в рубцах, в болячках. Что-то было общее с Игнашей, но это был не Игнаша. Он улыбнулся далекой улыбкой, но глаза были неживые.

— Сестрица, вы... привели кого-то?.. Кто это?.. Ну-ка, подождите, подождите...

И он протянул ко мне руку, сосредоточенно думая и прислушиваясь. Этот родной голос, который не угасал у меня в душе, потряс меня до того, что я не мог стоять на ногах. Я рванулся к его койке и упал на колени.

— Игнаша! Родной мой!.. Я здесь, у тебя... Милый, что же это с тобой?.. Ты не видишь меня?..

— Коля! Коленка!..— крикнул он, как

мальчик, и обхватил мою шею.— Братуша, радость моя!..

Мы смеялись, всхлипывали и не могли оторваться друг от друга.

— Игнаша, милый, ты не знаешь, что я пережил!.. Ведь я был уверен, что ты погиб... и не утешал себя надеждами. И вдруг — твоя телеграмма...

— Ох, все было, Коленка... чего только не было!.. И горел, и камнем летел вниз, и от немцев удираю, и слепой по лесам и полям рыскаю... А вот живу, радуюсь...

— Но как же, Игнаша! С глазами-то как же? Неужели навсегда?

И я опять услышал его жизнерадостный крик:

— Ничего, ничего, Коленка!.. Как-нибудь выберусь... Я от немцев удрал, от огня отбил, в лесу не замерз... а уж слепым-то не останусь... Нет, Коля, нет!.. Но... пока... пока — тьма...

Сестра погладила по русым кудрям Игнашу и с печностью в голосе сказала:

— Нет, вы обязательно... непременно будете видеть... Доктор убежден, что зрение скоро восстановится... Это временно... Вы увидите солнышко, цветы, нашу Волгу...

Она принесла стул и даже взяла меня подмышку, чтобы усадить рядом с Игнашей. Ее хорошие глаза, еще темные от слез, ободряюще улыбались. Губы у нее вспухли от волнения, как у девочки. Она опять погладила волосы Игнаши и той же ласковой рукой провела по моему плечу. Потом с сожалением оставила нас и склонилась над соседней кроватью.

— Но как же это случилось, Игнаша? Может быть, тебе нельзя говорить? Тогда не надо...

— Нет, почему же? Я ведь сейчас здоров, Коля... Только вот еще немного кровоточат ноги... пальцы отморозил... Ну, да ведь это пустяки... А случилось просто. Штурмовали скопления войск, эшелоны, аэродромы... Ну и, конечно, схватка в воздухе... Это был очень горячий бой... Я сбил два самолета, но тут же и меня подсекли. Загорелся бензобак... Ну, а это, знаешь, дело дрянное: огнем охватило весь самолет. Я пошел в штопор. Ну, думаю, конец! Уже поджаривать меня стало... Потом разъярился: нет, думаю, еще поборюсь. Не знаю уж, каким чудом выправил машину и понесся к своим линиям. Вижу, не дотяну. Уже одежда стала дымиться. А тут, кстати, лесок. Сумерки. Грохнулся я на одну полянку и даже удивился, как у меня это здорово вышло... Врезался в кусты. Машина ревет и стонет от огня, пылает... Признаюсь, сгорая и не почувствовал даже,

как меня поджарило. Выскочил и — в кусты, в лес, во тьму. Слышу, позади выстрелы... я — в сторону, и во все лопатки... Так я, как зверь, метался, залутывая следы, кубырнулся куда-то в пропасть, в глубокий овраг. Он-то меня, пожалуй, и спас от немцев...

...По дну этого оврага Игнаша по пояе в снегу бежал с полверсты, скрываясь в мелколесьи, и очутился в долинке. Лесок там был пореже. Он вышел на санную дорогу и побежал по ней не вниз, а вверх: внизу, несомненно, была деревня, и там — немцы. Вверху рос густой лес. Он догадался бежать именно по дороге, а не по целине, чтобы погоня потеряла его следы. Сумерки здесь были гуще, а лесная заросль чернела ночью. Внезапно он увидел две дорожки, которые уходили развилкой вправо, в гору, в чашу леса от санного пути. Он вскарабкался по одной из этих дорожек наверх и прислушался. Верно: внизу топот, голоса, выстрелы... Очень хорошо было слышно, как немцы побежали куда-то вниз, и голоса их и скрип снега под ногами замирали с каждой секундой. Игнаша опять побежал вперед и углубился в самую непроходимую чащобу. И вдруг окутала его тьма, такая тьма, какой еще никогда в жизни не знал. И он сразу понял, что ослеп. Понял и весь похолодел. Такого ужаса и беспомощности он не испытал даже в тот момент, когда штопором летел вниз на горящей машине. Он упал в снег и застыл в отчаянии. Черная тьма без измерений, и он один в этой тьме, и нет никаких путей — всюду бездонная пустота. Так пролежал он с ужасом в душе, должно быть, долго, потому что почувствовал, что стал замерзать. И тут он опять забунтовал: «Пока живой, пока голова на плечах, — до последнего вдоха буду бороться за жизнь!..»

Рассказывая, он держал мою руку и пожимал мне пальцы. Рука его исполосована была красными рубцами. Он улыбался, как улыбаются слепые, — и самому себе и куда-то вдаль. Он замолчал в задумчивом ожидании. Подчиняясь этой его молчаливой, мерцающей улыбке, я сам молчал и даже дышал сдержанно.

Не оборачиваясь ко мне, он спросил:

— Ну, а ты... ты, Коля, как жил?.. Как боролся?.. Ты расскажи... У тебя ведь сейчас богатая жизнь... Я тут слушал радио... У тебя какие-то большие победы...

— Но как же ты спасся, Игнаша? Ведь был в ловушке — и немцы кругом, и эта страшная тьма... Я не могу этого представить...

Он сконфуженно засмеялся, и этот смех был какой-то новый, едва слышный, смех про себя.

— Понимаешь, Коля... я как-то сам удивляюсь... Знаю, что ползу куда-то вперед, и знаю, что ползу туда, куда надо... У Фабра есть целое исследование об инстинкте направления у насекомых, возможно, что и у меня в этот момент проснулся этот направляющий инстинкт. И другой инстинкт — маскировки: при каждом подозрительном шорохе, или когда мерещились голоса и шум, я мгновенно зарывался в снег и лежал без движения. Так я полз, вероятно, целые сутки. Я на расстоянии чувствовал открытое поле и забирался глубже в лес. Боль в ногах сначала была нестерпимая, а потом потухла. Попял, что пальцы отморозил. Руки я все время снегом растирал, хотя ожоги очень мучили меня. Наконец слышу: человек с собакой разговаривает. Не разберу: свой ли, враг ли. Вынул я револьвер, приготовился. Можешь представить, Коля, что я пережил в те минуты... Жду — и готов и к жизни, и к смерти...

Он опять примолк, улыбаясь странной улыбкой. Потом засмеялся едва слышно, про себя.

— Бывают в жизни этакие мгновения... мгновения нечеловеческие... это — ужас... в лесу, когда ты — зверь в облаве. А человеческое, мое, — это, когда воля моя побеждает все, воля как сила моей мысли. И тогда — ни страха, ни ужаса... И вообще, Коля, в жизни ничего нет страшного, ничего... когда я — владыка самого себя, то есть, когда я охвачен сознанием и целью... хотя бы подмною — бездна, а впереди, вверху, — враги...

— Ну, так что же дальше, Игнаша? — с дрожью в голосе понурил я его, наклоняясь к его лицу. Ужас, который так просто передал Игнаша, схватил и меня за сердце. — Но, может быть, тебе, милый, трудно рассказывать?.. Может быть, это тебя волнует?..

Рубцы и шрамы на лице задрожали и растаяли. Он улыбался.

— Честное слово, Коля, в жизни ужасное и смешное неразделимы. Говорят: от трагического до смешного — один шаг. Нет, и трагическое и смешное — это одно и то же: с какой стороны посмотреть... Слышу, подбегает собака, обнюхивает меня, мечется, тявкает, как-то по-щенячьи, — не то от радости, что нашла добычу, не то от нетерпения, что хозяин опаздывает. То отбежит назад, то опять обнюхивает и хрипит. Чую, бежит человек, и тоже хрипит. Я кричу ему: «Говори сразу — кто!» Человек остановился и спокойно, низким басом гулит: «Свой, свой, не бойся!..» Собака уже не лает, а повизгивает. Я пе-

двигаюсь с места и настороженно спрашиваю: «А чем вы докажете, что — свой?» Он смеется и басит: «А ничем, как и вы. Однако я знаю, что вы — наш». — «Да по мне, — говорю, — можно понять, кто я». — «Ну, — говорит, — немцы здорово умеют маскироваться под русских. А сейчас, кстати, густая ночь, ни черта не видно». — «Ну, так вот, — говорю, — товарищ, я ослеп, горел вместе с самолетом, бежал от немцев... полз, кажется, целую вечность. Обморозился, да и страшные ожоги. У меня револьвер, но пока я вам его не отдам... для всякого случая». Он опять смеется. «Что ж, — говорит, — пожалуйста, не отдавайте. У меня у самого автомат и гранаты». — «А вы кто? — спрашиваю». — «А тут, — говорит, — недалеко партизаны. Я из отряда. В разведке. Совсем рядышком, — говорит, — у нас избушки. Услышали, что собака забеспокоилась, ну и пошли за ней. Только собака-то у нас учепая: на немцев не лает, молчком ведет. А ежели русского чуует, кричит и танцует. А теперь давайте руку, я поведу вас к себе в гости; и перевязочку сделаем, и накормим, и поухаживаем, а потом видно будет». Вот тебе Коленька, и повесть о моих блужданиях между жизнью и смертью...

— Ну, а где ты узнал, Игнаша, что ты Герой Советского Союза?

— Да, да... Так это правда?.. Колька!.. Мне вчера комиссар сказал, да я как-то не совсем поверил... Сестрица! Лида! Где же газета?..

Он сел на кровати, сбросил с себя одеяло и спустил забинтованные ноги на пол. Лицо его стало сизым от прилива крови, и глаза вспыхнули, как у зрячего.

— Подожди, Колька!.. Даже искры в глазах...

Он заметался, схватился за голову, упал на подушку, потом опять вскочил, засмеялся изумленно, и глаза его залились слезами.

Я обнял его и, целуя, уложил на кровать.

— Успокойся, родной! Конечно, ты будешь видеть... Ты успокойся! Полежи, отдохни...

К нам подбежала сестра и вынула из кармана газету.

— Вот, вот, Игнатий Прокофьевич!.. И портрет ваш здесь...

Игнаша схватил газету и поцупал ее пальцами.

— В каком месте?.. Положите мою руку... Вот здесь?.. Прочти, Коля!

Я прочел ему текст указа, а он, потрясенный, смотрел куда-то вдаль и смеялся.

— Это... это — большое счастье!.. Колька, понимаешь ли ты, какое это счастье?.. Лида, сестра! Мне кажется, что в глазах у

меня радуга... Пусть это воспоминание об угасшем свете... по это — действительно...

Сестра склонилась над ним, поправила его волосы и стала ласково успокаивать его. Игнаша взял ее руку и положил к себе на грудь.

— Вот и хорошо, что вы счастливы, Игнатий Прокофьевич. Я так рада!..

— Видишь, Коленька, какая она слабая?

Сестра мигнула мне, что нужно оставить его одного. Я положил руку на его волосы и сказал ему тихо, как ребенку, что приду к нему завтра, а теперь мне надо похлопотать о пристанище.

— Иди, иди, дорогой! Конечно!.. — встретился он и протянул мне руки.

Я ушел от него в слезах, и слез своих не стыдился. На меня смотрели раненые без всякого удивления и провожали, дружески улыбаясь.

В этот день мне не удалось увидеть начальника госпиталя, врача, чтобы поговорить с ним об Игнаше: он был занят какими-то сложными операциями. Я зашел к комиссару. Встретил меня чисто выбритый, молодой капитан и гостеприимно угостил кофе с молоком и с белой булочкой. Бледное, сухощавое лицо его с тонким носом и опромытыми очками, все время улыбалось. Он участливо заинтересовался, где я устроюсь, пацолто ли приехал к брату, не может ли он чем-нибудь помочь мне. Держал он себя как-то беспокойно: то вставал со стула, то садился и все время что-то искал по карманам.

— Скажите, — спросил я его, — почему вы только вчера сообщили брату о том, что он Герой Советского Союза?

Он изумленно поднял брови, потом пошевелил ими озадаченно и, наконец, сдвинул их в раздумьи.

— Видите ли, какая штука... С одной стороны, можно ли удержать в памяти огромное количество награжденных, с другой — он допущен в тяжелом состоянии. Кроме того, он и сам мог знать об этом. Просматривая комплекты газет, мы натолкнулись на его фамилию. Я поздравил его, но он — представьте! — не поверил, — вероятно, подумал, что шутка. Потребовал газету.

— А долго вы думаете держать его в госпитале?

— Ну, это неизвестно. Полежит. До лета, думаю, продержим здесь. Возня с ногами. Плевать.

— А зрение?

Комиссар пошевелил бровями, и улыбка его стала недовольной и пенскренней.

— Это не в моей компетенции. Побеседуйте с начальником госпиталя. Он в курсе дела.

Он встал и взглянул на часы.

— Завтра этак зайдете к нему вечерком. Он человек резковатый, но прямой. Я постараюсь предупредить его сегодня.

Он задал мне несколько вопросов о моей работе и сказал вздыхая:

— Вот и у нас... Тяжелые, очень тяжелые обязанности... Здесь человек как будто весь оголен: сколько страданий и трагедий!.. и сколько великих душ... простых, незаметных для многих!.. Ваш брат — один из них... один из тех, кто не замечает своего величия...

XVIII

На другой день утром, когда я вошел в палату, Игнаша, в голубом халате и туфлях, которые едва держались на забинтованных ногах, стоял около своей койки у двери, как будто пытался выйти в коридор. Он улыбался прежней улыбкой, а лицо сосредоточенно напряжено:

Кто-то из больных предупредил его:

— Шаронов, брат пришел...

Но он уже протягивал навстречу мне руку и крикнул:

— Я знаю... Я еще издали почувствовал... Мне кажется, Коля, что я вижу твою тепь... Мы поцеловались.

— Пу, как себя чувствуешь, Игнаша?

— Хорошо, Коля, превосходно!.. Ты понимаешь, я вижу, как туманятся окна... Рассвет, братуха, рассвет!.. Но придет и настоящий день... А я вот хожу... самостоятельно: прошел к окну, а потом сюда, к двери. Там свет, как облако, а тут — тьма... Замечательно!.. Возьми меня под руку, и мы с тобой пройдемся по коридору... Как мне надоело лежать!.. Тоскую по самолёту, по товарищам... Ты им сейчас напиши от меня письмишко... Буду опять летать, Коля... опять летать... Я еще покажу этим немецким разбойникам... я им сумею отомстить...

Мы вышли в коридор и медленно зашагали в сумеречную его даль. Он сжимал мою руку, и я чувствовал, как струится с его пальцев первая дрожь: он был счастлив, что я возле него, и эта его теплота лучше всяких слов говорила о его любви ко мне. А у меня подступала судорожная спазма к горлу, и я долго не мог произнести слова. Он это чувствовал и крепче прижимал к себе мою руку.

— Ты мне расскажи, Коля, как ты боролся и побеждал. Я ведь очень горжусь тобой... Я знал заранее, что ты сделаешь что-то замечательное, не мог не сделать...

Помнишь, как наш старик хвастался: «Шароновы все с талантами...» Для него талант — любовь к труду.

— Это при тебе еще он танки под огнем ремонтировал, Игнаша?

— Папалка не сдаст! Ты ведь знаешь его: умрет он в пеху, а не дома. Пройдем с тобой в красный уголок; это здесь, где-то в конце коридора. Расскажи мне, как вы воевали...

Я коротко рассказал ему о том, как мы сопровождали наш эшелон, как нас бомбили, как погибла дочка Пети и обезумела Наташа... как монтировали завод, и как я оспащат свой станок.

— Славный Петя! — вздохнул Игнаша и крепко сжал мои пальцы. — Ты его не оставляй, Коля... Ведь этот удар — на всю жизнь.

Навстречу нам прыгали на костылях молодые ребята. Они оживленно разговаривали, шутили, смеялись.

Мы вошли в светлую комнату, с длинным столом посредине, на котором рядом стояли цветы в плошках. Игнаша опять заликовал:

— Потымаешь, этот рассвет... такой голубой разлив...

В комнате сидел, закрываясь газетой, больной в халате. Он так углубился в чтение, что не обратил на нас внимания. Но, когда мы сели к столу, дверь открылась, и сестра Лида, приветственно улыбувшись мне, вызвала из комнаты раненого.

— Скоро, Коля, я опять полечу в небеса... Я приеду к тебе на завод и опять увижу тебя, Петю, Алешу, ленинградцев... Вы приготовите мне добрый самолет...

— Обязательно приготовим, Игнаша... Специально для тебя приготовим...

— Пу, вот и хорошо! Я поведу его прямо в Ленинград... Я ворвусь к Лизе и крикну: вот и я, Лиза! Горел и возродился из цепля...

— Она, Игнаша, придет сюда, ко мне: я послал ей молитву.

Он взмахом руки отшиб мои слова:

— Лиза? сюда? Из Ленинграда?.. Теперь? В эти дни?.. Пу, нет. За кого ж ты ее принимаешь?..

Но вдруг зашнулся к замочку: должно быть почувствовал, как я вздрогнул от его слов. Мне было больно слушать его, но что я мог возразить против правды? Ведь в письмах своих Лиза не обронила ни одного намега о желании приехать ко мне. Наоборот, каждая строка звенела гордостью за Ленинград, за себя. Она тоскует обо мне, ей хочется чувствовать себя рядом со мною, но у нее и в

мыслях не было оставить израненный город ради меня. И я только в этот миг понял, как я был слеп, мечтая о скором ее приезде. Лиза не ответила на телеграммы, не ответит и на письма. Конечно, Ленинград — это личная ее судьба. Разве она может вырвать себя из чего? Ведь и я, и Игнаша, и мои старики, и все те, кто борется там, — это душа великого города. Я поступил бы так же, как и Лиза. Я дрался бы там, шёл в окопах, шёл в цеху, со всем пылом моего сердца.

Игнаша погладил меня по плечу и смущенно проговорил:

— Ты извини меня, Коля.. Я огорчил тебя... Но, братуха, я был бы счастлив, если бы сложилось так, как ты хочешь...

Я поспешил успокоить его:

— Не волнуйся, Игнаша... Конечно, Лиза не уедет из Ленинграда. Будем каждый бороться на своих позициях...

Он схватил мою руку и сжал до боли.

— Да, да, Коля... будем бороться, как велит необходимость... В этом наш долг и наше счастье... А я... нет, я неспроста остался жить: я пужен родине, и она охраняла меня от гибели... У меня отморожены пальцы на ногах, но они заживают, лицо обожжено и обморожено, но это сойдет. А самое главное, Коля, — это рассвет в глазах... Если бы ты знал, как я счастлив! Скоро я увижу солнце... Я приеду к тебе на завод и сам поведаю свеженький штурмовик... Орлом прилечу на свой аэродром... обниму всех своих товарищей...

— Я буду ждать тебя, Игнаша, с петербургом... — сказал я, заражаясь его счастьем. — Ты знаешь, какой это для нас будет праздник!.. Машина тебе обеспечена.

Он бросился мне на шею и засмеялся.

— Как мы с тобой говорим, Коля!.. А теперь лими, Коля, моим друзьям...

И он продирировал мне короткое письмо, но такое же горячее, как и его слова.

Мы опять пошли с ним по коридору к его палате. Шагал он осторожно, должно быть, рапы на ногах не зажали, — но шел не так, как ходят слепые: он не опирался на мою руку, он сам направлялся к дальнему спящему окну и повторял с наивным удивлением:

— Ведь это там окно?.. Понимаешь, как волны... такие странные, голубые и оранжевые... Как хочется, чтобы эти волны пролились... чтобы этот туман рассеялся!..

Он остановился и тревожно спросил:

— Но когда же ты уезжаешь от меня, Коля?

Я осторожно и с сожалением ответил:

— Мне, Игнаша, надо возвращаться. Ты знаешь, что у меня не должно быть протуллов... — И шопутил: — Надо ехать, чтобы приготовить тебе отличный самолет...

— Да, да, поезжай, Коля! Ты — и поле боя... Жаль сейчас расставаться с тобой, но... самолет, самолет!.. Я буду мечтать о нем и о тебе...

Днем я съездил на аэродром. Бравый начальник, предупрежденный Павлом Павловичем, принял меня как знакомого. Кряхтя и пожевываясь, он сердито посмотрел на меня из-под козырька фуражки и подумал о чем-то, постукивая пальцами по столу.

— Хорошо. Выкрою для вас место. Полетите.

И быстро выбежал из комнаты.

Вечером седовласый врач, с жидкой бородкой, с колючими серыми глазами, встретил меня в своем кабинете молча, только ткну карандашом в сторону стула. Около него, стояла пожилая, полная сестра с обвислыми щеками. Он сердито написал что-то на бланке, сунул ей еще несколько бумажек и вопросительно вскинул на меня остренький взгляд.

— Я брат раненого летчика Шаронова, — начал я. — Мне хотелось бы побеседовать с вами...

Он бесцеремонно перебил меня:

— Да, хотите узнать, будет ли он идти?..

Он замолчал, опустил глаза на свои волсатые руки, подумал немного и грубовато сказал:

— Повезло ему здорово! Огромного дура человек. На его месте, другой сюда не дбрался бы. Была гангрена на ногах — сбил ожоги тела — исцелился. А теперь — глаз

— Вы знаете, доктор, — нетерпеливо пербил я его и даже встал от возбуждения. — вы знаете, что он видит?

Он показал мне рукою на стул и с прстецкой фамильярностью оборвал меня:

— Сядьте, пожалуйста! Видит... Пока еничего не видит...

— Но он видит мутное пятно обла и дже видит на него... Это же не галлюцинация

Он опять воткнул в меня свои колючие глаза.

— А кто вам говорит, что галлюцинация? Я говорю только, что затяжное дело... С одной стороны — контузия. Это — временно. С другой — ожоги. Это — скверно.

— Но вы мне скажите, доктор, толи одно слово: будет ли видеть или нет?

У него подобрали глаза, и он ответил мягко и задумчиво:

— Будем надеяться, будем надеяться... — И сердито посоветовал мне: — Большие к нему не заходите, а то вы испортите всю музыку. Такие люди, как он, очень чутки.

— Я уже простился с ним, доктор.

— Вот и отлично. Могучий организм, удивительная сила воли!..

Я вышел от него очень встревоженный. А ночью на аэродроме я бродил по поселку до изнеможения, возвращался в комнату для отдыха, ложился, но сейчас же вскакивал и опять выбегал на улицу. Игнаша преследовал меня своей улыбкой слепого.

XIX

Утро было яркое, прозрачное, солнечное. Как-то странно и непривычно колыхалась в воздушной бездне белая земля, уплывали, мерцая, кучи домов, уродливо скособооченных, и заводские корпуса, такие же карликовые, как на рельефном плане. Не успел я осмотреться, как город вдруг исчез, и мы очутились над пустынными дебрями лесов. Мне показалось, что мы стремительно падаем вниз, потому что голые леса и черно-сизые панши сосен быстро приближались к нам, и сугробы снега волнами плыли под самолетом. Потом сразу же и снег, и леса ухали в глубину, и мне чудилось, что мы бурным порывом взмываем ввысь. И я тут же понял, что самолет летит ровно, по прямой воздушной линии, а холмы то поднимались своими склонами, то опускались в долины. Пропеллеры ревели ураганом, до щекотки в ушах, и самолет дрожал струнной дрожью.

В самолете сидело человек двенадцать — больше военные, молодые командиры. Кресел на левой стороне не было: там один на другом стояли маленькие ящики, посредине тоже были ящики; большие и длинные. На них сидели командиры, а в креслах направо уютно устроились работники наркоматов. Экипаж в пять человек находился в кабине летчика, и, когда открывалась дверь и оттуда выходили молодые ребята в меховатых синих комбинезонах и очкастых шлемах, я видел спину пилота в кожаном пальто. Командиры сидели по-двое, по-трое и, жестиксулируя, оживленно разговаривали и смеялись, но ни смеха, ни разговора их не было слышно. В окно видно было серо-зеленое крыло в рваных дырках, пробитое, должно быть, осколками зенитных снарядов. Я, не отрываясь, смотрел в окно и видел плывущие и

колыхающиеся взгорья, покрытые снегом и густой зарослью лесов. Они казались коричнево-сизыми кустарниками. Когда горбы холмов приближались к самолету, совсем рядом тянулись к нам стройные березы с отчетливо разрисованной белой корой. Ощущение странной высоты вызывало в сердце тоскливое замрачение, странную боль в голове. Часто тошнотная судорога сжимала внутренности, и хотелось невольно стонать и улыбаться. Эта улыбка была, вероятно, конфузливо-жалкой и покорной. Молодые командиры чувствовали себя превосходно: видно было, что они возбуждены, им хотелось петь песни. Двое из них, более пожилые и почему-то сердитые, играли в шахматы. Наблюдая за ними, я заметил широкое отверстие в крыше, из которого падал яркий свет: поднялся с своего сидения и посмотрел вверх: там был просторный стеклянный колпак, и в светлом гнезде — пулемет с задраным дулом.

Мимо начали проноситься клочья тумана. Мы разрезали их, ныряли в их пурпуро-белую муть и опять вылетали в солнечно-голубой простор. Потом туман стал палетать сплошными шквалами, и крылья самолета исчезали из глаз. Окно неощутимо сливалось с непроглядно седой тьмой. Тошнотное замрачение внутри стало чаще и мучительнее. Уже ясно чувствовал я, как самолет стремительно падает в пропасть, инстинктивно хватаясь за ручки кресла и закрывая глаза. Секунды через две он упруго вздрагивал, шарахался в сторону, тревожно ржал, и я вдавливался в кресло: должно быть, он поднимался ввысь. И вдруг опять сияло солнце, и недалеко внизу, сплошными сугробами, лохматой пучиной, плыли облака. Это было сплошное золотое море, которое бушевало без конца и края. Небо вверху было голубое и лазурное. Синяя тень нашего самолета с странной быстротой скользила по кудрявым волнам блистающего моря облаков, изгибалась, взмахивала крыльями, как чудовищная птица. Слобно зачарованный, смотрел я на этот необъятный океан, пылающий ослепительным пламенем.

Так летели мы долго, и я незаметно задремал, утомленный клочущим сиянием внизу и гвещущим ревом пропеллеров. Я сел глубже в кресло, вытянул ноги и приложил голову к стенке.

Родные призраки проносятся передо мною... Лиза смотрит на меня, и на ее бледно-исхудалом лице — огромные глаза... Она улыбается мне и настойчиво повторяет какое-то слово, которое я не слышу... А Игнаша весь яростный, лезвинградский, смеется и

кричит: «Я увижу солнце... Я полечу навстречу солнцу!» И сердце мое сжимает тоска. «Будем надеяться, будем надеяться...», — сказал врач, и пелыя было понять по его подборвишей улыбке, утешал он меня без уверенности в исцеление Игнаши, или сам был убежден, что глаза Игнаши прозреют, но из осторожности отвечал и мне и себе неопределенными словами. «Могучий организм... огромная сила воли!.. Может быть, он давал мне понять, что надежда только на необыкновенную волю к жизни у Игнаши?.. Обрывки мыслей, отдельные слова всплывают, переплетаются, тухнут, опять возникают и тревожат сердце. Игнаша протягивает ко мне руки в шрамах и улыбается самому себе и куда-то вдаль. Сейчас он, может быть, бродит по палате и тянется к туманному рассвету... Он мечтает о солнце, о полетах... И во сне и наяву он будет жить верой в близкое счастье прозрения... Дорогие мои оторваны от меня... Может быть, навсегда?.. Они кричат мне из осажденного города, протягивают руки и требуют: «Мсти! От тебя зависит счастье нашего освобождения!» Силы моей Лизы и моего старика слабеют... Я должен быть вперед... Лиза сурово борется на своем посту. Ей не страшны бомбежки и ежедневные обстрелы города. Она видит смерть на каждом шагу, смерть подстерегает ее всюду, но если бы пришлось ей погибнуть, она гордо и смело пошла бы навстречу тибелл как воин, как хорошая русская женщина, потому что в душе ее — огромная любовь... Ленинград — это стчизна, это свет ее жизни, это будущее... Но почему у меня так мучительно на душе? Почему такая смута в мыслях?

Я вздрагиваю и открываю глаза. Самолет падает, судорожно трепещет и бросается из стороны в сторону. За окном непроглядная серая муть. Мне кажется, что мы летим уже несколько часов. Молодые командиры уже не разговаривают, не смеются: они обмякли, погрузились и скучно смотрят в окна. Кое-кто из них скорчился на ящиках и дремлет.

В разрывах тумана я вижу жоричевые обрывы, черные пятна льда на какой-то большой реке. Вихрями и шквалами бушует снегопад. По земле, очевидно, буря. Но видение мгновенно исчезает, и опять мы в сплошной седой мгле, без измерений. Самолет делает крутой вираж: я это чувствую болезненно. К голове приливает кровь, и в висках тяжелая боль. Ураган рвет машину, и она кряхтит и прыгает.

Болтанка обессиливает меня, и я опять погружаюсь в бредовой полусон. И опять мелькают видения, опять сумбурно звучат слова. Время от времени я прихожу в себя. Большой ураган хлещет в окно, точно мы погружены в пучину молочного моря. Иногда эта белая мгла разрывается, и в бездне, среди вихрей снега, виднеется гора, покрытая лесом, или овражистые берега какой-то реки. Сколько же времени мы будем блуждать в этой бурной пустыне?

Сознание туманилось, и я забывался. В таком полубоморочном состоянии я находился как будто несколько минут, но, очнувшись, я взглянул на часы и испугался: мы болтались в снежном урагане уже около шести часов. Белая мгла померкла и стала серо-голубой. Через час день угаснет, и мы погрузимся в ночь.

Тревога охватила всех пассажиров. Двое штатских молодых людей встали со своих мест и, шатаясь, подошли к командирам. Со страхом в глазах что-то кричали им и размахивали руками. Командиры переглядывались, усмехались. Штатские, пожимая плечами, панически пагали обратно. Седой, полный человек обернулся ко мне, и в его глазах зажеглась насмешка: вот, мол, попали в переделку!.. как, мол, вы себя чувствуете, гражданин?.. Один из полных командиров, с ожесточенно-холодным лицом, тронулся к кабине экипажа и, уверенно распахнув дверь, скрылся за нею. Все проводили его глазами и, не отрываясь, смотрели на дверь в напряженном ожидании. Седой человек опять обернулся ко мне, лукаво подмигнул и закивал на окно. Я сделал вид, что совсем не интересуюсь его настроением. Хлопнула дверь, и вместе с командиром вышел усатый и краснолицый летчик с выпучеными глазами. Мпюгте вскочили с мест и бросились к нему. Он остановился, сердито сдвинул густые брови и приказал руками сесть всем на места. Покрывая тул пропеллеров, он крикнул зычным баритоном, но голос его доносился как будто издалека:

— Не волнуйтесь, товарищи! Сидите спокойно! Я бывал и не в таких переделках...

И улыбнулся, показав два широких реза из-под густых усов. Он прокричал что-то еще, но слов его я не разобрал.

Такого состояния я не переживал ни на войне, когда вел свой танк в атаку на финнов под ураганным огнем, ни во время бомбежки нашего эшелона. Тогда я был одной из действующих сил, и от меня зависел успех наших атак и спасение заводского оборудования. Теперь же я чувствовал что-то вроде

обреченности: я был беспомощен, прикован к месту. Моя жизнь зависела от летчика, а жизнь летчика — от погоды, от бензобака, от тысячи неожиданных и неустрашимых случайностей. Мы блуждали в непроглядном сумраке пурги, не зная, где находимся, не зная, что в бездне, под самолетом — там, может быть, горы, леса, гранитные скалы, а, может быть, и желанные поля... Стекла заливались молочно-грязной мутью, и мы ничтожной пылинкой носились в этом седом урагане. Даже плоскостей самолета не было видно. Мне чудилось, что пройдет несколько мгновений, и мы, не замечая падений, врежемся в землю или разлетимся в брызги на каменных натромождениях. Погибнуть так бесславно и бессмысленно. Прервать мою борьбу, мою боевую работу, в которой сейчас весь смысл моей жизни... Я сделал так еще мало... Оборвать жизнь в тот момент, когда она только еще начинает разгораться, выйти из боя, когда борьба широким размахом идет по всему фронту... А Лиза... моя родная Лиза с Лавриком...

Может быть, волна этого страха захлынула на меня потому, что вся эта покорная толпа тоже охвачена была тревогой... Каждый боролся со своей слабостью и старался казаться невозмутимым. Но никто, кажется, не видел друг друга, и по глазам, по бледным и похуленным лицам видно было, что каждый хватался за последнюю надежду. Только командир с ожесточенным лицом сидел на длинном ящике, презрительно-холодный, да мой толстый сосед непоседливо ерзал на своем сиденье и оглядывался на меня, посмеиваясь и подмигивая. Кажется, он забавлялся общим смятием.

На мгновение я ощутил стремительное падение вниз. Мне стало дурно, и я закрыл глаза. Самолет задрожал и запрыгал в судорожных порывах. Я услышал крики людей, глухие и далекие, и общую суматоху. С усилием я открыл глаза и увидел, как военные устремились к окнам. Даже толстяк прилипал лицом к стеклу и жадно всматривался вниз. Черная полынья, как бездонная пропасть, неслась на нас с жуткой быстротой, все шире и шире разевая свою пасть. Она мгновенно проглотила нас, и мы сразу же очутились в прозрачном синем воздухе со свежими дальними полями и холмами.

Когда я опомнился и прилип к окну, совсем близко неслись талые пашни и заборки какой-то деревушки. Самолет несколько раз скользнул по земле, задрезав, подскочил на воздух и сразу всей тяжестью налет на колеса. С непередаваемой радостью ощу-

тил я и услышал громыханье шасси по колдобинам и комьям мерзлого поля, твердость родимой почвы, ласковые избы вдаль и вечерние, голубые косогорчики. Какое наслаждение потрясло меня, когда самолет застыл на месте! Все гурьбою кипулось к выходу, открыли дверь, сбросили трап и стали высказываться. У меня дрожали ноги и руки, и я с трудом сплутился на снег. Не останавливаясь, я пошел в молчаливый снежный простор, без цели, без направления, — просто так, чтобы почувствовать землю, скрипучий снег, устойчивую неподвижность мирных полей и уютных деревенских крыш за отлогим взгорком.

— Милая, родная земля!.. — шептал я. — Дорогая моя земля!..

И вдруг в душе стало светло, устойчиво, бодро; все бредовые видения и мысли растаяли, унеслись вместе с пургой и мутью.

Я остановился и оглянулся назад: самолет стоял далеко, задрал голову и неподвижно распластав крылья. Около него толпились пассажиры. Уже смеркалось, и снежные дали переходили в фиолетовые сумерки. Небо было мутное, и тучи неслись низко. Хотя свежий снежок и скрипел под ногами, не здесь, должно быть, совсем не было того урагана, с которым мы боролись в этой чертовой вышине. Воздух был теплый, домашний, с запахом навоза и мокрой земли. Неподалеку от меня бежала черной тенью лошадежка и тащила за собой сани. Я лобезжал наперерез ей, чтобы узнать, где мы находимся. В санях сидел крестьянин в стареньком полушубке и смотрел мне навстречу с недоверчивой улыбочкой, спрятавшей в реденькой бородежке. Он сам остановил лошадь и первый же спросил:

— Это чего птица-то тут села? Из нее ты, что ли?.. Ершланты в жизнь в наших местах не садились... Аль что приспичило?..

— Буря сюда занесла. До города-то далеко отсюда?

— Вот-а!.. засмеялся он. — До города-то едешь, едешь — глаза вылушишь...

— Нет, без шуток...

— А без шуток — так: иди по этой дороге, она тебя к вокзалу приведет. До города-то, по нашему счету, верст пятьдесят будет...

— Нельзя ли лошадку?

— Вот-а, чудак какой! Какая теперь лошадка? Война! Лошадка теперь не гладка... На своих на двоих дешевле... П-но, ты, сивая-човурай!

И колхозник ударил вожжами по сухому крупу лошади.

Я возвратился к самолету, но никого из пассажиров не застал: все ушли почевать в деревню.

Я влез в самолет, взял свой чемоданчик и простился с экипажем. В деревню я не пошел, а решил добраться до города.

XX

В крошечной тьме я кое-как доплелся до маленькой станции, сел в товарник и в час ночи был уже дома.

Моя холостая комната показалась мне родной и уютной. Со стены смотрели на меня Лиза с Лавриком, хмурился мой старик и грустно улыбалась мать. А Игнаша как будто даже подмигнул мне: вот, мол, и я здесь с тобой!.. На столе лежали книги и толстая папка с этими записками.

Как родного, встретила меня Аграфена Захаровна. Даже в полумраке прихожей видно было, что она покраснела от удовольствия. Казалось бы, чего ей так радоваться? Ведь я не был дома только четыре дня. Причудливая вещь душа хорошего человека! Пропадай я хоть целую неделю в своем цеху, эта женщина не взволнуется. Но стоило уехать куда-то в Казань и сразу же возвратиться, она уж встречает меня, как после долгой разлуки.

Не успел я войти в комнату, как она принесла мне целый ворох писем и газет. Я выхватил их из ее рук и стал жадно разбирать.

— А вы не волнуйтесь, Николай Прокофьевич... Письмо-то! из Ленинграда наверх было. Зачем вы его отбросили?

Письмо было необычно короткое, и поэтому почему-то испугало меня. Что-то в этом листике, написанном с двух сторон, было суровое, как окрик. Я даже смущенно оглянулся, боясь, как бы Аграфена Захаровна не дотадалась, что мне не по себе. Но в комнате ее уже не было.

«Родной мой! — читал я. — Получила твою телеграмму, а потом два письма, но долго не отвечала на них — сознательно не отвечала. Мне кажется, что за это время ты мог многое передумать, многое понять и не осуждать меня. Выхать из Ленинграда я не могу и не хочу. Оставить город, который борется за свою жизнь и за жизнь страны, — город, где я родилась, где прошла моя жизнь, — это значит для меня уйти в сторону от борьбы. Разве ты сам оставил бы добровольно наш мужественный Ленинград? Но ты и там, на Урале, бьешься на переднем крае обороны. Ты бьешься за двадцать, за тридцать человек! Ты выполняешь задание страны. Те-

бя знает весь народ. А мой долг — оставаться здесь до конца, как рядовому бойцу.

«Я люблю тебя какой-то новой любовью... Самое трудное пройдено: блокада прорвана с Ладожского озера. Страна снабжает нас хлебом, оружием, техникой. Тысячи машин курсируют по льду озера, несмотря на вражескую бомбежку. Наши соколы очищают небо от немецких коршунов. Идут жестокие бои. И мы уверены, что блокада скоро будет прорвана.

«Как я счастлива, что Игнаша воскрес! Старик наш хоть и ослабел, но, когда узнал, что Игнаша жив, высоко поднял голову и сказал: «Не удивляюсь. Шароновы удачливы, потому что смекалисты и никогда не теряются». Лаврик велит передать тебе, что он тоже герой Ленинграда. Всегда с тобой, твоя Лиза».

В этом письме вся моя Лиза. Эта нежная строгость ее слов вызвала не огорчение, а стыд за себя и гордость за нее. Так именно она не должна была поступить.

В письмах из разных городов Союза рабочие и работницы, старики и юнцы требуют совета, дают обязательства, вызывают на социальное соревнование... В областной газете появились открытые письма известных фрезеровщиков, токарей и лекальщиков других заводов края. В этих письмах они дружески приветствуют меня и сообщают о своих победах и достижениях. Они выражают желание немедленно приступить к обмену опытом. «Нас много, — пишет один из них с явным задором, — и все добиваются новых и новых рекордов. У нас уже целый ряд изобретений, и мы применяем такие приспособления, что тебе, товарищ Шаронов, увидеть и изучить их бесполезно. Мы с интересом следим за твоей работой. Надеемся, что и ты знаешь наши имена. Так давай, дорогой товарищ, поведем дальше на бой нашу молодежь. Поддержим наступление наших красных воинов и рядом с ними еще крепче будем разить немецкую сволочь борьбой на трудовом фронте». Только в эти дни я почувствовал, как грозна сила ответственности. Мне было и страшновато, и радостно. Но в то же время я ощущал себя богаче и сильнее, чем раньше. За эти полгода мы увеличили выпуск танков и самолетов. Мы рьяно ругаем себя на каждом производственном совещании, на каждой заводской конференции, и для нового человека могло бы показаться, что мы завязли в недостатках, что работаем мы плохо и вообще не умеем работать. Но на самом деле каждый день — это битва за новую

Поединок

(Эпизод из русско-шведской войны 1808 г.)

Флота лейтенант Гаврило Иванович Невельской поставил точку и присыпал бумагу песком. Отбросив в сторону гусиное перо, энергично потер обеими руками широкое свое лицо, беспощадно отнесясь при этом к носу, заметно покрасневшему от такой бесцеремонности. Окончив расправу над своей физиономией, Гаврило Иванович шумно вздохнул во всю свою широкую грудь и, прищутив голубые глаза, глянул в зеркало, поправляя белокурые, зачесанные наперед височки.

— Наташа! — крикнул он ослепшим, простуженным голосом.

— Да? — ответили ему из соседней комнаты.

— Какой час, душенька?

— Двенадцатого пятнадцать минут.

Лейтенант побросал бумаги в раскрытую папку, завязал тесемки и, символически плюнув, потянулся, еще раз вздохнул с явным облегчением и так от души, что зазвенели подвески на люстре.

— Что ты там лыхтишь, как дельфин? — спросил все тот же приятный жезеклый голос из соседней комнаты.

— Кончил писанину, душенька, — хрипло отвечал лейтенант. — Кончил, наконец, дьявол ее заберит!

— Gabriel! Ты не на палубе, — джоризненно сказал приятный голос.

— Прости, душенька, — апроспел лейтенант, выходя в гостиную, где сидела жена его, Наталья Григорьевна, и взяла что-то клубки разноцветной шерсти лежали перед нею на круглом столике красного дерева. Она подняла глаза от вязания, глянула на мужа, и на красивом молодом лице ее засветилась добрая и немного насмешливая улыбка.

— Устал? — спросила она.

— В десять раз лучше без лопмана пройти Малым Бельтом, — локачал своей широколобой, мудрявой головой лейтенант. — Дай чего-нибудь подкрепиться, душенька, да надо будет идти. — Под конец длинной фразы голос лейтенанта совсем пресекался и он плустил петуха.

— Ай как ты простужен, друг мой. Ну, можно ли быть таким беззаботным? Верно, опять без шарфа стоял ночью на мостике?

— Возможно, душенька, — улыбнулся лейтенант.

— Нельзя же так. Ведь ты, как маленький, ну как тебя отпускать без агрисмотра? Ведь совсем потерял голос, так можно грудную горячку схватить. Надо меры принять, друг мой.

— Я и то думаю, душенька, сталан рому...

На лице Натальи Григорьевны появилось выражение ужаса, и лейтенант, смутившись, осекся и пробормотал:

— Или, может, водочки...

— Ты хочешь сделать раздражение в горле? Глузости какие. Сейчас ты выпьешь стакан горячего молока с медом!

— Но зачем же молока, душенька?..

— И не спорь. И шарф завяжешь вот этим шарфом, я его только что кончила, он теплее. Да ведь на тебя положиться нельзя, ведь ты ребенок, прямо ребенок. Я вот строго Трошкину накажу, чтобы он за тобой следил.

— Кстати, где же Трошкин, душенька? Ведь мне через полчаса на судно.

— Трошкин пошел гулять в гавань с Колей.

— Однако, душенька, это не годится. Ведь он все-таки мой вестовой, он мне нужен.

— Он на корабле твой вестовой, а здесь я капитан, не забудь, — засмеялась Наталья Григорьевна.

— Жрете шуток, Наташа, — настаивал лейтенант.

— Вот несносный! Сейчас он будет здесь. Я велела ему быть тут без четверти двенадцать, а он пунктуален, как хронометр.

— Но ведь матрос не нянька, душенька, — не унимался лейтенант.

— Когда Трошкин в доме, Коля кроме него ничего знать не хочет, да и тот тоже. Там такая дружба — водой не разольешь. Они пошли корабли смотреть.

— Ну-ну, — смячился лейтенант.

— Пойдем в столовую, друг мой.

В это время дверь приоткрылась, и в гостиную вошел здоровенный, румяный и зурпосый матрос с трехлетним мальчиком на руках. У мальчика была такая же кудрявая голова, как у Невельского, и лицо нежное и миловидное, как у Натальи Григорьевны.

— Папа, папа! — закричал мальчик, протягивая руки к лейтенанту. — А мы в гавань ходили, там кораблей смотрели много, а твой маленький, а красивше всех.

— А сколько на нем мачт? — спросил лейтенант, беря сына на руки и целуя в обе щеки.

— Одна только, папочка, — сокрушенно сказал мальчик.

— Маловато считаешь? Ничего, зато лучше, знаешь, сколько?

— Сколько?

— Четырнадцать. Скажи: ка-ро-па-да.

— Каланада.

— Ну, моряки, пошли, пошли, фриггтык готов. Давай его мне, — сказала Наталья Григорьевна.

— Ну, нет уж, когда я на берегу, то он должен быть со мной. Так, мичман?

— Так.

— Скажи: есть быть с тобой, господи лейтенант!

— Есть, госпо... госпо... пойдем кушать, папочка!

— Ну, пойдем, брат, сейчас мы с тобой ка-эк дернем по стаканчику крепкого молока!

— Gabriel!

— Прости, душенька. А ты, Федор Иванович, иди тоже закуси, да пойдем. Эх ты, пиянька, а еще бывший комендор. Скоро, брат, я тебя в кормиллицы отдам.

— Николай Гаврилыч к кораблям интерес большой имеют, — оправдывался матрос, — и окромя меня ни с кем не хотят гулять. Флотская душа, ваше благородие.

Лейтенант улыбнулся и, поцеловав сына, понес его в столовую. Через двадцать минут Гаврило Иванович в полной форме и при шпаге прощался с женой и сыном. Трошкин стоял в стороне с ковровым саквояжем и палкой. Наталья Григорьевна шутила с мужем, но глаза и невеселое лицо выдавали ее беспокойство.

Лейтенант поцеловал жену, сына, потом снова жену. Добродушное его лицо стало серьезным.

— Ну, пошли, Федор Иванович! — отрывисто сказал он, отворачиваясь и палецая треуголку.

— Гаврилик... послушай, — остановила ее жена, положив руку ему на плечо.

— Что, душенька?

— Это... это будет очень опасный поход?

— Нет! Что ты, ангел мой, дозорная служба, пустяки. Однако прощай, душенька. Время.

— Прощай, милый.

— Прощай, Трошкин! — прокричал мальчик, из-за отца, стараясь увидеть вестового.

— Прощай, ваше благородие...

* * *

— Жди меня тут, — сказал лейтенант, подойдя к управлению военного порта. — Я через десять минут.

— Есть! — отвечал Трошкин.

Занеся шляпку с бумагами в канцелярию и получив там пакет с предписанием, Гаврило Иванович вышел на улицу и поискал глазами Трошкина, но улица была пуста. Только вдали виднелась белая фигура какой-то девicy, чинно шествующей с открытым зонтом. Гаврило Иванович снова глянул вправо, влево, но нигде не видел было и признаков монументальной особы Трошкина. Лейтенант поблагодарил. Острые глаза Гаврилы Ивановича обнаружили кое-какие признаки местопребывания вестового. Насупротив, через улицу, виднелись гостеприимные двери трактира.

— Экая каналья! — просипел Невельской, грозно глядя на лижкие двери, и оттуда, будто бы вызванный магнетической силой его взгляда, появился Трошкин, торопливо вытирая рот ладонью. Увидев лейтенанта, он вздрогнул и рысцей пустился через улицу.

— Ты что же это, сукин сын?! — многообещающим тоном спросил Гаврило Иванович, сжимая кулак.

— Виноват, ваше благородие! — отвечал Трошкин, вытягиваясь перед командиром.

Лейтенант уже было занес руку, но, покосившись влево, в двух шагах увидел подплывающую барышню с зонтиком, густо крикнул, опуская руку, и, пискоро пообещав вестовому: «Ужо тебе, каналья!» — быстро изменил свирепое выражение лица, и, любезно ослабевая, он прикоснулся двумя пальцами к треуголке.

— Bonjour mademoiselle Nadine.

— Здравствуйте, Гаврило Иванович, — отвечала девица. — На судно?

— На судно, Падежда Яковлевна.

— А я к вам, к Наталье Григорьевне.

— Поцелуйте ее от меня...

Распростившись, лейтенант направился в гавань, Трошкин с впопыхатым видом шел в трех шагах позади. Скоро запахло морем.

смолой, пеньковыми канатами, впереди в пролете улиц сверкнуло и заблестало солнечными зайчиками стальное море. Невельской прибавил шаг, полной грудью вдыхая острый запах порта. На рейде неподвижно стояли корабли; мелкие, но частые волны бились и шаскались у высоких бортов. Солнце то озарило воду и корабли, то тень от быстрых облаков набегала на рейд. Гаврило Иванович отыскал глазами свой «Опыт» и залюбовался стройными очертаниями маленького судна. Глянув на небо, по которому бежали редкие облака, на горизонт в струящейся дымке, лейтенант сделал для себя прогноз погоды. У стенки Гаврилу Ивановича ожидала гичка с тендера. Пожилой солидный боцман Нефедыч придерживал ее багром.

— Здорово, ребята! — весело крикнул гребцам лейтенант.

— Здрра желя! — рявкнули гребцы.

— Здорово, Нефедыч!

— Здравия желаю, ваше благородие, — благосклонно отвечал боцман. Команда уважала Невельского за лихость и знание дела.

— Дозвольте руку, ваше благородие, — сказал Тропкин, прыгнув в гичку и желая помочь лейтенанту.

— То-то, ваше благородие, заливонка, — добродушно сказал Невельской, ловко прыгая на корму качающейся гички. — То есть духу сивухного слышать не может равнодушно. — Лейтенант взялся за шнурки и добавил фыркая: — Ну, какая из тебя кормилица, идол, когда от тебя сивухой за кабельтов несет?

Тропкин сидел на банке, чинно прижимая к себе кодовый чемоданчик, и виновато помаргивал белыми ресницами. Нефедыч сочувственно улыбался. Старший офицер Франц Яковлевич Рейнерт встретил командира у трапа и отдал рапорт. Это был худощавый стройный блондин с красивым бесстрастным лицом. Имя такого старшего офицера, можно было спать спокойно. Рейнерт был неумолимо пунктуален, аккуратен и выскателен. Добродушного Гаврилу Ивановича даже раздражал немного его педантизм. И на этот раз на судне все оказалось в порядке, за исключением несчастного случая с командиром третьей каронады левого борта, который вывихнул себе руку.

Гичку подняли на борт, обменялись сигналами с корветом «Шарлотта», также шедшим в дозор, и Гаврило Иванович скомацандовал к подъему якоря. Нефедыч засвистал в дудку, раздался топот босых ног по палубе, и тендер, встав под паруса, медленно двинул-

ся в открытое море. До вечера корабли шли вместе, а в сумерки разошлись, назначив рапдеву через сутки в том же пункте. Погода была переменная, порывистая. К вечеру зазмежело, и заморосил дождь. Гаврило Иванович голял на юте, подняв воротник. Рядом с ним, поглядывая то на паруса, то на занавешенный мелким дождем горизонт, стоял Рейнерт. На юте появился Тропкин со свергом в руках.

— Ваше благородие, извольте шарф надеть. Свежает и сыро, — строго сказал он.

— Что? — сердито обернулся Гаврило Иванович.

— Так что Наталья Григорьевна приказывали...

— А! Да, да! — поспешно перебил его Гаврило Иванович, косясь на Рейнерта. — Давай сюда, голубчик.

— Не прикажете ли грогу согреть? Вон у вас голос начисто сел.

— Согрей пожалуй. Не желаете, Франц Яковлевич?

— Благодарствуйте, не откажусь. Да вы, господин лейтенант, пошли бы отдохнуть. Вы больны-с. На море все спокойно. Я буду приказывать разбудить вас, если возникнет необходимость вашего присутствия. — Рейнерт говорил размеренно, тщательно отчеканивая слова и с выделанною правильностью произношения, выдававшего его немецкое происхождение.

— Пустяки, батенька, не сахарный, — хрипло отвечал Невельской.

На рассвете, когда «мрачность» рассеялась и горизонт прояснел, Гаврило Иванович ушел в свою каюту, приказав разбудить себя, в случае, если на море будет замечено судно или изменится погода. Сбросив пальто, размотав шарф, Гаврило Иванович расстегнул крючки мушкетера, повалился на койку и через минуту храпел так, что вздрагивали стекла в световом люке над головой.

* * *

Около полуночи Тропкин потряс за плечо Гаврилу Ивановича.

— А? Есть! — пробормотал лейтенант, садясь на койке и протирая глаза.

— Так что, ваше благородие, замечено трехмачтовое судно на траверзе острова Норген.

— Шляпу! — хрипло сказал Невельской и, ладью треуголку, бросился на палубу. На юте Рейнерт, положив трубу на плечо сигнальщика, смотрел на судно, шедшее на всех парусах встречным курсом.

— Судно военное, фрегат,— сказал он, передавая трубку Гавриле Ивановичу.

— Вряд ли наше, а?

— Сомнительно-с.

Суда быстро сближались. Когда позволило расстояние, Невельской поднял позывные, с требованием сообщить национальность судна, место назначения и причину появления в русских водах. Но фрегат сигнала тендера оставил без ответа. Он быстро набегал, кренясь под ветер. Уже простым глазом можно было различить детали вооружения мачт, белую пену под фигурным форштевнем, латки на вздутых парусах.

— Неприятель, по всему видно,— сказал Гаврило Иванович, отдавая трубку сигнальщику.— Боевую тревогу! Свистать всех наверх! — крикнул он.— Распорядитесь шоворотом, Франц Яковлевич, курс на Ревель,— обернулся он к Рейнерту.

— Есть курс на Ревель!

В то время как «Опыт» описывал кругую дугу под наблюдением старшего офицера, Гаврило Иванович следил за подготовкой к бою всех четырнадцати двенадцатифунтовых каронад, за противопожарными мероприятиями и прочими деталями боевой готовности суденьшика. Пров Денисич Мазаев, пожилой артиллерийский поручик из магросов, небольшой, кривоногий человек с короткой густей бородой, из которой как-то стыдливо выглядывал маленький красный носик, бегал от орудия к орудью, проверял боеприпасы, угол прицеливания. Удовлетворенный проверкой, он стал посреди пиканцев, так что ему видно было все четырнадцать орудий, и, закурив трубку, поглядывал на юг в ожидании команды.

— Готов, Пров Денисич? — крикнул лейтенант.

— Готов-с, Гаврило Иваныч, вот только третье орудие остротело, комендора нет.

— Авоем мы другим бортом будем палить.

Между тем более ходкое трехмачтовое судно настигало медленно, но верно.

— Фрегат, пятьдесят пушек,— меланхолически отметил Рейнерт.

— И-да,— промычал Гаврило Иванович и вдруг оживился.— Франц Яковлевич, вон штилевая полоса.— Он протянул руку, указывая вперед и чуть влево, где перед пенным бурным отмели светлела широкая полоса гладкой воды.

— Курс на штилевую полосу!

— Есть курс на штилевую полосу.

— Распорядитесь, голубчик, достать вес-

ла — и всех в гребцы! От кока до капитана. Наждем как следует и уйдем за отмель, под прикрытые берега, он туда не сумеет!

— Есть достать весла!

Тендер резко вбежал в полосу гладкой воды и стал заметно сдавать скорость, парусы заплосквали.

— Все по веслам! — раздалась команда.

Фрегат, вошедший в штилевую полосу, более тяжелый, по инерции прошел довольно далеко и стал, все еще покачиваясь, недалеко, но вне предела действия своей артиллерии. На тендере дружно гребли, по два и по три человека на весло. Суденьшико, прибавляя ход, приближалось к отмели, намереваясь обогнуть ее. Гаврило Иванович, расстегнув мушкетир, сбывчив кудрявую голову, греб так что жилы налились на его сильной, бедешее. Вместе с ним, за тем же веслом, гребл старательный могучий Трошкин и Рейнерт даже тут не утративший своей чопорности. Вдруг Трошкин бросил весло и сорвался с места.

— Куда ты, дьявол?! — крикнул Гаврило Иванович.

— Палыто и шарф вам прищесть — вон шквал с дождем заходит, Паталя Григорьевна приказали...

— Иди, иди! — отмахнулся лейтенант, и, на берегу отдавая команду, он влинулся на юг — приготовить судно к шквалу, — надеясь все же успеть уйти за отмель.

Шквал ворвался в штилевую полосу и набегал стеной дождя, дробя и пеня стекловидную поверхность воды. Ветер дохнул холодом, тендер качнулся, следующий порыв вздул паруса, тендер накрепился, черпая бортом, и побежал, заныряв на поднявшейся волне. Хлынул дождь, но сквозь частую сетку водяных струй видно было, как быстро шел следом фрегат. Многоярусная громада его вздутых, как щеки Борся, парусов выростала из глазах. Шквал прошел, как и налетел, внезапно, не продлившись и пяти минут, чуть не прижав тендер к отмели и дав возможность фрегату подойти на пушечный выстрел. До конца отмели было еще далеко. Невельской пытался уйти на веслах. На фрегате поднял сигнал: «Спустить флаг».

— Дужки-с! — сказал Гаврило Иванович и, погрозив кулаком фрегату, глянул на андреевский флаг, развевавшийся на гафеле.— Положение, однако, пыкое! — Гаврило Иванович повернулся к Рейнерту и скривил свое лицо так, будто у него неожиданно заболел зуб.— А, Франц Яковлевич?

— Я полагаю,— отвечал Рейнерт своим

размеренным голосом, — что ввиду полной бессмысленности сопротивления необходимо спустить флаг.

— Что вы, батенька? — изумился Невельской.

Скулы старшего офицера порозовели, и он продолжал, спокойно, холодными своими глазами глядя прямо в лицо капитана тендера:

— Надеюсь вы не истолкуете мои слова, как проявление трусости. Но я настаиваю на том, что по всем законам войны благоразумно при безнадежном положении сдаться противнику, чтобы избежать излишнего кровопролития. Любой рыцарский кодекс учитывает подобную возможность.

— Э! Об этом разговору нет. Мы не на гуинее ради прекрасных глаз, батенька мой. Мы стечество защищаем. — Невельской махнул рукой и отвернулся.

Рейнерт пожал плечами и отошел в сторону, всевидящим взглядом опытного служаки глядявая судно. Красивое лицо его было холодно и бесстрашно, не выражал ни тени беспокойства. У борта фрегата пыхнули два облачка, прогремели выстрелы, и ядра, перелетев, взрыли воду недалеко от отмели.

— Каронады, тридцатифунтовые! — крикнул Мазасев, взглядом специалиста оценивая выстрел. — Нарочно промазали, пугают.

Только было раскрыл рот Гаврило Иванович, желая отдать команду артиллерийскому офицеру, как перед ним появилась корявая рука с цветным шерстяным шарфом. Невельской машинально взял его, намотал на шею и снова открыл рот, но перед ним встала монументальная фигура вестового с пальто в руках.

— Извольте падеть, ваше благородие, — улыбаясь, сказал Трошкин.

— Да стинь ты трам та-та-там! — закричал Гаврило Иванович и, схватив пальто, вывернул его на палубу. Вестовой попятился, моргая, но не отходил.

— Ваше благородие, дозвольте стать к орудию, ведь я три года комендором...

— Верно, ваяяй, братец! — сказал Невельской, хлопая по плечу вестового, повернувшего налево кругом. — Пров Денисьич, вот тебе комендор на третий номер!

— Есть комендора на третий номер! — отвечал бородач, проверяя наводку орудий.

— А ну, огонь — по корпусу всем бортом! — крикнул Невельской, придерживая рукой треуголку.

— Первое пли! — тонко закричал Мазасев.

Бум-бум-бум-бум! — загрели одна за другой, откатываясь, каронады. Молнии засвер-

кали вдоль борта, тендер качнуло, и длинное облако слявинного от семи орудий темного дыма, пропесая над водой, стало всплывать в воздух. От белочерного борта фрегата полетели доски, щепы — урон был нанесен изрядный. Люди на тендере быстро заколачивали банниками новые заряды, накатывая каронады на места, и в это время вдоль палубы фрегата засверкали молнии, тучей поплыл дым, раздался могучий грохот — фрегат дал залп из всей шкандечной артиллерии. На головы команды и артиллеристов полетели обломки рей, блоки, ключья парусов. Большой кусок дерева сшиб рулевого и сломал две рукоятки у штурвала. Судно рыскнуло и покатилося под ветер. Гаврило Иванович обернулся, ругнувшись и нахмутив брови, но у штурвала уже стоял Рейнерт все с тем же бесстрастным выражением холодного лица.

— Беглый огонь по корпусу и по такелажу! — крикнул Невельской Мазасеву, оглядывая повреждения на тендере.

Повреждения были большие. Над головою свисали обрывки перелуганных снастей, разбитые в куски реи. Обломки шлюпки загромождали палубу. Маленький взъерошенный Мазасев, перебегая от орудия к орудью, проверяя прицелы, успел сделать еще два залпа. На фрегате в корпусе зияли дыры от снарядов мазасевских каронад, поврежден был такелаж; видно было, как уносили с палубы раненых и убитых.

Из пушечных портов в корпусе фрегата блеснули молнии, густой гром прокатился по морю, и дым окутал судно. Это был залп из пяти больших орудий в доке. Треск и грохот раздался на тендере, полетели в стороны куски дерева, блоки, железные части, судно повалилось на бок от могучего удара и черпнуло бортом. Две сшибленных с места каронады, прокатились по палубе и, проломив борт, ухнули в море. Раздались стоны раненых. Однако стойкое суденышко медленно выпрямилось, только глубже осев в воду. Вид тендера был ужасен. Встуду разрушения, зреть. Борт насквозь проломлен в нескольких местах. Обломки шлюпки, перелуганные снасти, исковерканные части рангоута, опремкнутые пушки загромождали палубу. Пять каронад были выведены из строя, ранено десять человек и двое убито.

Но люди поднимались из обломков, залитые кровью; почерневшие от порохового дыма, и становились по своим местам. Мазасев, хромая, правой рукой придерживая сломанную левую руку, хриплым голосом отдавал приказания прислуге двух уцелевших каронад. Трошкин и

два артиллериста из его расчета пытались привести в порядок разбитый лафет третьей каронады.

— Огонь! — хрипло крикнул Мазаев, и два снаряда полетели в корпус фрегата.

— В трюме вода! Прибывает! — глухо прокричали из-под палубы.

— Командира убило! — крикнул кто-то.

Тропкин, бросив безнадежное дело, опрометью кинулся на ют.

— Батюшки, флаг спускают! — раздался испуганный голос.

Остановившись, Тропкин увидел Рейперта. Без шляпы, он перебирал шнур белыми руками, и андреевский флаг, поникнув, медленно сползал вниз.

— Повремените, батюшка, я еще могу стрелять! — отчаянно крикнул Мазаев, провожая взглядом медленно сползающий флаг.

— Прекратить бесполезное сопротивление! — отвечал ему старший офицер.

— Ребята, заклепывай пушки, кто может, ломай борта, шихай их в воду! — Мазаев отпустил бессильно повисшую левую руку и, сорвав с седой головы фуражку, бросил ее на палубу.

— Поручик Мазаев! Вы нарушаете законы воинской чести! Раз флаг снущен, значит, бой окончен, и вы не имеете права нанести ущерб неприятелю.

— И видно, что вы не артиллерист, батюшка мой! — плачущим голосом крикнул поручик. — Где это видано, чтобы свой паре в целости неприятелю сдавать, срам-с! Ломай, круши, ребята!

Тропкин не слышал, что было дальше. Перед ним неподвижно лицом вниз лежал Гаврило Иванович. В вытянутой вперед руке он сжимал шпагу, курчавились белокурые волосы на затылке, и по палубе из-под головы растекалось кровавое пятно.

— Батюшка, Гаврило Иванович, — тихо позвал его Тропкин и осторожно перевернул на спину. Глаза командира были закрыты, из большой раны в нижней части лица била кровь, и торчали розовые обломки кости. Тропкин расстегнул мундир и приложил руку к груди Невельского.

— Жив, жив, отец! — закричал он. — Дайте воды сюда, жив капитан!

Он осторожно размотал с шеи лейтенанта окровавленный цветной шарф и, обмыв рану, обрывком полотна и шарфом перевязал ее.

Между тем к тендеру подошли баркас и катер с фрегата. Рейперт, встретил их у трапа и сдал судно неприятельскому лейтенанту

по всем правилам хорошего тона. Лейтенант отобрал шпаги у офицеров и, оставив караул на тендере, приказал офицерам сесть с ним в катер, а матросам грузиться на баркас. Тропкин, как ребенка, поднял на руки бесчувственного командира и, положив себе на плечо его разбитую голову, осторожно спустился в катер, где уже сидел сдавший команду Рейперт, с холодным и величественным видом, и Мазаев, вздерженный, как медвежонок, без шапки и со злым лицом.

Горячая кровь Гаврило Ивановича пропитала матросскую фляпелку Тропкина. Катер ходко пошел к фрегату. Когда он подходил к трапу, Невельской очнулся и поднял голову. Говорить он не мог, по глаза его напряженно перебежали с предмета на предмет. Он понял, что произошло, и снова закрыл глаза.

— Ляжьте, ляжьте, ваше благородие, зам будет удобней, — мягко сказал ему Тропкин, но Гаврило Иванович отстранил его руки и приподнялся. Катер подвалил к трапу.

— Дайте я спасу вас, ваше благородие, — сказал Тропкин, но Невельской, упрямо сбывчив перевязанную, окровавленную голову, шагнул к трапу и занатался. Неприятельский лейтенант хотел поддержать его, но он отдернул руку и сердито оглянулся на Тропкина.

— Вишь, он сам хочет идти, ты его только поддержи, — сказал Мазаев.

Медленно, пошатываясь, опираясь на руку Тропкина, всходил по трапу на борт неприятельского судна Гаврило Иванович.

А на палубе, у трапа, стоял взвод матросов, ружья на караул, и капитан фрегата, высокий офицер с длинным носом, маленькими близко поставленными глазками и в треуголке чуть набекрень. Когда Гаврило Иванович ступил на палубу, он сделал два шага вперед, козырнул и сказал:

— Горжусь честью сражаться с противником, столь отважным! — Капитан глянул в сторону лейтенанта, привезшего моряков с тендера, и приказал: — Вернуть шпаги господам офицерам!

Героический поединок тендера «Опыт» с пятидесятипушечным фрегатом «Сальсет» происходил 12 июня 1808 года близ острова Норген. Так как на фрегате не могли оказать надлежащей помощи Невельскому, то его отвезли в Ливаву, где после удачной операции над его разбитой челюстью он выздоровел и долго еще служил в русском флоте. Вышел он в отставку по болезни в чине капитана первого ранга.

Привет герою

В сердце бережно выношен
Наш привет тебе искренний,—
Верь,— знамена любви нашей
Алой кровью обрызганы!

Где в лазурь таврической
Храмы счастья разрушены,
Славец град героический
Севастополь-жемчужина...

Все, что злое и доброе
В жизни было мне ведомо,
Мне казалось подобием
Моря пенного этого.

То спокойно-свободная,
То тревогами полная,
Жизнь моя была сходною
С черноморскими волнами.

О, в каком отдалении
Парус, чайки блестящие,
Синевы раздвоенные —
Море, в небо глядящее!

Тышь лазурная,— где ж она?
Твердь земная качается,
Волны вздыбились бешено,—
Сердце может отчаяться!..

Молний многими саблями
Небеса наши ранены,
Камни сделались слабыми!
Берег падает каменный!

Вместо звезд, вместо месяца,
В небе рваном и вспоротом
Ключья пламени мечутся
Над разрушенным гордом...

Смята бурей убийственной
Зелень парка ветвистая...
Вспомни, город воинственный,
Как ты непогнута выстоял.

Снова станет былинною
Севастополь прославленный,
Крылья славы орлиные
Будут снова расправлены!

Снова с добрыми грузами
В синей тишине вечера
Проилывет наша «Грузия»,
Огоньками расцветена!..

В этой битве невиданной
Наша рать не повержена,
И единство не рухнет,
Дивной силой удержано.

Эти дни, эти горести
Будут прожиты, пройдены...
В бой, дитя нашей гордости,
Гаховидзе, сын Родины!

В буре быстрее и бешеной
Всем ударам и выпадам
Больше точности взвешенной,
Чтобы враг твой не выгадал!

Вечно дружен с победою,
В ледяной своей ярости
Мети убийцам, не ведая
Ни пошлости, ни жалости!

Предков образы чистые,
Цель единства вне времени,
Все, что дорого истари
Сердцу гордого племени,

Зори древние, ранние,
Дедов сказка нескорая,
Михет, Аспиндза, Мухрапи,
Где ковалась история,

Ратных подвигов поиска,
Битв искусные навыки...
Дух пылающий воинский
Возрождается в правнуке!

Светит грозным величием
Наших воинов мужество,—
Свято чтим по обычаям
Клятву братства и дружества!

В самом пекле пылающем
Верить в радость мы учимся,—
Слава смерти презирающим,
За грядущее бытующим!

Перевод с грузинского
А. АДАЛИС.

Русский характер

(Из рассказов Ивана Сударева)

Русский характер! — Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он был немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половинка груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замечен сильным и соразмерным сложением. Бывало заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с гнильцой, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и заграничней побываешь, но помни: русский мужик это резерв... Русским званием гордись...»

У него была невеста из того же села па Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплегут такое — уши развесить. Начнут например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на

базе уважения...» Другой: «Ничего подобного! Любовь — это привычка, человек любит и только жену, но отца с матерью и даже жавотных...» «Тьфу, бестолковый, — скажет третий, — любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина вмешавшись, грубым голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь упомянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге.

Про военные подвиги он тоже не любил много разглагольствовать. «О таких делах вспоминать не охота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали с слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

«...Понимаешь, только мы развернулись гляжу из-за горюшки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» «Вперед, — кричит, — полный газ!» Я и давай по сельничку маскпротаться — вправо, влево... Тигра слом-то водит, как слепой, ударил — мимо... Товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх!.. Экипаж и полетел через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотил... Фашисты зашумели: «Русские панцирь»... — и кто куда... А грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну, двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полный газу я на сарай и наехал... Батюшки! Но бронебалки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще и проутюжил, — остальные — руки вверх и «Гитлер капут».

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк—на бугре, на пшеничном поле—был подбит снарядом; двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять забрался на броню и успел вытащить лейтенанта: он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю ему на лицо, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом полз с ним от воронки к воронке на перевалочный пункт... «Я почему его тогда поволок?—рассказывал Чувилев.—Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что метрами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас вернул ей зеркальце.

«Бывает хуже,—сказал он,—с этим жить можно».

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ошупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». «Но вы же инвалид»,—сказал генерал. «Никак нет, я—урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Крутом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской посылывал в уши. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь,—высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба—родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы, покачал головой. Свернул направо к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать,—при тусклом свете прищипнутой лампы над столом она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, не-

торопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы,—каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое,—чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку, и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Старший лейтенант, герой советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце,—привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций,—хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то?—спросила она.

— Марье Полкарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу?

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, поглядывая его по кудрявой головке, говаривала: «Кудшай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно,—как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко—о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи—страшно на войне-то?—перебивала она, глядя ему в лицо темными, его невидящими глазами:

— Да, конечно страшно, мамаша, однако—привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы,—бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку,—ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно,—зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее ему было открыться. Встать, сказать: да признайте же вы меня урода, мать, отец!... Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну, что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя.—Егор Егорович

открыл дверцу старенького пикапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком. — он там и стоял, — где пахло хлебными крошками и луговой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо его болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, — какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, — немцу — канут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказывали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Тря года его не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак каждый день около смерти, чай, и голос у него стал грубый?..

— Да вот приедет, — может и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели — на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицом к ладони: «Неужто так и не призвала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, — мать осторожно возилась у печки; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшениные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печки, надел гимнастерку, затянул пояс и, босой, сел на лавку:

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие, острые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, и

щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязанный платок, — лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые, светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга: свежа, нежна, весела, добра, — красива так, что вот вопля — и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнув голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, — испугалась. Тогда он твердо решил уйти, сегодня же.

Мать напекла пшениных блинов с толченым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его военных подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражение своего уродства. Егор Егорович захопотах было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себя в лицо, повторял сильным голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубокую тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвзлилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решив так, — пускай мать подолише не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный.

Бьюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приехал ты. Егор Егорович бранит меня за это, совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрывать, если это был он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце все свое: он, это он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор почистить, да припаду к ней, да зайлачу, — ээ это, его это!.. Егорюшка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, ищи скорее матери. проси у нее прощенья.

не сведи ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше любить станет...»

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее, на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на палилоне, прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, — хотя он стоит по всей форме, — будто человек собирается выжить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, все покашливает... Думаю: «танкист, танкист, а — первый». Входим в избу, ая — впереди меня, и я слышу:

— Мама, здравствуй, это я!.. — И вижу маленькая старушка припала к нему на грудь. Отглядываюсь: тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, — есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но я лично не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже понимал, что богатырским сложением это был бог войны. — «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, а я, хотя ушел в сени, но слышу: — «Егор, я с вами собралась жить на век. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда — получится в нем великая сила — человеческая красота.

Родина, корабль, командир...

(Морская душа)

(Литературный сценарий)

На фоне пожара наплывает надпись:

Горе стояло над миром...

Пылающий, стонущий, перемазанный кровью и облитый слезами — старый земной шар вкатывался в осень 1941 года. Никогда еще не нес он на себе столько человеческого страдания, сколько было рождено в тот год злой волей убийц, устремившихся к мировому господству.

Проклятье тем, кто поджег земной шар, кто начал эту войну, кто вселил ужас в чистые юные глаза...

Юное, почти детское лицо. Поразительное всего в нем глаза, в которых застыл смертный ужас. Девушка-подросток смотрит на то, что происходит у горящей хаты с вывеской «Правление колхоза «Одесская Заря».

Русский человек висит в воздухе, привязанный за руки и за ноги к двум танкеткам. Над ним офицер с германским железным крестом и переводчик. Грохот работающих моторов. Висящий резко мотает головой: «нет»...

Среди румынских солдат, окруживших колхозников, стоит спиной к девушке другой немецкий офицер с фотоаппаратом. Из расстегнутой кобуры торчит рукоятка пистолета. К ней слабым отчаянным жестом тянется девичья рука, ходит ходуном, почти взялась за пистолет, когда ее перехватила другая, — в узловатых сплетениях жил.

Синий ярлык виден на мякоти большого пальца.

Удержал девушку старик, чисто бритый, с короткими седыми усами. Молчаливая ярость в его глазах, устремленных на танки.

Переводчик доложил что-то офицеру. Тот резко махнул рукой — танки в грохоте двинулись...

Лицо девушки искажилось. Из грохота и ляга возник вопль, звучащий в музыке как человеческий крик. Он нарастает быстро и страшно, и вместе с ним нарастает ужас на

лицо девушки. Качнувшись, она закрыла глаза. Офицер щелкнул затвором лейки...

Тишина. Рассвет. Зеркальная гладь лимана. В кустах на берегу два моряка с автоматами всматриваются в лиман. Сквозь мягкий орудийный гул слышен плеск воды.

По пояс в воде бредет девушка. Шатаясь, она идет из последних сил, с трудом вытягивая ноги из липкой грязи лимана. Вышла на берег, качнулась, упала.

Моряки переглянулись. Гигант-моряк с ленточкой «Червона Украина» пополз к девушке, наклонился над ней.

Просторная степь. В низких лучах встающего солнца огромный моряк несет на руках девушку. Вода и грязь каплют с цветистого платья. Девушка, как в бреду:

— Товарищ моряк, я выведу... там у них ни охраны, ничего... Через лиман, потом огородами... они не опомнятся...

— Молчи, силы береги... Морякам всё расскажешь... Лют на них моряк, ох лют...

Далекий гул орудий и тихий плач. Моряк смотрит на ее лицо.

— Тебя как звать-то?

— Татьяна...

— А меня — Корж... Ефим... Эх!.. горе... беда народу...

Суровое, со стиснутыми зубами лицо Коржа и девичье — с остановившимися глазами — закрывают экран.

Хата. Горит свеча, накрыт стол. Немецкий офицер, снимавший сцену казни, расположился поужинать. На столе — его фотоаппарат.

Старик внес кипящий самовар. Солдат, постилавший офицеру постель, вынул из хозяйского сундука вместе с простыней флотскую полосатую тельняшку и с тревогой показал ее офицеру. Тот поднял глаза на старика:

— Эй, рус! Тут есть матрозен?.. Где матрозен?

Старик молчит. Солдат кладет на стол гвардейскую ленточку, на ней надпись «Олег» с твердым знаком. Офицер зло:

— Ты сам есть матрозе?.. Отвечать! Матрозе?..

За окном взрыв гранаты. Вопли:

— Матрозен!.. Матрозен!.. Шварце тей-фейль!..

Офицер, погасив свечу, распахнул ставни. Зарево, бой. Оба немца припали с автоматами к подоконнику, стреляют.

Старик поднял кипящий самовар — и с силой бросил его в немцев...

На улицах, в садиках, у хат кипит бой. Ночной матросский удар, внезапный и страшный, мгновенные яростные схватки.

Бьет вдоль улицы пулеметами танк. Сзади него из-за плетня показалась Татьяна, махнула рукой. Корж, встав во весь свой рост, метнул бутылку. Танк вспыхнул...

Перед окном хаты старика — румыны с пулеметом. В окне — старик с немецким автоматом. Дал очередь — падают румыны...

В ответ пламени горящего танка быстрым шагом вошел пожилой моряк с четырьмя нашивками на рукавах (полковник Архипов). Он говорит хриловатым баском другому морскому командиру.

— Товарищ майор! Вторую роту оставить в зоне, остальным — вперед! Гнать, пока не сдухались, до Пльичевки гнать, попятно?

— Ясно, товарищ полковник...

Навстречу им Корж и два моряка выволокли офицера с германским железным крестом. Татьяна отчаянным криком:

— Он! Он!.. Товарищ полковник, это тот — с крестом!..

Архипов прижал к себе Татьяну и вместе с ней шагнул вперед. Гадливость и презрение на его лице. Он протянул руку и рывком сорвал с немца железный крест. Поднял над головой.

— Матросы!.. Смотрите да запомняйте, кажим клеймом у Гитлера палачи мечены!.. Вот на эти штучки мы свой счет и поведем!

Он резко опустил руку и вложил крест в ладонь Татьяны:

— Держи — первый!.. Вспомнят они твоего батюку...

К нему подбежал связной в красноармейской форме. Архипов читает донесение, обернулся к майору:

— Живем, майор, армейские части ударили.. Снимают заслон! Двинули дальше!.. На Пльичевку, матросы!

Моряки кинулись за ним в темноту. Железный крест на ладони Татьяны в пламени до-

горающего танка. Стрельба все реже, и наконец выстрелы переходят в удары металла о металл.

Утро. У садика стоит легковая машина, сильно побитая: прострелены стекла, изуродовано крыло и капот.

Удары по металлу. Это стучит разводной ключ по самовару, порядком помятому. Шофер в бескозырке сидит на корточках рядом со стариком, выправляя вмятины. Старик, видимо, кого-то ждет, то и дело оглядываясь. Смотрит и на машину:

— Что ж это он — так везде на ней и гоняет?

— С ним, папаша, ездить — страху натерпиться... И на ка-пе, и на эн-пе, и к самым окнам... В атаку вот еще не ездили...

— Смелый... А сам он из каких будет?

— Природенный матрос, папаша. На броненосце «Рюрик» плавал.

— На броненосце... На крейсере!

— Может, крейсер.

— Матрос, значит?.. Так.

— Фактический. Все войны прошел... А тут, папаша, паять придется.

— Чего это паять? — встревожился старик.

— Грантык вы прогнули... Потекет.

— Ну?.. — Старик озабоченно взял в руки самовар. — Вот туды его в загробное рыданье, неаккуратно получилась...

Шофер рассудительно:

— Что же вы, папаша, такую пещную вещь поуродовали? Ее люди для семейного уюту строили, а вы с ей воевать...

— Для войны, милоч, и патефон годится, была бы ручка да вес настоящий!.. И ничего тут паять не надо. Вправим. Дай ключа.

— Отломите вове, папаша...

— Не спорь. Я свой самовар знаю, двадцать лет с него чай пью.

Он примерился и ударил ключом по крапу. Тот выскочил из самовара. Старик в гнеше швырнул ключ:

— Ат-ты, немцы проклятые, какой самовар спортили, чорт бы их уволок в тридцать три света, в дырявую свастику, в Гитлера, в Гилера и весь германский царствующий дом!..

— Ого! — сказал над ними хриловатый басок. Шофер вскочил. К ним подошел Архипов с майором. Старик выгнулся:

— Вповат, товарищ полковник, к слову пришлось...

— Да ты, отец, не с флотоз ли? — усмехнулся полковник.

— Крейсера гвардейского экипажу «Олег» строевой боцманмат Карасев Помпей, товарищ полковник!

— Те-то слышу, разговор знакомый... И давно службу оставил?

— В одна тысяча девятьсот двенадцатом, как лучившийся ранение под Уфимовкой, товарищ полковник.

— Под Уфимовкой? — обернулся полковник. — В первом кронштадтском?

— Так точно, товарищ полковник, в Первом матросском полку пулеметчиком второй роты!

— А я в третьей был! Вот как, Помпей... как не батюшке-то?

Помпей осторожно жмет руку полковнику.

— Ефимович, товарищ полковник.

— Да что ты — полковник, полковник... Старые матросы встретились — Архипов моя фамилия, Яков Иванович...

Он вдруг оборвал и нахмурился: моряки подводят к машине немецкого офицера, рассматривается казнь. Помпей тоже повернулся к нему с потемневшим лицом. Потом вытащил из кармана немецкую лейку.

— Ихняя, товарищ полковник... Может, какие карточки снимали.

— Добре. — Полковник садится в машину.

Помпей, волнуясь, подошел к дверце:

— И прошу в штабе посодействовать, товарищ полковник. Претензию имею.

— Какую?

— На начале осады просил обратить меня в первоначальное состояние, то есть на действительную флотскую службу. Отказали, товарищ полковник...

— Возраст у вас, Помпей Ефимович... — почесал щеку Архипов.

— Матроса не на один десяток лет делают. Глаза видят, ноги несут... А душа морская, товарищ полковник, не стареет... — Помпей бросил тяжёлый взгляд на немецкого офицера. — И ярости в ней — до ста лет хватит.

— Добре. Товарищ майор, зачислить пулеметчиком в первую роту...

Машина сорвалась с места. Помпей посмотрел вслед. Удовлетворенно:

— Ну, держитесь теперь, чертовы пемды!.. узнаете матросскую руку, серок четыре тряба и резовой благоухание...

Майор в изумлении оглянулся.

— Товарищ Карасев... — сказал он украдкой.

— Есть, товарищ майор!

— Вы от этого отвыкайте.

— То есть от чего, товарищ майор?

— Ну, вот от этого... от благоухания всякого...

Помпей в свою очередь изумленно на него посмотрел:

— А что ж, товарищ майор? Дамского об-

щества в полку, слава богу, нет, самый флотский разговор...

— Теперь на флоте разговор другой, товарищ Карасев... Понятно?

Майор отшел. Помпей горестно покачал вслед головой:

— Ну, и моряки пошли... Неосмысленные какие-то...

В кабинете командующего обороной Одессы. Группа штабных командиров в армейском и флотском. На стене лежит привезенная Архиповым лейка. Контр-адмирал слушает Архипова.

— Татьяна эта самая взялась первую роту с тыла провести. Они там полувдру подняла, а мы в лоб... А тут армия подмогла... Внезапность получилась, товарищ контр-адмирал, ну и, конечно, — психика...

— Черная туча? — понимающе усмехнулся контр-адмирал. Архипов ответил такой же улыбкой:

— Они ипаче теперь вопят: шварце тейфельн — черные дьяволы...

— Черные дьяволы... Крепко, — с удовольствием повторил адмирал и наклонился над картой. Свет снаряда за окнами, глухой удар разрыва. Полковник негромко спросил штабного командира:

— Дофиновка все бьет?

— Оттуда. Транспорт в порту разгружается.

Контр-адмирал поднял голову от карты:

— А что, товарищ полковник... С Дофиновки мы их теперь не выгоним, а? Поглядите, как получается... Как? Сможете?

— Можно, конечно, — всмотрелся Архипов в карту. — Отрядик маловат.

— А если полк?

— Из моряков? — оживился Архипов.

— Точно. Так и назовем. Первый матросский полк.

— Тогда, товарищ контр-адмирал, я вам Дофиновку на блюде подам. Вместе с батареей.

— Добро... — Адмирал повернулся к штабному. — Приказ: набирать добровольцев в полк... С базы, с морских батарей, с аэродрома...

— И с кораблей, — подсказал Архипов.

— А что вам, в Одессе моряков нехватит?

— С корабля матрос в сорок раз отчаяннее, товарищ контр-адмирал.

— Ну, берите и с кораблей...

Адмирал и Архипов наклонились над картой. Штабной командир взял лейку, вынимает кассету... На экране проявляется снимок: танки разрывают человека. Он заполняет собой экран. Это — клише на листовке, сверху шанка:

Что несут с собой фашисты.

Листовку читают на палубе крейсера группой моряков — у орудия, на мостике... Ее читает и молодой краснофлотец в бескозырке с ленточкой «Яростный» (Андрей Кротких). Он стоит в буфетике командирского салона, — тесная бьютка, где в углу штатный паровой самоварчик, под ним поддон с грязной посудой. На столе какая-то недоконченная конструкция из проволоки, в которой на ребре стоят тарелки. Лежат рядом плоскогубцы, резиновый плаги, проволока.

Снимок поразил Кротких — он смотрит со стиснутыми зубами:

— Так это ж... Ах ты... что делают?..

Звонит звонок. Кротких быстро выходит.

Дверь с дощечкой: «Заместитель командира крейсера по политической части». В дверь входит Кротких.

В каюте пожилой капитан третьего ранга (Филатов) доканчивает писать записку. Рядом лежит листовка.

— Товарищ Кротких... доставите полковнику Архивову в Первый морской полк... Дорогу дежурный по порту скажет...

Кротких ждет. Увидел листовку, помрачнел опять:

— Товарищ капитан третьего ранга... это что ж они делают? Разве ж это война?

— А что же?

— Однако — бандитство какое-то, а не война...

Филатов, запечатывая конверт, негромко: — Это и есть война, товарищ Кротких, — фашистская война... Немцы не с армией воюют, а с народом, на этом себе голову и свернут...

Колокол громкого боя — тревога. Залпы зениток.

Стреляет на баке зенитный автомат. Старшина (Гусев) в шлеме с наушниками... паводчики в седлах... установщик прицела... заряжающий у обьемы... И только тогда жиды находят Кротких: оказывается, он подносит снаряды, кладет их на мат к ногам заряжающего (Шинохина). Тот буквально свысока:

— Левей глади, видишь — не с руки...

Гусев, сняв шлем, командовал:

— Дробь, прекратить огонь!.. — И сожалюще пояснил: — Далеко... На Одессу идут...

— Всё в горед да в горед кидают, — зло сказал один паводчик. Второй, читая листовку, одобрительно:

— Колхоз-то, выходит, моряки взяли!

— Полк там целый, — пояснил Кротких. — Первый морской...

— А ты знаешь? — покосился Гусев. Кротких гордо:

— Однако знаю... Нехловник Архипов командует. Всё моряки...

— Житье, — вздохнул Гусев. — Собственно ручно бьют, небось у каждого свой крестничек имеется...

Он смотрит на листовку. Снимок переходит в улицу колхоза «Одесская Заря».

Там вырос нехитрый деревянный обелиск — памятник. На доске — три германских железных креста, над ними надписи: «Счет мести 1-го морского полка». Детские руки прибивают в ряд четвертый крест. За обелиском виден грузно скачущий обозный конь, на нем Кротких. У обелиска он придержал коня:

— Эй, малец!

«Малец» обернулся — и Кротких видит, что это девушка-подросток в бушлатике и бескозырке. И тут же он замечает надпись на обелиске: «...На этом месте зверски замучен фашистами 14 августа 1941 г...» Помрачнев, он перевел взгляд на Татьяну:

— Батя?

Молоток, поднятый для удара, застыл. Истом она ударила по гвоздю с такой силой и ненавистью, что Кротких всё понял...

Небольшой дворик, заполненный моряками, — кто чистит автомат, кто бреется, кто трудится над арбузом. Помней, который уже в форме, потягивает из трубки чай. Слышен верный и сильный свист: по двору идет моряк с разинутыми острыми усами, в щегольской бескозырке с ленточкой «Сообразительный», картинно накинув на плечо бушлат (Сурип, по прозвищу «Соловей»). Насвистывая вальс, он явно имитирует Карлу Деннер: проходя мимо моряков, Соловей берет одного за подбородок, другого дразнит трелью. Его провожают улыбками. Внезапно он обернул свист и в изумления застыл на месте. Секундная пауза — и Соловей отвечает глубочайшим театральным поклоном и выжидательно поднимает глаза.

В воротах — Кротких на коне. Конь вскидывает голову и отвечает приветливым басом. Взрыв смеха. Кротких не успел ни спросить, ни спешиться — уже идет знаменитая флотская подпачка. Начал ее, конечно, Соловей.

— Боже мой, какой роскошный катер! — всплеснул он руками. — И давно вы им командуете?

Тема подпачки счастливо найдена. Реплики сыплются со всех сторон.

— Что за модель?

— Трофейный, верно!

— Узлов двадцать, небось, дает!..

— Сказал! Четыре ж вянты — все сорок считай

— На мостике! Сколько в нем лошадиных сил?

— Горючее где заливать?

Соловей в роли объяснителя выскочил вперед:

— Минутку, товарищи... Я этот тип катеров знаю. Во-первых, он работает исключительно на твердом топливе,— он протянул коню ломать арбуза, выхватив его у соседа,— юзятно?.. Во-вторых...

Моряк у хвоста:

— Всё понятно: вот тебе руль!.. вот тебе выхлопная труба!..

Помпей, который, посмеиваясь, с удовольствием наблюдал, поправил:

— Эх, пехота!.. Это ж кормовое орудие! Хохот. Щопл востерга!

— Прицел сорок, целик сто пять!.. Подавать фугасные!.. Залп!..

Сквозь шум слышен автомобильный сигнал, и рука Соловья сама собой прячет чуб под бескозырку. Он нырнул за коня. Старшина обернулся:

— Смирно!

Внезапная тишина. Из машины у ворот вышел Архипов и майор, начальник штаба. Старшина строевым шагом проходит к ним мимо моряков. Все они волшебю преобразились: бушлаты застегнуты, бескозырки переехали с затылков на лбы, и даже Соловей чудом успел привести себя в должный вид. Старшина рапортует.

— Товарищ полковник, взвод прибыл с переднего края на отдых!

— Здравствуйте, товарищи краснофлотцы! Дружный выдох «здрассте»! Архипов вошел в группу моряков:

— Вольно... Ну-ка, матросы?.. Выспались? В бане были?

— Порядок, товарищ полковник...— Были... Спасибо...

— Все вернулись?

— Трое раненых, товарищ полковник, один убитый,— ответил старшина.

— Фамилия?

— Неизвестна, товарищ полковник...

Полковник нахмурился:

— Из пополнения, товарищ полковник... Прибыл в самом бою.

— Почему погиб?

— По причине личного героизма, товарищ полковник... Разрешите, Сурин доложит, он его видел.

— Добро...

Соловей начинает говорить, и кажется, что это не он только что так беззаботно балаганил.

— Он, товарищ полковник, в мой окопчик прыгнул, как раз перед контратакой. Мина шархнула, ему автомат покалечило. Я кри-

чу — сиди здесь! — а он нагаи выхватил и рванул вперед всех... Ох, и красиво шел!.. В рост бежит — и наганом машет: давай, мол, вперед!.. Так и пропал в кукурузе...

Кротких, наклонившись с коня, впился взглядом в Соловья.

— А нагаи у него на шкертке?—спросил Помпей.

— Точно. К поясу привязан.

— Тогда, товарищ полковник, мы его обнаружим.

— Где?

— В пулеметном гнезде. Пятеро румын побитых — в лашу — и наш лежит с наганом.

— С лица такой рябоватенький? — подсказал Соловей.

— Да нету лица-то,— медленно сказал Помпей.— Оп, верно, ихней гранатой их и рванул. Ну — и себя...

Помпей протянул полковнику обрывок комсомольского билета. Номер, фамилия, фото — все вырвано осколком, всё залито кровью.

Архипов снял фуражку, и все руки потянулись к бескозыркам. Снял бескозырку и Кротких. Он потрясен тем, что услышал. Молчанье. И гулы орудий звучат, как салют. Полковник надел фуражку.

— Товарищ майор... Лично опросите пополнение — имя, фамилию, корабль. Зачислить в списки полка навечно.— И он двинулся через двор.

— Федей его звали, товарищ майор,— негромко сказал Соловей.— Даст очередь и приговаривает: Федя, Федя, спокойно... В лоб бей...

Архипов, проходя, увидел всадника:

— Вы откуда, товарищ краснофлотец?

— С крейсера «Яростный» с пакетом полковнику Архипову.

— А кобыла — тоже с крейсера? — улыбнулся Архипов, беря конверт.

— В штабе приказали — заодно доставить в полк, товарищ полковник...

— А-а...—Архипов повернулся к майору:—Во второй батальон заберите, там у водозова лошадь миной накрыло...—Он читает, усмехаясь. Положил пакет в карман:

— Дружок у меня объявился... с гражданской, пожалуй, не виделся. Кстати...— Он похлопал себя по карманам:— А где эта бумажка, от контр-адмирала?..— Он взял у майора бумагу.

Степь. Мчится без дороги архиповская машина. Перед ней черный столб разрыва. Машина резко свернула.

В машине рядом с шофером Архипов. Не оборачиваясь:

— Гусар!.. Живой еще?

На заднем сиденьи Кротких. Он восторженно:

— Однако живой! — и, вынув из обшивки сиденья осколок, прячет в карман. Вой мины. Архипов внезапно шоферу:

— Лево на борт! Зеваешь!

Машину резко рвануло на повороте. Взрыв. Кротких пригнулся.

Черный столб дыма и пыли переходит в водяной: опадает всплеск снаряда. Это идёт мимо разрушенного мола катер. На нем Архипов и Кротких. Рулевой от штурвала:

— Дофиповка бьет, товарищ полковник. Катер — и то не пропустит... Четвертый номер подшибли, восьмой, и вашему катеру досталось...

— «Варшавянке»?.. Вот черт! — Архипов показал кулак берегу. — Обожди, разотчемся... Ираво на борт!.. — перебил он себя. — Оттого и бьют, что хлопаете, снаряд чуть надо!..

Катер резко катится вправо. Слева всплеск. Впереди на рейде возникает крейсер.

Салон командира крейсера. Архипов и Филатов. Оба они в одном возрасте, но если Архипову присуща четкость, решительность и некоторая грубоватость, то Филатов много мягче и в жестах и в говоре. Чувствуется, что отвык и от кителя и от военной манеры поведения.

Друзья поглядывают друг на друга, улыбаясь и решительно не зная, с чего начинать разговор после такой долгой разлуки. Филатов трогает орден Красной Звезды между медалью «XX лет РККА» и орденом Красного Знамени на кителе Архипова.

— Испания?

— Финляндия. — И в свою очередь Архипов касается Знака Почета рядом с орденом Красного Знамени на кителе Филатова:

— Зерно?

— Золото. На Алдане парторгом Цека был.

— Оттуда воевать и приехал?

— Какое. Хлопок... уголь...

— Куда матроса кидает — покрутил головой Архипов. Об орденах Красного Знамени оба не спрашивают. Да и сами ордена — потертые, прежнего образца — говорят сами за себя: гражданская война. Архипов достал табак; Филатов, улыбаясь, кивает на сильно изгрызенный мундштук:

— Всё грызешь?

— Привычка.

— Помню: бывало, в бою туго, — командир отряда мундштук грызть...

— А академик наш — цыгарку закручивать... да помедленнее...

— Спутал. Это я когда обозлюсь, чтобы лишнего не сказать... Нервы успокаиваю...

Оба рассмеялись. Филатов, показывая свой мундштук:

— Придётся, видно, тебе такой подарить. Век не сгрызешь...

— Спасибо. — Архипов показал свой: — Уже на ладан дышит.

— Туго, видно, Одессе?

— Держим... На сушу моряк вылез, а на суше он злой, страсть...

Кротких, который вошел при этих словах, с интересом прислушивается к разговору, делая свое дело. Он ставит два стакана крепчайшего чаю, сахар, печенье и — перед Филатовым — банку сгущенного молока.

— С кораблей народ? — продолжает Филатов.

— Откуда придется... Вот у вас десяток орлов заберу.

Филатов, кладя в стакан ложку молока, покачал головой:

— Не очистится, товарищ полковник. Сам малость воюем.

Он подвинул Архипову молоко. Тот огорченно отодвинул:

— Спасибо... Отвык ты от флота, Василий Сергееч: и чаек флотский портишь... и дружбу флотскую забыл...

— Дружба дружбой, а сто грамм врозь.

Архипов со вздохом полез в карман кителя.

— Как был упрямый черт, так и остался... Может, контр-адмирал тебя угворит?.. — Он протянул Филатову бумагу, и, пока тот читал предписание, Архипов посмотрел на Кротких: — Хороший чаек делаете... Флотский. Распарил его — пил как?

— Обыкновенно, товарищ полковник... Завариваю... — Кротких смотрит на Архипова влюбленными глазами.

— А мне в поляк всё жидкий дают. Сколько заварка-то? Ложки три?

— Однако ползачки, товарищ полковник.

— Понятно... — усмехнулся Архипов. — Вот это моряк — ничего для гостя не жалеет! Ну, как, академик, впитался?

Филатов возвращает бумагу:

— Тут сказано: «по согласованию»... Вот придет командир, потолкуем... И то сейчас не дадим... Вернемся через недельку, тогда может...

Кротких, который был уже у двери, задержался, прислушиваясь.

Буфет. Кротких выключил электрическую плитку, на которой стоит чайник, и пощупал ладонью самовар. Открыл клапан. Заурчал в змеевике пар. Кротких взял в руки недоконченную проволочную конструкцию, задумался. Над крышкой самовара заглублился пар, в нем возникает видение.

Моряки идут в атаку — те, кого он видел

утром. Бежит Соловей, бежит Помпей. Стучит пулемет—и бежит на него сам Федя, размазавшая наганом. Пятеро румын в ужасе обернулись: моряк схватил с брестера румынскую же гранату, занёс над головой. Лицо его, в зрелищном восторге атаки, чем-то странно напоминает лицо Кротких. Он бросает гранату в румын. Взрыв. Моряк хватается за лицо.

Кротких стоит, схватившись рукой за лицо. Клокочет самовар, пар в змеевике стреляет, как пулемёт. Вторая капля с потолка, где конденсировался пар, падает ему на руку. Он переводит глаза на поддон под самоваром. В нём сверху грязная посуда. Блестки жира в воде. Кротких с ненавистью смотрит на посуду, пивыряет проволоку на стол. Потом решительно достает из ящика тетрадь и пишет на листке: р а н о р т.

Раннее утро. Крейсер на ходу в видимости одесских берегов. Филатов проходит по палубе. От орудий, от башен, из машинных люков — стовсюду на пути Филатова вырастают командиры. Каждый протягивает ему пачку рапортов. Он молча гладит их по карманам.

Каюта Филатова. Он входит, доставая из карманов пачку рапортов. Хочет положить их на стол, когда замечает лист из тетради, аккурратно — на самой середине — белешкой на столе. Пробежал глазами, не садясь, и вместе с ним читаем и мы конец рапорта:

...иначе жизни мне вовсе нет. Извините, что не так описал.

К сему прошу не отказать. Кр-ц А. Кротких.

Филатов нахмурился и стал медленно скручивать паниросу — видно, что этим нарочно размеренным жестом он сдерживает гнев. Позвонил.

Вошёл Кротких. Филатов, продолжая крутить паниросу (и это с трезвой видит Кротких), спрашивает спокойно и медленно:

— Почему вы не по команде рапорт подаёте?

— Подавал командиру боевой части, товарищ капитан третьего ранга...

— Почему же это здесь?

— Отказал.

— Значит, падо через голову лезть? — Кротких молчит.

— А теперь на вас высканше взглядывать придётся.

Кротких вздохнул. По такая мольба в его глазах, что Филатов чуть усмехнулся и, наконец, закурил паниросу. Кротких высветлел. По Филатов протянул ему рапорт:

— Возьмите. Я этого здесь не находил. Неплатно?.. Идите.

Кротких вышел. Филатов просматривает рапорты:

«...как сын моряка, погибшего под Царичинным, прошу...», «клянусь и в окопах хранить честь крейсера...», «как отличный стрелок и призывик...», «как ломавший линию Маннергейма и имеющий опыт»...

Входит лейтенант. Филатов поднял на него глаза:

— Бстата пришли, товарищ лейтенант... Значит, вы так понимаете: коли война—люди сами растут? Ни учить не надо, ни воспитывать? Война, как говорится, сама рождает героев, самосильно... Так, что ли?

— Непонятно, товарищ капитан третьего ранга...

— Чего же тут непонятного? Я о Кротких говорю. Почему вы не готовите его в школу оружия? Так и будет он у вас всю войну снаряды подносить?

— Людей нет... А у самого руки не доходят...

— На крейсере поискать — профессора китайского языка найдете, падо только раскочаться... Не видите вы людей, товарищ лейтенант, и парня этого не заметили. А у него голова на плечах... Через месяц долбжите мне, что он подготовлен для школы, понятно?

Кубрик. Пегромко звучит песенка. Моряки устраиваются на ночь. Кротких сидит за столом с учебниками, решает в тетради задачи. Возле него Гущев в самом лучшем настроении готовит нехитрую флотскую постель и со вкусом говорит наводчику.

— И вот пойдём мы опять в Одессу, и скажу я тебе, дорогой товарищ Королёв: вот тебе счёта, трактора и колхозные дела, — сшибайте себе самолётчики, рисуйте на орудия звёздочки, а я уж как-нибудь сам воюю... Собственноручно...

Королёв в том ему:

— И придем мы опять в Одессу, и скажу тебе, дорогой товарищ Гущев: возьмите-ка вы свой рапортик, обделайте его в рамочку и несёйте над окошечкой... собственноручно...

— По скажут...

— Ой, скажут! Никогда тебя не пустят — командир орудия!

— Пустят, — уверенно сказал Гущев. — На Маннергейма тоже не чусканы, а я своего добился...

Кротких, пасторожившись, поднял голову от учебника:

— А чем добились, товарищ старшина?

— Стойкостью.

— Как это?

— Так. Откажут — а я слова рапорт.

Он улегся и пегромко стал подпевать песенке. Кротких сидит над задачник, заду-

жавшись. Открыл задний лист тетради, пишет: рапорт...

Каюта Филатова. День, солнечные лучи бьют через иллюминатор и освещают лежащий на столе — аккуратно, на самой середине — листок из тетради со словом «рапорт».

Вошёл Филатов. Усмехнулся, качнул головой, читает. Потом лицо его становится серьёзным. Мы читаем вместе с ним:

«...тем более сирота, значит горя никому не будет. И коли жизнь у меня так не задалась, лучше отдать её за Родину. А посуду мыть всякий заменит, тем более оставляю автомат. И не беспокойтесь, товарищ командир, что осрамлю, нет, клянусь от всей комсомольской души умереть в первом же бою.

К сему А. Бротких».

Буфет. Здесь повешена. В поддоне наклонным рядом стоят тарелки, укрепленные в проволочной обойме. Резиновый яланг от самовара ведёт к тройнику — и три душа (от умывальных кранов) равномерно и сильно льют крутой кипяток на посуду. Пар солидно урчит, вода плещется...

Филатов с интересом рассматривает «автомат» и улыбается. Открылась дверь. Он обернулся:

— Сами сочинили?

— Однако сам, — смущенно ответил Бротких.

— В мастерской до службы работали?

— С колхоза я, товарищ капитан третьего ранга. При конях был.

— При конях, а на флот попал. У моря, что ли, колхоз?

— На Алтае...

— С чего ж это — с Алтая да на флот?

— Однако охотка была...

— Откуда ж охотка?

— Брательник описывал.

— Моряк, что ли?

— На Балтике погиб. В финской...

— Вон как...

Молчание. Филатов понимает, что разговор не очень клеится, а Бротких просто пытается его прекратить:

— Может чайку, товарищ капитан третьего ранга?..

Филатов смотрит в открытый иллюминатор.

— Погулять бы, да не люблю один... — Он вдруг повернулся. — Автомат работает, до ужина далеко, — пойдем, поскучаем?..

Приморский бульвар в Севастополе. Бротких, нахмурился и опустив голову, слушает, что говорит ему Филатов:

— Жизнь не задалась... хм... Чем это она не задалась? Тем, что тебе всё открыто — и учёные, и работа... Всё у тебя так: жизнь отдам, жизни не пожалею... Да что ты — в самом деле её не любишь? Не дорога она тебе?

— Дорога...

— Не вижу. В бой идёшь — вот как жизнь любить надо!.. (Филатов сжал кулаки.) И драться за неё, сколько сил и выдумки есть! И хитрить, и изворачиваться, и медведем на врага ломить... У чорта рога вынуть, а жизнь свою отстоять... Это трус жизни не любит — и не дерется за неё. Он её только бережёт, а сам палец о палец не ударит, чтобы её отстоять.

Это говорит не тот спокойный человек, каким мы все время видели Филатова, а страстный и мужественный матрос гражданской войны.

— Смерть, брат, и на войне — тоже несчастный случай. А пока от тебя это зависит, — не имеешь ты права погибнуть. Понятно? Моряк, — даже когда ему вовсе труба, — об одном только думает: как бы это поболее врагов смерти в пасть наказать... И бывает: она ими подавится, а он сам — опять живой...

Они идут по другой дорожке. Теперь говорит Бротких. Он очень взволнован.

— Так, товарищ капитан третьего ранга, ну какой же это боевой пост? Что снаряды таскать, что дрова... Даже заряжает другой! — выкрикнул он с мальчишеской завистью. — Третий месяц война, а я хоть бы одного немца...

Мимо проходит старший лейтенант, и Бротких замолк, приветствуя его по форме. Филатов, отстив на приветствие того, говорит серьёзно:

— Подвиг, брат, везде скрыт.

— Везде, да не в посуде, — горько сказал Бротких.

— Далась тебе эта посуда... — усмехнулся Филатов, — ты же ей автомат придумал...

— Да с горы я это, товарищ капитан третьего ранга... Моешь её, а сам думаешь: все ребята — кто комендором, кто торпедистом, кто в машине...

— А чего ж ты с ними в школу оружия не пошёл?

Бротких замрачнел и опять замкнулся.

— Не просился, что ли?

— Однако просился...

— Ну?

— Ну... и не приняли... — Он помолчал.

У нас в колхозе школа очень дурная была, товарищ капитан третьего ранга...

— А может, ты дурной был? — усмехнул-

ся Филатов. Кротких помялся. Потом через силу:

— Однако я.

Он скрылился за поворотом. Новая дорожка. Солнце садится в волю. Говорит Филатов— очень серьёзно. И серьёзно слушает Кротких.

— И ведь какое слово написал: родина... Уж кому-кому, а тебе-то, сироте, родина — отец и мать. А ты её как оскорбил?

— Товарищ капитан...— вскинулся Кротких. Но Филатов его остановил:

— Оскорбил. Мол, дрянная у меня жизнь, не задалась вовсе, так на кой она мне черт? Отдам её лучше родине... Так, что ли? А коли бы ты счастлив был — тогда как?

Кротких даже остановился. Всё, что обычно скрыто в нём — в его неразговорчивости, замкнутости, стеснительности, — всё внезапно вышло наружу. Он решительно вне себя. Филатов, видя это, чуть усмехается: вызвал-таки его на откровенный разговор, теперь, мол, послушаю...

— Нет уж, товарищ капитан третьего ранга, если вы про меня так... Уж разрешите, я всё однако скажу... как комсомолец, скажу... извините, если что не так... Вот вы поймите, товарищ капитан третьего...

Музыка. Возмозванное лицо Кротких закрывает надпись:

Так раскрылось это юношеское сердце. Кипящее отвагой и стремлением в бой, оно было горячо, как неостывшая сталь отливки, и всё в нём было наружу, всё — на воле: отвага, гнев, обида и страсть...

Надпись переходит на листок записной книжки-календаря. Музыка стихает. Карандаш заканчивает запись: 19 лет... Удивительный возраст!

Филатов закрывает книжечку, улыбаясь своим мыслям. Он сидит в салоне за чаем. Против него командир корабля рассматривает рапорты:

— Нет, Саламатина никак нельзя... Без такого сигнальщика крейсер — что слепой... Гущев... Правда, липля Маннергейма...— Он вдруг рассердился.— А самолёты сбивать — лядя будет?.. Кого ж пятого, а?..

— У меня кандидат есть, Павел Иваныч... Никакого вам беспокойства.

— Ну? — оживился командир.— Кто?

— Кротких.

— Ну, Василий Сергееч...— поморщился командир.

— А чем плох?

— Молод.

— Я гражданскую тоже не с бородой воевал...

— Ну, если вы ручаетесь...— пожал плечами командир.

— Вполне, — твердо сказал Филатов.

— Только нам Архипов его обратно пришлет...

— Не пришлет,— очень уверенно сказал Филатов.

— Да вы знаете, как он людей себе отбирает?

— Знаю. Сам видал... еще в гражданской...

Филатов медленно льет в чай густую струю молока:

— Пришел к нему парнишка. Девятнадцать лет...— Филатов усмехнулся.— Архипов спрашивает: из пулемета стрелять умеешь? — Нет.— А из винтовки? — Нет.— А штыком? — Не умею.— Так что же ты умеешь? — А парнишка: я, говорит, ненавидеть умею, вот этому меня обучили... И знаете, что Архипов ему ответил?

— Научись стрелять, тогда возьму. Одной ненавистью врага не убьешь,— пожал плечами командир. Филатов улыбнулся.

— Ну что ж, говорит, главную академию ты прошел, а практические занятия мы тебе тут устроим...

— И убили парнишку на первом же занятии?

— Зачем... Орден даже получил. Вот такой. Командир, усмехнувшись, посмотрел на орден Филатова:

— Бывает, конечно, Василий Сергееч... А парнишку Васюк звали?

Филатов размешал ложкой молоко:

— Не помню... Прозвище запомнилось — «академик»...

— Добро, мне же легче. А то — Саламатин, Гущев... руками разведешь...

Командир вышел. Филатов читает, прихлёбывая чай. Вошел Кротких. Он смотрит на Филатова почти с нежностью. Филатов отпускает газету — и Кротких принимает тотчас официальный вид.

— Еще стаканчик, товарищ капитан третьего ранга?

— Хватит, Андрюша, спасибо...

Филатов улыбнулся и взял из книжного шкафа записную книжку-календарь, верхнюю в пачке:

— Держи... Вахтенный журнал... И память обо мне.

— Спасибо,— тихо сказал Кротких. На переплёте надпись: «Моряку-черноморцу от рабочих 1-ой Одесской типографии.— Смерть немцам оккупантам!»

— Только ты зря там не марай: чихал, шел дождь... Ты самое главное пиши. Одно слово в день. Поразит тебя что, или провалил с чем, или жизнь чему научила... Перелистаешь, глядишь — вперед наука, понятно?

— Однако не вовсе...

— Пу вот тогда... что тебя за душу схватило? Федя с наганом? Так?

Кротких повеселел:

— Теперь понятно, товарищ капитан третьего ранга...

— Ну и держи... Прибейся, да спать.

— Счастливо, товарищ капитан третьего ранга...

Он смотрит вслед Филатову с огромным волнением — и на страничке 28 августа пишет одно слово: отец.

Палуба. Закат. Под орудийной башней сидит Кротких, на коленях тетрадь и задачник. Печальные квинты повестки — мягкие звуки юрна. Облака над морем. Подошел Филатов. Негромко:

— Ну... академик... Как? Двигается учеба?

— Однако стараюсь,— встал Кротких.

— Так, так...

Филатов помолчал, вздохнул.

— А и верно ты, Андрюша, какой-то не-задачливый... Начал вот учиться—бросать приходится...

Кротких заволновался:

— Отчего это, товарищ капитан третьего ранга?..

— Списывает тебя командир крейсера. Кротких замер.

— Это что же... из-за рапорта?..

— Однако из-за рапорта.

— Куда, товарищ капитан третьего ранга?

— В Первый морской полк.

Книги упали на палубу. У Кротких занялось дыхание.

— В полк?..

Филатов рассмеялся и потрепал его по плечу:

— В полк, Андрюша, в полк!.. Не осрамишь ты меня там, а?

— Товарищ капитан третьего ранга... Ну, поверьте... если бы клятвы какие знал... Уж поверьте...

— Верю,— серьезно сказал Филатов.

— Товарищ капитан... я за вас теперь...

— Ладно, ладно.

Его перебила протяжная команда:

— На флаг и гюйс!.. Смпро!..

Горны, пастроенные чуть не в тон, заиграли вечернюю зорю. И стоят смирно два моряка — юноша и пожилой человек,— повернувшись к кормовому флагу, каждый по-своему смотря на него, и дышит крейсер сдержанным дыханием силы, простирая над ними длинные стволы орудий, и уходит в море солнце за Константиновским равелином — старинной крепостью Севастополя, в торжественной тишине прощанья моряков с окончанным днем. Спуск флага.

И пошла самозабвенная учеба.

По настилу палубы ползут пять краснофлотцев, и ворчливо учит их боцман:

— Вжимайся в землю, вжимайся! Борьму береги — она сама пули ловит! — и он прижимает к палубе чей-то зад. Ползущий оборачивается: это — Кротких.

Кротких на баке замахивается гранатой, очень напоминающая своей позой Федю с наганом. Граната летит к шпилью, падает на звенья якорной цепи; это не граната, а грузик от бросательного конца.

Пятеро краснофлотцев изучают автомат. Кротких набивает диск...

Разворачивается пакет, шуршит бумага. Банки сгущенного молока.

Кротких, сидя на корточках рядом с молодым краснофлотцем, ставит их в нижний ящик буфета:

— А кто будет просить, так и говори: кончилось. Только капитану третьего ранга и подавай...

Рассвет. Крейсер в море. Ветер и дождь.

Зенитное орудие дежурит. Гущев, наводчики, установщик прицела, ежась, посматривают на небо и на горизонт. Кротких притулился у своих кранцев, смотрит тоже. Пинохин — заряжающий — стоит с несчастным лицом, страхиная капли с шеи. Козырнул Гущеву:

— Товарищ старшина, разрешите в галюн...

— Чего взр носит?.. Недавно бегали...

— Крутит, спасу нет...

— Идите, да не расслаивайтесь... Товарищ Кротких! Заступите пока!

Кротких стал на место Пинохина у орудия. Гущев, закончив очередной осмотр неба и горизонта, оставил взгляд на нём.

— Везёт некоторым военным. Выходит,— придем в Одессу и прощай?

— Не всё снаряды таскать, товарищ старшина... Сам постреляю... собственноручно...

— Ты ж в пехотном бою, что сазан в Библии,— вздохнул Гущев.— Заслуженный моряк — проси не допрощенья, а салажат посылают...

— Однако посылают! — еще веселее сказал Кротких.

К орудью подошел Филатов. Он весь мокрый, отряхивается.

— Ну, как у вас тут война?

— Спит еще фриц, товарищ капитан третьего ранга, а может — выходной у него нынче,— вытянулся Гущев.

— По горизонту посматривайте. Самая пора для торпедоносцев...

— Глядим...

Филатов пересчитал взглядом людей и захмурился:

— Товарищ старшина, в чем дело?

— Оправиться отпустил, товарищ капитан третьего ранга.

Филатов взглянул на часы и потом, раскинув руки, начал делать гимнастику, чтобы согреться.

— И вам советую,—сказал он, энергично выбрасывая руки.— Эх продувает... А говорят—Черное море... юг...

— Разрешите, чайку горячего на мостик принесу?—оживился Кротких.—Напоследки...

— Спасибо, товарищ Кротких... Всем не принесёте...

Кадры похода. Сигнальщик, обдуваемый ветром, смотрит в бинокль. На баке, обливаемый брызгами волны, стынет пулемётчик. На мостике, побиваясь, стоит командир крейсера. И снова видно зенитное орудие. Филатов стоит в стороне, поджидая. Он посмотрел на часы, досадливо качнул головой, хотел обратиться к Гущеву. Сдержался и, нахмурился, вынул коробку с табаком. Пальцы медленно крутят папиросу.

Гущев озабоченно погнулся к Кротких:

— А ну, сбегай, разыщи поживее... Видишь — сердает...

Кубрик, у двери, примостившись под самым звонком боевой тревоги, сидит Пинохин: прикурнул на рундуке и спит. Над ним вырастает Кротких. Секунду он смотрит на него, не шевелясь.

— Ты что — заболел однако?.. Слышь...

Наклонившись, он видит, что Пинохин спит, сладко похрапывая. Мгновенный гнев искажает лицо Кротких. Он толкает Пинохина в плечо:

— Такой человек всю ночь можнет, а ты, сдююка, в тепле припухашь?.. А ну, вставай!

Он сильно толкнул его еще раз. Пинохин падает с рундука.

— Ты чего дерешься?

Кто-то схватил Кротких за плечи. Он, вырываясь:

— Да пустите! Я этому паразиту голову сверну! У меня за товарища Филатова душа горит!..

Комсомольское собрание в кубрике. Кротких сидит, опустив голову. За столом, кроме членов бюро, командир крейсера и Филатов. Он свертывает папиросу, но спокойствие дается ему с трудом. Командир заканчивает:

— Комсомолец Пинохин идет под суд за уход с боевого поста. Это комсомольской организации надо учесть.— Он помолчал.— Теперь о Кротких... Горячее сердце моряку иметь, конечно, надо, но голова у моряка должна быть холодная, ясная. Моряк — это прежде всего дисциплина и спокойствие... Ну,

а в бою вам кровь в голову кипится? Раньше времени выстрелите, раньше времени в атаку броситесь, себя погубите и остальных... На фронт мы посылаем тех, в ком вполне уверены. Они честь крейсера с собой несут. Вам ее доверить нельзя. В полк не пойдете.

Кротких в отчаянии вскинул глаза на Филатова. Тот положил скрученную папиросу в коробку и стал крутить новую. Заговорил, обводя глазами краснофлотцев:

— Кажется мне, кой-кто из комсомольцев думает: я бы на его месте тоже не стерпел... Так?

Филатов посмотрел на краснофлотцев. Два-три ответили взгляд.

— А кое-кто думает: вздрать, понятно, надо, но почему же на фронт не посылают? Чем он себя так опорочил?.. Так?

Еще две-три головы потупились.

— Ну, разберемся.— Филатов отложил папиросу. Лицо его серьезно. Негромко, как бы думая вслух:

— В морской душе три святыни горят: Родина, корабль, командир. Родина — народ, партия, Сталин... Родина!.. Корабль — боевые товарищи, орудия, флаг... — Корабль!.. И командир. Ему Родина доверила корабль, победу, нашу честь и наши жизни... Этим сильна и непобедима морская душа, из веков идет с этим матросская слава: Родина... корабль... командир...

Краснофлотцы слушают Филатова. Слушают и Кротких в напряжении, стараясь понять, к чему ведет Филатов. Тот продолжает:

— Пинохин оставил боевой пост, тем самым изменил присяге, изменил Родине. За это Кротких на него кинулся?.. Пинохин подверг опасности корабль — выскочи торпедоносцы, у орудия была бы заминка. За это Кротких его бил?.. Пинохин ослушался приказа своего командира, обманул его. Из-за этого Кротких устроил самосуд?.. Что он там кричал?.. Ну что?

Он смотрит на Кротких. Тот молчит, и вдруг правая рука его начинает шевелиться филоатовским размеренным жестом.

— В этом-то все и дело,— сказал Филатов, не дождавшись ответа.— Личное чувство заслонило перед вами воинский долг. Сегодня вы из личного чувства забыли дисциплину и полезли в драку, завтра из любви к другу бросите боевой пост... Дезертиры тоже оправдываются: о семье стосковался, душа изныла, сердце горит...

Кротких вскинул глаза. Сдержался. Зашевелились пальцы и левой его руки. Филатов очень жестко:

— Горячее сердце моряку иметь надо, но управлять своим сердцем моряк обязан. А вы?..

Кинулась кровь в голову—я всё забыл? Нарушили дисциплину, полезли в драку и вдобавок лишили оружие еще одного человека?.. Так из вас моряка не выйдет...

Лицо Кротких. Оно застыло. Застыли и пальцы на коленях.

Буфет. «Автомат» моет посуду. Лежит рядом «вахтенный журнал», раскрытый на страничке 6 сентября. Запись: Сирота.

Кротких взял карандаш. Зачеркнул, пишет:
Р о д и н а, к о р а б л ь, к о м а н д и р.

Палуба. Солнце. Крейсер на рейде в Одессе. Гущев весело прощается с Королевым:

— Ну, товарищ командир орудия... будем живы — свидимся...

— Везет отдельным зенитчикам... За меня там парочку Фрицев...

— Для друга—пяти не пожалею... Собственноручно!

Гущев увидел Кротких, одиноко стоящего у шпунгелей. Подошел, протянул руку:

— Ну, товарищ Кротких... бывай!..— И не зная, что сказать, снова трясет руку:—Значит так... Пока!

Моряки провожают его. Кротких у поручней. С борта видно, как от трапа отходит катер с пятью краснофлотцами, они махнут бескозырками. Кротких смотрит с отчаянием.

С другого места палубы смотрит на катер Филатов, рядом с ним командир крейсера. Тот ехидно:

— Что ж, Василий Сергеевич? Провалился ваш академик?

— Наоборот. Первый зачет сдал.

— Это как понимать?

— Давление в нем высокое. Атмосфер пять еще сравнит, хорош будет.

Командир усмехнулся:

— Думаете?

— Точно.— Филатов серьезно смотрит в сторону Кротких. Надпись:

Одесса готовила удар по Дофинсвие.

Кабинет командующего обороной Одессы. Контр-адмирал, кладя в сейф шифровку и закрывая дверцу, говорит Архипову.

— Еще что вам понадобится?

— Огоньку, товарищ контр-адмирал.

— Добро. «Яростный» для вас постреляет... Всё?

— У меня всё, товарищ контр-адмирал.

— А у меня нет. Когда вы своих моряков переоденете?

— Шьем, товарищ контр-адмирал...

— Шьем... До конца войны шить будете?

— Плащи маскировочные у всех... А остальное — не мешает...

— Черные дьяволы? — усмехнулся контр-адмирал. Усмехнулся в ответ и Архипов. Видно, они понимают друг друга вполне.

Рассвет. Крейсер ведет пристрелку по берегу. Редкие залпы.

На палубе десантники-моряки. Грузят в шлюпки минометы, ящики с минами, пулеметы. На баке у зенитного автомата все на местах: в шлеме с телефонами — Королев, заменивший Гущева, вместо Пинохина — другой заряжающий. Кротких попрежнему на подножке спарядов. Из люка моряки поднимают ящики с минами, ставят к поручням. Заряжающий одному из наводчиков:

— Ничего себе апельсины... маленькие, а кислые.

— А руманешти их обожают, возить не поспеваем, — ответил тот.

— Южане, — усмехнулся Королев. — Всякий фрукт любят...

Залп носовой башни.

Окопчик. Архипов в каске смотрит в бинокль. У ног его два радиста, в руках одного — код. Архипов, не отрываясь от бинокля:

— Передать на крейсер. Точное накрытие, прошу полный концерт! — Он повернулся по окопу: — Приготовиться к атаке!

Голоса передают команду, их заглушает вой мины. Близкий разрыв, земля сыплется из кода в руках радиста. Тот, пригнувшись:

— Стучи: 21,18... Товарищ полковник, нету в коде слова «концерт»!..

— Передавать, как сказано! Пусть руманешти слушают, теперь не убегут!..

Бортовой залп крейсера... Еще и еще. Идут к берегу шлюпки с десантниками.

На мостике командир крейсера телефонисту: — Чего вы там не разбираете? Повторяйте, как радиотрубка говорит!

Телефонист вскинул смеющиеся глаза:

— «Давай, давай, сапоги в воздухе!» — Он прижался к трубке: — Дальше как?.. «А в сапогах — ноги!»

Все на мостике рассмеялись. Бортовой залп. Из дыма залпов — кукурузная степь. Крики «ура», свист, улюлюканье, — бешеная и стремительная атака «черной тучи», мелькают бескозырки, черные бушлаты. Залпы крейсера в море — и разрывы его спарядов перед атакующими моряками.

В окоп под низкорослыми акациями посадки прыгнули Соловей и Помпей. Соловей дает очередь вдоль окопа влево, Помпей — вправо. Повернулись, столкнулись... Соловей:

— С новосельем, Помпей Ефимович!

Помпей деловито осмотрелся:

— Помещение ничего... Помогай!..

Они перекидывают мешки с землей на тыловой край окопа. Помпей ворчит:

— Потей теперь за них, Плоешти-руманешти и сорок четыре загробных рыдания, пет у них соображения! Всегда не в ту сторону окоп построят... Ложись!

Вой мины. Они бросились на дно окопа. Взрыв...

Из взрыва — бешено стучит зенитный автомат на баке крейсера. Гул пикировщика. Рядом с бортом огромный столб воды и дыма. У Кротких, нагнувшегося со снарядами в руках, сорвало фуражку. Выпрямляясь, он видит, что один из ящиков с минами горит.

— Мины горят, товарищ старшина!

Королев обернулся, выхватил из рук заряжающего снаряд:

— Оба к минам! За борт! Живей! — и стал заряжать сам.

Гул пикировщика нарастает. Кротких и заряжающий бегут к ящикам. Один пылает уже огнем. Заряжающий на бегу:

— Не поспеем, рвет!..

Он замедлил шаг — и тут же упал. Пули стучат по палубе.

Кротких уже у ящика. Приподнял его, обернулся:

— Давай скорей!

Заряжающий убит. Кротких пытается приподнять ящик, тот слишком тяжел. Он быстро откинул крышку, схватил первую мину за стабилизатор. Тот раскален — рука отдернулась. Но всё же мина летит за борт, Кротких тотчас схватил вторую...

Филатов на мостике впилился в поручни, смотрит на бак:

— Шланги на правый борт!

Бегут на бак краснофлотцы, змеями тянутся шланги.

Кротких, подсаживаясь, поднял облегченный ящик. Пламя лижет лицо, загорелось рабочее платье. Он отвернул лицо и толчком перевалил ящик за поручни. Гул пикировщика, стреляет автомат.

У воды ящик взорвался.

Кротких смотрит в другую сторону. Улыбка горькострадания на искаженном болью лице: он видит уходящий в воду самолет с черным крестом на хвосте. Струя воды ударяет возле ног Кротких.

Филатов на мостике облегченно вздохнул, широко улыбнулся.

Лицо Кротких в сверкающих брызгах. Из них складываются буквы. Это занес в «вахтенном журнале» на листке 17 сентября: «За корабль...»

Забинтованная рука заканчивает слово. За кадром голос — идет переключки.

— Соколов! — Есть!.. — Стукалов! — В госпитале!..

Дворик перед хатой. Строй моряков в каскал против него — второй строй прибывших моряков в бескозырках. Они слушают переключку.

— Устинов! — Есть!.. — Ухов! — В наряде!.. — Федя с наганом, комсомолец! — Погиб смертью храбрых в обороне Одессы... — Фролов!..

Слушает Кротких среди прибывших моряков. На груди его — медаль «За отвагу». Голос переключки уходит.

На улице перед двориком — немецкое орудие прицеплено к трактору. На длинном черном его стволе надпись белыми буквами: «Она стреляла по Одессе — больше не будет!» Архипов, который осматривал орудие, майору:

— Теперь отправляйте в город. По всеи улицам провезти!

Трактор загрохотал. Архипов пошел с майором:

— Пополнение прямо в посылку... Командиром отделения давайте этого... Помпея. Хороши дерется старик.

— Дерется-то хорошо, Яков Иванович, но командиром... — поморщился майор.

Архипов усмехнулся:

— Загробные рыдания?.. Отучить бы пора — Пробовал... Сорок лет, говорит, привычка...

— А вы его ко мне пришлите. И пройдите на батарею — пора огневой налет дать, снарядов тридцать...

Хата. Помпей мрачно слушает Архипова. То убедительно.

— Вы на меня посмотрите, Помпей Ефимович. Тэже старый матрос, а хоть одно солонслово вы от меня слышали?

Помпей помолчал. Хмуро поднял голову:

— Разрешите вам, товарищ полковник, как матрос матросу сказать... Тем более вы какаго года призыва?

— Девятьсот двенадцатого.

— Ну вот. А я девятьсот четвертого... так что вы передо мной вроде, извините, как салажонок...

Архипов с хитрецей улыбнулся:

— Что ж, Помпей Ефимович, поговорим... — Авторитету не держишь, Яков Иванович. Старый матрос, а разговором — шуткарь.

— Эпоха не та, Помпей Ефимович, — усмехнулся Архипов.

— Эпоха... — качнул головой Помпей. — Скажи лучше — школа не та. Разве на «Рюрик» матроса обучали, как следует?.. Вот нас на «Олеге»...

— Чего на «Олеге»?.. На «Рюрике» похле не вашего разговор был. Я еще в гражданской бывало, как заведусь, — восемь минут и ни од него повтора... Ребята заслушивались.

Помпей недоверчиво кивнул головой:

— Заливаешь, Яков Иванович,—восемь минут... У нас на «Олеге» на что боцман был, а и тот на шестой минуте повторяться начинал...

— Не веришь, что ли?

— Разве мыслимо — восемь минут!

— А коли на спор?

— На что хочешь?..

— На что хочешь?— Архипов усмехнулся.— Давай... Если не вытяну — разговаривай в полный голос до самой победы. А вытяну — уж извини: чтобы ни одного приговора никто в полку не слышал.

— Часы есть? — оживился Помпей.

— На! Включай секундомер с первым залпом!

Архипов откашлялся, посмотрел на потолок. Вдруг встал и закрыл дверь на засов.

Помпей хитро:

— Только гляди, Яков Иванович... чтоб без повтору!

Архипов взмахнул кулаком, открыл рот. Грянул залп.

Монтаж: стреляют орудия батареи, стоит майор с планшетом. В хате Архипов вдохновенно импровизирует, заглушаемый стрельбой. Помпей в восторге слушает. Бежит стрелка секундомера.

На крыльце под грохот залпов Кротких стучит в дверь. Никто не отвечает. Он стучит еще.

В хате Архипов взглянул на часы, заканчивает, охрипши:

...— анархию производства, синдикаты и картели в метациентрическую высоту и бракоразводные электроды!.. Войдите!

Он вытер пот, застегивает китель.

Помпей с уважением:

— Плотно, Яков Иванович, выражаешься, приятно слушать...

Архипов открыл дверь. Вошел Кротких, протянул пакетик:

— От капитана третьего ранга Филатова лично вам, товарищ полковник...

Архипов узнал его и тут же заметил медаль:

— А, гусар!.. Вои как! Что ж, давай бог — не последняя... Поздравляю...

Он достал из пакетика мундштук из ваборной пластмассы.

— Вот спасибо Василию Сергенчу, такого не разгрызть... А вы с пополнением?

— Точно, товарищ полковник!

— Добро... Товарищ командир отделения!

Помпей сидит, мрачно разглядывая часы. Архипов громче:

— Товарищ Карасев, я вам говорю!— Помпей вскочил.— Примите пополнение, и с темной — в посадку!

— Есть, товарищ полковник...

Помпей пропустил в дверь Кротких и обернулся:

— Вопрос разрешите?

— Ну?

Помпей вполголоса, очень серьезно:

— Как вы эти слова в себе удерживаете?.. Неужто так и не тянет никогда — прорваться?.. Такое ж богатство, боже мой!.. — И Помпей даже покачал головой в уважительной зависти.

— А есть еще и такое слово: дисциплина.

— Как это? — насторожился Помпей. Разочарованно:— А!..

Архипов проводил его взглядом, беззвучно смеясь, и потом закурил, с удовольствием разглядывая новый мундштук.

Окопчик в посадке. Кусты и акации над ним посечены пулями и осколками. Кротких, Соловей и Помпей в касках, с автоматами. Помпей, показывая на труны перед окопами, обучает Кротких:

— Видишь?.. Пока до них не дойдут — нишьян. Полковник как учит?.. Сурин, обрисуй!

— Подпускать вплотную, товарищ старшина. Пока карточки у них не разглядныш — бритые или небритые.

— Точно. А в честь чего — объясни.

— Пусть на предыдущих ораторов полюбуются. Это мораль им портит.

— Не мораль, а психику.

— Это одно и то же, товарищ старшина.

— Не спорь. Полковник объяснял — психика... Дал: обрисуй про контратаку, как матросу себя вести.

— Па румына кидайся, как в койку: он мягкий. Немец — тот тверже, его в полный взмах бей.

— Так. Какое еще различие немца от румына?

— Немца впереди не увидишь, он румын сразу подгоняет.

— Объясний, какой с того вывод?

— Значит, в контратаке гони румын, пока в них немцы сами не начнут стрелять, товарищ старшина!

— Вот. Слыхал?.. Повтори своими словами.

Взвыла мина, близкий разрыв. Помпей прыгнул к амбразуре:

— Политзанятие окончено! Приготовиться к отражению атаки!..

Бьют одна за другой мины, секутся ветки, падают в окоп. Соловей поднял прутья и воткнул в стенку окопа.

— Первая... — Он покосился на Кротких. — А тебе вообще первая?

— Да. — Кротких напряженно смотрит в амбразуру. Помпей ему недовольно:

— Голову прячь! Кому надо — смотрят... Ложись пока.

Оба юности прилегли на дно окопа. Бьют мины. Соловей участливо:

— Ты не бойся. Сегодня же и привыкнешь, они до вечера завелись.

— Однако стараюсь.— Лицо Кротких под каской выглядит по-новому. Он держится хорошо, но волнуется. Соловей с тем же участием:

— Ты, главное, не торопись, им все равно не дойти. И по головам не бей. Ты по животам ведь автоматом, площадь больше...

Грохот миш вдруг стих. Новый звук — отдаленный крик сотен людей, треск автоматов. Свистят пули, сыплются ветки. Соловей:

— Идут...— Кротких приподнялся, он удержал его:— Зря не выставляйся, старшина скажет, когда.

Помпей наблюдает. Свист пуль, крики ближе. Кротких, морщась:

— Однако близко...

— Да... Терпение у человека... А может — глаза старые: смотрит — бриты или не бриты...

Оба томительно ждут. Все слышнее крики и стрельба.

— К бою,—спокойно сказал Помпей.—Без команды — нишкни.

Кротких вскочил и увидел сквозь свою амбразуру: лавина румын. Это очень жутко: тесная цепь, открытые рты, крики, треск автоматов. Кротких тронул было спусковой крючок, но тут же стал медленно шевелить пальцами знакомым филатовским жестом. Румыны всё ближе. Наконец Помпей скомандовал:

— За Родину, за Сталина!.. Огонь!

Кротких ведет автоматом. Через прицел видно, как падают двое румын... еще один... Цепь залегла... ползут... Встали, бегут назад... Кротких ведет огонь.

Стенка окопа. Три прутика, рука втыкает четвертый. Земля от взорвавшейся мины засыпает моряков... На стенке — семь прутиков. Лица моряков черны от земли, мокры от пота, устали... Капитан в запыленном флотском кителе кричит сквозь стрельбу:

— Пулеметы на правый флаг!.. Живей!..

Соловей втыкает восьмой прутик, вытирает лоб...

И вдруг — тишина. В хате перед Архиповым этот же капитан. Он безмерно устал. Архипов, закуривая:

— Хоть взводик... А где я вам его найду? Кругом тоже не чай пьют...— Он испытующе взглянул.— Вы которую ночь не спите?

— Как штурмовать начали... Пятую, что ли...

— Отдохните пока здесь, а мы с майором поколдуем, как помочь...

— Да я, товарищ полковник...

— Боевое задание: спать. Пу!

Он легонько толкнул капитана к койке, и тот, упав на подушку, мгновенно заснул. Архи-

пов смотрит на его мертвенное лицо, передвигая в зубах свой новый мундштук. Майор рядом с ним, негромко:

— Устал... И машина ломается...

— Хуже. Стойкость в нем пошатнулась.— Архипов помолчал и продолжил, как бы думая вслух.— Вот так отступление и начинается. С пустяка... Сейчас за подмогой пришел, а завтра начнет думать, не пора ли отходить...

— Не согласен, товарищ полковник. Он до конца драться будет.

— Верю,—пожал плечами Архипов.— А толк какой? Он и врагов кучу набьет, и сам геройски погибнет, а посадка-то — все равно пропадет...

Архипов вынул из мундштука папиросу:

— Нет, майор, победа веселую душу любит... Пусть выспится, а мне — машину!

Ночь. Окопчик в посадке. Кротких и Соловей вылезают за окоп. Соловей остающемуся моряку:

— Покорнейшая просьба не подстрелить. Обрато поползем — поспищу вот так...— Он щебечет птичкой.— Ясно?

— Валяй, валяй... Автоматик мне подбери получше... Только не румынский, куда барахла-то...

— Может, тебе орудие в личное пользование?

Соловей и Кротких скрылись в темноте.

Блиндаж, очень низкий. Лампа на ящичке. Моряки, усталые и невеселые, молча ужинают консервами из балок, часть спит. Вдалеке раздалась автоматные очереди. Сильно небритый моряк перестал есть. Негромко:

— В кукурузе...

Помпей, целясь ниткой в ушко иголки, безразлично:

— Автоматчики.

— Окружение, видно, ладят...

Помпей взглянул на него и молча пошевелил губами. Небритый:

— Разве это заслон — полтора взвода... Ту да бы роту... И чего это нам подкреплений не шлют?..

Помпей грозно опустил руку с иголкой:

— Эх, лишил меня языка полковник, а ты бы ты у меня всё сейчас понял — и окружение, и подкрепление... Сколько есть — столько и дерутся! Скулишь, скулишь... Стратегик!

Он стал закидывать рукав бушлата. В конце блиндажа сдержанный говор, слышен хрипловатый басок Архипова:

— Здорово, орлы... Сидоркин, цел еще? Здоров, Помпей Ефимович!

Архипов сел в свете лампы, оглядываясь:

— Дал я вашему капитану серьезное боевое задание, пока справится — у вас поси-

жу... — Легкий гул, моряки переглядываются, новеселев. — Газет я нынче не читал, — война кончилась, что ли?

— Непохоже, товарищ полковник, — усмехнулся Помпей.

— А чего ж вы румяпештей не тревожите? Я к вам больше ездить сюда не буду, — в кукурузе безобразничают, последнее стекло мне в машине выбили... Товарищ старший лейтенант, а нельзя наладить охотников, кто выпался?.. Но кукурузе пошарить: темно — как курей можно переловить...

Движение среди моряков, часть встала. Архипов увидел небритого, нахмурился:

— Воду нынче не привозили?

— Была, товарищ полковник...

— Была... А чего ж вы обросли так? Ишь — не матрос, а румын!

— Тут бы часок на сон урвать, товарищ полковник, — сконфуженно погладил щеку небритый.

— Флотское правило забыли: выбреешься, вьюе скорей спишь...

— Да работенки много, лезут больно... По восемь атак в день...

— А хоть по десять. Позиция у вас тут — лай бог на пасху... Не то что во втором батальоне, вот там кряхтят матросики... Товарищ старший лейтенант! Давайте-ка поколдуем, как бы им от вас взводик подкинуть? Помочь матросам надо...

Такой поворот дела изумил всех. Помпей негромко небритому:

— Видал?.. А ты — окружение, подкрепление... Тьфу! Тактик...

— Трудновато, товарищ полковник, — ответил старший лейтенант.

— Да я понимаю, что не легко, потому и не приказываю. Вы сами решайте. Только не по правилам, а по совести.

Старший лейтенант задумался. Поднял голову:

— Дадим, товарищ полковник. На минометах выедем.

— Ну, вот. Как, матросы? Не обидел?.. Протержитесь?

Серьезные, почти торжественные лица. Негромкие голоса:

— Выдержим, товарищ полковник... — Коли падо... — Раз им труднее...

— Спасбо, орлы, — так же негромко сказал Архипов. — В бою не о себе думай, а о соседе. Так матросы от века воевали, так и мы будем... Ну, завтра поколдуем, как оборону перестроить, а теперь спать, кто не на вахте!

— Сюда, товарищ полковник... помягше, — похлопал Помпей по стеблям кукурузы. Они улеглись рядом. Закурили.

— Ну как, командир отделения? Людьями довольны? Кто у вас самый боевой?

— Да Сурина первого отметить надо. Смелый, отчетливый...

— И с головой?

— Соловей-то? Ну... выдумщик, золото-матрос! На медаль — вполне.

— Вот я его и заберу. В разведчики годится?

Помпей покосился, потрогал усы.

— Да как сказать... Треплется он больше... ненадежный паренек... Вы во втором взводе пощтите, товарищ полковник, там — люди!.. На отрыв!.. Сидоркин, скажем, Памфилов... Готовые разведчики...

Архипов негромко рассмеялся:

— И хитрый же ты, Помпей Ефимович! У тебя людей просить — что у боцмана краски...

Помпей усмехнулся тоже, покрутил головой.

— Да и вы хитры, Яков Иванович! Опять меня обкрутили... Я ведь догадался, как это у вас восемь минут вышло: вы же не по правилам выражались... Скажем — двенадцать апостолов, — их полагаются вместе помянуть, а вы каждого в отдельности обработали...

— По правилам восвать — без победы насидишься, Помпей Ефимович, — усмехнулся Архипов. — Давай спать...

Он загасил папиросу. Ходят на скулах желваки; Архипов грызет мундштук, тяжело задумавшись. Помпей попотом:

— Товарищ полковник... насчет взводика я... опасно брать... Коли кукурузу не удержим... — он показал пальцами замыкающееся кольцо.

— Знаю, Помпей Ефимович... Это я так...

— А!.. — догадался Помпей. — Для психики, значит?

— Ну и молчок.

— Понимаю... Я тоже по силе возможности дух поддерживаю...

Он замолчал и тотчас захрапел. Легкий шум. Вернулись Соловей и Кротких, сбросили трофейное оружие, улеглись на плечо друг другу. Небритый ворчливо:

— Не навоевались за день...

— А чего ж добру пропадать, — сказал Кротких. — Выбирай любой...

Они заснули. Архипов толкнул Помпея:

— Помпей Ефимович...

— А? — вскинулся тот.

— Как этого по фамилии, забыл... Ну, «Яростный»...

— Да все они у меня отчаянные... горячие, страсть...

— Я про ленточку.

— А, «Яростный»... Кротких это, товарищ полковник...

— И как паренек?

— У-у!.. Он хоть и молодой, но... — Помпей спохватился: — но ничем себя не проявил... Как есть по фамилии — Кротких и Кротких.

Тихий. Прямо не знаю, чего с ним и делать...
— Ну не знаете, так я помогу: беру в разведчики.

Помпей даже привскочил на кукурузе:

— Товарищ полковник, так что же это?.. Всех переберете!..

— Смелые люди мне нужны. Дело одно я задумал. Серьезное.

Помпей помолчал, потом другим тоном:

— Может, и я схожусь, товарищ полковник?

— Ноги там понадобятся... Хотя... Вы Федоровку знаете?

— Совхоз-то? Слава богу, плетничал там...

— Вот мы там одну штуковину выкинем... И посадке полегчает... Добро! сдавайте отделение, а орлов этих — утром же в разведотряд...

Хата. Солнце в вымытые окна, глиняный пол, сено вместо нар. Соловей в группе моряков рассматривает книжал. Хозяин его, подмигнув соседу, берется за автомат Соловья.

— Так меняем? На автомат?

— Не могу, — развел руками Соловей. — Память о личном знакомом.

— Тогда на фонарик.

— Это можно. Ганс в премию отдал... Соловей увидел на поясе подошедшего Кротких такой же книжал, тихо ему:

— На что сменял, Андриуша?

— Или к старшине. Всем выдает.

Соловей надел обратно фонарик:

— Кажется, я начинаю понимать, что такое — разведчики! — Он обвел глазами улыбающихся моряков и вдруг, увидев что-то перед собой, с изумлением смерил глазами от пола до потолка.

В дверях двое разведчиков, оба в бескозырках и бушлатах, один вдвое выше другого. Соловей шопотом соседу:

— Скажите, что это у вас за постройка?

— Корж Вфим. Спец по языкам.

— Линкор, — почтительно сказал Соловей. — А рядом — его модель?

Смех. Маленький разведчик смутился. Соловей весело потерёл его за нос.

— Ва-а-а... дружить будем?

— Да то ж дивчина, не видишь, что ли? — сказал неторопливо Корж из-под потолка.

Соловей отдернул руку, как от огня, и за спиной его грянул взрыв хохота. Смеется и Корж:

— Знаменитость не признал!.. Татьян — морской разведчик!..

Соловей мгновенно оправился.

— Боже мой, Татьян!.. Счастлив познакомиться: Суриен Александр Иванович, можно короче — Саша; Шура... Основная характеристика написана на лбу... — Он показал на

ленточку «Сообразительный» и повел Татьяну под руку по хате: — Вы знаете, Татьяна... простите, как по отчеству?

— Михайловна, — ответила она, еще не придя в себя после такого натиска.

— Татьяна Михайловна, очень приятно. Так вот, Танечка, я так давно мечтал вас встретить... Столько слышал... Прошу вас!

Он разорвал рукой сено. Татьяна растерянно садится — и тотчас раздается визг раздавленного щенка.

— Ах, простите... сюда, Танюша!

Не этот раз кудахчет курица. Соловей в негодовании:

— Даму посадить некуда, культура!.. Тасенька, сюда...

Теперь обижено мычит корова. Хохот. Соловей оскорбленно.

— Что у вас тут делается?.. Пойдемте, Таточка, на воздух...

И он торжественно выводит ее под-руку. Смех затихает, их ошеломленно провожают глазами. Кто-то в крайнем изумлении.

— Сплён...

Садик. Насвистывая, Соловей подкручивает ушки перед крохотным зеркальцем. Подошел Корж, показал огромный кулак:

— О цэ бачил?.. Кто она тебе — закигалка или боец?.. Чтоб ты до такой дивчины подходил свято. Понятно?.. Повтори.

Соловей вопросительно взглянул на кулак, на Коржа. Потом понимающе улыбнулся и сделал отречающийся жест:

— Конечно. О чем разговор? Раз место занято... В чужие дела никогда не вмешиваюсь, товарищ Корж, будьте спокойны!

— Ото ж дурень... И где вас, таких кобелей, вырабатывают...

— Ну, ну... товарищ Корж! — вскнулся было Соловей, но Корж продолжает медленно и очень серьезно:

— Раз дивчина — так до пей с глупостями? А коли у той дивчины вся душа в ключья порвана? Коли в ней сердце кровью плачет?.. Эх, ты... Во всем мире ласки нехватит, чтоб то горе закрыть...

Соловей притих, — с таким волнением говорит это Корж. Тот поднял перед лицом обе громадных своих ладони, как бы боясь что расплываться:

— Ее наши моряки по войне вот как пестут... Як слезу из самой души...

Он в глубоком волнении смотрит на ладони, словно видя в них хрупкий драгоценный груз. Музыка.

На музыке — голос Татьяны. Она сидит с Кротких на сене в пустой хате, смотря перед собой остановившимися глазами:

— Я на кресты им больше не смотрю... Я их всех ненавижу, до одного... Вот тогда — хотела того пристрелить, спасибо, Помпей Ефимович не дал... Ну, одного убила бы — и всё... А теперь я их на роты считаю... на батальоны...

Кабинет командующего обороной Одессы. Армейские и флотские командиры. Архипов серьезно смотрит на улыбающегося адмирала.

— Да вы не смейтесь, товарищ контр-адмирал. Татьяна всё там знает — и где бухточка, и где шлюпку спрятать... До Федоровки доведет, а там старик мой покажет. Дело верное.

— Ну что ж! Если выйдет — отлично.

— Боеклады взорвем — румыны неделю без патронов будут. И посадочке моей полегче, а то туго больно...

— Добро, действуйте, — поднялся адмирал. — Всё у вас?

— У меня всё, товарищ контр-адмирал, — встал Архипов.

— А у меня нет. — Он строго посмотрел на Архипова. — Когда же вы, в конце концов, своих моряков переоденете? Так и будете в бушлатах драться? Черные дьяволы...

— Пошли, — хмуро сказал Архипов. — Весь полк переодеваю.

— А сами? — усмехнулся адмирал.

Архипов хитро:

— По флотскому праву, товарищ контр-адмирал: командир последним с корабля сходит...

У садика стоит «пикап», из него вылезает Помпей в армейском обмундировании. Соловей в полном восторге встречает его.

— Боже мой, что за галифе!.. Помпей Ефимович, ошибка целой жизни! Вам бы в кавалерии служить!.. А где ваши пиоры?

Помпей молча достал из машины мешок, потом откинул брезент:

— Ну ты... адмирал швейцарского флоту... Принимай...

В машине навалены сапоги, защитные гимнастерки, пилотки. Соловей остолбенел. Помпей, взяв мешок, проходит в садик.

Хата. Разведчики, уже переодетые, хмуро сворачивают черную флотскую одежду. Кротких решительно сунул за пазуху бескозырку и поднял сверток черной одежды.

— Ну вы... черные дьяволы... Дай пройти...

Перед ним Соловей, в затруднении, какую пилотку выбрать.

— Погляди, не мала? Или эта? Тесновата, но материал...

— Иди ты... знаешь куда...

— Одеваемся — вместе ходим, Андриша, не расстраивайся... Нет, пожалуй, мала, а тебе

как раз... — Он снял с Кротких мешковатую пилотку и надел свою: — Ну вот. Флотский шик чувствуется...

— Тебе хоть сарафан дай, лишь бы не морщил, — хмуро ответил Кротких и вдруг озлился: — За шиком гонишься, а гордость флотскую позабыл? Ты что снял-то, понимаешь?.. Эх, знал бы я...

Его прервал бас Коржа, — тот еще более мрачен, чем Кротких:

— Хлопцы... чобот других нема?

— Воя лежат, померий...

— Мерял, — безнадежно махнул рукой Корж. Его перебила команда:

— Смирно!

С лейтенантом, командиром разведотряда, вошел Архипов. Оба в защитных гимнастерках, в пилотках с якорьками.

— Здравствуйте, товарищи краснофлотцы!

Ответ получился мрачноватый. Архипов усмехнулся:

— Вольно!.. Ну вот, теперь порядочек... А то, как мухи в молоке — за пять верст в кукурузе видать... А вы чего такой кислый, товарищ Кротких?.. Сапоги жмет?

— Однако вы сами всё понимаете, товарищ полковник... — нехотя ответил тот.

— Не понимаю.

— Душу жмет, — решился Кротких.

— А!.. И вам жмет, товарищ Корж?

— Жме.

— Так. Переоделись — и ничего флотского в вас не осталось?

— Чего осталось, того не видать, — хмуро сказал Кротких.

— Румыны и не признают, — вздохнул Соловей.

— Разве мы теперь моряки... Одна схама, — прогудел Корж.

Архипов обвел всех глазами. Очень серьезно:

— А по мне — морскую душу хоть подряжником прикрой, она сама паружу выбьется. Мы в гражданской в чем попало дрались, а враг все равно знал: матросы. Раз в атаке ураган, а в обороне скала, значит, там моряки дерутся... По этому живых узнавали. А мертвых...

Он распахнул ворот гимнастерки и постучал по полоскам тельняшки:

— ...Вот по этому. На самом сердце она лежит, как клятва... Душу морскую собой прикрывает... Убьют, изуродуют матроса, имени от него не останется — а она покажет: моряк был...

Как присягу слушали эти слова моряки. И когда замолк его голос — одна за другой поднялись руки к воротникам гимнастерок, и у каждого выглянула на свет полосатая тельняшка...

Архипов обводит глазами моряков. И музыка, в которой растет тема морской души, подтверждает эту молчаливую клятву моряков в защитной форме. Проходят лица Кротких, Коржа, Соловья, Помпея, — у каждого по-своему горят глаза. Архипов, любуясь людьми:

— А вы говорите—ничего флотского в вас не осталось... Как были матросы, так и есть... Вот Соловей — подтянут, фасонист, сразу вплю — моряк! Или Корж... Эх, провалил Корж! Ну что это такое?..

Ноги Коржа: зашитные брюки уходят в огромные флотские ботинки.

— Та не лезут, товарищ полковник, уси перебрав!..

Архипов, смеясь:

— Беда!.. Товарищ Карасев, а ну-ка... может, подойдут?..

Помпей хитро подмигнул и супул Коржу мешок.

— Померяй, ребеночек... товару тут на цельный взвод пошло...

Корж вынул огромные сапоги, с восторгом сел надевать. Архипов осматривает моряков; Татьяна прячется за спинами.

— А ты чего прячешься?

Ее выталкивают вперед. Под тесемками брюк — талочки.

— Эх, и войско у меня! — махнул рукой Архипов.

Отчаянный бас Коржа:

— Обрато не лезут, товарищ полковник! Хохот. Корж лезет рукой в голенище и расплывается в улыбке: внутри крохотный сапожок. Корж счастливо:

— Татьяна, тебе... Держи...

Архипов с видом полного удовлетворения:

— Ну вот, теперь и воевать можно... — Оп выпрямился, очень серьезно: — Задание вам, товарищи краснофлотцы, будет такое...

Его подхватывает музыка.

Вечер. Рейд. Негромко звучит песня о морской душе — о верности, о мужестве, о победе: та же тема, что возникла на клятве тельняшками.

По рейду, мимо стоящих кораблей — канонерских лодок, транспортов, миноносцев, тральщиков, мимо проносящихся в пене сторожевых катеров-охотников, — пробирается маленький портовый катер со шлюпкой на буксире. Отсюда и звучит песня—гresti не надо, рейд свой, впереди боевая задача, самое время петь негромкую хорошую песню... В шлюпке—раздочки, на руде лейтенант. Соловей, избравшая на бескозырке виртуозную игру, имитирует аккордеон. На баке Корж и Помпей слушают песню, смотря на далекую шпрь моря. Прозакатные облака.

Корж шумно вздохнул:

— Эх... хороша вода...

— Море,—в тон ему сказал негромко Помпей.— За тыщу верст от него уйди, а оно, милоч, свое действие оказывает...

Помолчали. Корж зачерпнул огромной ладонью воду, осторожно пригубил, как драгоценное вино. Улыбнулся неожиданно душевной улыбкой:

— Солона...

Звучит песня. Корж смотрит на море.

— Ладно... Отстоим Одессу—сразу до дому, поплаваю еще... Ты мой крейсер когда видал?.. «Червона Украинна»... Вот корабль!

— Ты, милоч, «Олега» не видал... Вот крейсер был — да!..

Звучит песня. На корме Кротких рядом с Татьяной пишется в свой «вахтенный журнал» на листке 6 октября: Морская душа. Татьяна, следя за ним:

— А я бы на всех листочках одно слово писала...

— Так и я одно... Не всегда найдешь, бывает и два и три...

— Я не про то. Вы всё разное пишете, а я бы одно... Везде... Самое главное слово, каждый день, до самой победы... Чтобы ни мне, ни другим не забывать...

— Ну, панини.

Кротких дал ей карандаш. Она пишет круглыми детскими буквами: н е н а в и с т ь. Звучит песня — строфа о ярости матросской, о ненависти к врагу. Лейтенант, приподнявшись, кричит на катерок:

— На катере! Отдавайте буксир!..

Музыка заменяет песню. Катер, отдав буксир, уходит, с него машут разведчикам. Моряки разобрали весла, первые сильные гребки.

Далеко впереди виден силуэт крейсера. На шлюпке оживление. Моряки перебрасываются на гребле отрывистыми репликами:

— Наш идет... «Красный Крым»...

— «Червопка», это, мачты какие — не бачишь?..

— Сказал... Видно же — «Кавказ»... Провстречал своего все ж так!..

Кротких с веслом оглядывается с волнением и надеждой. Музыка. Стремительно идет навстречу крейсер, вырастая из воды. Лейтенант на шлюпке скомантовал:

— Весла на валёк!

Звильнись вертикально вверх весла — шлюпка отдает честь проходящему кораблю. Неловко сидят моряки, повернув голову к крейсеру. Лейтенант держит руку под козырек. Кротких, на лицо которого капает с подъятого весла капли, шопотом, с улыбкой гордости:

— Однако мой... «Яростный»...

Мостик «Яростного». Командир крейсера взял под козырек. Прозвучал свисток сигнала

ла — моряки на палубе стали смиренно. Проходит крейсер, отдавая честь маленькой шляпке с моряками. Стоит смиренно и Филатов.

Закат. Облака. Море. Музыка. Уходит в сумерки крохотная шляпка под веслами, исчезая в огромном темнеющем море...

Из темноты — тишина, кусты, шопот. Ползут Татьяна, Кротких, за ним Корж. Он озабоченно:

— Ховайся... Лейтенант сказал, у горки ждать...

Татьяна ползет дальше. Корж ухватил ее за ногу:

— Лягай тут, кажу...

— Лягай, лягай... Что я — лошадь?.. Вот вы всегда так, товарищ Корж...

— Молчи, ховайся...

— Товарищ Корж, пустите ногу...

— Ни.

Татьяна грозным шопотом:

— Пустите, а то закричу... ей богу, закричу, вы меня знаете...

— Ото ж, скажена дивчина...

Подполз лейтенант, с ним Помпей. Лейтенант шепчет ему:

— Узнаете местность?

— Теперь в аккурате... За горкой и Федоровка, тут рядом...

Лейтенант всмотрелся. Шопотом:

— Передать по цепочке: ползем в обход... за горке, возможно, у них охрана. Ведите, товарищ Карасев...

— А я? — вскинулась Татьяна.

— Здесь будешь ждать. Не твое дело там изаждать...

— Товарищ лейтенант... — зашептала она в отчаянии, но моряки уползли за Помпеем. Тишина. Татьяна одна.

На горке. В окопе у пулемета трое румын. Капрал вслушивается в темноту. Слева внизу горки хрустнула ветка. Капрал взял в руки ракетницу, насторожился, ждет...

Кусты. Это хрустнула ветка под коленом Коржа. Моряки замерли. Соловей показал ему сулак и вдруг на два голоса изобразил короткую и свирелую схватку двух собак.

Румынский капрал слушает. Замирает внизу изг собак, которой порядком попало. Капрал смехнулся, сказал что-то солдатам, положил ракетницу.

Татьяна одна. Всматривается в темноту. Лет, волнуясь.

Правее ее грохнул взрыв, встало зарево. Разрастается пожар. Еще взрыв. Прижав руки к груди, Татьяна смотрит на зарево с огромным облегчением.

Вдруг радость на ее лице сменяется ужасом: с горки застучал пулемет. Светящаяся

трасса пуль идет вправо, туда, где пробирались моряки и откуда они должны вернуться.

Румынский пулемет в свете зарева. Здесь тревога. Капрал показывает наводчику вниз под горку. Пулемет стреляет туда.

Моряки под скалой прижались к земле. Бьют по камням пули, чиркают трассы. Лейтенант:

— Лежать!.. Переждем...

Свист пуль, стук их о камни, рокот пулеметных очередей. Вдруг внизу, далеко в стороне от моряков, взлетела на горку ракета, за ней вторая, третья. Застучал там автомат Корж хрипло:

— Татьяна... Це ж Татьяна!

Он приподнялся, готовый вскочить. Лейтенант схватил его за плечо:

— Всех погубишь!.. Ждать!

В кустах Татьяна ведет огонь по горке. Всматривается. Пулемет продолжает бить с горки по морякам. Татьяна в отчаянии вскакивает, дает еще ракету. В свете ее она бежит на горку, стреляя из автомата, машет рукой, вызывая в атаку несуществующих моряков...

Горка с румынским пулеметом. Капрал смотрит в сторону ракет Татьяны. Увидел ее, схватил за плечо наводчика, повернул пулемет. Очередь. Видно, как Татьяна упала, но продолжает стрелять...

Моряки под скалой. Лейтенант вскочил:

— На пулемет! Холод!

Его сразу обогнал Корж, потом Кротких и Соловей. В рост бегут на горку моряки, не стреляя, молча, тяжело дыша.

Прыгнули на румын. Корж навалился на капрала, Соловей кошкой вскочил на наводчика. Удары кинжалами. И так же стремительно, как появились, моряки исчезли, сбега по склону вниз к Татьяне, последним Кротких: он задержался, чтобы вынуть из пулемета замок.

Склон, откуда стреляла Татьяна. В свете зарева моряки обыскивают кусты. Лейтенант, держа в руках ее ракетку, Соловью:

— Левее пошарьте...

Корж, раздвигая кусты, хрипло шепчет:

— Яку дивчипу загубили... Эх, моряки...

Ударил в стороне автоматная очередь... Еще... Взрыв гранаты.

Корж оглянулся затравленным зверем, прислушался, определил направление — и бинулся вниз по склону, освещенный заревом пожара, которое встает всё выше...

Зарево видно сквозь узкий вход в каменоломню. На фоне его пробегают тени. Влетела граната — и в мгновенном свете ее в углу видна Татьяна, прижавшаяся за большой плитой. Она стреляет в освещенный заревом вход. Там крик. Ответный огонь.

Корж несется по склону, ломая кусты, как медведь, в страшной молчаливой ярости. Пригнул к обрыву, перегнулся.

Под обрывом — невысоким, но крутым, — он видит вход в каменоломню. Несколько румын залегли там, стреляя во вход. Один замахнулся гранатой. Корж, встав во весь рост, швыряет свою. По нему дали снизу очередь. Он упал и покатился по склону, цепляясь за траву и вырывая ее...

Подбежали Соловей и Кротких, залегли. Короткий бой. Моряки ворвались в каменоломню.

Кусты. Зарево пожара далеко. Идут моряки, неся раненых Коржа и Татьяну; те без сознания. Лейтенант шопотом Соловью:

— Наверное, по берегу уже дозоры... Идите к шлюпке... Что заметите, свистните птицей...

Соловей тоже шопотом:

— Внимание привлекает, товарищ лейтенант... Разрешите лучше наоборот... Я всё время посвистывать буду, будто птичка с кустика на кустик летит... — Он тихо-по тихо свистит с трелью. — А что замечу — тогда так... — Он чиркает и щебечет.

— Добро...

Соловей исчезает.

Сереет рассвет. Идет Соловей, осторожно ступая неслышной поступью разведчика, всматриваясь вперед и посвистывая.

Идут моряки. Лейтенант и Кротких впереди. Поет в отдалении птичка. Несут Коржа и Татьяну. Сигнал меняется — щебет: «пельзя». Остановились. Ждут.

Соловей в кусте. Сереет рассвет. Видны шестеро румын, идущих по тропинке. Соловей пропускает их, повторяя чирканье.

В рассвете видна бухточка, в скалах у воды — пенсерки, в одной из них спрятались шлюпка. Слышно чирканье птички.

Соловей в кусте. Румыны залегли на берегу как раз над бухточкой. Соловей чиркает, оценивая обстановку. Почти отчаяние в его глазах — и веселый беззаботный щебет птички...

Моряки. Раненые уже положены на землю. Через томительные промежутки доносится щебет — «пельзя»... Внезапно за ним — взрыв гранаты, автоматная трескотня. Кротких сморщился:

— Пропал...

Лейтенант жестом — «за мной!» Моряки

приподняли автоматы, как вдруг стрельба стихла. Потом одинокий выстрел — и вслед за ним слабое посвистывание и трель: «можно». Моряки побежали.

Бухточка. Моряки прыгают в шлюпку, принимают раненых. Корж... Татьяна... Соловей.

Когда его кладут в шлюпку, он продолжает еле слышно посвистывать сигнал «можно» Кротких с тоской:

— Саша... мы здесь... — Соловей свистит. — В шлюпке мы, Саша...

Соловей свистит порывисто и слабо, не сознавая, что те, за кого он ринулся в неравный бой, уже в шлюпке. Моряки разобрали весла и осторожно пошли по тихой бухте.

Корж очнулся, приподнялся. Татьяны он не видит, она лежит в корме. Он закрыл глаза. Глухо:

— Таню моя. Таню... Сердечко мое, слезиночка кохшая... Ничего ты не чуяла, не чутал я тебе душу, нехай дивчина воюе... Не уберег...

Он молчит. Потом почти с рыданием:

— На руках из горя вынес... Не донес до хаты... до дому... Все горе твое лаской закрыл бы... Таню, Таню моя...

Жестом, который запомнился нам в диалоге с Соловьем при знакомстве, он подымает к лицу ладонь. На одной — смятый цветок с пучком травы: то, за что цеплялся он, скатываясь по склону.

Его трогают за плечо. Это Кротких дает пить из баклажки:

— Жива твоя Таня... ноги побило... Тут она, в шлюпке...

Корж открыл глаза, рванулся. Медленно опустился на спину.

— Андрей... ты молчи...

— Про что?

— Про то... Не треба ей говорить, нехай не чуе... Живой буду, сам скажу...

Он закрыл глаза. Кротких берет весло. Осторожно опустили моряки весла в воду, гребут.

Ляжет Татьяна, ляжет Соловей. Он все еще свистит, слабо, чуть слышно сигнал «можно»... И слабый посвист переходит в музыку. Странно измененная — обрывающаяся, мучающаяся — звучит тема морской души. Шлюпка уходит в рассветное море...

Кабинет контр-адмирала. У висящей на стене карты Черного моря, где видна Одесса и Крым, стоит Архипов. Он очень оживленно говорит контр-адмиралу:

— А в посадочке у меня нынче красота: две атаки за весь день... Курорт!.. Сели руманешти без боезапаса! Вот теперь их и долбануть, пока не подвезли, товарищ контр-адми-

рал... На Федоровку высажу десант—человек полтораста, дорогу теперь знаем... Они там такую полундру подымут, что ему в тылу дивизия померещится... А я отсюда ударю... Тут—Третий морской полк... Армейские части—в центр...

Адмирал, кивнув головой:

— Смелый план... Блестящий...

Он встал и повернулся к сейфу. Архипов оживленно продолжает:

— Засиделись матросы, товарищ контр-адмирал, дайте только команду,— так кинутся, что и не удержать... Километров на пять отбросим, вздохнет Одесса...

Пока Архипов это говорил, адмирал достал из сейфа небольшой листок, протянул Архипову:

— Прочтите-ка, полковник...— И отошел к окну.

Архипов читает. Вскинул глаза на контр-адмирала, тот стоит к нему спиной. Архипов прочел еще раз — и внезапно опустился на стул. Вынул мундштук, сунул в рот без папиросы, стиснул зубами. Еще раз читает, не в силах понять. Ходит на скулах желваки, поневеливается в углу рта мундштук. Треск. Архипов вынул из зубов мундштук, посмотрел на разгрызенный его конец и сунул в верхний карман гимнастерки.

— Ясно, товарищ контр-адмирал,— глухо сказал он, не подымая глаз.

Контр-адмирал повернулся, взял у Архипова листок, кладет в сейф:

— Поэтому задача полка будет другая...

Он обернулся. Архипов попрежнему сидит неподвижно. Адмирал взял его за плечи, встряхнул суровой военной лаской:

— Ну... полковник... полковник!

— Слушаю вас, товарищ контр-адмирал...

Застывший каменный профиль Архипова на фоне карты Черного моря. Музыка.

Проявляется карта Южного фронта на 12 октября 1941 года. Удар на Запорожье. Удар на Перекоп... Глубоко в тылу врага осталась Одесса. К ней по морю тянется от Севастополя линия морской коммуникации, бегут по пунктиру кораблики. Грозно и настойчиво бьет на Перекоп стрела со свастики... И вот уже линия снабжения Одессы идет не из Севастополя, а через все Черное море — с Кавказа... Бежит ряд корабликов—и исчезает в глазах, не доходя до Одессы, потому что на ниточку коммуникации сыплются удары: с Тендры налетают самолеты, из Варны — подводные лодки, из Николаева — торпедные катера, и у самой Одессы тяжелые орудия и туча самолетов встречают караваны... А толстая стрела все бьет в Перекоп, и другая ползет к Ростову...

Музыка заменилась непрерывным грохотом далеких орудий.

Архипов стоит перед разведчиками в садике у хаты. Лица их напряжены. Они слушают, что говорит Архипов:

— Поэтому задача полка будет другая: оборона Крыма.

Он вынул мундштук, вставляет папиросу. Мундштук спилен и заточен, сильно укоротился. Архипов продолжает:

— Полк уходит ночью на последних трап-спортах. Вы остаетесь пока в Одессе, будете подрывать объекты по плану... Уйдете вместе с батареями. Сигнал отхода — взрывы батарей. Услышите — идите к шлюпкам. В море вас подберут. Всё.

Он оглянул разведчиков:

— Понятно?

Молчаливе. Кротких, который стоял против Архипова в страшном напряжении, вдруг отвел:

— Однако не все, товарищ полковник.

— Что именно?

— Непонятно, чего ж нам уходить...— Кротких почти задыхается.— Ну пусть... пусть подвоза больше не будет... пусть мы в самом тылу у них очутились... Уходить-то чего же? Клялись мы умереть в Одессе,— а уходим?..

Архипов глубоко затынулся папиромой. С огромной болью, опустив глаза на мундштук:

— Умирать, товарищ Кротких, будем там где родные пужно...

Дрожит в его пальцах мундштук с изуродованным концом. Он поднял руку, сурово поправил воротник гимнастерки. Выглянула тельняшка. Архипов заговорил через силу:

— У каждого моряка нынче сердце криком кричит... Умереть тут, может, и легче было бы: ничего не увидишь... Ни того, как посадочки эти, кровью матросской полноты, оставляем... как порт оставляем... как город этот—красоту черноморскую — оставляем.

Он помолчал. Взял себя в руки. Поднял глаза, другим тоном:

— Война еще не кончилась, матросы. Долго нам еще биться. В Крыму сейчас каждый человек дорог. Всю ярость туда несите, все силу... В Одессе мы свое дело сделали. Одесса два месяца Гитлера по рукам вязала... Половину румынской армии перемолола — и всю бы смолола, если б не Крым... По шесть врагов на каждого из нас в Одессе приходилось — по десять бы приняла! — если б не Крым. Теперь товарищ Сталин говорит: Крым, Севастополь. Флот.

Гул орудий заглушает его. Бьют морские батареи Одессы. Музыка: в полную мощь развернулась тема морской души. На кадрах стрельбы и взрывов одесских батарей начинается наплыв:

**И восемь месяцев бился за Крым
первый морской полк...**

Окопы на горах у Севастополя, в них моряки и красноармейцы. Идет надпись:

Двести пятьдесят дней — пылающих, грохочущих от зари до зари, наполненных смертью и отвагой...

Севастопольские морские батареи бьют залпами. Корабли стреляют из бухты.

...Двести пятьдесят дней отбивался от гитлеровских палачей Севастополь...

Площадь перед пристанью. В дыму взрывов и пожаров, среди разрушенных домов цепколюбиво стоит памятник Ленину.

...Город мужества, верности и славы.

Тихая вода бухты. Из нее вздымается каменная стена Константиновского рavelина — такая, как мы видели ее, когда Филатов и Кротких стояли на палубе крейсера на спуске флага. Жаркий полдень. Плещется о камни ливневая волна.

Музыку заглушают раскаты бомбежки. Проплывают перед взглядом древние стены рavelина, обрывающиеся к воде, — и тогда правее них открылась Северная сторона Севастополя. Там встают огромные — до неба — столбы дыма и пыли: июньская бомбежка.

На дымах взрывов идет надпись:

Семьдесят четыре моряка, прижатых к воде, дали Севастополю слово — держать рavelин, пока не выйдут из бухты последние катера...

Дворик рavelина. Густо взлетает каменная пыль, гудят самолеты — форт бомбят. Ступени к стене, обращенной к противнику, на них лежит бескозырка. Из обвалившихся камней торчит рука в полосатой тельняшке, застывшая на автомате.

Поворот ступеней — открылась стена. Между камней, спинами к нам, залегли редкой цепью моряки. Разбитое противотанковое орудие, пустые гильзы. Стоит в тени бидон из-под бензина. Снова вой бомбы, взрыв, пыль. Бидон качнулся. Его тотчас подхватила рука. Голос:

— Однако последнюю воду так погубите...

Это сказал Кротких. Он очень изменился. Мужественнее и суровее стало лицо, острее и серьезнее взгляд. Он в белой рубашке с синим воротником, рядом с прежней медалью — орденом Красной Звезды. На бескозырке та же ленточка «Яростный». Он поднял бидон и переставил его в щель между глыбами камней:

— Догадались, куда поставить...

— В тень, товарищ старшина, — ответил моряк от стены.

— В тень... Больше не привезут, беречь надо...

И он снова залег к пулемету. Отсюда виден подход к рavelину: чернеют трупы немцев, стоят три подбитых танка. Мертвая пустыня

войны. Гул самолетов уходит — и тогда пустыня оживает. Крик: «хайль!» Атака — больше сотни немцев.

Кротких поднял камешек, положил у пулемета: одиннадцатый. Ждет. Немцы бегут к пролому стены, сделанному бомбой. Когда они сгрудились там, их встретил огонь. Кротких водит пулеметом...

И снова перед рavelином — мертвая пустыня войны. Кротких повернул голову вправо, крикнул:

— Фролов, Сидоркин! Чего молчали? — Ответа нет. — Эй, на Чортовом гнезде!..

Открылось Чортово гнездо — самый угол рavelина, командующий подходами к передней и правой стене: выступ, вздымается пыль.

— Однако опять накрыло, — сказал Кротких соседу.

— Место больно голое, — ответил тот, набивая диск. — Тут хоть за камнями, а там и не укрыться... Что ни бомбежка — прощай.

— Слетай, посмотри.

Моряк побежал к углу, пригибаясь. Кротких уронил голову на пулемет, прижался лбом. Голос:

— Ранены, товарищ старшина?

Это подполз капитан-лейтенант в морском кителе, почти белом от пыли. Кротких поднял лицо:

— Притомился, товарищ капитан-лейтенант.

— Сколько у вас осталось?

— Однако — восемь... Чортово гнездо молчало.

— Так... — капитан-лейтенант потер лоб. — Всего тридцать шесть, и еще новый пролом... Придется оборону перестраивать... К пролому сдвинем всю Седьмую морскую и Третий морской полк — это двадцать один человек... А правый фланг — на ваших оставляю. И Чортово гнездо... Угол, главное дело, берегите.

— Есть.

— Четыре катера в Севастополь прорвались. Надо держаться.

— Вудем.

Капитан-лейтенант отполз. Кротких поднял глаза на Чортово гнездо, прислушался. Потом резким жестом сбросил со стены одиннадцать замешков и стал наматывать на плечо пулеметную ленту. Вернулся моряк:

— Недочет, товарищ старшина... Оба.

— А пулемет?

— И пулемет покарябало. — Он вытер рукавом лицо. — Место ж какое!

Кротких поднялся:

— Товарищ Попов, принимайте команду. Шесть человек, вы седьмой. Задача прежняя... Берись, помоги перетаскать...

Они взялись за пулемет, потащили к Чортову гнезду.

Чоргово гнездо. Это голая площадка на углу рavelина. Кротких один. Он оттащил в сторону разбитый пулемет, установил свой. Положил тела двух убитых рядом с четырьмя, лежащими в сторонке на этой голой площадке. Размотал ленты, осмотрелся. Вправо и влево стены, под ними трупы немцев.

За левой стеной — море.

Закат. Спокойная далекая гладь. Гул бомбежки города и оружейной стрельбы доносится к Чоргову гнезду. А море — спокойно, проточно, чисто.

Кротких смотрит на море. Вдохнул. Вполголоса начал песню о морской душе. Напевая, достал «вахтенный журнал», порядком потрепанный. На листке 30 июня записал: Чоргово гнездо. Перелистывает календарик.

Быстро замелькали листки, задерживаясь на некоторых надписях. И по ним, вместе с Кротких, мы вспоминаем его путь: Федя с наганом... Отец... Родина, корабль, командир... Татьян (зачеркнуто «а» на конце)... Морская душа... Ненависть — (рукой Татьяны)... Крым. Севастополь, флот... Перекоп... Отбили второй штурм... Старшина 2 статьи А. Кротких... Третий штурм... Рavelин... Рavelин... Рavelин... Чоргово гнездо...

В негромкую его песню входит нарастающий гул самолетов. Кротких поднял голову, еще раз окинул взглядом площадку: укрыться негде... Взглянул на убитых — и поставил за последней записью твердую жирную точку. Положил «вахтенный журнал» рядом, обеими руками покрепче надвинул бескозырку:

— Ну... Давай, фронт, не задерживайся...

И как бы в ответ ему засвистела первая бомба. Он принял к пулемету, вцепился в замок руками. Бомбежка...

Рavelин с воды в закатных лучах. Один за другим срываются на него пикировщики. Это похоже на парад. Над рavelином — столбы каменной пыли.

Кротких в Чорговом гнезде. Прыгает пулемет, визжат осколки. Странно пошевелился один из убитых моряков — осколок откинул мертвую руку.

Лицо Кротких: он зажмурился, капли пота текут из-под бескозырки... Вдруг он открыл глаза, поднял к небу лицо. Хрипло:

— Бей, не жалей! Кого убить вздумал?..

И хрипло, странно, безумно — он во весь голос зашел песню о морской душе — о победе, которая ждет, которая будет... Шмякнул рядом большой осколок прямо в «вахтенный журнал», взвилась пыль. Хриплый голос Кротких — крик, а не пение, — переходит в мощный оркестр. Воют пикировщики, грохочут взрывы — а над морем, над рavelином, над

облаком каменной пыли звучит песня, гимн мужеству и упорству морской души...

Внезапная тишина. Стена рavelина. Лежит убитый Попов, заваленный камнем. Еще один убитый моряк. Отсюда видно, как немцы — уже нагло — бегут к пролому стены. И снова их встречает, хотя и редкий, огонь. Немцы в проломе. И тогда с фланга косит их с Чоргова гнезда пулемет.

Там Кротких. Лицо его странно искажено. Он то и дело роиет голову на прыгающие у замка руки, но стреляет. Левая его нога искромсана осколками бомбы. Впитывается в каменную пыль кровь.

Атака немцев захлебнулась у пролома.

Тяжело дыша, Кротких туго перетягивает ногу выше колена израсходованной пулеметной лентой. Сквозь зубы:

— Кого убить вздумал? Севастополь?.. Врешь, однако...

В тишине, наступившей после атаки, голос капитан-лейтенанта:

— По стене! Наличие сообщить! Седьмая морская бригада!

И торжественно идет переключка:

— Четверо!

— Охрана водного района!

— Двое!

Кротких с трудом подполз к стене, смотрит влево:

— Попов!.. Попов!.. Первый морской, кто жив?..

Идет по стене переключка:

— Третий морской полк!

— Пять!

— Госпиталь!

— Трое!

— Порт!

— Четверо!

— Первый морской полк!

Кротких через силу:

— Один! — и снова опустил голову на пулемет.

В тишине звякнула под стеной каска или котелок. Он поднял голову, насторожился.

С выступа видна часть правой стены. Взявшись за обломки, крадутся к пролому, сделанному залповой бомбой совсем возле Чоргова гнезда, автоматчики.

Кротких с трудом повернул пулемет, наклонил ствол. Ждет, тяжело дыша. Пальцы его двигаются давним — филатовским — жестом...

Сумерки. Рavelин с моря. Проходят из бухты катера. Четвертый со шлюпкой на буксире повернул к рavelину. Отдали с хода буксир — шлюпка подошла к ржавому под стеной, катер отошел. Из шлюпки, вытолкнутой ранеными, выскочил моряк. Кинулся в дверь рavelина.

Автоматчики уже у пролома. Кротких дает губительную очередь. Часть немцев рухнула, остальные бегут по камням к Гнезду. Кротких, пристав на руке, швырнул вниз гранаты — три, одну за другой. Кучка растаяла. Но огромный немец с силой кинул из-за камней вверх гранату. Она разорвалась на самой кромке стены.

Немец ползжал за камнем, прислушался. Махнул рукой, встал. На френче его — железный крест. За ним поднялось еще четверо, карабкаются к Чоргову гнезду. Оттуда ударила очередь — и все они покатались вниз.

Чортово гнездо. У пулемета, на месте Кротких, капитан-лейтенант. Он осмотрелся: внизу только трупы. Наклонился над Кротких. Другая нога того разворочена осколками гранаты. Он перевязывает Кротких, то и дело поглядывая за стену.

По ступеням рavelина подымается моряк, выскочивший из шлюпки. Та же бескозырка лежит на них, видна та же рука с автоматом. Но лежит еще бескозырка... еще... Раздавленный камнем битон... убитый Попов.

Чортово гнездо. Моряк со шлюпки выглянул из-за камней:

— Товарищ капитан-лейтенант... Приказ вам: уволить лютей. Шлюпка ждет, сейчас катер подхватит... последний...

По ступеням спускаются моряки, несущие Кротких. Он очнулся. С трудом огляделся. Глухо:

— Давай назад... Я еще не мертвый...

Моряки идут.

— К пулемету положите... руки-то действуют...

Моряки молча идут. Кротких рванулся. Бешено:

— Назад неси, говорю! Нельзя мне из Севастополя, пойми!. Назад!

Взрыв стет снял у него силы. Он поник, голова его качнулась на плечо несущего моряка. Музыка.

Катер подходит к рavelину. Сумерки. Из ниши, до сих пор стоящей над рavelином, выходит к шлюпке на шлюпке торжественная процессия из девяти моряков. Они идут молча, неторопливо, вынося свое оружие и раненых. Идут перевязанные, засыпанные каменной пылью, в разорванных тельняшках, — идут грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки нахимовских матросов, бившихся когда-то в этом старом рavelине.

Симфонией славы — неувядающей славы Севастополя — звучит музыка. И плывет в ней цельное лицо Кротких — застывшая маска ярости, гнева, упорства.

Море. В сумерках, все стужающихся, идет катер. На буксире у него шлюпка, переполненная ранеными. Плещется за бортом вода, громко гудят впереди моторы катера, порой слышны стоны и вздохи сильных мужских тел, поломанных боем.

Кротких лежит навзничь в корме шлюпки. Рядом с ним, тоже на спине, — плотный моряк в одной тельняшке. Живот его забинтован, рука тоже. На ноги накинута бунтат. Лицо моряка скрыто торопливой повязкой от лба до рта, видны лишь плотно сжатые губы. Порой он облизывает их, тяжело дыша.

Кротких очнулся, приподнял голову, снова опустил.

Негромкий разговор рядом. Моряк, покачивая, как ребенка, заматанную руку, рассказывает соседу с забинтованной головой:

— Тут, конечно, она танки пустил... Шестеро нас осталось... Мы к Дому флота — знаешь, где баррикада?

— У памятника.

— Ага. Ну, там обратно автоматчики... Глядим...

Собеседник, думая о своем:

— Правду говорили, будто Ленин так и стоит?

— А как же. Вся площадь в воронках, а он — возвышается... Как бы сказать — недвижно стоит. Намек вроде такой дает...

Помолчали. Моряк с заматанной рукой:

— Ты мне вот что скажи. Бьешь их, бьешь — аж во рту противно, а они все лезут да лезут... Вот из моей жизни: на Дунае как бился — отошли... В Очакове — на Первомайском острове сколько держались? — отляли... Одесса, скажем. Обратно оставили... Ну, думаю, Севастополь. Тут-то выстоям! Все ж таки — сам понимаешь — Севастополь же!.. Что же теперь получается?

— Конеч, — глухо сказал Кротких. — Конеч Черному морю. Всему конеч.

— Кто это там говорит?.. Пристрелите его...

Это сказал моряк — сосед Кротких. Они лежат совсем рядом, неподвижные, изуродованные, два моряка в тельняшках. Медленно движутся губы, только и видные под повязкой. Отчаянье и мука на лице Кротких:

— Стреляй. Я и так однако мертвый. Душу из меня вынули.

— Зачем... отлавал...

— У тебя не вынули, да? — горько сказал Кротких.

— У меня опа... одна и живая... Только держаться ей... больше не в чем... А твою... немец вынул... Ему только того... и нужно...

Раненый тяжело дышит. Разговор его — выдох отдельного слов — тем более впечатляет, что интонации почти отсутствуют и что

паузы между выдохами-словами приходится в совершенно неожиданных местах.

— Всех-то нас не убить... Пуль у него... на то нехватит... На меня одного... восемнадцать штук... потратил... А сколько мимо... прошло... Вот он и добивается... чтобы народ... закричал — конец... Конец, мол, всему... ничего больше... не сделаешь... И это слово... ты вслух сказал... Вот и пристрелить... тебя... чтобы зараза дальше... не шла.

Молчанье. Плеск воды. Гул моторов.

— Руки у тебя... целые?.. Сверни покурить...

— Некурящий.

— В бушлате... коробка...

Кротких приподнялся на локте, дотянулся.

— Моряки, сверните соседу...

Один из раненых взял у него коробку. Кротких увидел зарево над Севастополем — и так и остался, опираясь на локоть. Глухо звучит рядом голос лежащего моряка:

— Севастополь... еще видать?..

— Горит.

— Рассказывай... как...

— Корабельная горит... Рудольфова гора... дема, верно.

По лицу Кротких пробежала судорога — он не может больше смотреть на зарево. Откинулся навзничь:

— Далеко отошли... Не видно...

— Не видно... Всей России видать... а ему не видно... Сталин сейчас... из Кремля смотрит... А ты рядом... не видишь... Над всем миром черноморская слава... огнем горит... ня-когда не сгаснет... А ты...

Он облизнул губы. С горьким упреком, даже несколько громче:

— Гляди на Севастополь... гляди... Молись на него... запомниай... Может, вернет он тебе... твою душу... Моряк...

Кротких приподнялся. Он смотрит на зарево с мукой, отчаянием и надеждой, словно в самом деле хочет вернуть себе душу. Сосед долго молчит. Потом через силу:

— Еще один такой город... и конец. Немцу конец... Только мне видно... не дожидаться... победы...

Замолк. К плотно сжатым его губам пальцы поднесли зажженную палитосу в мундштуке:

— Покури, друг.

Губы разжались, зубы ухватили мундштук. И теперь видно, что он — из наборной пластмассы, со странным — сплюснутым и заточенным — концом: подарок Филатова Архипову...

Кротких не видит: он попрежнему смотрит на Севастополь. Полыхает высокое зарево над морем.

Архипов лежит недвижно. Вспыхнула палитоса: сильным жадным вздохом втянул он

в себя дым. Потрм зубы разжались, мундштук выпал.

Он прокатился по плечу Архипова и упал на раскрытую ладонь Кротких, который все еще смотрит на зарево Севастополя. Тот невольно сжал мундштук, повернулся к соседу, чтобы поднести его к губам, — и тут он видит, что это за мундштук. Стоном:

— Товарищ полковник... это же я... Кротких!.. Товарищ полковник!

Плещет вода, негромко рокочут моторы. Губы Архипова разжаты и неподвижны. Кротких переводит взгляд на зарево.

— Конец? Врешь, немец... Тебе конец. Добьем...

Страшная сила в его взгляде, устремленном на зарево.

— Жить!.. Жить!.. — Он откинулся на спину. Шопотом, теряя силы: — Жить...

Медленно раскрылась ладонь. Долго и выразительно лежит на ней архиповский мундштук, освещенный ответами зарева. Плещет вода, рокочут моторы.

И вдруг — яркий солнечный свет, долгий аккорд предельной прозрачности и силы — победные фанфары: в лучах солнца, блистая гранями, лежит на ладони мундштук.

Кротких взрослый, спокойный, уверенный человек, удивительно располагающий к себе, стоит перед Филатовым в гимнастерке морской пехоты. Погони старшины первой статьи, длинная орденская колодка с лентачками. Солнце наполняет салон крейсера, знакомый нам. Аккорд оборвался. Кротких, смотря на мундштук, негромко:

— И знаете, товарищ капитан первого ранга... как бы сказать... ну, будто он душу свою с ним мне передал... Переворот такой в мыслях у меня получился. Что ж это, думаю, однако согнул меня немец? Поборил?.. Нет, думаю, однако не выходит еще помирать... И такая сила во мне появилась, — врачи говорят: не выживет, — а я лежу, — врешь, думаю, выживу... А тут радио над койкой: Сталинград... Ведь как он сказал, будто в воду смотрел: еще, говорит, один такой город — и победа начнется...

Кротких повернулся к карте, возле которой он стоит, и широким жестом провел мундштуком от Волги до Днепра:

— Ну и пошел я с ним по болм... Победу брать...

Филатов смотрел на него любуясь. Улыбаясь, тронул орденские ленты:

— Эх, ты... сирота... Жизнь-то, выходит, задалась?

Улыбнулся и Кротких:

— Однако обратно не задалась, товарищ капитан первого ранга...

— Ну вот... Что опять?

— Как же... Ползаешь, ползаешь по земле... Забыл уж, какая в море вода — соленая или сладкая... Моряк, моряк, а на деле — сзади ленточки, а спереди автомат.

Он стал в плакатную позу, выставив вперед руки. «Филатов рассмеялся, подмигнул:

— На корабли охотка?

— Думал опять стойкостью взять: пятый рапорт написал. Не пускают. Спец, говорят, стал...

— В чем же спец?

— Минер я, подрывник...

Филатов пасторожился:

— Подрывник?.. А ну-ка, пойдем в каюту, потолкуем...

Они вышли из салона, подходят к каюте Филатова. В коридоре прижался к переборке, пропускающая их, молодой краснофлотец с ленточкой «Яростный». Он смотрит на Кротких восторженными, обожающими глазами. Филатов, проходя мимо:

— Добровольцев я ищу... Серьезное дело одно есть...

Молодой краснофлотец прислушался, но дверь закрылась рядом с ним, показав дощечку: «Заместитель командира отряда легких сил». Он вздохнул, прошел в салон, стал прибирать посуду со стола.

Кают Филатова. Кротких серьезно:

— Задача понятная, товарищ капитан первого ранга... Только людей на нее разрешите самому подобрать... Дело рискованное, уверенность надо иметь...

— Небось, своих — Первый морской полк? — хитро посмотрел Филатов. — Добро, сделаем... — Он встал. — Вот дела какие пошли, Андриона... Пожалуй, кой-что себе в «вахтенный журнал» занашешь?

— Да я теперь больше сюда пишу, — Кротких показал на сердце, — прочнее тут... Да и писать-то нечего. Одно слово. Его я так поминь.

— Это какое ж?

— Победа.

Кротких кивнул, повернулся к двери. Филатов, смотря ему вслед, негромко самому себе:

— Хорошо, сынок... Хорошо...

Кротких проходит мимо буфета. Из двери с любопытством и обожанием смотрит на него молодой краснофлотец-вестовой, проводил глазами. Вплотную мимо него проплыла орденская колодка Кротких. Вестовой нырнул в буфетик.

Там работает «автомат», пескочасик измененный, моется посуда, клокочет пар. Паренек задумался. И снова в пару — как когда-то для Кротких — появляется быстрое видение: орденские ленточки Кротких. Они обрастают ор-

денами — Славы, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями — севастопольской, одесской, «За отвагу».

Вестовой склонился над ленточкой, пишет: рапорт. Поднял лицо — и на нос ему падает с подволока капли воды. Он вздрогнул, очнулся. Вдохнул безнадежно, вырвал и смял ленточку.

Клокочет пар в самоваре. Звук этот переходит в рокот моторов катера.

В тесной кают-компании сторожевого катера стоят четыре друга в комбинезонах и бескозырках. На них прежние ленточки: «Яростный», «Червона Украина», «Сообразительный», «Олегъ» с твердым знаком: Кротких, Корж, Соловей, Помпей. Лица их серьезные. Перед ними Филатов в регладе.

— Помните, товарищи. От вас зависит успех прорыва десанта. Повторяю задачу.

Он показывает по карте, лежащей на столе. Бухта преграждена боновым заграждением. Возле него обозначен затонувший транспорт. Мимо него к бону ведут с моря стрелки с надписями: «Катера прорыва», «Катерный десант», «Корабельный десант». И когда Филатов говорит, бон проявляется сквозь карту: это грозное и обдуманное препятствие на воде — толстые бревна, схваченные цепями, плоты с шаровыми минами, железные понтоны...

— Бон преграждает вход в бухту. Задача — сделать два прохода: здесь и здесь... Шлюпку оставите у затонувшего транспорта. Дальше в плавь. Без шума подтащите взрывчатку... По готовности — сигнал на катера.

— Ясно, — сказал Корж.

— Взрывать будете со шлюпки — точно в тот момент, когда с вами поравняются катера... Понятно, почему?

— Понятно, — кивнул головой Кротких.

— Вот и помните: раньше взорвете — катерам придется прорываться под обстрелом, позже — сами попадут под взрыв. Повторите сигнал о готовности к взрыву.

— Буква «покой», — ответил Кротких и пояснил: — проход.

— Сигнал отказа от операции?

— Буква «он» — отбой...

— Когда это даете?

— Если не удастся подготовить оба прохода.

— Так. — Филатов взглянул на часы, повернулся к двери: — Радисту сказать — передать радио на базовую радию!

Застучал ключ, радист катера работает. Писк радио.

Радио принимает радистка береговой радиции. Она подняла голову: это Татьяна. Она в морской форме, на фланелевке — ленточки: одесской медали и Красной Звезды. Татьяна бочила прием, оклинула:

— Шифровальщики!.. Экстренная—в штаб флота!

Она повернулась и этим движением уронила что-то, что глухо стукнуло о пол. Нагнулась поднять — и тогда видно, что край ее форменной юбки обвис на правом колене: в пол упирается одна нога. Рядом лежит упавший костыль.

Татьяна подняла его, поправила наушники. Слушает писк радио.

Кают-компания катера. Филатов жмет руку Коржу:

— Счастливо, товарищ Корж...

Тот протянул ему записку, несколько смущаясь:

— В случае чего, товарищ капитан первого ранга... На базовую радиостанцию...

— Жене?— негромко спросил Филатов.

— Невесте,— так же негромко ответил тот. Филатов опустил записку в карман, повернулся к Кротких, обнял его:

— Ну, Андриша... желаю счастья...

Темное море, затопивший транспорт. Торчат наклонно из воды надстройки. В тень ее тихо вошла шлюпка. На ней четверо друзей. Пробежал по морю луч прожектора и погас. Помпей ехидно:

— Прохлопали, фрицы... Ну, сгружай взрывчатку!

— Холодна вода-то,—сказал Соловей. Помпей спустился за борт, крикнул:

— Ничего... Долго ли плыть тут — минут десять. В Пусиме, почтай, сутки плавал... Давай, буксир.

Корж и Кротких спустили за борт взрывчатку — она на пробковых поясах. Помпей и Соловей поплыли — и за ними потянулся толпкий тросик. Кротких полез в воду с другого борта:

— Давай пашу...

Корж спускает в воду вторую взрывчатку.

Бои в темноте — такой, каким мы видели его при задании Филатова. Лязгают на легкой волне понтоны, цени. Две головы в воде. Шопот Кротких:

— Проволоку кусай, может, сигнализация... Или к минам идет...

Из воды высунулась рука с кусачками. Палют обрывки проволоки. На борт взобрался Кротких, осмотрелся, лека:

— Подтаскивай взрывчатку... Мины у них тут — ахнут — проход будет, что надо... Липкор пройдет...

Луч прожектора ползет по морю. Оба прикипают к бону. Луч ползет дальше и освещает понтон влады от Кротких. Там, рядом с большой шаровой миной, притаились Соловей и Помпей. Прожектор задержался, водит лучем

по понтону. Простучала очередь пулемета с близкого берега.

Помпей ворчливым шопотом:

— Вот, туды их в колесо... Заметил нас, что ли?

Соловей презрительно:

— Контроль это. Со страху.

Прожектор погас. Помпей поднялся:

— Давай, закладывай...

Они поднимают из воды взрывчатку.

Шлюпка. Корж и Кротких, мокрые, сидят на банках. Кротких присоединяет провод к индукторной машинке, взял в руки второй провод. Повертел, отложил, ждет.

Далекая очередь пулемета. Ползает по бону прожектор.

— Опять бьет... Видит их, что ли?

Еще очередь, потом луч погас. Кротких облегченно:

— Ну, скоро приплывут...

Понтоны. Соловей волоком тащит Помпея к воде. Тот стоит.

— Куда задело-то, Помпей Ефимович?

— Под коленку... И бедро, кажись... Оставь ты меня, говорю...

— Потерпите, в воде полегче будет. На спинку ляжете, а руками за пробку, я и дотащу... Порядочек. Помпей Ефимович...

— До утра ты меня буксировать будешь... Плыви олимп, говорю...

— А вы не кричите, Помпей Ефимович. Я вас только подальше от этого шума оттащу — и к Андрише... Вы поплаваете, а я кролем, быстренько... Скажу — зреть, жол, машинку, полный поряток... И за вами...

Луч прожектора. Соловей прижался к палубе понтона. Очередь пуль простучала по железу. Соловей охнул, схватился за плечо. Помпей с трудом:

— И тебя?

Соловей через силу:

— Порядок, Помпей Ефимович... Сейчас поплывем...

Он пытается потащить Помпея и глухо стонет, сдерживаясь. Помпей решительно:

— Слышь, Соловей... Бросай... Сам'елва догребешь... Плыви — доложить надо, цуеть дает сигнал... Плыви.

— Да я хоть в воду стану вас... Как же тут?.. Нельзя же...

— Плыви, не чикайся. Время идет...

— Да как же. Помпей Ефимович...

Помпей приподнялся. Лицо его грозно.

— Как же, как же... А как же флоту дорогу закрыть? Плыви, говорю!.. Из-за одного старика победу продать?.. Плыви!

В море стоит катер с застопоренными машинами. Филатов в рубке смотрит на часы.

— На мостике! Сигнала не видеть?

— Нет еще, товарищ капитан первого ранга...

Филатов медленно стал крутить папиросу папкартой. Размеренно движутся его пальцы.

Так же размеренно движутся пальцы у ручки индукторной машинки на шлюпке. Второй провод лежит возле, все еще не присоединенный.

Кротких один, ждет, всматриваясь в темноту. Плеск воды. Подплыл к шлюпке Корж.

— Беда, Андрей... Старика поранило, Соловья у шлюпки подобрал...

Они вытаскивают на шлюпку Соловья. Тот задышался:

— Только его потащил — самого стукнуло...

— Далеко оттащил?

— Нет... Так у мины в лежит...

Кротких смотрит на провод, — тот, что не присоединен к индуктору — провод уходит в воду, выныривает у понтопа, идет к взрывчатке. Неподалеку от нее лежит Помпей, тяжело дыша... Снова шлюпка, провод в руках Кротких. Корж из воды:

— Андрей, я сплываю... Не успею — хоть воду затащу...

Кротких с отчаянием смотрит на светящийся инферблат часов:

— Сейчас сигнал надо давать... Все сроки прошли... Пока корабли лойдут — светать начнется...

Он опустил голову, сжал руками лоб. Потом открыл лицо, искаженное страданием. Глухо:

— Ну, моряки... давайте тянуть... кому...

Пальцы его взяли второй провод, присоединили к индуктору. Соловей, вздрогнув, понял. Со стоном:

— Я не могу... Сам его к мне положил... Не могу...

Кротких яростным вскриком:

— А я могу?... Так что же — один проход делать? Отбой давать? Всему делу стоп?

Он прижался лбом к индуктору. Молчанье. Кротких поднял голову, чужим голосом:

— Спички у нас где?

— Под банкой, — сказал Корж. Он попрежнему в воде, голова его опущена на руки, держатся за борт.

Кротких наклонился, вынул из коробки три спички. Разломил одну, зажал спички в кулак. Протянул Соловью:

— Тяни, Саша.

Соловей тянет. Дрожит рука. Рывком вытянул: длинная. Кротких Коржу:

— Тяни ты.

Корж тянет, не подымая головы. Показывает, не смотря:

— Гляньте... что там...

В огромных его пальцах зажат обломок спички. Кротких негромко:

— Тебе...

Корж поднял лицо, на нем ужас.

— Не могу... Стреляй, старшина — и могу!

Кротких яростно:

— А севастопольцы могли? Четыре часа — могли по своим стрелять? Забыл воробьевцев? — Подкатившим рыданием: — Надо... Помпей — надо!..

Плеск воды. Корж оттолкнулся от шлюпки, поплыл. Кротких вслед:

— Куда?

— До деду... мабуть успею... А не успею — рви...

Голова Коржа скрылась в темноте. Кротких поднял сигнальный фонарь. Лицо его застыло каменной маской, глаза сухи. Огонь неавысти в них.

— Заплатят... И за это заплатят...

Он с силой ударяет по клавише фонаря. Вспыхивает узелкий лучик света, обращенный в море. Летят световые знаки: точка — тире — тире — точка... Знаки переходят в букву «П», она пролетает по экрану. Стучит клавиша фонаря. Застывшее лицо Кротких.

Катер. На мостике Филатов смотрит в бинокль. Не опуская его, он командует:

— Сигнал! Товарищ командир катера, давайте ход!

Руки на машинном телеграфе рванули ручки доотказа. Взревела моторы. Бурун промелькнул на воде... За ним второй, третий... Пронесется катера.

Корж плавает, задышался. Луч прожектора лижет впереди далекий еще борт, гаснет. Нарастает гул моторов.

Понтон. Помпей попрежнему лежит у мины плавничь. Далекий гул моторов. Луч прожектора ползет по понтону — и в его свете мраморной скульптурой видно лицо Помпея. Она торжественно и спокойно. Помпей приподнял голову, прислушался. Далекий гул моторов...

Помпей медленно саял бескозырку, поцеловал буквы «Олетъ» — и положил ее себе на грудь.

Стучит на берегу пулемет. Очередь пришла по понтону и перерезала провод, ведущий к взрывчатке со шлюпки. Провод скользнул в воду.

Помпей этого не видел: он лежит, смотря неподвижно вверх.

Торчит у взрывчатки обрывок провода.

Гул катеров нарастает. На шлюпке Кротких продолжает сигнализировать, вглядываясь вбок. Там

в фосфоресцирующем буруне промелькнула тень первого катера.

Кротких быстро положил фонарь, взялся за ручку индуктора.

Пальцы его на ручке индуктора дрожат.

Лицо его в предельной муке. Он вдруг зажмурился, отвернул лицо, резко крутнул ручку. Тотчас ахнул далекий взрыв. Кротких охватил голову руками, замотал ею в нестерпимой боли.

Соловей, который, привстав, смотрел в сторону бона, вдруг вскрикнул радостно, почти безумно:

— Один!.. Андрюша — один взрыв! Провод не сработал!

Кротких поднял лицо. Пот катится по нему. Кротких в страшном смещении счастья и ужаса, криком:

— Один?.. И проход — один?..

На мчащемся катере Филатов смотрит вперед, стоя рядом с командиром катера. Сквозь зубы:

— Один... Один проход... Лево на борт!.. Не вышло командир... Толчея сейчас будет, держитесь!..

Корж плывет в темной воде, в отчаянии всматриваясь. Грохочет гул взрыва. Корж радостно:

— Один!.. Поспею...

Он плывет с утроенной силой.

Понтон. Еще звучит гул близкого взрыва. Помпей — на коленях. Он с трудом встает на ноги, цепляясь за большую шаровую мину. Глухо и медленно:

— Эх, моряки... Слабые люди... Самому-то... разве легче...

Нарастает гул катеров. Пятаясь, Помпей выпрямился, держась за мину. Он поднял высоко руку, — в ней скоба от цепи. Он с силой ударил ею по мине.

Спящий взрыв.

На катере. Грохот взрыва. Филатов резко повернул голову вправо. Полным голосом, ошарашено:

— Молодцы!.. Право на борт, лейтенант, действовать по плану!

Вспыхнули берега прожекторами, небо — ракетами. Светло, как днем. Мчатся к бону двумя колоннами катера. Орудийный и минометный огонь с берега встречает их. Филатов торжествующе:

— Поздно, поздно!.. Прорвались!

Мимо катера проскакивают уже остатки бона, пенится за кормой вода, и волна приподымает небольшой темный предмет, ясно видимый в свете ракет и залпов.

Плывет в этом свете Корж. Он едва двигает руками. Шепчет:

— Це ж человек був... Эх, диду, диду...

Он натывается лицом на плавающий предмет, машинально оцвел его рукой. Вдруг припотянул над водой: в свете ракет — бескозырка. На ней ленточка — «Олеги» с твердым знаком.

Ураган пены закрывает ее. В бурунах мчатся в оба прохода двумя колоннами катера. Всплески снарядов, разрывы мпн. По легят катера, стремительно проскакивая разрушенный бон, и вышны на палубах их моряки-десятники.

На плюпке, освещенный прожекторами и ракетами, в рост стоит Андрей Кротких. Мигает в его руках фонарь: точка—тире—тире—точка. Сияющие буквы проносятся по экрану:

П... П... П... Победа... П о б е д а... ПОБЕДА... П О Б Е Д А...

Звучит музыка—тема морской души,— и из сияющих букв, пролетающих по экрану, встает на миг видение Севастополя — целого, великоленного, солнечного, в домах, в зелени, в цветах.

И на площади — неколебимо возвышается Ленин.

Два письма из Тарнополя

ПЕРВОЕ

Так же, как и на всех фронтовых перекрестках, и на этом стоит столб с указателями: дощечка, указывающая направо—в гараж; указывающая прямо—в Тарнополь—3 км. У столба, как и всюду, стоит регулировщик, и машины сворачивают то налево, то проходят прямо, туда, где за холмами лежит Тарнополь. Дощечка с надписью «3 км» выглядит вполне мирно, по-тыловому, но в городе идет бой.

Сначала машина поднимается по косогору на высокий холм, избородженный рядами глубоких, местами обсыпавшихся от разрывов, траншей. Это так называемый район каменисто-ломен, место, где происходили особенно жестокие бои на подступах к городу. Действительно, если остановиться на гребне холма и посмотреть назад, в ту сторону, откуда начали наступление наши войска на Тарнополь, то трудно себе представить, каких усилий стоило овладеть этими подступами к городу. Широкая, со всех сторон открытая долина растилается под холмами; по ней, по совершенно открытому месту, приходилось наступать нашим и брать эти каменисто-ломы. Сложность штурма усугублялась еще тем, что, кроме обычных траншей, в холмах были прорыты многочисленные галереи для разработки камня, уходящие так глубоко под землю, что только снаряды артиллерии большой мощности и в большом количестве могли разбить и засыпать эти ходы.

Если посмотреть с холма в другую сторону, то взгляду открывается сам Тарнополь, живописный город, спускающийся амфитеатром к расположенному на запад от него водохранилищу и заболоченной низине.

Над центром города в этот утренний час то здесь, то там выются сероватые дымки разрывов и с ветром доносится автоматная трескот-

ня. Машина начинает спускаться вниз по улице, в противоположном конце которой еще сидят немцы. По обочинам дороги, в грязных канавах, изредка, то здесь, то там, лежат еще не убранные трупы немцев. Вот и сам город. Кривые улочки его восточной окраины. Низкие домики с черепичными и светлыми оцинкованными крышами. На всем лежит печать войны, прошедшей здесь, не миновав ни одного дома. У домов то совсем сорвана крыша, и рядом с этими зияющими дырами—следами разрушений, каким-то чудом, на пять метров дальше, в окнах остались целыми стекла, и сквозь них можно видеть внутренность брошенных квартир, горшки с засохшими цветами на подоконниках, шкафы с распахнутыми воздушной волной дверцами.

Мы пересекаем наполовину скошенный спарадами, маленький городской сад и выезжаем на улицу, где в одном из немногих сравнительно целых домов разместились штаб нашей части, питуемой город.

В небольшой комнате, сохранившей еще все следы мирной жизни хозяев, стоят полевые телефоны, и над планом города за столом склонились пехотные и артиллерийские командиры. На стене висит маковна и рядом с ней маленькое, грубо сделанное распятие. Книжки немецких журналов валяются возле кушетки, а на ней, кем-то раскрытый, лежит толстый, переплетенный в красную кожу том «История польского искусства». В книге изображены скачущие всадники то в плечах, то в киффератках и написанные маслом, бархатные красавицы в пышных старинных костюмах.

А посреди комнаты на столе лежат карта или, вернее, план города Тарнополя, где пронумерованы все кварталы, отмеченные красной линией,—наши, их большинство, и отме-

ченные спяним карандашом, замкнутые в центре города,— немецкие.

Сегодня на день и на ночь намечен решительный штурм нескольких кварталов, взятие которых обеспечит в дальнейшем возможность общего и окончательного штурма.

Главное, что сейчас определяет здесь характер боев,—это близость к противнику. По всей линии фронта, проходящей через город, расстояние между нами и немцами не превышает пятидесяти метров, местами сокращаясь до пятнадцати, а местами измеряется всего-навсего толщиной капитальной стены или потолочного перекрытия — там, где в разных частях одного и того же дома сидят и наши и немцы и делят его между собой по вертикали, или там, где дом разделен по горизонтали и подвальный этаж принадлежит немцам, а первый и второй — нам. Эта близость к противнику имеет в свои хорошие стороны, и свои трудности. Мы всюду находимся на расстоянии непосредственного броска в атаку, но в то же время мы лишены возможности сегодня бомбардировать немцев с воздуха, лишены возможности разрушать артиллерией целый ряд непосредственно прилегающих к нашему переднему краю домов, и даже огонь артиллерии по лежащим в глубине зданий должен быть сосредоточен на таком «пятячке», что все расчеты артиллеристов должны быть исключительно тщательны и точны.

Остатки Тарнопольского немецкого гарнизона, в который входят остатки охранной дивизии СС, остатки одной пехотной дивизии, нескольких артиллерийских полков, нескольких специальных частей и офицерского штрафного батальона,— засели в центральной части города. Эта часть города главным образом состоит из старинных, капитальных, прочнейшим образом построенных зданий, где местами стены достигают толщины двух и даже двух с половиной метров, где старинная кладка кирпича особенно несокрушима и где прямое попадание снаряда полевой 76-мм пушки оставляет на такой стене только небольшое пятно обсыпавшейся штукатурки. Дома большие, прочные—это здания тюрьмы, доминиканский монастырь, офицерская школа, замок.

На разрушение каждого из них нужны десятки и сотни тяжелых снарядов. Между тем улицы, на которых стоят все эти дома, узки и местами извилисты, узки так, что всякая стрельба прямой наводкой в этих условиях представляет исключительные трудности, а именно она во всех случаях могла бы принести наибольшие результаты.

Словом, задача взять в свои руки эту небольшую, оставшуюся за немцами часть города, является задачей исключительно трудной и серьезной. Об этом рассказывают мне офицеры, собравшиеся сейчас в штабе,

рассказывают не для того, чтобы специально поговорить, как трудно порученное им дело, а просто, чтобы я понял, о каких многочисленных и кропотливых задачах идет у них сейчас речь при подготовке к сегодняшнему штурму.

Впрочем, они могли бы мне этого даже и не говорить. Достаточно просидеть час-другой рядом с ними у стола в этой штабной комнате и прослушать серию указаний, распоряжений, донесений, чтобы понять, как сложно то, что происходило здесь вчера и позавчера, и то, что будет происходить сегодня.

Сейчас по лежащим на столе планам уточняются непосредственные задачи дня. С 15.00 до 17.55 сегодня вся артиллерия будет вести огонь. Но это не вообще огонь, но всей площади, занятой немцами. По-батареино и по-дивизионно намечены определенные объекты, разрушение которых представляется особенно важным для успеха предстоящего штурма. В 17.55, когда кончится огонь на разрушение, вся артиллерия даст одновременный пятиминутный огневой налет, и пехота пойдет на штурм.

Сейчас, в условиях уличных боев, боевой единицей стал уже не батальон и не рота, а штурмовая группа. Это пятнадцать—двадцать человек, вооруженных автоматами, винтовками, гранатами и термитными шарами для зажигания. Каждой такой группе приказано несколько пушек, которые, по указанию командира штурмовой группы, будут вести огонь прямо по амбразурам, по окнам, по засевающим пулеметчикам, открывая дорогу пехоте. Перед этими группами тоже не ставится задача вообще врваться в дом, вообще идти вперед. Нет, для каждой из них уже с утра намечены один-два дома, в которые она должна ворваться во время штурма.

Идет кропотливая работа. Артиллеристы уточняют сведения и один за другим уходят. Они отправляются вперед, туда, в самое пекло боя, на расстоянии пятидесяти метров от немцев; оттуда, находясь вместе с нехотными командирами и простым глазом наблюдая за каждым разрывом, они будут корректировать огонь своих орудий.

14 часов 45 минут. До начала открытия огня осталось пятнадцать минут. Полковник К. приказывает телефонисту вызывать по очереди командиров. Он проверяет по телефону готовность пехоты и торопит. Командиры поочередно докладывают ему о степени готовности. Они уже сейчас сидят там на своих наблюдательных пунктах, и дыхание приближающегося боя, несущееся по проводам, все острее чувствуется в комнате штаба.

Осталось пять минут до начала. Мы выходим из штаба и по разбитой улочке добираемся до наблюдательного пункта. Это высокий трехэтаж-

ный дом, расположенный неподалеку от штаба: Мы начинаем подниматься по разбитой, скрипучей лестнице, с обломанными перилами, на третий этаж, когда раздается сзади первый оглушительный треск артиллерийских залпов и вслед за этим глухие, с двойным и тройным эхом, раскатывающиеся по городу разрывы тяжелых снарядов. На третьем этаже у стереотрубы, выставленной прямо в окно, столпились несколько человек. Майор Козлов, совсем еще молодой, безусый юнона, следит в стереотрубу за разрывами. Другие нетерпеливо смотрят в бинокли. Над центром города все чаще и чаще начинают взлетать черные столбы дыма. В комнате тесно. Майор сидит перед стереотрубой в изящном плетеном кресле. В комнате все те же традиционные мадонны и распятия на стене, выбитые стекла окон, и в то же время мирно висящие на стене ковры; кушетка, заваленная вышитыми подушками, книжные шкафы и в углу стол, на котором бог весть уже сколько дней стоит недоодевший хозяевами ужин. Я подхожу к книжному шкафу и беру на выбор несколько книг. Интересно, кто тут жил? История Эллады на польском языке, одна за другой, целая полка книг Мицкевича в кожаных переплетах, кини львовских газет. Я спрашиваю, давно ли исчезли отсюда жители. — А они не исчезли, — отвечают мне. — Сегодня ночью приходила старушка-хозяйка, — она жена какого-то учителя или профессора. Они в деревне сидят, где огонь потише.

— Ну и зачем же она приходила?

— А так... Приходила, посмотрела на разбитые окна, рамы, заплакала, потом попросила, чтобы берегли то, что осталось. Ну, мы, что же, сказали: «Если немец снаряд не смажет — то цело будет». Она опять в деревню пошла.

Не желая мешать, мы вылезаем сначала на чердак, а потом наверх, на крышу. Здесь, правда, нет стереотрубы, но простым глазом отсюда все видно, и, пожалуй, даже лучше, чем там, внизу. Мой провожатый указывает мне рукой на здания, где засели немцы. По ним ведется сейчас огонь. Кругом них вздымаются фонтаны земли и обломков, хорошо видно даже, как взлетают в небо обломки стен и веером падают вниз. В двух или трех местах я вижу на крышах домов какие-то красные пятна.

— Что это? — спрашиваю я.

Мой провожатый передает мне бинокль. Я гляжу в него и все-таки не понимаю. Большие красные, похожие на скомканные полотнища куски лежат прямо на крышах.

— Это их парашюты, — говорит мой провожатый. — Вот!

Он вынимает из кармана квадратный кусок красной материи.

— Вот из этого они делаются. Я от парашюта оторвал. Они каждую ночь бросают парашюты со снарядами и патронами, но последние дни круг так сузился, что три четверти к нам попадает и четверть к ним, а некоторые, вот, на крышах застревают. Попробуй-ка, достань — под папим огнем!

Артиллерийский обстрел продолжается. Теперь отвечает и немецкая артиллерия, но ее разрывы топят в сплошном гуле нашего огня. Я спрашиваю, не найдем ли мы кого-нибудь из местных жителей?

— А как же, найдем, вон в том доме живут, я видел.

Мы спускаемся с крыши. В доме напротив, вернее, в развалинах его, действительно живут люди. В доме уцелела лишь одна комната, — в ней у окна расположились двое красноармейцев хозяйственного взвода, один из которых, уютно усевшись у окошечка в углу, чинит что-то сапоги. Еще молодая женщина, со следами увядающей красоты, стирает в большом тазу детское белье. У холодной печки, забюк съездившись, сидит дряхлый старик, а на кушетке грызет корку хлеба, обмакивая ее в подаренный бойцами сахарный песок, трехлетний мальчик.

Женщину зовут Магдалина Задорайко. Неделю назад немецким снарядом у нее убит муж, но она не ушла отсюда, она только перешла из той комнаты, где был убит муж, сюда вот, в чужую. Мужа звали Дмитрий. Он работал на железной дороге, а сына зовут Любомир. Ему даже не три, а всего два с половиной года.

Женщина замолкает и утирает углем передника глаза; а Любомир Дмитриевич, которому, на его счастье, еще мало дано понимать в жизни, спокойно сидит на кушетке, жует хлеб и меланхолично водит своим маленьким пальцем по струнам лежащей рядом с ним на тахте мандолины. Мандолина жалобно звенит.

Я спрашиваю старика, сидящего у печи: — Это твой внук?

Но старик говорит, что он чужой, он — Семен Чубатый. Его дом разбило, обзих сыновей убили немцы, а ему самому восемьдесят четыре года и некуда пойти и вот только один сосед — Задорайко, и он сидит у них, потому что некуда больше пойти.

Стекла в комнате начинают дрожать, и раздается грохот тяжелых разрывов. Женщина вздрагивает, на мгновение застывает, потом бросается к ребенку.

— Опять бомбить прилетели, — спокойно говорит один из бойцов, высовываясь в окошко.

— Может быть в подвал пойти, — говорит женщина, все еще не выпуская из рук Любомира. В это время, очевидно сделав второй заход, немецкие самолеты кладут вторую серию

бомб. Дом глухо содрогается, очевидно бомбы упали где-то близко. Женщина, прижимая к себе ребенка, бежит в подвал. Старик Чубатый ковыляет вслед за ней.

Мы выходим на улицу и, стоя под стенами, наблюдаем. Сделав еще один заход и на этот раз бросив бомбы далеко от нас, самолеты уходят. Едва все стихает, как женщина с Любомпром на руках уже появляется из подвала. — Улетели? — спрашивает она.

— Улетели.

— Пойду в комнату, — говорит сна, — а то совсем малыш простудится. Он и так у меня в подвале заболел.

— Хотите посмотреть, какие тут подвалы? — говорит мне провожатый. Мы на минуту спускаемся в подвал и осматриваем его. В подвал ведет лестница по крайней мере с пятнадцатую ступеньку. Он очень глубок и внутри разделен стенками на несколько отделений.

— Вот видите, какой неказистый, маленький дом и какой подвал. И так всюду тут, в городе. Дом уже возьмешь, а с подвалом — еще целая история. Все этажи уже разобьешь, а в подвале сидят еще немцы.

Мы возвращаемся в штаб. Полковник запрашивает пехотных командиров о результатах работы артиллерии. Почти все отвечают одинаково: «Артиллерия бьет замечательно».

— Замечательно? — громко переспрашивает полковник и, улыбаясь, смотрит на артиллериста, подполковника Бурназяна.

— Ну, если артиллеристы на вас работают замечательно, так и вы тоже готовьтесь так сделать, чтобы и они про вас сказали — замечательно!

Полковник торопится опросить всех. Время штурма приближается.

— Ну, ну, — ласково кричит он в телефон замешкавшейся телефонистке. — Девчушка, что ты так долго? Ну, скорее соединяй!

Осталось восемь минут. Через три минуты будет общий залп всей артиллерии.

— Разом все натянем шнуры и дадим залп, — говорит Бурназян. — Доложим о выполнении задания огнем.

Я тороплюсь снова на наблюдательный пункт. Взбираюсь на крышу в самую минуту начала огневого залпа. Сзади режут десятки артиллерийских стволов. Над городом сплошное море дыма, и хотя здания, по которым бьет сейчас артиллерия, всего в 600—700 метрах, но они не видны. Над ними стоит сплошная дымная пелена, в пяти или шести местах ее прорезают только высокие языки пламени начавшихся пожаров.

И среди всей этой мрачной картины вдруг неожиданно над крышами ближних домов взлетают две белые стайки испуганных домашних голубей.

Через пять—шесть минут артиллерийский залп стихает и по всему городу вспыхивает ожесточенный пулеметный огонь, сопровождаемый то там, то тут выстрелами артиллерии. Но теперь уже снаряды не летят через наши головы, теперь артиллерия бьет прямой наводкой с 60—40—20 метров. Артиллеристы подкатывают орудия на руках и бьют по целям. Начинается штурм.

Мы снова возвращаемся в штаб. Теперь сюда через каждые полчаса поступают донесения о ходе штурма. Через час приходит донесение о взятии первого дома. Вскоре сообщают о том, что взят еще один дом, на этот раз большой, капитальный — школа.

— Каждый солдат теперь знает свой дом, — отрываясь от телефона, говорит полковник. — Его дом, это не тот дом, в котором он сидел до штурма, его дом теперь тот, который он должен взять.

Начинает темнеть. Взят еще один дом. Полковник звонит командирам, находящимся непосредственно на поле боя, и требует приложить все усилия к тому, чтобы действия протекали более решительно.

Звонит непосредственный начальник. Он сообщает, что у соседа К., у полковника Дергачева дела идут значительно успешнее. Он к этому времени взял уже десяток домов. «Есть!» — говорит полковник. — «Есть», — и еще раз повторяет «есть». Он кладет трубку и тотчас же приказывает телефонистке вызвать поочередно всех своих командиров.

Снова начинаются телефонные звонки и доклады командиров. Через пятнадцать минут приходит сообщение о том, что в одном из взятых домов опять немцы. Полковник посылает офицера штаба выяснить на месте и восстановить положение в доме.

Через несколько минут новый доклад. Оказывается, первое сообщение было ложным. Получилось редкое сочетание: дом не занят немцами, но они действительно в нем сидят. В первом этаже наши, автоматчики и связисты, с самого начала дожившие по телефону, что дом взят, в третьем этаже — тоже наши, с хода проскочившие прямо туда. А во втором, среднем этаже — еще остались немцы. Сейчас их выбивают, забрасывая грабатами.

Через несколько минут сообщают, что дом окончательно взят. Уже темно. По улице мимо нас грохочут самоходные орудия. Они идут на поддержку штурмовым группам, атакующим один из главных опорных пунктов немцев — тюрьму.

Проходит несколько минут, и за нас доносятся глухие разрывы снарядов самоходных орудий. Это означает начало штурма тюрьмы.

Ночь. Бой продолжается. Сейчас обидными штурмующими частями взято девятнадцать домов. Очевидно, за ночь должно пасть еще не-

сколькo. Пулеметная стрельба смешивается с разрывами гранат и с выстрелами пушек, и во все это влетает равномерное гудение немецких самолетов над городом. Они снова кружатся без конца и сбрасывают снаряды. Небо все в разноцветных очередях зенитных пулеметов и желтых вспышках разрывов.

Один из боевых дней заканчивается. Через несколько дней наступит следующий день, побой за Тарнополь продолжается. Он идет непрерывно, переходя из дня в ночь и из ночи в день, по кольцо все сжимается медленно и верно, несмотря на отчаянное сопротивление немцев. И я думаю, что к тому времени, когда эта корреспонденция дойдет до Москвы, этот бой закончится взятием Тарнополя, и в истории войны будет перевернута и отойдет в прошлое еще одна из самых кровавых, жестоких и вместе с тем героических страниц.

ВТОРОЕ

Тарнополь взят. Уже известны и обичиe перипетии этого штурма как одного из наиболее жестоких за все три года войны. Мне хочется написать еще о некоторых подробностях, может быть более психологических, чем военных, запомнившихся мне как писателю.

Во-первых, несколько слов о полковнике К. — командире той воппской части, которая брала и, в конце концов, взяла самую тяжелую в смысле штурма, центральную часть Тарнополя. Я с удовольствием и радостью смотрел на этого человека на всем протяжении тех дней, что я у него был: и в минуты удач и в минуты неудач и огорчений, и даже нагоняев со стороны начальства, которые — чего не бывает на войне! — он тоже получал.

На войне встречаешь разных людей. Бывают люди особенно запоминающиеся, особенно талантливые и интересные; о них интересно писать корреспонденту, но, быть может, менее интересно писать писателю. И встречаешь людей, которые, кажется, ничем особенно не примечательны, так называемые обыкновенные люди, и этих, по-моему, как раз и интереснее всего наблюдать.

Полковник К. произвел на меня именно такое впечатление очень обыкновенного человека, который не отличался, мне кажется, ни большим военным талантом, ни какой-то сверхъестественной сокрушительной силой воли. И в то же время именно он штурмовал и овладел наиболее трудным участком обороны Тарнополя. А самое главное, — в этом не было ничего удивительного, и мне с самого начала, как только я понал к нему, казалось, что так оно и должно быть. Именно на таких людях сказывается обичий уровень умения ве-

сти войну, обичий средний уровень армии, в которой не все командиры высокоталантливы и непогрешимы, и которая все решительнее и спокойнее выигрывает войну.

Полковник К. за время войны продел обычный, рядовой путь офицера: терпел вместе с армией в начале войны неудачи, не пытался колесбанья в своем военном счастье и через тягчайшие испытания научился побеждать. И то, что именно этот средний человек безусловно научился побеждать, особенно радостно и интересно. Я видел его в Тарнополе в разные дни: тогда, когда за день взяли на его участке сразу тридцать девять домов, и казалось, что вот-вот он ворвется в центр Тарнополя и все кончится в нашу пользу завтра же; и в этот завтрашний день, когда его одолевали неудачи. Ему удалось взять за день всего два дома: он был зол и недоволен и, как школьный учитель нерадивых учеников, распекал своих офицеров. Видел и тогда, когда полковник сам, строя на вытыжку, мрачно выслушивал свирельный выговор, заслуженный им в этот день. Я видел его тогда, когда его войска ворвались в центр города и взяли все, что им было приказано взять; и тогда, когда он, довольный и счастливый, вместе со мной лазил по подземельям доминиканского монастыря и замка и когда разговаривал с пленными немцами. Во все эти минуты он был обыкновенным армейским офицером, с теми радостями и горестями, удачами и неудачами, которые сопутствуют судьбе такого человека. Но в то же время было в нем что-то, — во всем, в лице его, в мыслях, в словах, в поступках, — такое, что заставляло верить в победу. У нас в стране не любят громких слов. Но все-таки мне хочется сказать, что, когда я наблюдал действия и жизнь этого офицера, мне, при всей обыкновенности его, в то же время казалось, что именно в нем и во всем том, что он делает, есть частичка высокой гениальности.

Мне казалось, что другой человек, который у себя в Москве, в кабинете, руководит всем огромным и величественным делом, свершающимся на фронте, вкладывает в этого простого полковника часть своей души и часть своего гения. И это не только мне казалось, это так и было.

Расчет, терпение, спокойное мужество черед лицом опасности и столь же спокойная вера в будущее, бережливость к людям, скупность в трате сил и в то же время мгновенная щедрость и готовность к любым потерям в минуты, когда это необходимо, — все эти чувства и свойства, которые в огромном масштабе, охватывая все фронты, распространяются и воспитывают всю армию, нашли себе место здесь, в Тарнополе, в душе рядового армейско-

го полковника. Эти чувства сложились не сразу.

Простая гимнастерка с несколькими боевыми орденами, простое лицо человека, вышедшего из крестьянской семьи, простая речь, простые короткие приказания, спокойное отношение к возможности смерти и мудрое понимание того, что если убьют, все равно то, что он должен был сделать, сделает другой, который придет на его место, — вот что остается в памяти от полковника.

Он умел одинаково требовать и осторожности и самопожертвования, и он не путал эти два понятия. Когда нужна была осторожность, он требовал от своих солдат осторожности, а когда нужно было самопожертвование, он требовал от них самопожертвования во что бы то ни стало; и мне бы не хотелось оказаться на месте того человека, который решился бы недостаточно точно выполнить его приказание.

А между тем, как только речь заходила о мелких, житейских делах, полковник оказывался самым простым человеком, со своими слабостями, способным слегка и прихвастнуть прошлым, и позлословить по поводу командира соседней части, который, по его мнению, воевал хуже, а умел докладывать начальству лучше, чем он. Но как только полковник прикасался к своему делу, невнимательными длинными нитями связанному с волей человека из Москвы, вновь свет гения осенял его, и этот простой человек становился величественным, сдержанным в своих словах и решениях. Между прочим, я только на третий день своего пребывания у полковника узнал, что молодой лейтенант, адъютант его, с которым мы всюду ходили, был его единственным сыном. Если бы мне об этом не сказал совершенно посторонний человек, я бы так и уехал, не узнав об этом ни от отца, ни от сына. Быть может, это и мелочь, но, пожалуй, тоже важная.

Известно, что отсутствие позы и истерики характерно для русского стиля ведения войны. Говоря о Тарнополе, я не хочу умалять упорства немцев, как бы я их ни ненавидел, но и на этот раз приходится говорить как раз о позе и истерике как о характернейших элементах немецкой военной психологии. Я еще и еще раз убедился в этом в день взятия Тарнополя, когда, спустившись в гигантские подвалы городского замка, мы попали в огромную подземную сводчатую галерею, похожую на тоннель метро. С двух сторон ее, по бокам узкого прохода, в три ряда расположены отвратительные грязные нары, на которых вповалку лежат раненые и умирающие. В этом подвале их было, должно быть, человек триста. Со сводов течет какая-то черная, жидкость. Вся эта мрачная, не-

волью напоминающая о средневековые картины освещается несколькими мигающими свечками. Мертвые лежат вперемежку с живыми, и, проходя между рядами, пар, вы невольно натываетесь на торчание оттуда околоченные голые ноги мертвецов.

Я пытался расспросить и понять, что заставляло этих людей так держаться в Тарнополе. Я видел наших солдат в тяжелых боевых обстоятельствах и по опыту хорошо знал, чем у нас в таких случаях объяснялась непреклонность в обороне. У нас бывало так, что отдавали приказ: пеной жизни такне-то и такне-то части должны удержать такой-то рубеж для того, чтобы другие части могли выиграть сражение в целом. У нас в таких случаях никто не обманывал, мы ня на что не закрывали глаза; наши люди, не лишешные, как и все люди, страха смерти, однако, с сознанием необходимости выполнить свой долг просто и спокойно умирали в бою, потому что иначе было нельзя. И они это понимали. Не так было у немцев. Из всех разговоров с пленными я понял простую истину: они дрались, как правдо, не из самопожертвования, а для собственного спасения. Для того, чтобы добиться от них этой стойкости, их поддерживали всеми способами в состоянии истерического ожидания спасения. Причем не спасения вообще, а спасения сегодня к вечеру. Потом это «сегодня к вечеру» переходило на завтра — «завтра к утру». Потом это было «послезавтра к обеду». Им ежедневно сообщали точно, какое количество танков к ним прорывается и когда они придут, и не стеснялся тем, что ложь продолжалась уже много дней, повторял ее со многими, точно имитирующими детали подробностями. Причем, надо сказать, что если в какие-то дни эта ложь заключала в себе часть правды и были реальные возможности к спасению гарнизона Тарнополя, при наличии удачного действия абсолютных сил немцев, то в последние дни это была абсолютная ложь. Гарнизон был обречен, и храбрость людей держалась именно только на истерике, конец которой высчитывался по часам и минутам. Головные награждения людей, которые заведомо ждали только смерти или пленения, тоже были истерическим актом. Под предлогом спасения, раненых сваливали как понало в подземелья и казармы и не оказывали им (я это утверждаю согласно показаниям целого ряда пленных) в течение последних трех суток никакой медицинской помощи, не давали еды. Их заставляли верить в мифическое спасение.

Эта тарнопольская история обмана немецких солдат ассоциируется у меня с более широким представлением о системе фашистского обмана.

Те же истерические вопли о том, что придет спасение, те же мифические сроки и разговоры о мифическом секретном оружии, которым в один прекрасный день будет уничтожена Англия. Маленький тарноольский обман и всепарольный обман — явления одного порядка.

Когда оставшийся в живых, притаившийся во время осады в подвалах ксендз водил меня по подземельям доминиканского костела, в одной из галлерей он сказал мне, указывая налево, на дверь:

— А вот здесь, насколько я знаю, тоже лежат тяжело раненные немцы. Сюда они складывали безнадежных.

Мы открыли тяжелую дверь и вошли в сводчатую низкую комнату. Я осветил фонарем. Раненых здесь не было, — здесь были мертвецы, заполнившие всю комнату и лежавшие в самых разнообразных позах.

— Они уже умерли. — спокойно сказал ксендз, должно быть, видевший за этот месяц слишком много смертей, — Их не поили и не кормили. Они здесь лежат, по-моему, уже дней пять.

Я подумал, что это еще один пример типичного немецкого, фашистского отношения к людям: немцы готовы под пулями вытаскивать трупы, если есть на это приказ, но поскольку смертельно раненные уже не вернутся в строй, на них не стоит тратить труд и время и носить им воду и еду.

Мы уже собрались выйти из подвала, когда слабый голос откуда-то из угла хрипло произнес:

— Воды. Ради бога, воды.

Мы дали воды этому раненому, единственному еще оставшемуся в живых в этой комнате смерти. Мы дали воды и поднялись из подземелья наверх.

Реквием

Его окоп освещали бледные огни ракет — звезды войны.

Пропуги, тайга, о нем в тихий полуночный час весны, когда ветви кедров шевелятся и, как человечесьи руки, тянутся в мир, словно хотят обнять его.

Нарымская тайга, далекая и суровая страна Крайнего Севера, твой человек и сын — Гюрата Меженинов, пал в бою.

Его старинное русское имя, взятое от имен сибирских землепроходцев из дружины Ермака, знают отныне великие города нашей державы, знают донские степи и степи Таврии. Он их ирошел.

Спит Гюрата Меженинов на Турецком валу.

Высок и мрачен Турецкий вал — постель Гюраты.

Сюда пришел он от Сталинграда, здесь и смерть принял... Два моря бьют свою волну в узкую теснину Перекопа. Слышен Гюрата их мощный и древний голос. С Турецкого вала видна ему вся советская держава. Открывается отсюда Гюрата зубчатый гребень нарымской тайги, точно каменная гряда.

В изголовье постели Гюраты написано красноармейцами:

Великий путь от Сталинграда,
им пройденный.

И честь его и душу озаряя.

Турецкий вал, —

Увы!.. Он с нами не перешагнул

Почиб, железом вражеским
сраженный...

Солдаты просили небесные звезды обогреть безмятежный сон Гюрата Меженинова: он привык к тому, чтобы над его окопом всегда светились ракеты. Он сроднился с бледным, мерцающим светом этих звезд войны. И он отвык от звезд, неподвижных на небе.

Солдаты написали у изголовья постели Гюраты обращение к небу: «Небо чистое юса, ты над прахом героя склонись».

Гюрата Меженинов — северный человек, заслужил того.

Была несказанно прекрасной жизнь его на войне, была необыкновенной его смерть. На

поле священной войны он пережил день, ночь и рассвет бытия.

О, поле боя!

В твоей перукотворной книге люди читают откровение о Гюрата Меженинове, солдате Великой отечественной войны.

ДЕНЬ

Умножал русскую землю Гюрата, он ее и отстаивал.

Края Смоленщины.

Гюрата пришел встречать врага. И здесь начался страдный день солдата, длинный, згучий, как раскаленная полоса железа. Течение времени не в силах измерить его... Немецкая тысячепудовая броня крушила древние леса Смоленщины. Падали под нею леса. Тысячепудовая броня была в грудь Гюрата Меженинова. Он стоял. Его грудь была тверже брони, сердце — крепче стального мотора.

Двадцать шесть суток непрерывно шел бой под Ельней — первый ратный день Гюрата.

Черные череды воронья шили кровь на поле боя, как дождевую воду. Ветры не могли угнать сонмища синих, словно из железа, мух, облепивших отяжелевшую землю.

А солнце ликовало.

Жадно следил за ним Гюрата, боясь, что не выдержит оно и упадет. Вместе с ним он полз: солнце вперед и выше — в зенит, Гюрата вперед и выше — на высоты, сквозь огонь и смерть. Гюрата Меженинов харкал землею. И когда он ворвался в Ельню, то было в нем живого только сверкающие глаза и сверкающий штык.

Земляные солдаты!

Жители Ельни целовали их: впервые они погнали немца и доказали всему миру, что немец может бежать. Девушки и женщины выносили солдатам чистые рубашки, и тут же, на площади, под солнцем передевали девушки земляных солдат. Нагте тела солдат были черны — в них вошла земля, и они вошли в землю.

Девушка с круглыми, еще детскими глазами горячо поцеловала Гюрата в грудь.

Гюрата пенатнулся. Северный человек испытал теплый толчок в сердце. И он видел, как велико было счастье, которое он принес людям. Тогда он благодарил эту тяжкую войну. Он забыл о смерти.

Не зная он, что в тот поделуй девушки вопьется железный клык войны. Не знал...

Ельня была слана вповь.

До последнего держался Гюрата. Он хотля в страшную шытковую атаку, которая была названа «атака в тумане», он готов был умереть.

Рука отчества оставила его жить и бороться.

Тогда Гюрата Меженипов понял, что перел ним громадная трудность и что его страдный день только начался. Гюрата отступал к Москве. И под Москвой он лег в окоп, чтобы уже не сделать ни одного шага назад. Злоеще метались над его окопом немецкие ракеты. Над миром лежала ночь, а над окопом Гюраты был день, все тот же, запекшийся в огне.

Имя дню было — бой.

В сиянье победы оставил Гюрата Меженипов обороненную Москву.

Его день не был окончен.

Путь его лежал туда, где нало было забыть о жизни и не думать о смерти. Бытие между жизнью и смертью ждало Гюрату.

И он шагнул в него.

Он был солдат.

Все, что открывала перед ним война, все предстояло солдату испытать и покорять.

НОЧЬ

Дожди смывали кровь, пролитую Гюратой Межениповым.

Он шел по рубежам войны, и отмерянные версты оставляли на его теле мету за метой — рубцы от ран. Не думал он о славе. Не думал.

Гюрата Меженипов стоял между жизнью и смертью — он стоял под Сталинградом.

Город в крови и огне.

Гюрата слышал, как дышит этот город, словно большой человек. Гюрата дышал вместе с ним. В галлерее подземно-минной атаки Гюрата чувствовал биение сердца города. Там, под городом, в глубине земли Гюрата Меженипов наступал. Меленно удлинялась галлерей. Узкий ход ее собственным телом, как сверлом, прокладывал Гюрата.

И крепость его тела была необыкновенной.

Восемнадцать суток он не видел света, позеленели щеки Гюраты. Над всем миром стоял

день, а у него была ночь: горела светляк, блестела лопатка, цепенежа тишина.

К нему, в глухую тишину приходил гуз сражающегося города. И там, под сердцем города Гюрата Меженипов думал об отечестве. Кому поведал солдат свои думы об отечестве? Чей отклик слышал?

Он чертил па твердой стелке галлерей лишь одно слово: «Сталин... Сталин... Сталин...»

Часто сновидения возвращали его в родную парымскую тайгу. И он видел себя сияющим на мягких душистых ветках пихты у костра.

Все исчезало.

Вповь приходила в галлерейю ночь.

И только один раз слышали подземники, как робко и тихо пришла к ним песня. Слова ее были столь просты:

По серебряным волнам,

По золатым песочкам

Долго-долго я искал

Миленьких следочков.

Я следочков не нашёл.—

Их как не бывало,

С моря чистеньким песком

Следы замывало...

То была песенка Гюраты.

Она умолкла и больше не приходила. Не приходили больше к Гюрате и сновидения тайги...

Удар подземно-минной атаки был страшен. Ключевые позиции немцев, стяжавшие волжскую переправу огненным спрутом, взлетели на воздух вместе с их гарнизонами.

Гюрата испытал теплый толчок в сердце. Гюрата вздрогнул, Гюрата улыбнулся и прижал руку к сердцу — там, на груди ощутил тепло слышал поделуй девушки. И кровь вернулась к его щекам.

Торжествовала жизнь.

Привычный к почным тепям танков и орудий Гюрата Меженипов шел по степям Дона и Сала. Пожары, дороги, окопы... И новые раны. На содрогнувшейся земле Гюрата выращивал победу — плод огня и крови, плод солдатских усндий.

Во имя победы он готов был принять и вечную ночь.

РАССВЕТ

Не боялся войны Гюрата.

Он и враг испытали друг друга. Оставаться в жизни рядом они не могли. Гюрата Меженипов приговорил немца к смерти и не желал пощам себе.

У него была семья: мать, жена и сын. Он любил их, но не тосковал. Отечество взяло его семью под свое крыло, и душа Гюрата была чиста, легка.

Он трудился на равном поле ради всех.

Как некогда в тайге, так и на рубежах войны он встречал рассвет каждого дня бодрствующим. Вот гасли ракеты, и свет солнца начинал откуда-то из темного чужа пробиваться к Гюрате. Глаза же Гюраты искали врага в брезжущем рассвете, медленно открывались перед ним очертания вражеского рубежа. Чудесные краски и тени рассвета скрывали Гюрату.

И он посылал немцам первую утреннюю пулю...

На рассвете начинались атаки.

Бросал Гюрата окон. Залягтый багрянем зари сверкал верный штык Гюраты. На острие штыка солдат нес первый луч солнца. И в душе Гюраты занимался рассвет — яркий, чистый, торжествующий. Он шел в атаку, как на пир, — беззаветно. На его груди теплел тот неугасимый поцелуй, он стучал в сердце Гюраты.

Так было, пока он не видел немца.

И когда появлялся перед ним немец, ярость потрясала Гюрату. Темнела его душа. Сердце кричало о мести, о страшной каре. В эту минуту он скорее убил бы себя, чем выпустил немца.

Гюрата свершил свой приговор.

Атака — мир солдата.

Твердо знал Гюрата Меженников свое место в этом мире. Тишины в нем он не искал. В гуще немцев было место для Гюраты и его штыка. Так жил красноармеец Гюрата Меженников, проходя степи Дона, Сага и Таврии.

Но стал преградой перед ним Турецкий вал.

Теснина Перекопа, два моря — и между ними вал и жерло пушек. Турецкий вал, как бенга, мог рассказать о Крыме с древнейших лет. Гюрата должен был прочесть и разгадать эту картину.

Был рассвет и был штурм — 100-я атака Гюраты.

Тяжелый, огнемелющий дот стоял перед немцами. Он мог пожрать всех товарищей Гюраты. Дот закрывал им путь. Он уже останавливал их.

И цепи залегли. В ту минуту Гюрата вынес свой приговор: его товарищи должны были перешагнуть Турецкий вал. Гюрата полз к врагу. Все ближе становился дот. Под амбразурой прилег Гюрата. Там в мыслях происдался он с товарищами и посылал привет в далекую парьмежскую тайгу.

И вдруг теплый толчок в сердце испытал Гюрата — ожил на груди заветный поцелуй.

Поднял Гюрата тяжелую связку гранат, сам поднялся, как глыба. Он успел.

Связка мелькнула в амбразуре.

Успел и враг.

Оружие из дота ударило в упор. Тула, где теплился заветный поцелуй, впилося железо — снаряд пробил Гюрате грудь и, не разорвавшись, полетел со свистом в степь... Упал Гюрата. В последнем движении руки схватил он горсть сырой земли и крепко прижал к зняющей ране.

Дымился дот.

Товарищи Гюраты перешагнули Турецкий вал.

Сказал великий маршал о Гюрате Меженникове: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»

Великий маршал знал Гюрату.

На высоком огневом яру, над коричневым таежным Васюганом, что мост студеную землю Нарьма, заплачет о Гюрате Меженникове старый морщинистый кедр.

Под ним был последний почлег охотника Гюраты.

Слезы кедр — чистые капли смолы — упадут на вечную и нестареющую грудь земли. И она примет их в свои глубокие и сокровенные недра. Там, в их нерушимой тишине, из солей и семян жизни зачнется жизнь новая и выйдет на поверхность, на свет робким, но надежным побегом.

Торжествует жизнь!..

Друзья и братья в далеком Нарьме, вы сейчас выходите из тайги, увешанные шкурами лисиц, выдр, белок и колонков. Остановитесь! На ближнем дереве у лыжницы — таежной дороги — сделайте глубокую зарубку о Гюрате.

Друзья и братья по оружию, в час радости не забывайте о Гюрате Меженникове. В свете восходящего солнца победы лучатся его правдивые, чистые глаза. Не уставайте в отлучении! Местью врагу вспоминайте Гюрату, и мстью врагу почитайте память о боевом товарище.

Моря, хранящие покой красноармейца Гюраты Меженникова, пойте ему песню о вечности.

Вечен Гюрата.

В счастье людей, в их труде, в их «дум высоком стремлении», в радостном смехе детей — вечен..

Благословен Великий Солдат отечественной войны!

Не забудет мир о нем.

Одна из встреч

Я встретил его на улицах Бершадя, маленького еврейского местечка Винницкой области. Высокий, худой, согбенный старостью почти пополам, он медленно шел между маленькими покосившимися домиками, придерживая рукой длинный шелковый лансердак. Лицо у него было худое, точно вылитое из темного воска; из-под засаженной шляпы виднелись седые пейсы, и странно было видеть в руке этого древнего старика-еврея большой и нестройный букет наивных бумажных цветов. Встретив меня, он ласково улыбнулся, свободной рукой приподнял шляпу и, поздоровавшись, с трудом, старательно выговорил:

— Здравствуйте, товарищ офицер!

По выговору я понял, что он один из тех несчастных буковинских евреев, которых два года назад румыны, по приказу немцев, выселили из Черновиц и пригнали сюда, в крохотный поселочек Бершадь, окруженный колючей проволокой и превращенный в концентрационный лагерь. Много страшных рассказов довелось мне уже слышать про этот Бершадский лагерь, и я решил остановить старика и потолковать с ним.

«Кто я? Меня зовут Ихиль, Берко Ихиль. Я местный раввин, единственный из семи раввинов оставшийся в живых. Они были замучены немцами и румынами, а мне, старика, бог привел пережить все мучения и дожить до светлого часа избавления.

Куда я спешу? Я иду на могилу злешнего бершадского партизана и его товарищей, чтобы положить на нее эти цветы и помолиться за этих храбрых людей, столько сделавших для спасения жизни наших евреев, сидевших в этом лагере. Это целая история, и если она вас интересует и у вас есть время, прошу вас, зайдите ко мне, и я расскажу вам о всех страшных бедах, перенесенных евреями при румынах и немцах. Вы должны это знать.—как издевались эти псы над беззащитными людьми, среди которых большинство были женщины, старики и дети.

Мы зашли в маленькую закопченную камчатенку, всю заставленную полками со старыми книгами, и раввин начал свою по-

ведь, действительно заслуживающую название «страшной».

— В тот проклятый день, когда немецкая армия заняла Буковину, началось наши муки. Ворвавшимся в верод войскам офицеры говорили: «На три дня отдаем вам во власть всех злешних евреев. Делайте с ними, что хотите». Только некоторым удалось пережить эти три дня. Что происходило тогда в еврейских кварталах, трудно описать. День и ночь звенели стекла, слышались выстрелы, крики о помощи, плач детей, рыдания женщин. Всюду лежали трупы растерзанных и убитых. Немецкие солдаты, пьяные от вина и нашей крови, ходили по трупам и распевали песни. Об этом трудно рассказывать, это нужно видеть. Я знал одного молодого человека, это был цветущий юноша. Он только что женился. После трехдневных зверств немец он стал трясущимся стариком.

Но самое страшное было впереди. Всех оставшихся в живых,— а осталось нас в Черновичах около двенадцати трех тысяч,— вместе с маленькими детьми согнали на площадь городской бойни и объявили, что завтра нас отправят на работу, что мы уходим ненадолго, и поэтому все имущество надо оставить дома, с собой же взять можно не больше десяти килограмм на каждого взрослого человека.

Утром мы двинулись по дорогам на восток. По бокам с кнутами и палками ехали конные румыны, которые подгоняли нас, как скотину, и пристреливали тех, кто выбивался из сил и отставал. А таких было немало, потому что снажи нас без остановки три дня и три ночи до самых Рублениц, где в лесу было место, огороженное проволокой. Сюда загнали двадцать три тысячи человек, и тут без пищи нас держали семь дней. Когда нас снова погнали в дорогу, мы вышли, оставив около четырех тысяч покойников. Люди умерли от голода, истощения и побоев.

При выходе из лагеря мы увидели массу военных подвод, стоявших в леске. Командир, майор Братеску, приказал на эти подвод положить все наши вещи, чтоб нам легче было идти. И когда это было сделано, подводы уехали в другую сторону, и мы их больше не

видели. По никто не горевал о вещах, потому что кто же думает о шапке, когда с плеч валится голова?

Я не буду говорить вам о всех муках в пути. Нас гнали вброд через реки, и малые дети тонули на глазах матерей. Мы ползли на руках на глазах матерей. Мы ползли в гору, на которую дорога шла петлями, извиваясь по склону; немецкие солдаты стояли на вершине горы, сталкивали большие камни, и они, подпрыгивая, катились вниз, убивая наших людей. К концу пути люди, изнемогавшие от голода, начали падать десятками, сотнями. Тут же на глазах у всех солдаты пристреливали их. Короче говоря, когда нас загнали вот сюда, за проволоку этого Бершадского лагеря, из двадцати трех тысяч нас осталось только семнадцать, а к моменту освобождения нас было всего-навсего лишь три тысячи восьмьсот человек. Вы спросите: где остальные? Они умерли здесь, в этой страшной дыре, от голода, холода, от тифа, который выкашивал нас целыми семьями, целыми улицами. Ох, господин офицер! Вы даже и не представляете себе, как мы жили в этой крысоловке!

Нас не выпускали за проволоку ни на минуту. За малейшую провинность пристреливали. Мужчину не поклонился румынскому офицеру — смерть. Девушка отклонила гнусное предложение — смерть. Вышел на улицу позже четырех часов вечера — смерть. А что это были за изверги, если бы вы знали! Я сам видел, как однажды во время работ по уборке лагеря два жанпарма о чем-то заспорили между собой. Потом один из них подошел к женщине;

на спине у нее был в мешочке привязан ребенок, которого ей не с кем было оставить. Немец вырвал ребенка и палкой разбил ему голову. Он сказал: «Я хочу видеть, какие у него мозги!». Я слишком стар, чтобы обманывать, скоро я предстану перед моим богом. Мать этого ребенка жива. Ее зовут Люба Лейбш. Можете спросить ее. Она поменялась после этого...

Уже стемнело. Я вижу, вы торопитесь. Еще минуточку, я только скажу вам, кто такой тот партизан, на могилу которого я нес цветы. Это отважный человек, хозяин местных лесов. Партизаны все время держали немцев и румын в страхе. А когда перед отступлением немцы решили уничтожить всех нас, и специальный отряд с пулеметами пришел для этого к нам в лагерь, партизан этот и его люди сделали на немцев налет, перебил их и тем самым спасли нам жизнь. В этом бою, последнем своем бою и был убит великодушный украинский партизан, вставший на защиту наших детей и женщин. Все местечко хоронило его и его товарищей, и тысячи глаз, которые, как казалось, от горя высохли навсегда, пролили слезы над его могилой».

Раввин замолк, теребя своей восковой рукой бумажные цветы букета. Мы молча пожали друг другу руки, и я вышел на темную уже улицу, гудевшую сотнями голосов. Люди, смирившиеся с мыслью о смерти, боявшиеся выходить на улицу, теперь жадно, полной грудью выхали воздух весеннего вечера. Им возвратили жизнь.

Переправа

По сверкающей глади Прута, то чисто голубой, когда над рекой ясно, то мрачно-винной, когда по небу плывут тяжелые тучи, далеко разносится бодрый стук топоров, глухое ухапье «бабы» да старинный растянутый припев «Дубинушки»:

— Эй, ухнем, взяли, пошло пошло.

Это наши ижеперные войска наводят так называемую жесткую переправу, то есть, попросту говоря, восстанавливают большой мост, который румыны и немцы взорвали перед отступлением. Работа идет споро, весело, и хотя подразделение лейтенанта Сидоренко трудится без отдыха и почти без сна третьи сутки, хотя и сейчас шестеро сапер, держащих сваи, стоят по грудь в студеной вешней воде, смех не смолкает, и над рекой то и дело слышится веселая, озорная, приправленная соленым солдатским словом при-

певка «Дубинушки», тут же на ходу сочиненная ефрейтором Полищуком, который командует группой сапер, загоняющих сваи.

Уж мы Гитлера уважим
Дуло мы ему покажем,—

высоким надтреснутым тенором запекает Полищук, и бойцы дружно подхватывают припев:

Ухнем, взяли, пошло, идет.

Полновесные удары «баб» обрушиваются на сваи, и сваи толчками входят в глинистое речное дно.

Саперы веселы. Весел их командир. Есть чему радоваться. Ведь этим летом они под страшным вражеским огнем строили переправы через Донец у Белгорода. Тогда Сидоренко, в гражданской своей жизни десятник-мостостроитель, был старшим ефрейтором. Несколько недель спустя, ночью, под прикрытием густого осеннего тумана, они наводили

временный мост через Вореклу восточнее Полтавы, мост, по которому к городу прошли передовые батальоны. Тогда Сидоренко, после того как смертельно раненный осколком мины командир упал на доски незавершенного моста, был уже старшиной и взял на себя командование взводом. Потом Сидоренко строил причалы для паромов на Днестре и был при этом ранен. Уже лейтенантом и заместителем командира роты он наводил переправу через Южный Буг, а через несколько дней и через Днестр.

И вот со своими людьми он наводит мост через Прут, мост через границу, по которому победоносные наши войска потоком хлынут на вражескую землю.

Шесть великих рек! Шесть крупнейших водных барьеров преодолены за восемь месяцев наступления героическими труженниками инженерных войск! И сознание, что они строят переправу через Прут, открывая путь войскам в Румынию, заставляет и солдат и офицеров забывать усталость трехсуточной непрерывной работы, ледяной холод внешних вод Прута и то, что немецкие пикировщики «Ю-87» — по шутливому наименованию сапер, «фрицы с дудкой», — все время пробываются сквозь наши воздушные заслоны и бомбы высоко вздымают над гладью Прута гудящие, огромные прозрачные водяные столбы.

Саперы даже не глядят на небо. Того, кто под ураганным огнем жаркой артиллерийской схватки перебрасывал штурмовые мостики через Донец, кто наводил переправы через Днестр, не боясь пулеметов немецкого «восточного вала», не испугаешь ни противным свистом сирен при пикировке, ни громом бомбовых взрывов, ни пулеметным обстрелом с воздуха.

В этой чудесной боевой закалке солдат Второго украинского фронта, за восемь месяцев совершивших победный путь от Северного Донца до Днестра и за Днестр, в зрелости боевого полководческого искусства его генералов — успех нашего наступления в глубь Румынии.

А пока инженерные части наводят и восстанавливают мосты, пульс переправ на Пруте продолжает биться ровно и непрерывно. На отбитых у врага паромах — больших и неуклюжих деревянных сооружениях — войска непрерывным потоком пересекают реку.

Весело, с шутками, с прибаутками, а то и с песней переправляются за реки пехотинцы в просмоленных гимнастерках, в сапогах, на которых толстым слоем лежит пыль бесконечных фронтовых дорог.

— Здорово, Румыния! — кричат они, нетерпеливо спрыгивая на доски причала, не

дождавшись, пока баркас вплотную похватит к берегу. Гулко стучат о доски лодок копыта коней. Кавалерия переезжает со своим хозяйством, с пушками, с тачанками, с обозами. По ночам, когда над Прутом стоит весенняя ночь и яркие южные звезды купаются в черной и тяжелой, как деготь, воде, на паромах за Прут переправляются орудия, танки, машины, которые скрытно от врага складываются в холмистых складах приречной степи.

Переправы через Прут работают и днем и ночью. Непрерывным потоком льются наши войска по узким артериям мостов и быстро растекаются по прибрежным дорогам, устремляясь на запад и юго-запад к жизненным центрам Румынии.

И сколько интересного можно наблюдать и услышать здесь на крутоярии, над Прутом, у дымного костра, ожидая своей очереди пересечь границу!

Маленький танкист, участник сражения за переправу, с увлечением рассказывает бойцам о недавних боях, бушевавших здесь. Он широко размахивает маленькой и сильной, переначканной в масле рукой и то и дело поправляет сползающий ему на нос рубчатый шлем.

— Немец что, он какую теперь тактику занял? Он все хочет от нас оторваться, становится да вцепиться в землю ногтями, чтобы хоть технику-то, барахло-то свое спасти. А мы ему говорим: «Врешь, собака!» Он остановится, укрепитесь, ждет. А мы по другой дороге его обойдем, охватим да как ударим ему в спину. И опять немцы мондраже, все побросают и бегут. Ничего им не дали увезти. Без порток заставим бежать тех, кому удастся голову унести.

Маленький танкист хорошо передал дух этого нашего нового наступления за Днестром и Прутом: не давать немцу опомниться, сбивать его с новых рубежей, на которых он пытается укрепиться и притти в себя, стремительными и непрерывными ударами заставлять его превращать отступление в бегство, заставлять его бросать все и вся, отрезать пути отхода и уничтожать упорствующих. Вот стиль последних боев.

К костру подходят раненые. Рангли их в боях за Трушети, Стефанети, Кларешти — уже в Румынии. Все они очень горды тем, что принимали участие в историческом переходе через границу и что дрались и ранены уже на вражеской территории.

— Вчера наша часть у железной дороги немцев отрезала. Кричим: «Славайтесь! Хендес хох! А то кажут вам бутет!» Они стреляют. Пришлось всех порешать, — рассказывает молоденький пехотинец, беряжно по-

лягивающий лежащую на дощечке и подвешенную на бинте раненую руку. Потом, разговариваясь, добавляет: — А чудной там в Румынии народ: сначала еду все прятаться. Войдем в деревню — никого, одни собаки по улицам бегают да в хатах кое-где тарнии по печкам прячутся. Что, думаем, за базля, за такая, куда ж народ весь делся? Ютом, видим, выползают понемножку из оврагов, из ям, из лесов. Смотрят на нас, делятся. Оказывается, румыны и немцы, гетупая, разные басни им про нас рассказывали, будто мы всех режем, жжем, грабим. А эти судаки поверили. А потом вернувшись в деревню, поглядели на наших бойцов, сразу иной разговор: и угостят, и приютят, и бельничко постирают... А бедность там какая... ой-ой-ой! Все рваные, грязные. И дети, и взрослые босы. Словом, начисто их немцы обобрали, и не любят же эти румыны немцев.

Бойцы, поджигавшие у костра своей очереди переправляться через Прут, с интересом слушают рассказ раненого, уже побывавшего «за границей». Попыхивают цыгарки. Кто-то спрашивает:

— Ну, а сопротивляются здорово?

— Сопротивление есть, упираются. Румыны ничего. Эти, пожалуй, непрочь и в плен сдать, да немцы что делают — они сразу ставят свои части с пулеметами и гонят румыны вперед. Да и техники они за последний день понатащили. Танки есть, артиллерия. Ну, ничего, нам не привыкать. Не таких бил под Белгородом да у Днепра.

Снизу, от переправ, слышится команда офицера:

— Вторая рота, приготовиться к погрузке!

Солдаты гасят цыгарки и бегом, подпрыгивая на ходу, сбегают с глинистой кручи. У причалов шум и смех: очередной паром привез с той стороны большую партию пленных — человек тридцать румын в своих зеленых балахонах и несколько немцев, обо-

рванных и грязных. Пленные стоят отдельными, резко обозначившимися группами, зло поглядывая друг на друга. В шумной, галдящей толпе румын молчаливые немцы чувствуют себя чужаками. Невидимая стена ненависти и презрения разделяет недавних союзников. Пленные медленно сходят на мостки и идут по берегу между столпившимися у парама нашими бойцами.

— Отвоевались, мамалыжнички? — спрашивает кто-то из толпы.

— Да, да, война конец. Гитлер капут, Антонеску капут! — галдит толпа румын. Немцы, молча, сходят на землю, глядя себе под ноги. Процессия пленных исчезает за косогором.

Опять и опять прорываются к Пруту немецкие шкировники. Выскользнув из облаков, они выстраиваются гуськом и по очереди камнем несутся к переправам. С севера наперерез им несутся наши истребители, перехватывая дорогу врагу. Слышится короткий сухой, снизу такой нестрашный, треск авиапушек и пулеметов. В воздухе завязывается клубок воздушной драки, в котором некоторое время трудно что-либо разобрать. Но вот подбитый «фриц с дудочкой» отваливает от строя и камнем падает в воду, поднимая огромный фонтан брызг. У костра продолжаете разговор. Раненый спокойно отмечает:

— Одиннадцатого за сегодняшний день сбили.

И поврежнему невозмутимо строят поврежденные войска переправу, поврежнему спокойно и неторопливо пересекают Прут паромы с войсками. Силы наши непрерывно скапливаются за рекой. В этой размеренной работе переправ — замечательная закалка наших войск, сила и непродолимость нашего наступления.

Над Прутом сияет ласковое весеннее солнце, солнце первой свободной весны после непродолжительного мрака немецкой оккупации.

Берег Прута.

Борьба народов порабощенной Югославии

Мировая общественность неоднократно и с разных сторон вводилась в заблуждение относительно истинного положения вещей в Югославии. Желая помочь ей уяснить себе подлинный характер происходящих в нашей стране событий, мы коротко изложим их, начиная с периода, предшествующего оккупации Югославии, и кончая сегодняшним днем.

I

Премьер-министр Великобритании г. Черчилль, выступая в английском парламенте, заявил, что на коммунистов Югославии выпала честь первыми начать борьбу с оккупантами. В этих сжатых словах выражен факт, которым гордятся не только коммунисты Югославии, но и все остальные патриоты всех народов Югославии.

Еще задолго до нападения Германии на Югославию, и особенно после оккупации Австрии, патриотические элементы, находившиеся в труднейших условиях подполья, не переставали указывать на величайшую опасность, грозящую народам Югославии со стороны разбойничьего германского фашизма.

Невзирая на гонения и суровые репрессии со стороны властей, они направляли всю свою деятельность и все свои усилия к концентрации всех патриотических сил страны, для подготовки отпора в случае нападения на Югославию. Этот призыв не остался безрезультатным. Молодежь Югославии, — и в особенности студенты Белградского университета, учащиеся средней школы, рабочая молодежь, — спланировала и готовилась к тому, чтобы объединенной встретить тяжелое испытание, которое постигло затем нашу страну в результате вторжения гитлеровских орд.

Какая же обстановка господствовала в правящих кругах Югославии? И в военном и в политическом отношении Югославия находилась в состоянии хаоса. В верхах генерального штаба сидели предатели типа Недича, состоявшие на службе у немцев. Югославия была наводнена немецкими шпионами-«турджами». Коррупция и казнокрадство господствовали во всех министерствах и больше всего в военном. Хотя из 12 миллиардов государственного бюджета страны 4 миллиарда шло на военные цели, югославская армия оставалась слабо вооруженной и неподготовленной к обороне страны. Националь-

ный вопрос, в частности хорватский, все более обострялся. Известный компромисс, т. е. соглашение между Мачеком и Цветковичем, означал лишь разделение власти, но ни в коем случае не разрешение хорватского национального вопроса. С приходом к власти Стоядиновича белградские правители, начиная с 1935 г., все более и более связывались со странами оси и отходили от старых союзов с Малой Антантой, Францией и другими странами. Делалось все для того, чтобы еще больше изолировать и ослабить Югославию и сделать ее легкой добычей для немецких захватчиков.

На протяжении двадцати лет Югославия оставалась почти единственной страной в Европе, правители которой, вопреки требованиям всего народа, отказывались установить дипломатические отношения с Советским Союзом. Установление этих отношений с Советским Союзом состоялось лишь в момент, когда немецкие захватчики уже крепко стучались в двери Югославии.

Перечисленными фактами и объясняется то обстоятельство, что немецким и иным захватчикам удалось разгромить Югославию менее чем за десять дней.

День 27 марта 1941 г. войдет в историю нашего народа как одна из самых ярких ее страниц. В этот день было свергнуто правительство предателя принца Павла (в котором руководящую роль играли Цветкович и Мачек) за позорное подписание им «тройственного пакта» и присоединение Югославии к странам оси. Массовые демонстрации в Белграде, в которых приняло участие свыше ста тысяч человек, а также внушительные демонстрации во всех частях Югославии показали, что народы Югославии предпочтут пойти на любые жертвы, чем стать рабами фашистских стран и изменить славным традициям своих предков.

Новое правительство Симовича, пришедшее на смену Цветковичу, оказалось не на высоте положения вследствие того, что не сумело правильно оценить несокрушимую энергию, таящуюся в наших народах, и опереться на них. Оно оставило нетронутым весь старый коррумпированный государственный аппарат, который не только был неспособен на проведение мероприятий, необходимых для обороны страны, но и открыто саботировал их.

А те десять дней, в течение которых оккупанты разгромили нашу страну, являются са-

мыми позорными днями в истории наших народов. В эти дни всплыли на поверхность вся та гниль, все те предательские махинации, которые до того искусно скрывались. Действительно ли хотели народы Югославии защищать свое отечество? Да, хотели. На объявленную мобилизацию немедленно откликнулись крестьяне и рабочие, откликнулась молодежь и вся честная интеллигенция. На специальный призыв руководства коммунистической партии отозвались все военнообязанные члены партии. Но весь этот боевой энтузиазм народа не дал результатов, ибо государственное и военное руководство оказалось не на высоте положения. Военнообязанных посылали из одного гарнизона в другой, составлялись неправильные маршруты следования. Солдат посылали на фронт без боеприпасов. В момент капитуляции генералы и высшие офицеры под угрозой расстрела приказывали солдатам сложить оружие перед врагом. Сотни и сотни примеров свидетельствуют о том, что солдаты отказывались выполнять эти приказания.

Целые дивизии и армии сложили оружие перед немцами почти без всякой борьбы, а солдаты угонились в немецкое рабство. Приобретший позорную известность предатель сербского народа генерал Недич, который заставлял свои части без всякого противотанкового оружия выступать против немецких танков и гибнуть под ними, — один из первых сдал свою армию немцам. Глядя на это гнусное предательство, солдаты плакали, а те, кому удавалось вырваться из лап немецких оккупационных войск, с проклятиями расхаживали по домам.

Вслед за тем наступили самые страшные дни в истории наших народов. В Хорватии пришли к власти подлые выродки хорватского народа — усташа, во главе с преступником Павеличем, воспитанником Муссолини и Гитлера. Началось массовое истребление сербского народа в Боснии, Герцеговине, Славонии, Воеводине и т. д. Несчастные крестьяне этих областей со своими семьями бежали в леса. Усташа вместе с немцами охотились за ними и безжалостно истребляли их там, где настигали. В таком ужасном положении оказались не только сербы, но и все честные передовые люди страны. И вот, в этих условиях народ стал постепенно, — сначала неорганизованно, — защищаться, как только мог, чтобы спастись от истребления. Такая же обстановка была и в Словении, где немцы и венгерцы начали истреблять целые села и отправлять на каторжные работы в Германию или оккупированные ею страны десятки тысяч горожан и крестьян, отбирая у них все имущество.

В этих условиях еще осенью 1940 г. сугубо конспиративно была создана так называемая Военная комиссия, задачей которой было ведение агитация среди солдат и офицеров Югославской армии за сопротивление агрессору в случае германского нападения на Югославию. В случае же капитуляции она должна была взять военное руководство в свои руки. После капитуляции в апреле 1941 г. состав этой комиссии был расширен: она получила название Главного штаба партизанских отрядов Югославий, впоследствии преобразованного в Верховный штаб.

Еще до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз руководство коммунистической партии заключило соглашение о сотрудничестве с руководством Сербской Земледельческой партии Драголюбa Ивановича и с группой доктора Ивана Риберы. В июне 1941 г. было созвано совещание, на котором было решено начать восстание во всех частях Югославии. На этом заседании было также решено переименовать Военную комиссию в Главный штаб партизанских отрядов Югославии и поручить ему руководство всеми операциями в стране. Этот штаб разослал своих членов в разные области для руководства организацией партизанских отрядов и ведения боевых операций. Были организованы небольшие диверсионские группы, которые начали разрушать телефонную и телеграфную связь, совершать нападения на склады и другие военные объекты. В эти дни белградская молодежь показала такие образцы героизма, которыми будут гордиться будущие поколения наших народов. Юноши и девушки 14 лет и старше нападали среди бела дня на немецкие грузовики, обливали их бензином и сжигали. Несмотря на виллици, вздвигнутые на площади Терезия в Белграде, учащиеся средних и высших школ, а также рабочая молодежь совершали все более и более смелые нападения.

Если до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз борьба велась, — помимо выступления в городах, — кое-где только в боснийских и герцеговинских горах, то в дальнейшем партизанское движение стало быстро распространяться и во всех остальных областях страны.

Уже в июле 1941 г. успешно действовали Валевацкий, Крагуевацкий, Ужичкий, Хомельский и другие партизанские отряды. Группы в 20—30 бойцов, вооруженные одной или двумя винтовками и несколькими гранатами, нападали на небольшие группы немецких солдат, уничтожали их и таким образом вооружались.

В то время, как в Сербии партизанское движение развертывалось постепенно, приобретая все более массовый характер, в Черногории уже 13 июля 1941 г. было организовано и проведено общенародное восстание. Десятки тысяч черногорцев, по данному сигналу, напали на итальянские гарнизоны по всей Черногории и заняли все горда, за исключением Цетинье и Подгорицы. Было взято в плен около 6000 итальянских солдат и офицеров, а также захвачено большое количество военных материалов.

Так черногорские патриоты начали свою тяжелую и кровопролитную борьбу против нескольких итальянских дивизий, посланных Муссолини для подавления восстания.

Уже в августе 1941 г. партизанские отряды в Сербии освободили почти всю Мачву и Посавину до Обреноваца. Заняты были города: Лайковац, Уб, Лыг, Крупань, Лозница, Столице, а в начале сентября Ужице, Чачак, Ужичка Пожега, Горни Милановац и другие небольшие местечки. Таким образом, партизаны освободили почти всю западную Сербию и значительную часть восточной.

Еще в августе 1941 г. Главный штаб партизанских отрядов Югославии в исключительно

трудных условиях переехал из Белграда сначала в городок Крупань, а затем в Ужице. В начале сентября 1941 г. на руднике Столице, вблизи Крупаня, состоялось первое военное совещание делегатов от всех областей Югославии. Преодолевая огромные трудности, на совещание прибыли делегаты из Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и других областей страны. На этом совещании были приняты чрезвычайно важные и далеко идущие решения. Главным штаб был переименован в Верховный штаб партизанских отрядов Югославии, а для Словении, Хорватии, Боснии и Черногории были созданы Главные штабы, командующие которыми являлись одновременно членами Верховного штаба. Еще в Белграде был принят план очищения западной Сербии и создания базы для дальнейших действий. На упомянутом военном совещании был принят план ведения военных действий и создания опорных пунктов во всех остальных частях Югославии. Кроме этого часто военных решений, на этом совещании был принят также ряд важнейших решений политического характера, как например, о призыве к сотрудничеству и к совместной борьбе всех тех сил, которые не пошли на службу к оккупантам.

Еще в Белграде Главному штабу партизанских отрядов стало известно, что где-то в горах на Равной Горе скрывается полковник Дража Михайлович, которому с группой офицеров удалось избежать увода в плен. До этого момента Михайлович вообще не вел никакой борьбы, и восставшие на защиту своей жизни боснийские крестьяне отнюдь не находились под его командованием. Я лично еще в июле 1941 г. дал распоряжение штабу Валевого партизанского отряда связаться с Михайловичем и побудить его на борьбу и сотрудничество с нами. Он решительно отказывался предпринимать что-либо против немцев, во-первых, потому, что он не имел в своем распоряжении никакой вооруженной силы, а во-вторых, боялся репрессий. В наш штаб поступил документ, в котором один из близких к нам людей из группы Михайловича сообщал нам, что Дража намерен отправить в Боснию ряд непокорных офицеров, т. е. людей, желающих бороться с оккупантами. Один из этих непокорных — поручик Ратко, Мартинович, он с первых же дней, совместно со священником Владо Зечевицем, сотрудничал с нами и создал отряд четников в районе города Крупань. Из этого документа явствует, что Дража Михайлович с помощью одного уловника готовил убийство поручика Мартиновича, когда тот будет переправляться через реку Дрину.

В августе 1941 г., немедленно по прибытии на освобожденную территорию, я отправился на Равную Гору к Драже Михайловичу, который принял меня не в своем логове на Равной Горе, а в селе Струганик, в доме воеводы Мишича. При нашей встрече присутствовали также известный великосерб Драгиша Васич и майор Мишич. Эти переговоры почти не дали результатов. Михайлович упорно отказывался начать какую-либо борьбу против немцев, считая ее несвоевременной, и т. д. К этому моменту он располагал уже некоторыми отрядами четников, организованными его офицерами на освобожденной партизанами территории западной Сербии. Было достигнуто лишь устное соглашение о том, что четники Михайловича будут лояльно относиться к партизанам и не

будут нападать на них, как это делали четники воеводы Печанца.

Дража Михайлович, который, неизвестно почему, тогда и долгое время после того, принимал меня за русского, совершенно откровенно высказывал свое мнение о хорватах и о других народах Югославии. На мой вопрос, что он думает о национальном вопросе, он открыто заявил, что хорваты, мусульмане и все остальные должны быть жестоко наказаны после чего полностью подчинены сербам. На мои возражения он ответил, что это его мнение совершенно правильно, потому что все хорваты виновны в злодеяниях усташей, все они — усташа и предатели, продавшие Югославию немцам. В конце беседы Михайлович сказал мне, что еще подумает, когда и каким образом его части начнут борьбу, и сообщит мне об этом.

В сентябре 1941 г. наши партизанские силы, совместно с отрядом капитана Рачича (также бывшего тогда в немилости у Михайловича, недовольного его участием в совместной с нами борьбе), осадили и атаковали Шабац. Эта операция не удалась. Немцы быстро перебросили две свои дивизии, два или три хорватских полка и несколько частей Лютича и уже в сентябре начали свое первое наступление против нас, продолжавшееся с перерывом до конца ноября. Самые жестокие бои шли в Мачве, на Цере и в Поцерье, в долине Ядара и у Завлаки. Наши части медленно отступали, отставая каждую пядь земли. Еще до немецкого наступления нами было принято решение о переброске крестьянами большого количества хлеба из Мачвы в горные местности около города Крупань и Сокольской планины. Тысячи и тысячи крестьянских подвод двигались в горы под непрерывным обстрелом немецких бомбардировщиков, укрываясь в лесах от бомбежек. Немцам удалось занять Лозницу в местность до долины Ядара. Почти без противотанкового оружия наши бойцы уничтожили 20 немецких танков. Неприятель потерял в этих боях больше тысячи человек. Около 600 человек было взято в плен. Встретив сильное сопротивление и боясь больших потерь, немцы не осмелились продолжать наступление в горах и начали усиленно готовиться к наступлению на широком фронте — от Кралево по направлению к Валево, до Дрины. Наши партизанские отряды перешли в контр наступление, вновь освободили большую часть Мачвы и Посавины, а самый крупный Валевский партизанский отряд полностью окружил немецкий гарнизон в Валево. Наши части при участии четников Михайловича окружили также город Кралево и при помощи тяжелой артиллерии и танков провалились в город.

Таким образом, уже в октябре 1941 г. около 1200 четников Михайловича участвовали в военных операциях у Валева и Кралево совместно с нашими частями. Во время немецкого наступления я из Крупаня послал письмо Михайловичу, в котором дал ему понять о грозившей ему опасности в случае потери нами освобожденной территории. Дража Михайлович согласился с моими доводами, и, таким образом, его отряды участвовали совместно с нами в боях с октября до ноября 1941 г.

Но этот период боевого сотрудничества оказался весьма краток. Четники под командованием майора Мишича, после первых же серьезных столкновений с немцами, бежали под

Валево со своих позиций, предоставив нашим партизанским частям сражаться одним.

После того как наши партизанские части освободили Чачак, Ужице, Ужичку Пожегу и Горн Милановац, офицеры Дража Михайловича приступили к усиленной мобилизации крестьян на нашей освобожденной территории. Мобилизация проводилась от имени короля и под лозунгом: те, кто идет в отряды четников, останутся у себя дома, а идущие в партизаны будут гибнуть в неравных боях на фронте. В освобожденной партизанами западной Сербии командованию четников было разрешено создавать части четников, а в городах Чачак, Ужице, Милановац и др.— местное командование четников совместно с партизанами.

При освобождении Ужице нами были захвачены богатые трофеи, в том числе 100 различных машин и орудий на механической тяге, в наши руки попали оружейный завод, кожевальный завод, отделение народного банка, в котором находилось около 55 миллионов динаров наличными деньгами, и т. д. До нашего прихода оружейный завод вырабатывал 150 винтовок и 40 000—50 000 патронов в день; нам удалось поднять его производительность до 420 винтовок и 80 000 патронов в день.

Успехи наших партизанских частей вызвали, с одной стороны, тревогу у немцев и недичевцев, а с другой—зависть у Михайловича и его офицеров. Уже в октябре они тайно готовились напасть на нас, чтобы отнять у нас Ужице. Недич все в большем количестве засылал в ряды четников Михайловича своих соратников, занимавшихся систематическими провокациями с целью вызвать открытое столкновение между партизанами и четниками. Последние насильственным образом захватили Ужичку Пожегу, постоянно препятствовали нашему железнодорожному движению в направлении на Чачак и Милановац и провоцировали столкновение.

Верховный штаб делал все, чтобы избежать столкновения, и вновь предложил Драже Михайловичу, через находящегося при Верховном штабе связанного офицера Митича, начать переговоры и заключить соглашение. Мы предложили Михайловичу вести эти переговоры в нейтральной зоне вблизи местечка Косерич, но Михайлович всячески уклонялся от переговоров. Тогда я вторично направился на Равную Гору с двумя членами Верховного штаба—Сретенем Жуевичем и Митром Бакичем. Я предложил принять известные 10 пунктов, но при переговорах, состоявшихся в селе Браичи под Равной Горой, в которых участвовало около десятка офицеров из штаба Михайловича, по важнейшим пунктам наших предложенных соглашений не было достигнуто: по вопросу о совместном командовании, об образовании совместных органов власти на базе народно-освободительных комитетов и др. Легче всего было достигнуто соглашение по вопросу о разделе оружия с Ужицкого завода и денег народного банка, о местном командовании и т. д. На следующий же день после переговоров мы выдали Драже Михайловичу пятьсот новых винтовок и двадцать пять тысяч патронов с нашего завода. Интересно отметить, что Дража Михайлович категорически отклонил мое предложение о том, чтобы в переговорах принял участие английский капитан Хадсон, находившийся в соседней комнате.

На четвертый день после переговоров чет-

ники Михайловича напали на нас под Ужичкой Пожегой и пустили в ход то самое оружие, которое они получили от нас. За этим столкновением последовали другие. Четники капитана Глишича, находившегося в подчинении у Михайловича, насильственно сняли с поезда в Ужичке Пожеге командира нашего Шумадийского отряда Благоевича, возвращавшегося из Верховного штаба, и, как потом оказалось, зверски убили его. Я послал в штаб Михайловича самый решительный протест и потребовал немедленного освобождения Благоевича. Оттуда последовал ответ, что о задержании такового им неизвестно. В то же самое время в наши руки попали весьма важные документы местного командования четников в Кремле, в которых говорилось, что все мобилизованные четники 2 ноября в пять часов утра должны явиться в лес, находящийся в десяти километрах от Ужице. Нам сразу стало ясно, что Михайловича готовит вооруженное нападение на Ужице.

Это подтвердилось также тем фактом, что Дража Михайлович перебросил из Кралева 800 четников с целью нападения на Чачак, как это выяснилось впоследствии. Эти четники не только открыли немцам фронт у Кралево, но и забрали обманным путем у наших частей на этом фронте несколько тяжелых пушек и танков, чтобы использовать их при нападении на Чачак. Разумеется, нам тоже пришлось снять часть наших сил с фронта у Валево и бросить их на защиту Ужице и Чачака. События ясно показали, что это нападение четников было согласовано с Недичем и даже с немцами, ибо одновременно последовало нападение и со стороны немцев на участке от Кралева до Дрины.

Узнав о продвижении частей четников в направлении Ужице, наши силы получали задание начать контратаку 2 ноября в 4 часа утра. В 8-ми километрах от Ужице, на перекрестке дорог Ужице—Ужичка Пожега и Ужице—Косерич, наши части встретились с 800 четниками и после боя, длившегося несколько часов, полностью разбили их. Несколько сот четников было убито, в том числе и их командир. Мы дали приказ атаковать Ужичку Пожегу—основную базу четников. После кровопролитного боя, продолжавшегося весь день, наши части заняли город Пожегу и начали быстро теснить четников в направлении Равной Горы. Наши части охватили Равную Гору с трех сторон: со стороны Чачака, Горни Милановаца и Ужички Пожеги. Видя, что он окружен со всех сторон, Дража Михайлович срочно послал в наш штаб связанного офицера Митича, который слезно просил меня дать приказ о прекращении этой кровопролитной борьбы. Несмотря на то, что партизанские войска ненавидели четников и стремились как можно скорее уничтожить эту предательскую шайку, я согласился прекратить борьбу на трех нижеследующих условиях:

1) Части четников должны немедленно отойти на линию Каменица—Браичи;

2) немедленно должна быть образована совместная комиссия для расследования событий в Пожеге и других преступлений;

3) немедленно должна быть создана комиссия для окончательных переговоров о соглашении.

Комиссия для переговоров собралась в Чачаке, но к соглашению прийти не удалось, ибо

немцы прорвали наш фронт у Валева и у Кралева и при помощи танков начали быстро продвигаться вперед. Начались ожесточенные кровавые схватки с немцами по всему участку от Кралева до Дрины. Четники Михайловича в это время открыто сотрудничали с немцами. Так, например, в Горни Милановаце они обманном путем разоружили ночью 300 партизан, раздели их догола на Равной Горе и после жесточайших пыток отправили в морозную ночь к немцам в Валево. Почти все эти герои были зверски убиты немцами. У Мионицы четники схватили семнадцать санитарок и одного врача и зверски убили их, после чего сообщили немцам о своем «подвиге». Так, с этого времени установилось тесное сотрудничество четников Михайловича с немцами.

В течение почти всего ноября наши партизанские войска давали беспримерный отпор превосходящим силам немцев и недичевцев. Самые жестокие бои происходили на участке Валева, вблизи Буковика, на участке Пецки, Крупня и Лозницы, на участке Горни Милановац—Кралево.

В этих сражениях немцы пустили в ход значительное количество танков и авиации. Потери с обеих сторон были очень большие, пока, наконец, немцам не удалось к 25 ноября захватить Ужиче и Чакак. Основные силы наших войск отступили в направлении Златибора и Иванци.

Последние крупные бои происходили на реке Увац, между Санджаком и Сербией.

Значительная часть партизанских сил вернулась небольшими отрядами во внутренние районы Сербии, где и продолжала свою героическую борьбу против оккупантов и их прислужников. Из остальной части были образованы наши славные бригады—I и II Сербские, которые вместе с черногорскими бригадами дважды прошли свой славный путь от Черногории до Боснийской Краины.

В то время как в Сербии происходили вышеописанные события и народ вел сверхчеловеческую борьбу с оккупантами и предателями внутри страны, в Черногории, начиная с июля 1941 г., шли непрерывные бои с итальянскими оккупантами. В начале декабря 1941 г. около 3500 черногорских партизан напали на Плевле, сильно укрепленный город в Санджаке, обороняемый целой итальянской дивизией. Наши части стремительно прорвались в город и с жесточайшими боями заняли значительную часть города. В уличных боях погибло около двух тысяч итальянских солдат. После двухдневных боев наши части вынуждены были оставить город, ибо без тяжелого вооружения они не могли занять вражеские укрепления, с которых непрерывно велся артиллерийский обстрел города. В этих боях и мы понесли большие потери.

В Боснии бои продолжались, в особенности у Рогатницы и Зворника, и в октябре уже была очищена почти вся восточная Босния с городами Рогатница, Влащенко, Хан-Пиесак, Сребрница и др. Наши войска стали у ворот Сараева на Романии и у Стамболчица. В Лике и на Кордуне наши силы освободили большую часть территории. В Боснийской Краине еще в августе 1941 г. наши войска заняли Дрвар и некоторые другие населенные пункты. Здесь бои с итальянскими частями и усташами также носили ожесточенный характер. И здесь уже в этот период четники нанесли удары в спи-

ну нашим частям. В то же время началась героическая эпопея Козары, начались бои, которые войдут в историю нашей борьбы как самые славные ее страницы. Ожесточенные бои шли также на Петровой Горе, где враг неоднократно крупными силами переходил в наступление. В других местах, в Хорватии и Славении, осенью начались бои меньшего масштаба, но и здесь с самого начала проводились диверсии.

После нашего отступления из Сербии мы заняли Нову Варош, где наши части некоторое время отдыхали. Вслед за тем Верховный штаб с частью сербских войск двинулся в направлении восточной Боснии. По пути был занят город Рудо, где была сформирована I Сербская бригада, которая на следующий же день после своего формирования разгромила 3 колонны итальянцев и четников Михайловича, прорвавшихся в направлении Рудо.

В этот период в восточной Боснии для партизанского движения создавалась очень тяжелая обстановка. До этого времени тесно дружно сотрудничали партизаны и четники. После блестящих успехов, достигнутых нами в восточной Боснии, офицеры Михайловича повели свою разлагающую пропаганду. В результате все больше брали верх элементы стремившиеся к прекращению борьбы против немцев. Главными уполномоченными Михайловича в восточной Боснии являлись майор Дангич и майор Тодорович.

Майор Дангич в то время был связан с немцами и начал совершать нападения на партизанские отряды, разоружая их. Отчасти под влиянием разлагающей пропаганды этих офицеров, отчасти уступая насилиям и угрозам крестьяне стали оставлять боевые ряды партизан и переходить на сторону четников или разбегаться по домам. С приходом в восточную Боснию I Сербской бригады положение в корне изменилось. Являясь чрезвычайно крепкой боеспособной и дисциплинированной частью эта бригада, благодаря своим успехам в борьбе с врагом, быстро приобрела большой авторитет,—таким образом, разложение партизанских отрядов было приостановлено. Те партизаны, которые перешли к четникам, снова вернулись в партизанские части, убедившись в лживости пропаганды о ликвидации партизанского движения в Сербии. Совместно с партизанскими отрядами восточной Боснии на I Сербская бригада вела в декабре бои у Вроша и на Романии. В связи с тем, что партизанские силы в восточной Боснии вновь окрепли, немцы решили предпринять против нас свое второе наступление. Это наступление началось с четырех сторон: от Зворника, Вишеграда, Сараева, вдоль Вишеградской железной подорожной линии и от Сараева через Романию. Немцы бросили в бой довольно крупные силы, поддерживаемые частями усташей, диверсионными (регулярные части Павелича) и четников. Еще до начала немецкого наступления штаб четников восточной Боснии, во главе Тодоровичем и Дангичем, отдал четникам строгий приказ: не давать ни одного выстрела немцам, а оказывать им содействие, или уходить в сторону.

Вследствие больших морозов и обильных снегов эти бои были весьма тяжелыми. Из-за нехватки боеприпасов наши силы после пятнадцатидневного сражения были вынуждены оставить Рогатницу, Влащенко и другие пункты. Бо-

ийские партизанские отряды, совершая умелые маневры, наносили новые удары по тылам врага. Наша славная Сербская бригада была разделена на две части: одна из них, вместе с Верховным штабом, отступила через Гласинац на горы Яхорины, а вторая—со штабом бригады совершила один из славнейших переходов от самого Сараева — через Сараевское поле и Игман — до Фочи.

Во время этого марша, одного из труднейших в этой войне, морозы доходили до 25 градусов. Первой колонне, совместно с Верховным штабом, удалось на горе Яхорина приостановить наступление немцев и усташей. Части четников, защищавшие этот участок, были покинуты своими командирами и взяты под наше командование. Несколько дней спустя один батальон I Сербской бригады и черногорские отряды заняли Фочу, Горажде и Чайниче. Таким образом, вновь была создана база не только для отдыха и реорганизации частей, но и для мобилизации новых людских резервов.

Весь февраль, март и половина апреля были использованы для того, чтобы привести в порядок и реорганизовать части четников, в которых насчитывалось более 10 000 бойцов, разочаровавшихся в своем руководстве и вступивших под наше командование. Из этих частей, в дополнение к партизанским отрядам, были созданы так называемые добровольческие части, а Верховный штаб был переименован в Верховный штаб народно-освободительных партизанских и добровольческих отрядов. Всю зиму 1941—42 гг. вплоть до половины апреля, когда враг начал свое третье наступление, наши партизанские и добровольческие части вели ожесточенные бои на участке Яхорина — Романия, около Рогатицы, которая была окружена, у Калиновика, где итальянский гарнизон был также окружен, и в особенности в Черногории на участке Колашин и Снявина, а также на участке Никшич — Грахово. В это время наши сербские силы, находившиеся на участке Приеполле — Нова Варош, подошли к Чайниче, где была сформирована II Сербская бригада.

Эта II Сербская бригада, совместно с I бригадой, получила задание двинуться в направлении Власеницы и очистить территорию от банд четников, возглавляемых Дангичем и Рачичем, которые открыто сотрудничали с немцами. После быстрого перехода наши бригады дошли до Власеницы и Сребрницы, где они наголову разбили банды Дангича и отбросили их за Дрину в Сербию. По пути II Сербская бригада в Вориках уничтожила весь штаб четников Рогатицкого участка. Этот переход по глубочайшим снегам, через высокую вершину Деветак наши войска блестяще осуществили. В это время, т. е. в начале апреля 1942 г., уже было ясно, что немцы, итальянцы и усташы готовятся к третьему наступлению; поэтому обе бригады получили задание срочно вернуться на участок Горажде—Чайниче.

Как я уже упомянул, в Черногории в это время партизаны вели тяжелые бои не только с итальянскими оккупантами, но и с четниками Дражи Михайловича и майора Дюришича.

Как это произошло? Со времени общенародного восстания в июле 1941 г. большая часть Черногории была освобождена. Были созданы многочисленные партизанские части, непрерывно нападавшие на оккупантов и угрожавшие их коммуникациям. Никшич все время был

окружен. Итальянцы несли очень большие потери в людях и военных материалах. Итальянские оккупанты сделали все, чтобы найти предателей в рядах черногорского народа, и они нашли их в лице Бая Станишича и майора Дюришича. Дража Михайлович направил в Черногорию целую группу своих офицеров, чтобы создать там отряды четников и тем самым разбить единство черногорского народа. Бая Станишич в то время еще поддерживал связь с нашим Главным штабом в Черногории. Используя эти связи, он тайно создал внутри партизанских отрядов свои организации, и таким образом ему удалось подчинить своему влиянию значительную часть партизан и превратить их в четников. Подготовленный им удар был нанесен внезапно. Бая Станишич отделился с частью партизан и перешел на сторону оккупантов. В Васоевичах Дюришичу удалось мобилизовать довольно крупные силы и вооружить их итальянским оружием. В течение февраля, марта и почти всего апреля наши черногорские партизанские части в тяжчайших условиях вели борьбу против объединенных сил отечественных предателей и итальянцев. Когда же началось третье наступление противника на нашу освобожденную территорию, большая часть наших черногорских частей была вынуждена с боями отступить из Черногории. Третье вражеское наступление было основательно подготовлено, и в нем участвовали почти все оккупационные силы итальянцев и немцев, усташы и четники Дражи Михайловича.

Это наступление началось на территории Боснии и Черногории и распространилось затем на Словению и Далмацию, а также и на Козару. С этой целью в Плевле была сосредоточена целая итальянская дивизия «Пустерия» и несколько отрядов четников из Сербии и Санджака. Две другие итальянские дивизии были сосредоточены около Никшича, Подгорицы, Колашина, а одна дивизия — в Герцеговине у Гацко и Невесинье. В Сараевско Поле, кроме немецких войск, было переброшено еще 30 000 итальянских солдат. Враг наступал из Плевле в направлении Чайниче и Фочи; из Сараева немецкие войска наступали в направлении Трнова и Калиновика. На Романии наступали немецкие войска и усташы в направлении Рогатицы и Горажде. Эти бои начались приблизительно в середине марта и продолжались до 20 июня. Наши войска постепенно отступали из Боснии перед превосходящими силами противника в направлении к Черногории. Когда в середине мая 1942 г. враг занял Фочу, наши войска начали отступать как с горы Снявина, так и от Никшича через Дурмитор в направлении Пивской Планины и Герцеговины. Наиболее ожесточенные бои велись на участке Горанско и Гацко. Крупные силы итальянцев и четников нажимали с трех сторон, и, чтобы спасти наши части от окружения на Пивской Планине, Верховный штаб отдал распоряжение об отходе через Планины, Волуяк и Маглич к реке Сутеска. Лучшие части, какими являлись I и II Сербские бригады, были срочно переброшены Верховным штабом на участок Гацко и в направлении Голци, чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению итальянцев, стремившихся на Гацко и Чемерну и в верхнем течении Сутески перерезать нашим частям пути отступления. Эти бригады прекрасно выполнили свою задачу, хотя и понесли при этом большие потери. Многочислен-

ная тяжелая артиллерия, сосредоточенная у Гацко, обстреливала наши колонны с ранеными, эвакуированными из Черногории. После нескольких ожесточенных боев на стыке Герцеговины, Черногории и Боснии все наши части, вместе с ранеными, переправились на участок Тентиште — Калиновик. Из черногорских и санджакских партизанских отрядов здесь были сформированы две Черногорские ударные бригады и одна Санджакская бригада, а также одна Герцеговинская ударная бригада. Так закончилось это третье наступление врага на этом самом важном участке. У немцев не хватало сил, чтобы продолжать борьбу на этой территории; они сосредоточили свои основные силы против нашей героической Козары, где начались ожесточенные бои. Немцы хотели уничтожить очаг восстания на Боснийской Краине. С другой стороны, и итальянцы не имели возможности продолжать борьбу на этом участке, ибо должны были срочно перебросить подкрепления в Далмацию и Словению, где народные восстания приняли широкие размеры, в особенности в Словении, где была освобождена значительная часть территории, и важнейшие коммуникации врага очутились под угрозой.

Враги надеялись также, что наши войска на этом участке настолько изнурены голодом и потерями в боях, что они надолго окажутся неспособными к серьезным действиям. Верховный штаб оставил в Черногории несколько небольших партизанских отрядов, в восточной Боснии VI Боснийскую ударную бригаду и несколько партизанских отрядов, а на участке Тентиште — Калиновик одну Черногорскую и одну Герцеговинскую бригады для защиты наших госпиталей и для ведения мелких операций. В то же время он решил с остальными частями I и II Сербской, III Санджакской и IV Черногорской бригадами быстрым маршем двинуться в направлении западной Боснии, т. е. Боснийской Краины. Был выработан детальный план этого перехода через труднопроходимые горы, как Трескавица, Белашница и др. План был такой: произведя неожиданный охват на Сараевско-Мостарской железнодорожной линии от Тарчина до Рамы, уничтожить все железнодорожное оборудование и мосты. Этот рейд был прекрасно осуществлен: было уничтожено несколько железнодорожных составов, все мосты от Тарчина до Рамы и железнодорожная линия на протяжении 80 км. Были уничтожены также все станции и около 40 паровозов, большей частью специально приспособленных для горных местностей. Кроме того, были заняты города Коньиц, Острожац и другие. Враг был застигнут врасплох. В поездах было взято в плен несколько сот вражеских солдат.

Продвижение через эту железнодорожную линию шло по двум направлениям. Одна колонна двигалась через Игман, вблизи Сараева; выполнив свою задачу на железной дороге, она двинулась дальше по направлению Крешево, Фойница и Бугойно. Вторая колонна двигалась в направлении железнодорожной станции Брадина и города Коньиц; по выполнении своей задачи на железной дороге она, после двухдневных кровопролитных боев, заняла сильно укрепленный городок Прозор. Первая колонна заняла Горни Вакуф. Таким образом, обе колонны соединились для дальнейших действий. Еще до нашего прихода

части, оперировавшие в Боснийской Краине, заняли город Приедор, чтобы облегчить положение окруженной Козары.

Прибытие этих частей в Боснийскую Краину имело большое значение для дальнейшего развертывания восстания не только в Боснийской Краине и Далмации, но и в Хорватии и Словении. При содействии партизанских отрядов Боснийской Краины, наши части, помимо Прозора и Горни Вакуфа, заняли также города Ливно, Томиславград, Яйце, Мрконичград и др. Занятие Ливно имело большое значение, особенно для развертывания народного восстания в Далмации. Начали формироваться новые бригады и ударные бригады из краишских, далматских, ликских, хорватских и словенских партизанских отрядов. Была создана Народно-освободительная армия, и Верховный штаб получил название Верховного штаба Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии.

После занятия города Бихач наши войска стали пробиваться в Центральную Боснию, освободив значительную ее часть и заняв города Привор, Котор-Варош, Таслич и др. Была освобождена значительная часть Центральной Боснии, почти вся Боснийская Краина, часть Далмации, почти вся Лика, Кордун и большая часть Словении. Третье вражеское наступление, закончившееся в Словении, не удалось; новый большой подъем и укрепление Народно-освободительной армии превалили это наступление. Больше всего жертв при этом наступлении понесла героическая Козара.

Осенью 1942 г. Верховный штаб командировал одного своего члена в Македонию для организации там партизанских отрядов и координации действий с Грецией и другими соседними странами. Кроме того начальник штаба и десять офицеров отправились в Словению для организации там регулярных частей из партизанских отрядов.

Эти крупные успехи, которых добились народы Югославии своей сверхчеловеческой борьбой до осени 1942 г., всерьез встревожили немецких и итальянских оккупантов. И они уже в декабре месяце начали готовить свое четвертое наступление.

Это четвертое наступление началось глубоким стратегическим охватом с целью стягивания кольца вокруг наших основных сил. Снова, как и прежде, враг направлял свой главный удар туда, где находился Верховный штаб, под непосредственным руководством которого действовали части в самых отдаленных районах. Немцы сосредоточили свои силы в Карловаце, Глине, Босанской Костайнице и Бане-Луке. Концентрация немецких сил в Сараеве последовала позднее, когда можно было предвидеть, что наши основные силы будут вытеснены из Боснийской Краины в долины рек Неретвы и Врбаса. В Лике, под Госпичем, Огулином и в Далмации под Книном и Синьем были сосредоточены итальянские дивизии для этого наступления. Еще в декабре 1942 г. в наши руки попали документы, из которых видно, что Дража Михайлович заключил с немцами соглашение о совместных действиях в четвертом наступлении против нас. По всей Черногории, в Санджаке и Сербии, а также в Герцеговине велась усиленная пропаганда среди четников за поход на Боснийскую Краину для захвата ими власти в городах и селах и ликвидации партизан.

Четвертое наступление началось в первых числах января 1943 г. Немцы одновременно наступали из Карловаца в направлении Слуня, из Глины и других пунктов в направлении области Баниа, а итальянцы непрерывно пытались прорваться на освобожденную территорию Лики, но были отбиты с большими для них потерями. После пятнадцатидневных боев немцам удалось занять всю территорию до Слуня; в их руки попали все города на Кордуне и в Банин. Они бросили в бой большое число штурмовиков и бомбардировщиков. Больше 50 000 беженцев из Кордуна и Банин двигались вместе с нашими войсками, которые отступали с жестокими боями. Эти несчастные женщины, дети и старики непрерывно подвергались в пути ожесточенной бомбардировке. Жертвы были очень велики.

Когда противник приблизился к городу Бихач, Верховный штаб переехал в район Петровац, откуда он непосредственно руководил операциями. Здесь Верховный штаб выработал следующий план: хорватские силы остаются в Лике на своей территории и будут защищать ее. VII Баныйская дивизия, расположенная на участке Слунь—Бихач, должна занимать оборону, т. е. сдерживать продвижение противника на освобожденную территорию. I Боснийский корпус, ныне переименованный в III корпус, должен сдерживать продвижение противника в горном массиве Грмеч-Мрконичград. I и III дивизии находились в Центральной Боснии вблизи реки Сава и города Добой, а II дивизия — на участке Ливно и в Далмации. Верховный штаб решил немедленно стянуть эти три дивизии, чтобы быстрым маневром разбить слабые вражеские гарнизоны в долине рек Неретвы и Врбас, захватить железнодорожную линию от горного перехода Иван-Седло до города Мостар и создать таким образом предмостное укрепление для отступления войск и эвакуации раненых, которых было около 4 000.

Верховный штаб решил далее, после отступления через реку Неретву, предпринять в качестве главной операции преследование четников Михайловича и очищение Черногории и Санджака, а также и Герцеговины от полных прислужников иностранных захватчиков. II дивизия получила задание стремительным налетом занять укрепленный город Имотски и другие населенные пункты и немедленно двинуться в долину реки Неретвы близ Мостар, чтобы перерезать связь итальянского командования с его гарнизонами в городах Прозор, Копиц, Ябланица, Рама и т. д. III дивизия получила задание занять сильно укрепленный город Прозор, которым за месяц до того вновь овладели итальянцы. I дивизия получила задание силами бригады занять Иван-Седло и тем самым перерезать линию Копиц—Сараево. Два бригады I дивизии получили задание защищать направление на Бугойно. Все эти три дивизии после непрерывного марша прибыли в назначенные районы в рекордно быстрые сроки. Город Прозор, находящийся на линии наших коммуникаций, должен был любой ценой попасть в наши руки. Две бригады III дивизии после двухдневных кровопролитных боев заняли этот город. Итальянский гарнизон, численностью около 1 000 человек, был полностью уничтожен. Захвачено было огромное количество военного имущества, главным образом боеприпасов для артиллерии и продовольствия,

ибо врагом здесь подготавливалась база для замыкания кольца вокруг наших сил, как только немцы дадут к этому сигнал. II дивизия заняла Имотски, ликвидировала итальянский гарнизон в Дрежнице, быстро двинулась к Ябланице, где стоял итальянский полк, и после кровопролитных боев заняла этот город, разрушила почти все мосты на реке Неретве, так же захватив огромные трофеи. Иван-Седло был занят, но ввиду того, что врагом были быстро введены в действие превосходящие силы, нашей бригаде пришлось отступить в направлении Копица, который ей также не удалось занять в первой атаке. Итальянская дивизия «Мурдже», занимавшая весь этот участок, была почти полностью уничтожена, от нее осталось только несколько сот человек. Все ее вооружение попало в наши руки. Теперь был открыт путь для форсирования реки Неретвы, но необходимость обеспечить эвакуацию раненых сковала наши части на этом участке. В тяжелейших условиях непогоды и бездорожья наши грузовики непрерывно доставляли раненых на участок Прозор, откуда их надо было перебросить на грузовиках же через реку Неретву, как только будет взят Копиц. На этом участке развернулась битва, продолжавшаяся 37 дней. Немцы быстро подтянули новые силы. В городе Бугойно они сконцентрировали 369-ю, 36-ю дивизии и части 114-й дивизии, а также очень крупные силы домобранцев и усташей. От Сараево наступала 118-я дивизия вместе с силами усташей и домобранцев. Предатель Дража Михайлович перенес от Мостара и Главатичева через гору Гречь около 18 000 своих четников, которые совместно с итальянцами должны были нанести нам удар в спину и перерезать дорогу. Здесь велась одна из самых славных битв за время всей освободительной войны. Была применена тактика быстрого маневрирования по внутренним линиям. Бой между Доин-Вакуф и Прозор носил драматический характер. Немцам уже удалось прорваться на расстоянии двух километров от наших раненых, которых спасло лишь быстрое вмешательство героических IV Черногорской и III Кршшской бригад. Бои велись днем и ночью. С нашей стороны были пущены в ход все средства, в том числе тяжелые орудия и танки, не считая другого вооружения, которое попало в наши руки при уничтожении итальянской дивизии. Во время сильнейших морозов, на горах Маклен и Радущ позиции переходили из рук в руки. В результате непрерывных боев, длившихся днем и ночью, наши бойцы, особенно из VII дивизии, были настолько истощены, что умирали тут же на позициях. В это время силы нашей IV Черногорской бригады и части III дивизии непрерывно атаковали Копиц, а большая часть III дивизии вела упорные бои с немецкими и усташскими силами у подножья горного массива Битовне. Наши части уже заняли часть города на левом берегу реки Неретвы, но в этот момент подошли четники Михайловича и ударили в тыл нашим войскам. Четыре наши дивизии вместе с 4000 раненых оказались в мешке, атакованные со всех сторон. Но Верховный штаб решил любой ценой разбить противника и перебросить раненых через реку Неретву.

После многодневных упорных боев и сильного артиллерийского огня с нашей стороны, наши части разбили немецкие силы на участке

Горни Вакуф и заставили их быстро отступить в направлении Бугойно. Еще до перехода наших частей на левый берег Неретвы Верховный штаб приказал разрушить все сохранившиеся мосты через эту реку, несмотря на то, что через них нужно было переправить наших раненых и армию. Это была военная хитрость, полностью удавшаяся. Наши саперы быстро построили новый мост возле разрушенного железнодорожного моста у Ябланицы, по этому мосту перешла почти вся наша армия и были эвакуированы все наши раненые. План Верховного штаба полностью удался. Враг был разбит возле Горни Вакуф и нуждался в продолжительном времени для реорганизации своих частей. Четники и итальянцы были наголову разбиты на левом берегу Неретвы на горе Прень и начали в панике отступать. Так как нами были уничтожены все мосты, нам пришлось уничтожить также все танки и тяжелые орудия. Вместе с упомянутыми уже 4 дивизиями была перебросана на левый берег и IX Далматинская дивизия, отступившая из Далмации перед лицом превосходящих сил противника.

Начало преследование четников Михайловича. Наши силы наступали в двух направлениях: в направлении Невесинье в Герцеговине и в направлении Калиновика. На горном массиве в Главичево и возле Калиновика четники Михайловича снова были разбиты и потеряли способность к дальнейшему сопротивлению. Многие стали переходить на нашу сторону. Некоторые в панике сбрасывали себе бороды и переодевались в крестьянскую одежду, чтобы партизаны не могли узнать в них четников. Наши части стремительным маршем прибыли на Дрину и в тяжелейших условиях форсировали эту реку, разгромили на правом берегу итальянскую дивизию «Тауринесе». В Герцеговине нами штурмом были заняты Невесинье и Гацко, а в Черногории наши войска дошли до Колашина. Май должен был стать месяцем отдыха для наших славных дивизий. Но пока мы очищали Черногорию от четников, немецкие оккупанты, итальянцы и усташы подготовили уже свое пятое и самое жестокое наступление против нас. Это пятое наступление наша армия встретила в очень тяжелых условиях. Несколько тысяч бойцов перелобели сыпным тифом. Тысячи раненых были совершенно обессилены исключительными трудностями перехода и нуждались в длительном отдыхе для восстановления сил. Но противник не дал нам времени для отдыха. Он подготавливал свое пятое наступление, надеясь уничтожить нас. Он знал, что в Черногории находится Верховный штаб и наши лучшие части. Поэтому на этот раз он бросил против нас гораздо большие силы и более основательно подготовил свои атаки. Он перебросил ряд своих дивизий из Греции, как, например, I Альпийскую дивизию, перебросил болгарские части и части Недича, усташей, домобранцев, итальянцев и свои оккупационные войска. Началась пятая и самая ожесточенная битва, из которой наши славные части хотя и с большими жертвами, и на этот раз вышли боеспособными, нанеся в свою очередь огромные потери противнику. Об этом пятом наступлении международная общественность уже достаточно информирована, и о нем еще будут немало писать. Поэтому я не буду здесь описывать эти бои.

После четвертого наступления мы полностью

ликвидировали в своем победоносном походе на Черногорию четников Михайловича, которые с этого времени не представляют собой никакой военной силы. Во время четвертого и пятого наступлений бои шли также во всех областях Югославии. Партизаны и бригады VI корпуса в Славонии непрерывно атаковали коммуникации противника. Велись также бои в Словении, Далмации, Сербии и других районах. Волна народного восстания охватывала всю страну. Наступление оккупантов против наших основных сил не запугало наших людей в остальных областях страны; наоборот, оно возымело противоположное действие. В этой борьбе наша армия совершила такие героические подвиги, которыми будут в течение многих столетий гордиться поколения наших народов.

II

Наряду с развитием партизанских отрядов и Народно-освободительной армии, создавалась и совершенствовалась наша народная власть. Еще в 1941 г., на освобожденной территории Сербии, Черногории и т. д. были созданы народно-освободительные комитеты в селах и городах. Они заменили собой старые сельские, общинные и другие власти, перешедшие на службу к оккупантам. Первоначальной задачей этих комитетов была в основном забота о снабжении партизанских отрядов, но постепенно они принимали на себя функции органов власти села, общины, района, округа и т. д.

Когда осенью 1942 г. оказалась освобожденной уже значительная часть Югославии, появилась необходимость в создании единого политического органа для всей страны, который руководил бы всеми этими комитетами и перенял бы от Верховного штаба разные политические функции, самым ходом событий все более концентрировавшиеся в его руках. Было решено создать Антифашистское Вече народного освобождения Югославии. Как известно, Вече собралось 26 ноября 1942 г. в городе Бихач. На нем присутствовали делегаты всех народов Югославии. Были приняты важнейшие решения и избран Исполнительный комитет. Вече носило характер межпартийного органа, и в нем объединялись все политические течения без различия религиозной и национальной принадлежности. Задачей Веча являлась мобилизация всех сил для оказания помощи Народно-освободительной армии и создание народно-освободительных комитетов не только на освобожденной, но и на неосвобожденной территории.

Наряду с Антифашистским Вечем народного освобождения Югославии существует созданный еще в 1941 г. Освободительный фронт в Словении, функции которого в Словении аналогичны функциям Антифашистского Веча для всей Югославии. Весной 1943 г. было создано Земальское Антифашистское Вече Хорватии. Во второй половине того же года было создано Земальское Антифашистское Вече народного освобождения Боснии и Герцеговины, Вече Черногории, Санджака и т. д. Одновременно по всей территории Сербии создавались народно-освободительные комитеты; в качестве центрального органа был создан Краевой народно-освободительный комитет. Это различие по сравнению с другими областями объясняется тем, что в Сербии, вследствие массового террора оккупационных войск, недичевцев и чет-

ников Михайловича нельзя было сформировать этот орган на основе широких выборов.

29 ноября 1943 г. состоялась II сессия Антифашистского Веча народного освобождения Югославии в гор. Яйце. Съехалось 240 делегатов из всех областей нашей страны. На этой сессии были приняты важнейшие решения. Антифашистское Вече народного освобождения Югославии было преобразовано в Верховный законодательный орган Югославии со всеми правами парламента. Избран президиум в составе 56 членов, с доктором Иваном Рибаром во главе. Создан также Национальный комитет освобождения Югославии, являющийся временным народным правительством. Принято решение об аннулировании или о пересмотре всех договоров, заключенных эмигрантским югославским правительством. Не будут признаваться договора, которые это правительство будет впредь заключать с кем бы то ни было. Принято решение о запрещении королю Петру II возвращаться в страну до тех пор, пока — после войны — народы Югославии свободным волеизъявлением не решат вопроса о монархии и об окончательном государственном устройстве страны. Решено, что Югославия организуется как демократическое, федеративное государство, в котором все народы пользуются одинаковыми правами. Федеративными частями являются: Хорватия, Сербия, Словения, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина.

Такая форма внутреннего устройства Югославии не является абстракцией. Это — единственно правильное решение, базирующееся на желании всех народов Югославии и на тяжелом опыте прошлого.

После вторжения в нашу страну немецких, итальянских, болгарских и других оккупантов началось не только истребление ими нашего народа, но и всемерно разжигание ненависти между отдельными национальностями с целью взаимострельбы одного народа другим. Усташи, руководимые немцами, убивали сотни тысяч сербов; четники Дражи Михайловича, натравливаемые немецкими и итальянскими оккупантами, уничтожали десятки тысяч мусульман и хорватов. Над нашими народами нависла величайшая угроза полного уничтожения. К моменту появления наших сербских частей в Восточной Боснии на дне Дрины покоились тысячи трупов ни в чем неповинных женщин, детей и стариков — мусульман. В Боснии и Герцеговине, а особенно в Крайине, мы обнаружили огромные овраги, переполненные трупами зарезанных сербов — женщин, детей и стариков. Мы поставили себе целью прекратить это ужасное истребление. Нашим лозунгом было: братство и единство народов Югославии. Мы приложили все усилия, чтобы доказать озлобленному сербскому населению и введенным в заблуждение четникам, что не все хорваты злодеи, что не все мусульмане злодеи, а только незначительная часть, одетая в мундиры усташей, которые совершают это злодеяние, подстрекаемые немцами. Мы всячески доказывали несчастному мусульманскому и хорватскому населению, что не все сербы злодеи, а только кучка четников Михайловича, Печанца и Нелича. Над разъяснением этого напряженно работали наши героические бригады и партизанские отряды, которые вели решительную борьбу не только против оккупантов, но и против усташей и четников, являю-

щихся орудием в руках эккупантов. Эти наши усилия увенчались успехом. В процессе этой беспримерной сверхчеловеческой борьбы создано нерушимое единство и братство народов Югославии, какого никогда до войны не существовало. Теперь одно желание в равной мере пронизывает сердца сербов, хорватов, словенцев, черногорцев, македонцев и всех остальных — поскорее изгнать оккупантов из нашей страны и добиться любой ценой одной цели: чтобы никогда больше не возвращался тот старый режим, который привел к катастрофе довоенную Югославию; чтобы были наказаны главные виновники этой страшной трагедии наших народов; чтобы была создана новая истинно демократическая федеративная Югославия, все народы которой будут жить в братской любви и дружбе.

Огромное воодушевление народа, которое проявилось во всех частях Югославии на освобожденной и неосвобожденной территории, в связи с решениями II сессии Антифашистского Веча народного освобождения Югославии, доказывает, что мы идем по правильному пути и что идеи, воодушевлявшие нас на протяжении трех лет этой войны, победят.

Все вышеизложенное показывает, насколько мы были правы, когда подняли народное восстание с самого начала оккупации Югославии. Только на протяжении трех месяцев 1941 г. ненавистному врагу удалось, при помощи злодеев-усташей, уничтожить больше полумиллиона сербов в Хорватии, Боснии, Герцеговине и Воеводине. Те элементы, которые внутри страны и за ее пределами постоянно проповедывали, что еще не настало время действовать, совершали настоящее преступление по отношению к нашему народу, заставляя его подставлять свою голову под меч палачей-оккупантов. Почти два года мировую общественность вводили в заблуждение относительно событий в Югославии, что, конечно, во многом осложняло нашу борьбу. Наши бойцы и крестьяне в селах скрежетали зубами, когда слышали, как прославляется предатель Дража Михайлович различными радиостанциями и газетами, в то время когда он ведет борьбу против нас под командой немецких офицеров. Возьмем хотя бы пример боев за Коњиц, в которых Михайлович выступал совместно с немцами, недичевцами, болгарам и т. д. против нас со своими 18 тысячами четников. А в то время заграничные радиостанции сообщали, что Дража Михайлович атакует противника с юга и этим помогает партизанам! Беспримерный по цинизму обман!

Сейчас этому обману положен конец. Предатель Михайлович, совместно с Павеличем и Рупником, пригвождены к позорному столбу. Мы благодарны нашим союзникам за то, что они хотя и со значительным опозданием, но все же сумели отдать себе отчет в том, кто ведет борьбу в Югославии и кому нужно оказывать помощь.

На протяжении трех лет нашей борьбы мы выдержали такие испытания, боролись в таких условиях, которые, быть может, не имеют себе равных в истории. Мы представляли собой маленький островок в европейской крепости Гитлера, на который непрерывно напирала огромные вражеские силы с одной целью — уничтожить его. Что же помешало осуществлению этих планов Гитлера? Это, в первых, непреодолимая воля наших народов к

борьбе и решимость скорее умереть с оружием в руках, чем стать рабами фашистских оккупантов. Второе — глубокая вера в победу союзников во главе с Советским Союзом. Третье — в процессе гигантской неравной борьбы создавалась и росла наша героическая Народно-освободительная армия, выходящая из самых кровопролитных сражений еще более твердой и закаленной.

Мы имеем сегодня Народно-освободительную армию, насчитывающую около 300 тысяч бойцов, которая вооружила себя оружием, захваченным у противника. Мы можем, при условии получения вооружения от союзников, создать армию от 700 до 800 тысяч человек, которая совместно с союзниками нанесет последний удар по фашистско-немецким оккупантам.

Мы имеем сегодня свое подлинно народное правительство, выросшее в процессе этой борьбы и избранное самим народом. Наш народ желает — и он уверен, что так оно и будет, — чтобы союзники поскорее признали это правительство как единственное и действительное представителя народов Югославии.

Мы имеем сегодня свой верховный законодательный орган — Антифашистское Вече народного освобождения Югославии, задачей которого является подготовить на подлинно демократических основах реорганизацию внутреннего устройства нашей страны.

Мы имеем — и это самое большое наше достижение — братство и единство народов Югославии.

Франция заговорила

В 1940 г. я видел Францию, разбитую, преданную своей буржуазией, опозоренную в глазах всего мира своим бесславным поражением. Французский народ, — свободолобивый, талантливый, отважный, насмешливый, народ глубочайших мыслителей и блестящих писателей, — казалось, утратил все свои достоинства, забыл свою историю. Бездарный гитлеровский фашизм победил. Франция утонула во мраке...

Прошло несколько месяцев после поражения. Немцы растерзали Францию, расхитили ее богатства, нашли в среде французов предателей и сообщников, которые помогали им уничтожать, угнетать и позорить французский народ. Имена Петэна и Лавалля стали символами зационного предательства, такие писатели, как Селин, «прославившие» свое имя человеконенавистническими произведениями, стали служить немцам, а Жан Жионо еще в 1938 г. дал циничную формулу предательства: «лучше быть рабам, чем воевать».

Но французский народ не мог покориться, не мог умереть. Первая растерянность стала проходить, народ стал думать над причинами поражения, искать выхода... Народ стал бороться за свое существование. Армия, разбитая, обматывая, предатная петэнцами и лаваллями, брошенная своими офицерами, не могла сопротивляться. Но и в ней нашлась горсточка людей, которые на развалинах Руана, Орлеана, Тура — колыбели Франции, — продолжали упорно сопротивляться.

Сопротивление было недолгим, защитникам Франции нанесен был удар в спину. Пятая колонна парализовала их. Петэн заключил перемирие с немцами — это позорное перемирие длится уже четыре года.

А Франция не сдалась. Она присматривалась к врагу, копила силы. Фашисты свирепствовали, тюрьмы и лагеря наполнялись французскими патриотами, за принадлежность к компартии преследование Петэна посылало на каторгу, гильотинировало. Немцы, всячески поддерживая предателей, вначале делали вид, что не вмешиваются в расправу с защитниками Франции; коммунистов и других патриотов предатели из Виши арестовывали, судили, заточали в концлагери и тюрьмы.

Еще до перемирия компартия во Франции была разгромлена. Ее руководители были арестованы, ее деятели тысячами гибли в тюрьмах и концлагерях. Сотни предателей работали внутри партии, чтобы разложить и обессилить ее.

Но партия, уходя в подполье, очистившись от предателей и карьеристов, стала более стойкой.

И центральный орган партии «Юманите» продолжал выходить. Я его видел осенью 1940 г., через несколько недель после вступления немцев в Париж. Он печатался на плохой бумаге,

на машинке, состоял всего из двух, максимум четырех страниц. Но его читал весь пролетариат Парижа. Его почти открыто продавали на рынках, под носом у полиции. Агенты Виши за ним охотились, издевались и арестовывали продавцов его. Но Парижская полиция в это время почувствовала свою связь с народом и не участвовала в этой «охоте».

Помню раз на базаре, недалеко от меня, торговка подбежала к полицейскому, стоявшему тут же для наблюдения за ценами.

— Господин агент, здесь одна женщина продает «Юманите».

Полицейский на нее посмотрел уничтожающим взглядом: — Меня это не касается. Я здесь стою для наблюдения за ценами.

Жалобница ушла ни с чем, толпа над ней смеялась: «Не лезь не в свое дело! Мы — французы, а не немцы».

Немцы расклеивали во множестве красные, синие, зеленые афиши на немецком и французском языках. В них кратко сообщалось, что по приговору, немецкого военного суда — «Рейхс-кригсгерихта» — такой-то был расстрелян немцами за саботаж, порчу телефонных проводов, порчу германских военных автомобилей, нападение на немецких солдат. Почти каждый день к этим афишам прибавлялись новые, выделяясь на стенах рядом со старыми, начавшими уже выцветать от дождя и солнца.

Борьба не прекращалась. С осени 1941 г. она стала обостряться. В октябре 1941 г. в городе Нанте был убит немецкий офицер. Немцы ответили на этот акт расстрелом двухсот заложников французов. Заложников они взяли из концлагеря Шатобриаз около Нанта. За ними приехали германские грузовики, из барачков вызвали по списку 200 человек, увезли их на кладбище и там расстреляли. На другой день все местное население принесло цветы на могилы расстрелянных.

Сотни других заложников были расстреляны в Париже. Петэн молчал — и в убийствах французов он был сообщником немцев.

Теперь борьбу с патриотами повели сами немцы. Начались массовые казни заложников — людей, сидевших в тюрьмах и в концлагерях, куда их посадили петэнские агенты. Ясно было, что никакого отношения к покушениям на немцев они не имели и не могли иметь. Немцы проводили свою обычную систему истребления населения оккупированных ими стран. По март 1943 г., по официальным немецким данным, ими было расстреляно во Франции свыше 50 000 человек. Год спустя, эта цифра возросла до 80 000. А сколько было убито и расстреляно неофициально!

Эти массовые убийства открыли глаза всем тем, кто еще верил в Петэна и в возможность «сотрудничества» с немцами. Один из минист-

ров Петэна, Дарлана и сам признавался недавно, что у правительства Виши во Франции было не больше 50 000 сторонников. А ведь еще в марте 1941 г. парижское «Национальное Объединение» (Le Rassemblement National), созданное немцами, хвасталось тем, что в него записалось свыше 50 000 членов только в Париже!

В июне 1940 г., почти тотчас же после позорного перемирия, заключенного Петэном с немцами, из Лондона прозвучало обращение к французам с призывом к борьбе с немцами за освобождение Франции «Сражающаяся Франция» сплотилась вокруг лондонского Комитета. Но прошло немало времени, прежде чем борьба с поработителями Франции из неорганизованной стала систематической, сплотив все силы французских патриотов.

Я помню мрачные дни зимы 1940—41 гг., когда, кроме компартии, никакая организованная сила еще не противостояла немцам. Франция прошла с того времени длинный, трудный путь. Сотни, а потом тысячи подпольных организаций сплотили людей всех классов, всех партий в борьбе с общим врагом. Фронт «Национального сопротивления», «Национальный фронт» выросли и окрепли в борьбе.

И вот сейчас в далекой от Франции Москве мне попали в руки бесчисленные газеты и журналы, издающиеся в подполье.

С глубоким волнением я перечитываю и перечитываю их. Это—живые свидетели борьбы французского народа за свое национальное освобождение. Здесь, в Москве, после всего пережитого в фашистских застенках и концлагерях Франции, я с особой радостью вижу в этих листках возрождение Франции. Быть может, даже именно здесь, в Москве, несущей освобождение всем народам, угнетенным незыбшим фашизмом, мне особенно близки эти, порой пламенные, порой насмешливые, чисто французские голоса борцов за Францию. И недавно один француз, с которым мне пришлось говорить недавно, человек, раньше далекий от нас, признался мне:

«Здесь, в Москве, я чувствую себя ближе к Франции, чем даже в Алжире. И именно здесь, в Москве, нашу борьбу понимают и чувствуют больше, чем где бы то ни было».

О чем пишут во Франции подпольные газеты?

Вот листовка, плохо отпечатанная, на плохой бумаге. Ее заглавие: «Список мучеников за Францию». В ней помещен список 54 французских, «расстрелянных немцами и предателями из Виши». С нее глядят портреты французских, замученных немцами, — хорошие, четкие, ясные, немного насмешливые лица рабочих, крестьян, интеллигентов, коммунистов и марксистов, беспартийных и социалистов — все классы населения, все партии насчитывают тысячи безвинных жертв в своих рядах. И листовка кончается словами: «Позор убийцам!», «Вечная память этим героям!».

Но это не просто посмертный список французских, героически умерших под пулями и на гильотине предателей. Здесь, под портретом железнодорожника Катла, депутата Соммы, казненного агентами Виши, перечисляются фамилии тех предателей, которые его судили и приговорили к смерти: «Девиз, председатель суда, генерал Бланшэн, жандармский полковник Жоливе, генерал-губернатор колоний Маршесу, Перетти де ля Рокка, бывший французский «дипломат»: В листовке говорится, что кровь казненного падет на головы генерала Штюльпнагеля, немецкого главнокомандующего во Фран-

ции, Петэна, Дарлана и Пюше. Двое из этих предателей уже умерли: Дарлан был убит в Алжире, Пюше был расстрелян там же в апреле 1944 г. по приговору французского суда в Алжире.

И призыв к мести кончается словами: «они, казненные предателями, будут отмщены французским народом!»

Вот другой листок — он напечатан как извещение о смерти: по старой французской традиции, родственники и друзья умерших рассылают печатное извещение о смерти всем знакомым—в традиционной форме письма в траурной рамке, с крестом и буквой М в заголовке. Этот листок рассылается всем «сотрудникам» немцев, всем предателям. Текст его краток и выразителен:

«Французское сопротивление» сообщает вам: час расплаты приближается. Ваши германофильские симпатии нам известны. Четвертая Республика вас не забудет, если вы будете продолжать вашу деятельность». Подпись: «Объединенное движение сопротивления».

Можно себе представить физиономию предателя, получающего это предупреждение в столь изящной, вежливой и выразительной форме.

Французы-патриоты знают, что, кроме полиции Виши, нанятой на германские деньги, есть во Франции другая полиция, та, что была раньше, которая теперь поняла, увидела, в какую пропасть толкнуло Францию предательство шайки Петэна—Лавала. Сотни людей из этой полиции сидят в тюрьмах и концлагерях. Их обвивают немцы и предатели из Виши в том, что они помогают французским патриотам. И действительно патриоты обращаются к ним, — листовка, подписанная Комитетом Сражающейся Франции в департаментах Изеры и в Дофинских Альпах, говорит:

«Жандармы, полицейские, гард мобиле, арестовывая патриотов, стреляя в партизан, преследуя молодежь, повинуюсь приказам Виши, вы служите «бошам» и предаете Францию. Храбро выполняйте ваш долг французам, всякое предательство ведет вас к позору и к смерти».

Другой листок, называющийся «Голос Франции», указывает в своем подзаголовке, что он является «Журналом комитетов Сражающейся Франции — служащих общественных администраций, полиции, жандармерии и т. д.».

Этот журнал, вышедший, повидимому, осенью 1943 г., с восторгом говорит о героических победах Красной Армии, о продвижении союзников в Сицилию. На пороге четвертого года войны он говорит, что «народ, который не капитулировал и у которого нет оснований для того, чтобы сомневаться в судьбах своей родины, стоит перед тяжелой проблемой. И это не потому, что он боится новых тяжелых испытаний: его мужество не поколебалось, — но он спрашивает, будет ли ему оказана во-время та помощь, которая ему была обещана и которая так необходима. Перечислив все выгоды нынешнего военного положения союзников, победы СССР на Востоке, падение Муссолини, недовольство в оккупированных немцами странах и в самой Германии и т. д., — журнал пишет: «все эти факты создают для союзников крайне благоприятное положение», «налицо имеются все условия для того, чтобы добить гитлеровских палачей, которые могут продолжать свои варварские поступки только благодаря тому, что союзники не пустили еще в ход все свои боевые возможности». «Именно поэтому, — говорится в журнале, — что он (французский

народ) должен рассчитывать на самого себя. Своими собственными усилиями в борьбе он должен показать союзникам, что он заслуживает свободы, независимости и величия своей родины».

В своей ненависти к предателям Франции этот журнал так же энергичен, как и другие. Он вспоминает, что 22 октября 1943 г. исполняется ровно два года с тех пор, как 17-летний Моке, сын депутата-коммуниста, был расстрелян в лагере Шатобриан немцами как заложник, и что его выдал немцам Пюше.

«Ко второй годовщине смерти Моке, — пишет журнал, — подлец Пюше должен заплатить за свое преступление». Расплата с Пюше пришла, но на полгода позже...

Известно, что среди французских писателей нашлись предатели, продавшие свое перо немцам. Анри Бери, когда-то написавший глупую и гнусную книжку об СССР, Селин, призывавший публично к еврейским погромам в своем омерзительном романе «Пустяки для погрома» (*Bagatelles pour un massacre*) (этот роман был переведен немцами и широко распространяем в Германии еще до войны), Монтерлан, Дрие ля Рошелль, Шатобриан, один из основателей первого общества сотрудничества с Германией, — эти имена стали ненавистны всем французам, всему писательскому миру обоих полушарий. Но все лучшие писатели остались верны Франции и борются словом, а порою и с оружием в руках за ее освобождение от фашистского гнета! Им пришлось отказаться от своего имени, от громкой писательской славы, уйти в подполье и писать в журналах и в сборниках под чужими, никому неизвестными именами. Придет время, — «свобода их встретит радостно у входа», их имена заблистают полным блеском в истории Франции. Кем был составлен хорошо изданный сборник патриотических стихов, вышедший недавно подпольно во Франции? Мы не знаем. В нем нет ни одной известной нам фамилии. Но по стилю, по силе и красоте языка мы угадываем в этих пламенных стихах крупных мастеров слова и мысли. Перед нами лежит подпольный листок «Звезды» (*Les étoiles*) № 10, от августа 1943 г. Этот листок является своего рода «Литературной газетой» подпольной Франции. Из него мы видим, что французские писатели не перешли в лагерь предателей, что в их среде ярко горит пламень патриотизма. Журнал разоблачает предателей, рассказывает о борьбе французских литераторов-патриотов.

Писатель Жюль Декур был расстрелян немцами.. Перед смертью он писал: «Писатели Франции, мы должны играть нашу роль в исторической борьбе, предпринятой «Национальным фронтом». Нашим пером мы спасем честь французской литературы. Мы заклеим предателей, предавшихся врагу. Мы сделаем воздух Франции невозможным для дыхания немецких писак».

Недавно умерший академик Луи Жилле, когда-то писавший в «Аксон франсез», принадлежал к подпольным организациям, борющимся против немцев.

Дрие ля Рошелль был поставлен немцами во главе когда-то одного из лучших французских журналов «ЛЯ нувелль Ревю Франсез». Но со второго же номера этого журнала, вышедшего под редакцией Дрие ля Рошелль, издание его прекратилось. Почему? Вероятно, писатели отказались в нем сотрудничать.

В январе 1943 г. сто французских интеллигентов, томившихся в германском концлагере около

Ромэнвилля, в окрестностях Парижа, были отправлены в Восточную Европу. Среди них было много жен известных писателей и ученых: жена Рене Блека (*R. Blech*), жена Вайан Кутюрье, дочь известного издателя журнала «Вю» (*Vu*), Даниелла Казанова, бывший секретарь французского комсомола, Елена Ланжевен-Соломона, жена расстрелянного немцами молодого физика Соломона и дочь профессора Ланжевена, жена профессора Поллицера, расстрелянного немцами, и множество других. Всех их перевезли в немецкий лагерь Аушвиц, в котором интернировано около 10 000 человек. Этот лагерь прозван «лагерем медленной смерти». Люди набиты по 300 человек в камере, на одну постель, вернее — связку соломы, приходится 7 человек, пища состоит из 100 граммов хлеба и супа из кормовой репы. Интернированных сторожат немцы, бывшие уголовные, избивают их хлыстами, расстреливают. Я провел два года в фашистском лагере и знаю, что все это — не слова...

Во Франции выходит подпольный литературный журнал «Французская литература» (*Les Lettres Françaises*), специально предназначенный для интеллигенции. В нем есть немало любопытных произведений, подписанных никому неизвестными именами, но говорящих о том, что авторы их, — несомненно, крупные мастера слова. Приведу из одного номера этого журнала «Песню Волевого стрелка», написанную, вероятно, каким-нибудь известным поэтом. Озаглавлена словами:

Ecoutez, frères d'Algérie,
Nos balles chantent l'espérance...
On je tire, l'écho dit: France!
On je meurs, renait la Patrie.

(Слушайте, братья в Алжире, как наши пули поют о надежде. Там, где я стреляю, эхо говорит: Франция. Там, где я умираю, возрождается отечество.)

Есть у всех народов одна общая черта: в тяжелые и решающие моменты своей жизни они вспоминают о великом и славном своем прошлом, ищут в нем образцов поведения, вдохновения и сил. События, о которых они не вспоминают в обычное время, встают в их памяти, приобретают новую яркость, смысл и значение. Так было и с французским народом. В дни мира и благополучия французы немного подтрунивали над пристрастием к героям прошлого; впрочем, таковы уж французы, — часто под шуткой, под иронией они стремятся скрыть истинное глубокое, благородное чувство. Немцы не понимают иронии, не понимают юмора, и если им полагается чтить своих «героев», они грубо и примитивно раболепствуют перед ними.

В оккупированной Франции вспоминают три великих события: борьбу за объединение и освобождение Франции в XV веке, героиней которого была Жакна д'Арк; битву при Вальми, впервые заставившую задрожать реакционную Европу XVIII века перед армией революции 1789 г. и II-е ноября 1918 г. — день окончания войны, день перемирия, день победы над немцами. Выбор этих трех событий из истории Франции, имеющих огромное историческое значение, был логичен и своевременен.

Интересно, что по мере усиления германского ига, по мере роста французского национального самосознания, углублялось понимание этих событий.

Было вполне естественно, что день 11 мая — день победы над Германией, одержанной четверть века назад, стал праздноваться первым. Его праздновали именно как победу Фран-

нии над Германией, показывающую, что и французы могли воевать и бороться, и побеждать, а не как день будущего Версальского договора, положившего начало неустойчивости послевоенной Европы, приведшей к нынешней войне. Рабочие массы никогда раньше не праздновали, не отмечали этот день — и были правы, потому что в нем они видели прежде всего победу одного империализма над другим.

Теперь 11 ноября приобрело новое значение и стало всенародным празднованием французской военной доблести. Обычно в этот день возлагались венки и зажигался неугасимый огонь у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой в Париже. Под аркой день и ночь дежурил часовой. Французы слегка подсмеивались раньше над этим празднованием. Остряки даже уверяли, что матери «Неизвестного», как его насмешливо-ласково называли парижане, была дана пенсия. Теперь все это изменилось. «Неизвестный» стал борцом за Францию, символом французского воинского духа, французской храбрости. Немцы с самого начала своей оккупации Парижа пытались использовать «Неизвестного» в свою пользу. Они убрали французского часового и приставили к могиле свой караул.

Немецкие офицеры и солдаты, осматривая эту могилу как туристы, вытягивались перед нею во фронт, шедкали каблуками и отдавали ей честь. Этот жест глубоко оскорблял французов. Могила «Неизвестного» опустела. И все-таки она принадлежала Франции.

11 ноября 1940 г. я видел первую манифестацию у этой могилы. Манифестировали тогда только одни студенты, горячая и патриотическая молодежь. Они пришли толпою к могиле и запели «Марсельезу». Немцы их разогнали, избili прикладами, сотни их арестовали, многих увезли неизвестно куда, закрыли на два месяца все высшие школы в Париже.

Рабочие массы тогда еще не участвовали в этой манифестации. Но прошел год, прошло два года — немцы все еще владели Парижем, владели Францией. И празднование 11 ноября стало национальным праздником французского народа. Немцы стали жестоко его преследовать, они стерли с лица земли все напоминания об этом дне: увезли к себе вагон из Компьенского леса, в котором Фохн принял в этот день немецких парламентариев, разбили статуй, воздвигнутые вокруг этого вагона.

Многие подпольные листки и журналы посвящены этому дню. В одном из них призыв к празднованию этого дня подписан всеми организациями Сражающейся Франции: объединением профсоюзов Парижской области, французской Конфедерацией христианских рабочих, социалистической партией, компартией, радикалами-социалистами, демократическим Объединением и многими другими организациями. В том числе группой парижских адвокатов, медицинским факультетом, Парижским университетом, Институтом Франции. Один эти подписи уже свидетельствуют о том, насколько патриотическое движение против поработителей широко охватило все круги населения Франции. И смысл этого празднования четко сформулирован в подписанном ими обращении к населению: «эти жертвы, от графа д'Этьен д'Орва (расстрелян немцами) до заложников лагеря Шатобриан... ждут от нас не просто благоволения молчаливых, но мужественной грусти бойцов, решивших отомстить за своих товарищей. Французы сочетают в этот день 11 ноября свое преклонение перед прошлым со своей волей к

борьбе». Воззвание обращается ко всем французам, призывая их пойти толпою к могиле Неизвестного, а жителей предместий устроить манифестации у памятников солдат, павших в прошлую войну.

Вся подпольная печать во всей Франции призывает к празднованию дня 11 ноября. Во многих листках ясно указывается на то, что французы понимают теперь значение своей собственной борьбы за освобождение Франции. В листовке, выпущенной к 11 ноября Провансальским Комитетом Национального фронта, мы читаем:

«...8 сентября 1943 г. патриоты, объединенные Национальным фронтом на Корсике, подняли восстание, захватили власть, сражались с захватчиками и победили их. Они последовали совету генерала де Голля и освободили свой остров путем национального восстания. Занятие порта Аяччо патриотами заставило союзное командование высадиться в порту, и теперь власть там находится в руках патриотов. Это показывает, что столь ожидаемая высадка союзников зависит от смелости и от инициативы самих французов. Создание второго фронта зависит от нас, от нашей решительности и нашей смелости».

Листовка, выпущенная к 11 ноября в Тулоне, напоминает о героическом поведении тулонских моряков, взорвавших свои суда, чтобы они не достались немцам. И в ней также указывается на героическую борьбу Красной Армии и на то, что образование второго фронта зависит от самих французов:

«Каждый день пушки Москвы вещают миру о великих победах Красной Армии... Будем же бороться, чтобы ускорить час победы, подготовим и ускорим образование второго фронта». И эта листовка подписана всеми организациями Национального фронта. Еще интереснее в этом отношении листовка, выпущенная организацией молодежи, призывающая проводить повсюду демонстрации с национальными флагами. «11 ноября 1943, последнее 11 ноября под немецкой оккупацией. Молодежь Франции готова». И следуют подписи, сочетание которых никто не мог раньше поверить и которое ясно показывает, насколько национальное чувство объединило всех искренних французских патриотов: «организация молодых католиков, федерация коммунистической молодежи, организация молодых протестантов, молодые крестьяне, патриотический союз студентов» и т. д.

Журнал «Молодой Патриот» — орган Патриотического фронта молодежи, взял своим девизом: «Все, что мы требуем от каждого молодого француза, это патриотизм и доказательство этого патриотизма». Не спорят о религиозных и политических убеждениях — сейчас от каждого француза-патриота требуют преданности Франции. Духовенство также принимает участие в патриотическом подъеме страны. Этот же журнал сообщает о том, что немцы арестовали в Париже аббата Герена, основателя Общества католической рабочей молодежи, широко известного еще до войны во Франции под сокращенным названием «Ж.О.С.». Написанную Гереном книгу «Молитвы рабочего» немцы конфисковали и уничтожили. Почти одновременно с аббатом был арестован секретарь Спортивной Федерации рабочих, Огюст Делон, он был избит агентами Виши и передан в руки гестапо. Журнал требует немедленного освобождения обоих арестованных и призывает манифестировать за них.

Аналогичные обращения были выпущены Комитетом Сражающейся Франции в городе Гренобле, организациями города Лиона, включавшими все французские партии. В обращении организаций города Лиона авторы «приветствуют героические усилия Русской Армии, наносящие фашизму удары, от которых он не оправится...» «Мы, французы,—говорится в воззвании,—надеемся и ждем с нетерпением открытия второго фронта, мы ускорим его образование по примеру наших братьев на Корсике». «Лионцы,—говорит призыв,—приходите праздновать воследний в истории нашего сопротивления день 11 ноября и воскresить теперь же великий праздник победы».

Как известно, Петэн, по приказу немцев, отменил празднование 11 ноября. И неудивительно, что призыв заканчивается словами: «Лаваль к стенке! Долой Петэна! Да здравствует второй фронт! Да здравствует русское наступление! Да здравствуют англо-американцы!»

Другое обращение вышло в Марселе. Здесь также все патриоты приглашаются манифестировать в этот день за освобождение Франции у памятника павшим в прошлую войну.

К 11 ноября 1943 года в департаменте Соны и Луары расклеена афиша французских патриотов с подзаголовком: «Французская республика» и под нею два скрещенных французских флага. Эта афиша заканчивается следующими гордыми словами:

«Гитлер ошибся. Побеждена будет Германия. Под ударами героической Красной Армии, под непрерывной бомбардировкой английского воздушного флота, под ударами доблестных бойцов французского сопротивления, «боги» сгибают голову. Завтра он встанет на колени.

11 ноября 1918 года: немцы были побеждены. 11 ноября 1943 года: немцы будут побеждены! Да здравствует Франция!».

Мы видим во всех воззваниях три основных момента, три показателя того, что волнует современную Францию: стремление развернуть борьбу, глубокую симпатию к СССР и Красной Армии, требование скорейшего открытия второго фронта. Это последнее требование проходит красной нитью через все воззвания. Франция, более чем кто-либо, чувствует срочную необходимость этого фронта. Мы видим, что не только военные условия, но и моральная поддержка этого фронта в оккупированных странах созрели.

Депутат Парижа коммунист Фернан Греньё, в 1943 г. бежал из Франции в Лондон. Оттуда он обратился с призывом ко всем объединенным нациям:

«Французы во Франции каждый день и прежде всего требуют от нас, чтобы мы передали их драматический S.O.S., пока еще не поздно».

«Об этом надо кричать каждый день. Освобождение не должно прийти слишком поздно. Освобождение срочно. Иначе перед нами останется Франция, пораженная туберкулезом. Франция дошла до предела».

Знаменитый французский летчик и писатель Сент-Экзюпери, бежавший из Франции и теперь сражающийся во французской армии, выпустил в 1943 г. книгу «Письмо заложнику». В ней он говорит, обращаясь к французам во Франции: «Вы—сорок миллионов заложников. Новые истины всегда выковырываются в подвалах угнетения: там 40 миллионов заложников размыш-

ляют о новых истинах. Мы заранее их принимаем».

Французские патриоты сознают: режим, введенный во Франции шайкой предателей и нагло названный ими «Национальной Революцией», должен быть сметен. Франция воюет на два фронта: против немецкого фашизма и против фашизма французского, его сообщника и предателя Франции. Обращение, подписанное «Объединенными организациями сопротивления», социалистической партией и Национальным фронтом, включающими и крайне умеренные с политической точки зрения элементы, открыто говорит: «Французы! Когда «Национальная Революция» будет сметена с еще большей скоростью, чем итальянский фашизм, вам придется произвести настоящую революцию. Помните об этом в день годовщины великого прошлого, предвестника великого будущего! Да здравствует Французская Революция!»

Франция не только хочет освободиться от иностранного фашистского ига, она хочет освободиться и от того режима, который привел ее к нему, опозорив ее, отдав на растерзание немцам

Не только «сотрудники» немцев, но и самое слово «сотрудничество» стали ненавистными французскому народу. На маленькой листовке, «бабочке», как называют во Франции такого рода листки, изобращена карта Франции, в которую вонзен книжкой со свастикой, и рядом подпись: «С палачами не сотрудничают».

Осенью 1943 г. Национальный Комитет военнопленных в Германии выпустил листовку, в которой резко изобличает гнусную антинациональную политику Лавалья и Петэна. В ней описываются страдания французских пленных, для которых усердны католические лагеря в Раце Русской, около Львова. Приводят слова Лавалья: «Гитлер великодушный и щедрый победитель. Я желаю победы Германии». И приводятся факты: «в мае 1920 г.,—восемнадцать месяцев после перемирия,—во Франции больше не оставалось германских пленных. В октябре 1943 г.,—сорок один месяц после перемирия,—в Германии попрежнему находилось свыше миллиона французских пленных».

«Когда англичане высадились в Сирии, Петэн отдал приказ французским войскам вступить с ними в бой.

«Когда же японцы заняли Индо-Китай, Петэн дал французским войскам приказ с ними не сражаться».

«Когда американцы высадились в Северной Африке, Петэн дает французским солдатам приказ с ними сражаться».

«А когда немцы и итальянцы высадились в Тунисе, Петэн велел французам не оказывать им никакого сопротивления».

Лаваль вербует рабочих для Германии. В ответ по всей Франции разлетаются листовки рабочих организаций с призывом не идти работать к немцам. Вот краткий и выразительный текст одной из таких «бабочек».

«Французские рабочие! Тысячи английских самолетов обрушились на Бремен. Завтра столько же обрушится на Эссен, на Гамбург, на Берлин, на Кельн. Бомбы английских летчиков не для нас. Зачем пойдем мы в Германию, чтобы рискнуть нашей жизнью? Для величия германского Рейха? Чтобы ковать цепи, которыми мы одутай? Мы предпочитаем их разорвать. Быть может, придется умереть, но умереть за свободу. Мы не пойдем в Германию!»

Другая листовка выражается еще энергичнее:

«Трудящиеся! Саботируйте германскую военную продукцию! Каждая испорченная машина, каждая потерянная минута работы спасет жизнь человека. Следуйте примеру оккупированных стран — Бельгии, Голландии. Саботируйте и замедляйте работу вашей фабрики, продукцию которой Виши отсылает в Германию. Каждый дефект в станке, недовинченный винт, дырочка в банке с консервами — все это ускоряет поражение немцев».

Уклонение от обязательной работы в Германии стало во Франции повседневым фактом. Целая армия уклоняющихся скрывается в городах и в деревнях. Их даже кратко называют «уклоняющиеся» — «рефрактеры». «Рефрактерами» созданы свои организации, многие из них входят в «Тайную Армию сопротивления». Передо мной их журнал «Рефрактер», от октября 1943 г. Четырехстраничный, плохо отпечатанный на пишущей машинке.

В нем говорится: «Нас теперь 150 000, — 150 000 «рефрактеров», молодежь из «Обязательной трудовой службы», отпускных из Германии, бывших военнопленных, или же беглецов из лагерей организации Тодта». «Рундштедт (немецкий генерал-губернатор всей Франции) дал приказ Лавалю и Петэну, чтобы их префекты и начальники полиции охотились за «рефрактерами» и забирали их». «Рефрактеры» прячутся группами от восьми до двадцати человек в лесах, в горах, в пещерах. Население снабжает их продовольствием и одеждой. В каждой группе есть свой ответственный командир, сносящийся с местным населением. Все эти группы быстро передвигаются и ускользают от ареста агентов Виши.

Листовки призывают население помогать всеми имеющимися в его распоряжении средствами тем, кто уклоняется от обязательной работы в Германии: давать им убежище, деньги, продовольствие, продовольственные карточки, одежду.

Между прочим, вопрос снабжения продовольствием всех перешедших на нелегальное положение во Франции, — а таковых теперь имеется, по видимому, сотни тысяч, — один из самых трудных. Достать продовольствие можно только по карточке, да и то не всегда. Уже в 1941 г., когда я покидал Францию, там появилось огромное количество фальшивых карточек, которые открыто продавались. Было даже два тарифа — один на настоящие карточки, другой на фальшивые. Но с типографской стороны отличить фальшивые карточки от настоящих было почти невозможно, так как они печатались в прекрасных типографиях. Разница была только в номерах, которые, в случае надобности, можно было проверить в мэриях, выдавших данную карточку. Но продавцы в магазинах не стремились проверять таким способом карточки.

Бывшие военнопленные в Германии лучше других знают, что такое германский фашизм. Они издают свой журнал, — так же плохо отпечатанный на машинке, как и другие подпольные журналы, — это придает всем этим органам подпольной печати особый характер. Вот журнал, называющийся «Бывший К. Г.» («d'Ex — К. G») (Кригсгефангене — военнопленный). У него под заголовком стоит фраза: «освобожденные военнопленные, познавшие всю горечь плена, должны быть в первых рядах борцов за Францию в борьбе против немцев». Этот журнал носит ярко антифашистский характер. Он изобилует предателями Франции.

Правительство Виши всякими способами пы-

тается обрабатывать в своих интересах бывших военнопленных. Лаваль заключил договор с немцами, в силу которого за двух рабочих-специалистов, отправленных в Германию, освобождался три военнопленных. Немцы не соблюдают этого договора. В Германии осталось свыше миллиона французских пленных. Но Лаваль надо показать, что если они еще остаются в Германии, так это потому, что французские рабочие не хотят идти работать на немецкие военные заводы. Большинство военнопленных, оставшихся в Германии, — крестьяне. И Лаваль нужно натравить крестьян на рабочих, обвиняя рабочих в том, что они не хотят освобождения французских крестьян-пленных.

Лаваль стремится разъединить французоз, разбить Национальный фронт борьбы за освобождение Франции. Его агенты рыщут по Франции, делают доклады военнопленным, издаются для них гнусные журнальчики. «Бывший К. Г.» разоблачает предателя. Он рассказывает, что уже несколько месяцев во Франции разъезжает некий Андре Массон, который читает доклады бывшим военнопленным и уговаривает их сотрудничать с немцами. Он издает для них особый журнал — «Надежда» (L'Espoir). Военнопленные презирают Массона, встречают его свистками и выгоняют с собраний.

За немцами во Франции укоренилось еще с прошлой войны презрительное название «бшей». После немецкой оккупации немцы стали штрафовать французоз за произнесение этого слова на 700 франков. Французоз стали называть их «фрицами». Немцы и за это установили штраф. Тогда им дали другое название — «фридолины». В деревнях немцев называют «дорифорами» (картофельными жучками). Это название хоть и не было понятно горожанам, пришло как и кличка «арико вер» (зеленые бобы). Военнопленные принесли из Германии новую кличку для немцев: «шле» (schleuh). Это название идет из Африки, от Иностранного Легиона... Шле — племя, считавшееся бандитским, против которого воевали легионеры. По видимому, и эта кличка привилась. Как она оценивается в германском тарифе штрафов за «оскорбительные для Германии названия»?

Немцы силой отправляют рабочих в Германию. Но как эти рабочие там работают? Об этом рассказывают сами немцы. Журнал «Либерасьон» в номере от 6 ноября 1943 г. приводит текст инструкции, данной «Баумейстерей» (управление работами французских рабочих в Саарбрюкене). Вот выдержки из этого документа:

«Вам неоднократно напоминали, что вы должны написать домой, чтобы вам прислали обувь и одежду для работы. Мы не можем выдавать миллионам иностранных рабочих одежду и обувь, так как германская промышленность работает только для военных».

...Не надо забывать, что Германия была страной бедной, в то время как во Франции все имелось в изобилии. Что же касается работы, то результаты пяти недель вашего труда не очень значительны. Вы, несомненно, забываете, что находитесь в государстве, в котором царит порядок и которым управляет Адольф Гитлер. Работайте! Вы теперь не во Франции Леона Блюма, Франция Народного фронта никогда больше не вернется. Ее вожаки — Леон Блюм, Даладье и другие, находятся в надежном месте... Запомните также: если вы будете плохо работать, то вас не вернут во Францию, а пошлют в те места, в которых евреев, вроде Леона Блюма, научили работать... Надо также,

чтобы количество больных уменьшилось... Если проступки против дисциплины будут повторяться, виновные будут посланы в такое место, где их в самый короткий срок обучат порядку и дисциплине... Производительность труда французских рабочих в настоящее время не достигает 30% производительности немецких».

Тон и содержание этого письма не нуждаются в пояснениях.

Многие листовки посвящены знаменитой битве при Вальми. В воскресенье 19 сентября 1943 г. по всей Франции разлетелись листовки с призывом манифестировать в память Вальми.

«Битва не кончена, — говорит одна из листовок. — 151-я годовщина битвы при Вальми должна обозначать новый этап в нашей борьбе. Волные стрелки, партизаны, боевые группы Национального фронта, доблестные потомки добровольцев Вальми, нанесите новые и страшные удары вражеской военной машине. Французские крестьяне, в этот день прячьте ваш урожай. 20 сентября надо повсюду манифестировать. Надо вывесить флаги, как 14 июля, всюду в наших городах и в наших деревнях надо петь марсельезу. Повсюду надо писать: да здравствует де Голль! Да здравствует Национальный фронт! Да здравствует Сражающаяся Франция!»

Женщины принимают горячее участие в борьбе. Целый ряд подпольных журналов и листовок издается женщинами. Вот номер «Голоса нормандских женщин» от сентября 1943 г. Он опечатан также на плохой бумаге, на машинке, и в нем прежде всего говорится о славной годовщине битвы при Вальми: «По примеру наших братьев 1792 г., весь народ должен встать с пением «Марсельезы», чтобы выгнать бошей с земли Франции». «Французские женщины, матери, в истории Франции женщины всегда были в самой гуще боя, женщины 1943 г. будут продолжать эту благородную традицию».

И этот же журнал сообщает о смерти Даниэлы Казанова, генерального секретаря организации «Молодых девушек Франции», умершей в концлагере в Германии, и Денизы Редде, секретаря женской организации II-го округа города Парижа, приговоренной к смерти в Нанте французским специальным судом.

Другой женский журнал — «Женщина департаментов Эр и Луар», — также призывает французских женщин праздновать годовщину битвы при Вальми и обращается к французским матерям с призывом помешать отправке их сыновей на работу в Германию.

Женский Комитет Национального фронта расклеивает «бабочку», в которой призывает женщин манифестировать против Петэна и немцев. «Ваши дети голодают, — говорится в призыве. — Пока народ умирает с голоду, «сотрудники» набивают себе брюхо. Хлеба! Хлеба! Хлеба!»

Из женских подпольных журналов мы узнаем все мелочи ежедневного существования французов под немецким игом. В них сообщаются размеры пищевых пайков, голод, болезни детей и женщин. В них же сообщаются данные о том, как питаются предатели Франции, агенты Виши. Так, журнал «Ля Фамт Контуаэ» («Женщина провинции Франш-Конте») в № 2 от августа 1943 г. сообщает: «Префекты Безансона, Бельфора и Везуля получают каждый по 30 комплектов хлебных карточек в месяц, т. е. по 315 кг хлеба. Областной префект в Дижоне получает 50 комплектов хлебных

карточек, т. е. 520 кг хлеба в месяц, а также 37 с половиной кг сахара в месяц». Между тем гражданское население Франции получает лишь по 275 гр. хлеба в день. Как видно, предательство оплачивается неплохо».

А пока что расстрелы и казни идут своим чередом. Каждый день французские патриоты расправляются жизнью, борясь за освобождение родины. В листовке, выпущенной в сентябре 1943 г. в департаменте Кот д'Ор (Бургундия), сообщается об убийстве немцами захваченного ими в плен молодого бойца Тайной Армии освобождения, Александра Трюшо, коммуниста. В своем последнем письме к родителям он пишет: «С глубокой грустью прощаюсь я с вами в это печальное утро. Я знаю, что это причинит вам много горя, но, увы, с этим надо примириться. Я сокращаю мое письмо, так как хочу сохранить все мое мужество для последнего момента». Перед самой казнью он восклицает: «Я был коммунистом, и я умираю коммунистом». Казнь состоялась в Дижоне. В тот же день, в другом городе Бургундии, Монбаре, неизвестный молодой солдат из той же армии, тяжело раненный и захваченный в плен немцами, которые пытали его, кричит им: «Я не отвечаю на ваши вопросы, я умираю за освобождение Франции!» Этот неизвестный герой был человеком верующим и потребовал перед смертью, чтобы к нему допустили священника, но немцы ему в этом отказали.

В 1940 г. французов укоряли, что они разучились умирать за Францию. Мы видим, что французы 1944 г. обрели свои героические традиции — и умирать умеют.

Если кто еще на Западе сомневался в германских зверствах во Франции, — факты, приводимые в подпольных журналах, неотразимо свидетельствуют о них: раззуданные и озверевшие шайки гитлеровцев и французских их сообщников заняты истреблением французских патриотов. Журнал «Либерасьон» («Освобождение», третий год издания, № 151, 19 октября 1943 г.) сообщает, что 18 сентября 1943 г. в Безансоне германский военный суд приговорил к смертной казни шестнадцать французов и двух испанцев за «террористическую деятельность». Все осужденные, в возрасте от 16 до 26 лет, были расстреляны. Трудно не привести письма к родителям, написанного перед казнью самым молодым из осужденных, шестнадцатилетним Анри Ферте. Вот что он пишет:

«Дорогие родители. Мое письмо причинит вам большое горе, но я знаю, что вы мужественные люди и сохраните мужество и теперь, хотя бы из любви ко мне. Вы не можете себе представить, как я страдал морально от разлуки с вами, от того, что я мог только издали чувствовать ваши заботы обо мне. За эти 87 дней заключения мне не хватало вашей любви, гораздо больше, чем ваших передач, и часто я просил вас простить мне все то зло, которое я вам причинил. Вы не сомневайтесь в том, что я вас любил и теперь, тогда как раньше я вас любил скорее по привычке. Но теперь я сознаю все, что вы сделали для меня. Я думаю, что я понял, что такое настоящая сыновья любовь. Быть может, после войны какой-нибудь товарищ расскажет вам обо мне, об этой любви, о которой я емю говорил. Я думаю, что он выполнит эту священную теперь миссию. Поблагодарите всех тех, кто оказал мне свое внимание, и в частности наших ближайших родственников и друзей. Скажите им, что я верю в вечную Францию. Обнимите креп-

ко дедушку и бабушку, дядю, теток и двоюродных братьев. Поблагодарите епископа за великую честь, которую он мне оказал, честь, которой я, как думаю, был достоин. Я умираю за мою родину. Я хочу, чтобы Франция была свободной и чтобы французы были счастливы. Но не Франция, гордая себою и первая нация в мире, а Франция работающая, трудолюбивая и честная. Пусть французы будут счастливы, это самое главное... Что же касается меня лично, — не беспокойтесь, Я сохранил до конца мое мужество и мое хорошее настроение, и я буду петь «Самбра в Мез» (старинный французский военный марш), потому что ты, моя дорогая мама, меня ему научила. Солдаты пришли за мною. Я должен спешить. Вероятно, мое письмо написано дрожащим почерком, но это потому, что у меня маленький карандаш. Я не боюсь смерти, Моя совесть спокойна. Папа, я умоляю, я прошу тебя, помни, что если я умираю, то это для моего блага. Какая смерть может быть для меня почетнее? Я добровольно умираю за мою родину. Скоро мы все четверо встретимся на небе. Прощайте, смерть меня зовет. Я не хочу, чтобы мне завязывали глаза или привязывали. Обнимаю вас всех. Все-таки тяжело умирать. Целую всех. Да здравствует Франция!»

Не может погибнуть страна, в которой шестнадцатилетние мальчики идут на смерть за родину с такими мыслями.

В том же журнале рассказывается, как СС налетели на лагерь «рефрактеров» и перебили людей. Все окрестные деревни пришли на их похороны.

Подпольные журналы полны сообщений о таких фактах: расстрелы, избиения, массовые убийства, аресты — все, что принесли в докоренную Европу фашистские мерзавцы.

Французский юмор умер во Франции в 1939—1940 гг. Когда такой народ, как французский, перестает быть остроумным, становится за него страшно. Сейчас юмор возрождается, и в этом один из симптомов общего возрождения Франции. Он блистает на страницах подпольной печати. Вот листок без подписи. На нем — карикатуры, острые, злые, полные гнева. Вместо заглавия рисунок свастики, вывернутой крючками в противоположную обычному сторону, — свастика похожа на могильный крест. С нее капает кровь. Под рисунком подпись: «Умереть за фюрера». И подпись — «это самая лучшая участь». Одна из карикатур изображает Делонкля — бывшего кагуляра, предателя, ставшего при немцах в Париже главным организатором созданной на немецкие деньги группировки «сотрудничества» с немцами. Делонкль поступает на службу к немцам. Чивоник спрашивает у него рекомендации. Делонкль отвечает: «Мною убито восемнадцать французов» (намек на взрыв, произведенный им в Париже в 1937 г., когда погибло 18 французов).

Другая изображает Смерть в образе немецкого солдата в каске: подпись — «Восточный фронт». Смерть поет на мотив известной французской песенки: «Идем с нами, приятель, идем с нами, идем».

Третья изображает разбитое в дребезги окно конторы «Легиона добровольцев против большевизма». У окна дежурит полицейский. Прохожий спрашивает: «Кто сюда приходит?» Ответ полицейского: «Будыжники» (непереводимая игра слов).

Интересная афиша была выпущена в Гренобле ко дню празднования 11 ноября. В заголовке значится: «Французская Республика. Национальный праздник 11 Ноября». Под названием подписали самые разнообразие организации партии сопротивления. А внизу крупными буквами, как на афишах, предостерегающих об опасности за электрических трансформаторах, написано:

«Воспрещается прикасаться. Смертельная опасность!»

Вот парижский журнал «Защита Франции» (La Défense de la France) № 39, от 30 сентября 1943 г. Журнал, как указано в заголовке, основан 14 июля 1941 г. На первой странице его фотографии жертв немецких зверств с надписью: «Это сделали защитники централизации».

На одной из фотографий под заголовком — «Дети из стран германского протектората», изображены, похожие на недоносков, греческие ребята, умирающие от голода. На других — похороны русских пленных: солдаты-немцы с равнодушным видом закапывают в общий ров не трупы, а настоящие скелеты совершенно голых людей. Один из пленных еще жив, — немцы тащат его за руки и ноги к могиле. Он вцепился скрюченными пальцами в несущего его немца.

Журнал «М. О. Ф.» сообщает: «Директору тюрьмы Сен-Жозеф в Гренобле не удалось выспаться в ночь на 26 октября. За один день он потерял пять политических заключенных. Трое из них были освобождены вооруженным отрядом патриотов, а с двумя другими вышло даже хуже: они скрылись вместе со своим тюремщиком».

«27 октября фашистской милиции в Шамбери был нанесен неожиданный визит. Посетители унесли с собою оружие, боеприпасы и документы, а взамен оставили бомбы, которые причинили серьезные повреждения. Несомненно, это были террористы, так как с тех пор милиционеры Шамбери терроризованы».

Вот боевой журнал группы «вольных стрелков» — «Вольный стрелок Нормандии и Пикардии», от 1 августа 1943 г. — И на нем, как на всех, подзаголовок: «Будем биться до смерти».

Это уж не журнал, не орган пропаганды. Это — бюллетень отряда, борющегося с оружием в руках за освобождение Франции. Он по-военному сдержан, краток, решителен. Он начинается с предупреждения подчиненных, состоящих на службе у Виши: «Некоторые полицейские и агенты полиции принимали участие в арестах и в убийствах патриотов. Пусть они помнят, что имена их нам известны и что скоро они заплатят за свое предательство. Мы будем держать население в курсе казней, совершенных над предателями, продавшимися немцам. Пусть все полицейские знают, что приближается час, когда им придется отвечать за свое отношение к патриотам, борющимся за освобождение родной земли».

В этом журнале есть хроника, — изо дня в день отмечаются акты сопротивления: «1 июня. В Трамбле сожжена льняная фабрика. Убытки 4 миллиона». «18 июня. В Гран Куроннэ сошел с рельс поезд, 4 вагона разбито, много бошей ранено». «7 июня. В Пьерре, около Мэн-монта, Бернар Лодато, спекулянт на черном рынке, областной вербовщик «Французского легиона добровольцев для Германии», агент гестапо, повешен патриотами». «22 июня. Поезд из Шербур в Париж с немецкими офицерами пущен под выжес около Эвре, паровоз

перевернулся, 16 вагонов разбито. 50 немцев убито». И т. д.

Это — сводка войны во Франции. И в конце журнала краткое предупреждение:

«Мы напоминаем французам, что наша печать и союзное радио уже предупреждали их о том, что опасно путешествовать в ночных поездах, а также в вагонах, резервированных для бошей и для немецких отпускных. Учитывая положение и приближение важных событий, мы напоминаем:

Не путешествуйте ночью. Не ездите в вагонах, резервированных для немцев.

Не ездите в вагонах с немецкими отпускными.

Если вас заставляют это делать, отказывайтесь и манифестируйте».

Вот журнал, посвященный борьбе с антисемитизмом, «Братство» (Fraternité), номер от сентября 1943 года. В нем приводятся кажущиеся невероятными факты издевательств немцев и их прислужников из Виши над евреями, массовые убийства, штыки.

Во Франции чемпион плавания, Накаша, — еврей. Власть Виши запретила ему участвовать в спортивных состязаниях. Тогда все другие пловцы отказались в них участвовать. Публика присоединилась к ним, и, не выходя со стадиона, требовала допустить Накашу.

Агенты Виши нападают на синагоги и разрушают их, избивают молящихся в них евреев, — словом, совершают все мерзости, подобно войн хозяевам в Германии.

Рассмотрим газеты рабочего класса. Нам удалось видеть три из них: «МОФ» — орган Генеральной Конфедерации Труда, «Юманизе» — центральный орган компартии, и «Вивриер» (Рабочая жизнь). Первый из них — юный, он родился и вырос в подполье. Два других продолжают свое существование уже десятки лет и знакомы всем и каждому.

«МОФ» сообщает интересные данные о поставках живой силы, продовольствия и промышленных материалов Францией:

«С июня 1940 по июнь 1943 г., — сообщает «МОФ» от ноября 1943 года, — Франция оставила Германии 140 000 лошадей, 8 миллионов гектолитров вина, 2 миллиона тонн зерна, 2 миллиона тонн овса, 500 000 тонн мяса, не считая других «закупок» продовольствия».

Еще в мае 1941 г. я сам видел в провинции фермы, на которых из трех лошадей немцы забрали двух, и крестьяне пахали землю, ипряглись в илуг. Немецкие солдаты разъезжали по фермам и по деревням, забирая каждый день у крестьян яйца, масло, молоко. Они те грабиди все это; они расплачивались французскими деньгами, и даже щедро: деньги им ничего не стоили.

90% продукции автомобильной и велосипедной промышленности отправляются в Германию, а также 75% металлургической, козлаблестроительной и авиационной. В среднем 50% всей продукции французской промышленности поступает к немцам».

Но кроме того, они забирают и всю «живую силу» Франции. «В настоящее время в Германии находятся 1 200 000 французских военнопленных, 700 000 гражданских рабочих, 2 миллиона рабочих работают на немцев в самой Франции, иначе говоря, 3 900 000 французам — 20% всего работоспособного населения Фран-

ции — работают на Германию». А остальные голодают.

Перед нами два номера «Рабочей жизни» (La Vie Ouvrière) от 18 и от 25 сентября 1943 г. — это показывает, что газета выходит регулярно каждую неделю. Это все тот же стойкий и верный друг рабочего класса, каким он был раньше уже свыше 20 лет. Она выходит, напечатанная на машинке, на двух страничках и сообщает ряд интересных фактов рабочего движения в оккупированной Франции. Она напоминает, что на 1 апреля 1942 г. около 400 000 французов содержались в тюрьмах и около 30 000 патриотов было расстреляно немцами и агентами Виши. Один из главных виновников этих зверств был неизвестный Пюше, который и был недавно осужден и казнен в Алжире.

И наконец, «Юманизе» — центральный орган французской компартии, основанный еще Жоржесом, верный выразитель интересов рабочего класса Франции. Я видел его в 1940—1941 г., когда он выходил в Париже и тайно распространялся среди населения. Он не изменился с тех пор — опечатан все так же плохо, на плохой бумаге и на плохой машинке. Видно, много ему пришлось вытерпеть за это время. Немцы и агенты Виши преследуют его в первую очередь. Сколько раз агенты Виши громили его редакцию, сколько сотрудников его погибло под немецкими пулями и на гильотине. Сейчас нельзя без волнения смотреть на этот маленький героический листок, за которым стоит великое дело, который дышит бодростью и силой всего рабочего класса Франции. «Юманизе» никогда не изменял своему классу, своей стране и впитал все лучшее из великого прошлого Франции. На обложке номера от 10 сентября 1943 г. значится № 245 — значит вышло 245 номеров в условиях германской оккупации, — мы знаем с каким невероятным трудом. И этот номер прежде всего напоминает об одном из наиболее героических событий французского прошлого: о битве при Вальми, — французов призывают отпраздновать ее годовщину. Как нз трудно, — компартия Франции борется, крепит и растет с каждым днем.

Наш список был бы неполон, если бы мы не отметили еще одного старого знакомого — «Лия Руссия д'Ожурдиз» (Россия сегодня). Этот орган общества Друзей СССР, сыгравший когда-то большую роль в деле ознакомления Франции с СССР. Он выходит как и прежде — но, как и другие подпольные газеты, в маленьком формате и всего на 4 страничках. Это уже № 5. Его выход показывает, насколько, несмотря на ожесточенную внутреннюю борьбу, велик теперь во Франции интерес к СССР. Мне самому приходилось наблюдать это во время «Великого исхода» в 1940 году, когда Франция была разгромлена, когда все население, охваченное паникой, бежало на юг, спасаясь от немцев, как в этой несчастной толпе вспыхивали, озаряя надеждой, слухи о русской помощи, и это несмотря на все кампании лжи и клеветы, на которые не скупилась французские газеты тех лет. Россия не умерла для Франции, Франция больше чем когда бы то ни было верит в Россию, ждет от нее спасения. И даже в подполье, в годы тяжелой и кровавой борьбы с насильником, она нашла время и средства для продолжения издания, связывающего с далекой любимой страной.

Невозможно перечислить все подпольные издания — к нам попала только незначитель-

ная часть. Их сотни (а может быть и тысячи), и, несомненно, нет француза, который бы не читал какого-нибудь из них.

Чем будет Франция после войны? Этого мы не знаем, и подпольные журналы не дают ответа на этот вопрос. В них нет никаких политических программ будущего, кроме одной: освобождение Франции от немцев и восстановление Республики — «Четвертой Республики». Но это указывает и на то, что Третьей Республики, рухнувшей под напором фашизма, французы не хотят. Они не высказываются о программах, чтобы не нарушить единения, не поднять споров между партиями. И в этом все журналы единодушны.

Мы видим, что Франция с нами, что французский народ очнулся от своей растерянности, от своего безволия и своего бессилия 1940 года, он понял, кто его друзья и кто его враги, и ведет борьбу за свое освобождение. Борьба эта тяжелая, так как ему приходится расплачиваться за предательство шайки Лаваля—Пэтена. Ему приходится бороться со своими собственными фашистами, предателями родины.

Он понял, что его союзник — это Советский Союз, несущий освобождение всем народам угнетенным германским фашизмом. А ведь это нелегко было ему понять — сколько лет продажная французская печать твердила ему о том, что главный враг Франции — это СССР. Действительность разоблачила ложь.

Но главное — французский народ осознал, что прежде всего он должен рассчитывать на самого себя, на свои силы, на свой патриотизм. Он надеется на создание второго фронта, он требует его от союзников, но он понимает, что в освобождении Франции решающую роль будет играть он сам. Союзники могут видеть, что Франция готова прийти им на помощь, что они высадутся не на вражеской, а на дружес-

кой территории, которая облечит нам нашу общую задачу — окончательную и решающую победу над германским фашизмом.

Когда я покидал Францию, — она молчала. Только «Юманите» выходил в Париже, поху-девший, но все-таки выходит. Теперь Франция заговорила.

После войны нелегко будет собрать коллекцию подпольных листков и журналов. Их не хранят, — читают и передают дальше. Они прежде всего динамичны. Их не хранят потому, что их хранение означает смерть. Они разлетаются, как хлопья снега, вздуваемые ветром, и тают. Это голос Франции, тот голос, который нельзя записать на пластинку. Листки эти не найти потом. И поэтому-то они особенно дороги нам.

Их много потому, что французы индивидуалистичны. Но у них одна цель, их всех объединяет одно — любовь к родине и ее свободе. В них всех пылает ненависть к бездарному, жестокому врагу.

И потому-то с таким волнением я просматриваю и перечитываю эти бесчисленные листки — голос французского народа, голос подлинной Франции.

Французский народ еще не может говорить открыто, к его груди приставлен штык немца. Но с его голосом считаются, и в Алжире — там, на собраниях Французской Национальной Консультативной Ассамблеи. Народ приветствует, решения этой Ассамблеи. Они диктуются больше и больше желаниями и требованиями французского народа. Народ не «безмолвствует» — он заговорил, а главное, он стал бороться. Вырастает новая Франция, и по ее подпольной литературе мы можем судить о ее чаяниях, о ее надеждах, можем предчувствовать, какой она станет, пройдя очистительный огонь тяжелой борьбы с врагом и с предателями.

Таково, в общих чертах, содержание поэмы А. Кулешова «Знамя бригады». Как видим, оно не сложно, отдельные сюжетные ходы и ситуации уже встречались в нашей поэзии (крестьянка, уговаривающая бойцов остаться у нее, казнь изменника). И тем не менее, впечатление, которое оставляет поэма Кулешова, очень велико. Прочитав ее раз, вновь и вновь открываешь тоненькую книжку и перечитываешь отдельные эпизоды все с тем же волнением, что и при первом чтении.

Источник этого обаяния в значительности и целостности переживаний героя, от лица которого ведется повествование, в той простоте и правдивости, в той подлинной поэтичности, которыми дышит каждая строка поэмы.

В одном из вставных эпизодов автор рассказывает о белоруссе-цимбалисте, который, оставив свои цимбалы в отцовском доме, ушел на войну, унося в сердце все, что было ему дорого и мило:

И весь край белорусский родной,
Все, что село, росло и цвело в нем,
Захватил он в дорогу с собой,—
Все вместил в своем сердце сыновнем.

Он вместил вековые леса,
Реки, села, холмы и дороги,
Журавлей голоса
И серебряный месяц двурогий.
Налетят ли расправу чинить,
Грابت хату чужие солдаты.—
Сердце вдруг зашемит, зашемит,—
Сердцу дороги хаты.
Старика ли задушит петлей
На осине проклятая сила,—
Сердце вдруг обольется слезой —
Сердце то и осины вместило.

Так же герой поэмы, простой советский боец, вместил в свое сердце прекрасный и скорбный облик родной земли, томящейся в неволе, боль и муку обездоленных людей, тоску родимых полей, лишенных своей плодоносящей силы, призывный шум вековых дубрав, грозных для врага и ласково встречающих верных сынов родины. Все запечатлелось в этом большом, открытом для любви сердце, — все: от сломанной игрушки в покидаемом доме до зарева пожара, полыхающего над родным городом, от журчанья ручья в глухом лесу до скорбной процессии беженцев, возвращаемых немцами на оставленные пепелища. И так крепко вошло все это в его душу, так огромна эта боль родной земли, ставшая его болью, что уже нет в нем места для других чувств и стремлений, кроме одного — страстной жажды вернуться в родные края освободителем, вестником спасения и света. Сознание своей ответственности перед близкими людьми, изнывающими в неволе, перед родиной, чей зов ни на миг не умолкает в его памяти, перед товарищами, которым должен он вручить знамя — символ воли к победе, — не только помогает герою поэмы стойко переносить все лишения и трудности, но и дает ему огромную внутреннюю силу и твердость, стойкость в борьбе с любыми сомнениями, любыми искушениями. Вот здесь, рядом, в нескольких верстах, его дом. Пройти мимо — это, может быть, лишить себя возможности последний раз в жизни увидеть любимую жену и детей. Но что ответит он на немой вопрос, стоящий в глазах голодных, измученных детей, что, кроме пригоршни слез, принесет он им? Ведь

...никто этих слез не попросит,—
Их у матери досыть.
Нет, не этак приду я в свой дом,—
В новой каске приду, со штыком,—
Не скитальцем и не бедняком,—
А войду я хозяином в дом.
Солнце в дом
Принесу, а не ночь.
Молоком
Напою свою дочь,
Посажу тогда сына я
На живого,
На боевого
Коня...

Через всю поэму от начала до конца проходит, то подчеркнута громко, то скрытно, почти под текстом, этот мотив боли за родную страну, это обещание вернуться, отомстить, освободить. И это — не только горячее личное стремление героя, но и объективная необходимость, повелительный закон, которого нельзя не выполнить.

Стерли всю тебя немцы,
Но память стереть невозможно.
И стучится, стучится мне в сердце
Твой пепел тревожный,
Я тебе обещаю, родным пепелищем
Жлянусь,
Что с дороги нигде не собьюсь.
Я вернусь. Я вернусь.

Так звучат слова клятвы в начале поэмы. Когда герой ее прощается с родной улицей, с родным городом, и весь эмоциональный строй последующих глав, смысловое и образное звучание любой картины возвращает нас к этой клятве, заставляет помнить о ней и чувствовать, что в душе героя она повторяется с новой силой, что о ней ежечасно, ежеминутно напоминает ему все окружающее. О ней говорит ему мертвый взор убитого товарища («Знамя вынес?.. Храни... мне глаза его говорили»), о ней твердят ручьи и лес, указывающие дорогу к своим, о ней поет песня жниц, печальная песня о горькой судьбе оратая, нашедшего конец на родном поле, превращенном вражескими минерами в поле смерти.

В свете этих переживаний героя особое звучание приобретают эпизоды и картины, на первый взгляд второстепенные. Ни слова не говорят бойцы приотвешенному их леснику о том, откуда и куда они идут, ни одного вопроса не задают они ему об его отсутствующих сыновьях, чьи косы праздно висят на стене избышки, ибо и без слов ясно все, и без слов знают эти люди свой долг, свое место в великой борьбе. Попав на свадьбу к кулаку Медведскому, продавшемуся немцам, бойцы сначала молча наблюдают горе насильно выдаваемой замуж девушки и ее родителей. Но стоит лишь комиссару Зарудному произнести слово презрения, клеймящее предателя, и тот падает, сраженный чьим-то выстрелом.

Не Зарудный стрелял,
Что за люди
С порога стреляли?
Что за люди? Из хаты выходим,
Но нигде никого не находим.

Изменника поразила карающая рука народа. Стрелял один из тех бесчисленных мстителей, в чьей душе так же, как и в сердце каждого патриота, неугасима ненависть к врагу, неугасима воля к борьбе и победе.

С большой силой написаны главы, в которых этой воле и вере, этой верности зовущему родосуду родины противопоставлено малодушие и безверие, стремление уйти от борьбы в узкий мир личного покоя и благополучия. Когда один из трех бойцов, Никита Ворчих, решает бросить своих товарищей, чтобы уйти в родную деревню, лежащую на их пути, и остаться там, он захватывает с собой куртку, в которой зашито знамя. Товарищи настигают его, и первый вопрос, который задают они трусу, это вопрос о знамени:

Знамя? Ворчих в лице помутнел,
Поблуднел, носердел. Говорит:
— Видно, ум помутится...
...Знамя! Я позабыл и о нем,
Горопился я, торопился,
Как домой я бежал...

Бывшие друзья Ворчиха предполагали, что он унес знамя, чтобы самостоятельно доставить его в часть и заслужить награду, они допускали мысль и о том, что, отдав это знамя немцам, он надеялся купить этим тишину и покой. Действительность оказалась, по-своему, еще страшнее:

Это правда, видать по всему,
Ничего тут не скажешь.
Если б мы не явились к нему,
Он про знамя не вспомнил бы даже.
Он забыл — понимаем без слов —
Все на свете:
Кровь товарищей, славу бойцов,
Что клялись перед знаменем этим...

И в суровой картине оуда и приговора, который выносит бывшему товарищу люди, оставшиеся верными своему долгу, их гласе сливается с полесом родины, с голосом земли, требующей кары:

И сдается: не сосны вокруг
Здесь застыли в суровом молчаньи,
А бойцы батальонов и рот...
Мы их видим перед собою,
На их лицах и кровь, и пот,
И земля — после боя.
И, решимостью грозной полны,
Они требуют высшей меры
Убжавшему от войны
Человеку без веры.

Задумчивость и простота поэтической речи Кулешова производят особенно большое впечатление благодаря самой форме повествования в «Знамени бригады». Это дневник, в котором герой стремился запечатлеть все этапы своих скитаний («день вчерашний и вечер, рассвет этот серый в пути, расставанья и встречи—все хотелось в дневник занести») И эта непосредственность, дневниковых записей, эта интимность разговора с собою присущи всей поэме, сообщая ей правдивость задумчивой исповеди, простоту почти разговорной, почти прозаической речи, которая сохраняет в то же время глубину чувства, поэтичность описаний.

Свежесть и убедительность образов придают этому простому рассказу неповторимое обаяние и силу.

Вот герой, уходя из дома, на войну, прощается со своей комнатой, с привычными вещами. Перед ним кукла его дочери, простая тряпичная кукла, которую оставляет он вместе с другими ненужными ему предметами. Но кукла не хочет оставаться:

Дай же руку, хозяйин, не жди,
Не раздумывая на пороге
И меня проводи,
Сделано дочку озяло, по дороге...
Проезят малые есть либо пять,
Пыль сухая им рот забивает,
Я ж не буду просить,—
Я ведь кукла, ведь я неживая,
Самолеты с чужой стороны
Налетают, детей убивая,
Мне ж они не страшны,
Не опасны, — ведь я не живая.

Одушевление вещей, разговор с неодушевленными предметами, с природой—прием, очень не новый в поэзии. Но в поэме Кулешова при помощи этого приема достигается не только смысловая выразительность, автору не только удается, как в цитированных строках, подняться от личностных ощущений до больших обобщающих картин и чувств, но и пронизать свои строки тем проникновенным лиризмом, который заставляет вспомнить о лучших образцах нашего фольклора. И таких страниц в поэме много. Прочно остается в памяти образ скрипача, чья скрипка больше не может весело играть. «То ль хоронишь ты дочку в тоске и от плача все струны оглохли? То ль на светлом смычке твои слезы еще не обсохли?»

Глубина и сила чувств сочетаются в поэме Кулешова с пластичностью образа. Сравнения и эпитеты, которыми пользуется автор, просты и конкретны: «пулеметчик убитый лежит за своим пулеметом, словно смотрит и слушает: кто там по тротуару бежит», «слезы выплотятся, катятся вниз, скорбно падают у подножья, на сухую траву, на опавший лист, и на сердце мне тоже». И читатель верит поэту, вместе с ним видит и переживает то, что предстает его взору.

Особенной чистотой и ясностью пленяют строки поэмы, посвященные родной природе. Природа в поэме Кулешова живет и общается с человеком, ей поверяет он свои думы и надежды, от нее ждет помощи и сочувствия. В пейзаже Кулешова чувства героев отражены с той же поэтической искренностью и простотой, с той трогательной и чистой верой в реальность переживаний природы, разделяющей с человеком его горести и радости, которые так свойственны народному творчеству.

Обращение к ручью с просьбой донести до леса, укрыть от врага, образ поля, изуродованного врагом («ой, скосили его пулеметы, под корень скосили, сапогами немецкой работы его молотили»), разговор с пушистой белкой об увиденном и услышанном горе людском — эти и другие картины, выполненные с большим поэтическим мастерством, представляют собой результат плодотворного обращения к фольклору, со смелым использованием развернутой метафоры, постоянных эпитетов, риторических повторов и т. д.

Поэму А. Кулешова перевел с белорусского М. Исаковский. Перевел превосходно. В творчестве обоих поэтов много общего, и то, что особенно характерно для языка и стиля А. Кулешова,— простота и задумчивость интонаций, прозрачность описаний, творческое обращение к поэтике фольклора,— передано Исаковским со всей бережливостью и тактом, на которые способен лишь поэт, сам ощущающий все это как близкие средства поэтического выражения своих чувств.

Характеры и поступки¹

Осень 1941 года. Ожесточенная борьба идет на полях Подмосковья. Напрягая все усилия и делаясь за каждое препятствие, сдерживают советские войска бешеный натиск немцев, яростно рвущихся к Москве. Именно тут — на подступах к нашей столице — получили немцы первый сокрушительный удар, именно тут — в битве за Москву — было впервые продемонстрировано всему миру, как можно и как нужно бить немцев.

Вокруг этой исторической битвы и разворачиваются события в повести Е. Габриловича. Автор вводит нас в боевые будни командиров и бойцов Красной Армии.

Вот командир дивизии Перемитин, склонившись над картой, ведет борьбу с невидимым врагом — немецким генералом, стремясь разгадать его замыслы и планы.

«И вдруг внезапная догадка, нередко вызванная вновь поступившим, порой незначительным сообщением, озаряла, как вспышка, всю сложную тактическую и оперативную картину. И расплывающиеся, не складывающиеся звенья соединялись в разумную, логическую цепь — план врага.

— Ах вот оно что! — говорил себе Перемитин, окутываясь клубами дыма, вертя машинально между пальцами карандаш и глядя на карту блестящими глазами. — Вот он куда гнет... Вот что задумал... Так, так... Глядите, Петр Никифорович, — говорил он начальнику штаба.

И, обозначив на карте точным и резким пунктиром направление угаданного удара противника, он садился диктовать приказы.

Эта сцена, хотя и не лишая некоторых традиционных литературных черт (обязательные клубы дыма, окутывающие стратега, и карандаш, который он вертит в руках), все же дает возможность заглянуть в «лабораторию победы», присутствовать при той напряженнейшей мозговой работе, от исхода которой зависит результат сражения двух армий. Так как в художественной литературе мало удачных изображений психологии стратега, то даже те немногие страницы, которые в общем убедительно рассказывают нам о деятельности полковника Перемитина, читаются с большим интересом².

Вот другой участок войны. Тут действует

командир роты Петр Котельников. Его рота в числе тех, которые в октябре 1941 года принимают на себя омерзительный удар под Москвой. А в ноябрьские дни «котельниковцы» сами уже наносят контрудар немцам.

Характеризуя путь Петра как советского офицера, участника Великой Отечественной войны, Габрилович пишет:

«Первое, что испытал Петр в столкновениях с прославленной немецкой армией, была боязнь, как бы не оделеть какой-нибудь грубой оплошности, не быть легко обманутым врагом, не совершить наивного шага, который погубил бы все: опущение неопытного фехтовальщика, вступившего в состязание с мастером. Потом с удивлением он стал убеждаться, что прославленный мастер не представляет из себя ничего исключительного, не делает ничего такого, чего Петр не мог бы предугадать и парировать, пользуется несколькими довольно наблюдательными, хоть и чрезвычайно гибко применяемыми приемами... Второе, что пришлось Петру преодолеть в боях, — это постоянное чувство колебания, стремление снять с себя ответственность за тот или иной шаг, непреодолимое желание санкционировать каждое свое намерение в высших инстанциях... Третье, и главное, что он посыл, заключалось в том, что на войне снарядом является не только стальной снаряд, выпускаемый из орудия, но и вся масса войск, устремленная на ту или иную цель. Он понял, что это самый сложный снаряд из всех имеющихся на войне, с чувствительнейшим, тонким механизмом».

Это — интересная, убедительная, в основном правдивая и типичная для многих наших офицеров схема развития. Отстаеся пожалуй, что эта схема все-таки отстаеся схемой и слабо подкреплена картинами, образами.

Автор переносит нас непосредственно на линию огня, где решается судьба сражений. Здесь тоже Габрилович выступает перед нами как внимательный и тонкий наблюдатель, его любовь ко всевозможным психологическим «графикам» и «диаграммам» оказывается и здесь. Так, например, описание боя сценообразно сопровождается следующей своеобразной психологической «кривой».

«Божья быль недалеко, но немцы открыли по атакующим бешеный плотный огонь. Этот огонь прижимал человека к земле. Дыня сама

бывает у человека, чей мозг, занятый решением сложной задачи, лишь автоматически, хоть и вполне рассудительно, реагирует на явления, не относящиеся к задаче... Но что бы он ни делал, образ карты, сетка тонких и хитрых изогнутых красных и синих линий ни на секунду не покидали его. И вдруг внезапная догадка... и т. д. Все это, а также ряд других фраз почти без изменений перенесен из повести «Под Москвой» (стр. 52—53).

¹ Е. Габрилович. «Под Москвой». Повесть. Изд. «Советский писатель». М. 1943. 166 стр. Тир. 20000. Ц. 3 руб.

² Самому автору его рассказ о полковнике Перемитине, повидимому, тоже очень нравится. Недавно в совсем другом произведении Е. Габриловича — рассказе «Творчество» («Красная Звезда», 1.IV.1944) мы совсем о другом персонаже — подполковнике Верзенке — прочли: «Его глаза вглядывались в окружающее, но не с тем поверхностным вниманием, какое

стибалась, ноги подкашивались, стояло невероятных усилий передвигать их. Все существо человека, все силы его разума и инстинкта, все то в человеке, что радуется жизни и ненавидит смерть, кричало, стучало, молило: «Ложись, ложись».

Движение, как камень, брошенный вверх, постоянно замирало. Нужен был новый толчок, чтобы придать движению силу...

Однако в этот решающий момент пришлось в действие то, чего не видит атакующий, но что происходит в душе атакуемого: постепенное иссякание стойкости. Ведь у атакуемого тоже был разум и был инстинкт. И при виде этой неуклонно надвигающейся лавины бегущих, кричащих, несущих смерть людей этот разум, этот инстинкт и все то в атакуемом, что радуется жизни и ненавидит смерть, стало кричать, стучать, молить в едином порыве: «Беги, беги, все кончено, беги... Не остановиться...» — И в тот момент, когда Перчаткин уже показалось, что атака совсем захлебывается, какой-то невидимый рубеж был пройден, немцы дрогнули и, бросая оружие, кинулись назад по ходам сообщения».

Тематика повести Е. Габриловича не замкнута в батальные рамки. С полей сражения читатель переносится в темную суровую Москву — Москву конца 1941 года.

Тематическому разнообразию сопутствует разнообразие стилистическое.

Наиболее свободно Габрилович владеет иронической манерой. Здесь он бывает остроумен и находчив (эпизоды с шалью; история интенданта, который, готовясь объяснить девушке в любви, заранее пишет подробные тезисы будущего объяснения; рассказ о прытком журналисте, который и на войне ищет прежде всего сенсационных фактов, и т. д. и т. п.). Стилистические неудачи начинаются у Габриловича, когда он пускается в область патетики. Этот вид речи требует особой ответственности; всякая фальшь, неверная интонация звучат здесь особенно резко и нестерпимо. Пафос, патетический лиризм принадлежит, как известно, к сильно действующим художественным средствам, требующим точной и осмысленной дозировки. Но здесь Габриловичу весьма нередко изменяют и художественный такт, и поэтический слух, к чувству смешного. Хуже всего то, что это происходит с Габриловичем чаще всего тогда, когда речь касается самых дорогих сердцу советского человека чувств и тем: грядущей победы над врагом, призыва к уничтожению гитлеровцев, уверенности в непобедимости русского народа. Автору, естественно, хочется говорить об этом особенно сильно, громко, полноценными словами, а на самом деле он сбивается на фальшь, и наиболее патетические его тирады способны вызвать в лучшем случае улыбку, а иногда — и справедливое раздражение у мало-мальски чуткого читателя.

Почему, например, день расплаты с гитлеровцами будет обязательно, как уверяет нас автор, «серым, холодным днем», а не «ясным солнечным»? Почему это будет не воскресенье, а суббота? Как можно писать об этом с такой уверенностью, да еще с четырехкратной повторяемостью «знет», которое производит впечатление какого-то не достигающего цели заклинания. Это курьезное и вполне произвольное соединение неожиданно конкретных деталей и обстоятельств оказывается совершенно необязательным для читателя, у кото-

рого оно вызывает только недоумение. Стремление конкретизировать то, что по природе своей не поддается такой конкретизации, не может не привести к неудаче. «Да,— скажет читатель,— может быть, это будет выглядеть так, а может быть, и совсем иначе. Убедить меня в этом вам не удалось».

Не удалось также Габриловичу его широко задуманное лирическое отступление, посвященное сибирской песне, которую поет боец Кривоков. Это отступление оканчивается словами: «Какая мощь в этой широтной сибирской песне. Да есть ли сила на свете, которая сломит народ, сложивший такую песню!» Помимо того что уже более ста лет тому назад Гоголь написал в «Тарасе Бульбе», и, право, неплохо написал: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу», — помимо этого, замысел отрывка обречен на неудачу, потому что нельзя рассчитывать на читательскую солидарность, если отсутствует материал для умозаключения. А в данном случае дело обстоит именно так: авторское изложение не дает никакого представления о прелести сибирской песни, и потому при всем желании нельзя присоединиться к авторской оценке.

Мы знаем Габриловича как писателя, хорошо чувствующего и понимающего значение правильной интонации в литературной речи. Но иногда это чувство изменяет ему: в повести «Под Москвой», наряду с удачными местами встречаются и такие, претендующие на залушевность, а в действительности слащаво-сентиментальные строки:

«Вот,— думал боец,— сижу я. Васильев, здесь, неподалеку от врага, но я не один в этот трудный в моей жизни час, а рядом со мной друзья, и они видят, понимают, вздыхают, курят, смеются, пьют, как я. Они помогут мне, как я помогу им, и охранят меня, как я охраню их, потому что все мы — одна фронтальная советская рота, столько вышедшая, столько крови пролившая, столько голодавшая, холодавшая... Да, мы советская, бывалая рота. Мы вместе видели смерть, мы знаем теперь, что ложь и что правда, что страшно и что не страшно, что голод и что не голод, что мысль, а что — так, просто пустяк». «Ну, ну, говори,— ласково думал боец, слушая, как Сафонов рассказывает про свою пекарню,— все это ты не раз рассказывал мне; но мне приятно, уютно слушать тебя, потому что и ты сам, и твои брюки, и твои привычки, и твое пекарное ремесло, и батоны, которые ты выпекал,— все это наше, ротное, родное, советское, фронтное».

Неужели Габрилович не видит, что это — не что иное, как тот самый «сироп», о котором говорила его героиня Варя Окнюва?

Однако основная беда повести Габриловича все-таки не в этих неудачных деталях, а в неверном разрешении основных сюжетных вопросов.

Два персонажа повести оказываются по воле автора предателями: Зинялкин и Миша Скородов. Оба этих эпизода принадлежат к основным драматическим узлам повести, и оба эпизода являются серьезными авторскими неудачами. Плохи они потому, что измена Зинялкина и Миши никак не подготовлена автором и обрушивается на читателя совершенно неожиданно. Все предыдущее, сказан-

ное автором о Зинялкине и Мише, никак не вяжется с их изменой.

Что мы знаем о Зинялкине? Бойкий, находчивый «парень-заноза, с ним не соскучишься», «острый парень, как ерш,— его не подцепишь». Вот он — единственный из бойцов — нашелся, что ответить на шутку девушкой. Вот он вместе с Кройковым в пулеметном окопчике отбивается от немецких танков. «Веселое, глубокое чувство удачной, ладной работы охватывало обоих пулеметчиков по мере того, как длился бой». На новогоднем вечере он танцует «такой красивый, что все девушки, не отрываясь, глядели на него». Ничего плохого, компрометирующего данный персонаж автор нам не сообщает. Только перед самой развязкой Габрилович счел нужным сообщить: «Зинялкин принадлежал к тому типу людей, которых Кройков называл танцорами, т. е. людей резвых, удачливых в веселой, но с ленцой, легких на перекурку, на чесание затылка, вольнистых, несолидных в слове, скучных на работе. Зинялкин был трусоват — Кройков не мог этого не заметить. Но главное заключалось не в этом — на фронте нередко бывает, что и трус преобразается. Главное заключалось в легкой-то разухабистости Зинялкина, в его веселой безответственности, снисходительном презрении к порядку, к делу, к рангопочитанию, в полной и радостной уверенности в своем превосходстве над всеми».

Ясно, что подобная «окороговорка», не поддержанная всем предыдущим, известным читателю о Зинялкине, бессильна переосмыслить образ, бессильна дать ему нужное освещение, так чтобы читатель сказал: «Да, он действительно таков. Как мы раньше не понимали этого». Объяснение Габриловича являлось неудовлетворительно: «разухабистость», «презрение к рангопочитанию», «уверенность в своем превосходстве» — качества, которые в глазах Кройкова оказываются страшнее трусости, не представляют собой, разумеется, достаточных оснований для измены. К тому же, если «на фронте нередко бывает, что и трус преобразается», то почему же следует думать, что остальные качества Зинялкина относятся к числу неисправимых. Почему может преобразиться трус и обречен на предательство «танцор»? На эти недоуменные вопросы негде получить ответ.

Еще прискорбнее история Миши. Милые и трогательные детали его романа с Олей способны только расположить в его пользу непредубежденного читателя. Между тем автор делает его предателем, выдавшим немцам свою любимую девушку. Казалось бы, такой крутой психологический поворот должен быть как-то подготовлен, должен основываться на убедительно и логично развертывающихся чертах характера, но ничего этого нет. Автор, по видимому, считает, что в отношении своих персонажей он является полновластным хозяином, а они как безответные марионетки обязаны покорно выполнять любое его желание.

Видимо, почувствовав, что тут дело не совсем ладно, Габрилович ввел в отдельное издание своей повести отсутствовавший в журнальном тексте («Знамя», 1942, № 11) абзац («Оля слушала Мишу, загав дыхание...»), в котором пытается заранее набросить тень на Мишу: «Он был некрасив, довольно тшедушен... Да и об уме его можно было поспорить...» Но это добавление ничего не изменяет. В построении образа Миши, как и Зи-

нялкина, есть неустрашимые противоречия, и поведение персонажей немало не соответствует их характерам.

Разумеется, никто не требует от писателя, чтобы злодей так с первых же строк и ходил по повести с каиновой печатью на челе, причем все, кроме действующих лиц повести, об этом догадывались с первого же мгнозения. То была бы другая крайность, о которой Пушкин писал: «Заговорщик говорит: дайте мне пить, как заговорщик,— и это только смешно». Но если эта типично мелодраматическая крайность смешна, то «внезапное», произвольное, психологически и художественно никак не мотивированное, невероятно легкое превращение двух советских юношей в подлых изменников отнюдь не смешно, а, наоборот, способно вызвать резкие упреки по адресу автора. Автор не подумал, какими ложными и вредными выводами чревата измышленная им в данном случае ситуация.

В чем корни этой серьезной художественной ошибки Габриловича?

Попробуем вскрыть их. Наблюдения автора приводят его к выводу: война приносит с собой новый круг мыслей и чувств, война означает для вступающих в нее людей перестройку их характеров, их отношения к жизни, война изменяет психику и выставляет в новом свете сравнительную ценность многих человеческих представлений. Все это правильно, и художественное изображение, а не голое декларирование этих вызванных войной перемен является одной из важнейших задач нашей литературы. Но, как всегда в искусстве, от истины до ее искажения лежит короткое — короче воробьиного носа — не всегда заметное невооруженным глазом расстояние. Стоит только предположить, что в человеке на фронте ничего не остается от его прежнего, довоенного существа, что война начисто рвет с «миром тонких эмоций», что этот мир представляет собой, выражаясь языком Вари Окновой, «сироп», «сахарное мороженое», — и грань перейдена. Именно такую ошибку делает Габрилович, и именно в ней заключается одна из причин серьезных неудач в его повести.

Особенно это заметно на примере таких центральных фигур повести, как Варвара и Кройков.

Сами по себе Варвара и Кройков обрисованы весьма неплохо. Варвара, гвоздившая Мишу всей мощью своего свирепого языка, специализировавшаяся по водопроводу и канализации и очень гордившаяся этим, и Кройков — немногословный, неразговорчивый сибирский плотник, человек, который не свернул перед немецким танком, как раньше не свернул перед медведем в сибирском лесу, — оба они живые фигуры. Но и здесь происходит конфликт между возможностями самого образа и авторским к нему отношением. Как ни велико мое уважение перед плотничьим делом, водопроводом и канализацией, нельзя согласиться с Габриловичем в том, что эти важные отрасли техники и ремесла представляют собой венец человеческой культуры, и что остальные достижения человечества не могут выдержать с ними сравнения. А в сущности, в чем-то подобном пытается нас уверить Габрилович.

Варвара Окнова говорит о своей подруге: «Оля,— протянула небрежно девушка,— Оля есть Оля. Жизни в ней мало. Все луна да цветы... Стихи пишет,— со смехом выкрикивал

она. — Вот влюбилась... Разве время, скажите, разве время?»

«Сирота... Обижаются, когда я о водопроводе и канализации говорю. Сахарное мороженое. А я буду о водопроводе говорить, — запальчиво выкрикнула она. — Это моя работа, моя профессия. — И правильно, — отосвистал Кройков. — Водопровод есть водопровод, он очень нужен».

Вариант возмущение по адресу бездельников, подписывающих стишки, — не просто курьез. «Пафос» противопоставления честного плотничьего дела, полезных и нужных при всяких условиях водопровода и канализации — поэзии, музыки, этот ложный «пафос» явственно ощущается в повести.

Нет нужды доказывать, что и мимика и балет искусственно уживаются с водопроводом и плотничьим делом, и моральные качества их представителей вовсе не являются производными от профессии самой по себе, что, кажется, склонен предполагать Кройков. («Ну, дела. Воспитания. Легкого хлеба человек, — влобно размышлял он, — все экскурсии, музыка, подтяжки... Вот бы нам его в Сибирь, в плотники. Ему бы там показали, где музыка, а где товарищ».)

Все это оглооски той выдуманной коллизии которая не так давно была положена в основу кинокартины «Актриса» (или война, или искусство оперетты), результатом чего была полнейшая неудача картины.

Для знакомых с творчеством Габриловича это не ново. Им известно то впадение, с каким в ряде произведений он сталкивал между собой «гнилых интеллигентов» и могучих «людей из народа», причем неизменно разрастал этот выдуманный конфликт не в пользу первых. Примеров можно было бы привести множество, но следующая красноречивая цитата из «Прощания» лучше всего введет нас в понимание сущности дела:

«Интеллигенты всегда увлекаются. Сила, красота и воля импонируют несчастным нам. Мы всегда в дураках... Человечество предадут нас... Мы раздавлены. Мир потешается над нами.

...Проклятое семя. Как долго шел я вместе с тобой, подобно тебе, терзаясь. Болтая, тоскуя... Слюнявость вздувала мне живот, щелкожарство рвало мне душу. Я кричал от человеколюбия. Я стоял от добродушия... И вот я вылечился. Я стал понятойвей и умней... Я научился ощупывать каждого лобрика, я научился исследовать каждого гуманиста — с глазу на глаз, вплоть до прадеда. Я вылечился. Я стал человеком».

«Прощание» написано в 1933 году. Песомненно, что истекшие десять лет не прошли безрезультатно для автора. Однако следы этой ложной антитезы до сих пор проступают в произведениях Габриловича.

В сущности, Миша и Кройков продолжают на страницах «Под Москвой» тот спор, который, когда-то много лет тому назад, был затеян Габриловичем, да так до сих пор, как следует, им не разрешен. Коллизия эта — изощренный, но испорченный, никудышный гнилой интеллигент и пусть ограниченный, примитивный, но зато честный, надежный, до-

бродетельный рабочий, — чисто интеллигентская, в дурном смысле этого слова, коллизия. В прославлении Варвары и Кройкова, так же как и в «разоблачении» Миши и Зинякина, очень мало от знания жизни, от непосредственного наблюдения и изучения, зато очень много от ложных книжных предпосылок.

Остальные персонажи повести тоже не всегда удаются автору. Слишком часто применяется им в обрисовке своих героев сочетание дидактического резонерства с мнимой, лишь внешне убедительной, индивидуализацией, с ложной биографичностью.

Когда автор называет своего героя Васильем, а не Николаем, и делает его близким, широкоплечим блондином, любителем Утесова и игры в домино, он не может не сознавать, с каким множеством ассоциативных и логических звеньев связана каждая, казалось бы, третьестепенная деталь в его образе.

Салтыков-Щедрин говорил: «Из уст человека не выходит ни одной фразы, которую нельзя было бы проследить до той обстановки, из которой она вышла... в жизни нет голых фактов, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории, которые можно было бы представить себе без всякого отношения к целому ряду других фактов, поступков и фраз».

Это, конечно, прекрасно понимает и Габрилович, но далеко не всегда это понимание реализуется в своей практике.

Если, очевидно, оставшись недоволен своим Петром Котельниковым, он в отдельном издании снабдил его образ отсутствующими в журнальном тексте деталями: он «любит музыку, собирает почтовые марки, обожает молоко к чаю, был голубятником», то это как раз пример той мнимой детализации, которая ничего не проясняет в индивидуальности персонажа и не делает его более живым и убедительным. При поверхностном чтении может показаться, что от этих деталей образ становится живым, но это не так. Попробуйте заменить эти детали любыми другими, придуманными вам в голову (хотя бы: «любит кататься на коньках, с увлечением читает книги по астрономии, не пережигает табачного дыма и завидует знающим много языков», и вы убедитесь, что в Петре Котельникове ничего не изменилось. Мы всё равно очень плохо представляем его себе живым, действующим, сражающимся, любящим, ненавидящим, словом, неповторимым человеческим существом из плоти и крови.

Не менее показателен случай с бойцом Пузарком. Автор делает его на одной странице Алексеем, а на другой Колей, причем по одним сведениям он оказывается родом из Иванова, а по другим — из деревни «где-то возле Архангельска». Все это только свидетельствует, что, в сущности, для автора безразличны эти претендующие на конкретизацию и оживление образа детали. Странно, что такой опытный писатель, как Габрилович, не чувствует бессодержательности и художественной бездейственности этих приемов.

Поэт всеславянской демократии

1

Гослитиздат выпустил недавно избранные произведения А. Мицкевича.

Наша страна видит в Мицкевиче братски близкого поэта, а в его патриотизме — родные черты.

Мицкевичу, как истинному польскому патриоту, были чужды национальная исключительность и вражда к другим народам. Как и сейчас, так и в эпоху Мицкевича спасение Польши было не в тщеславном обособлении и замкнутости, а в единении со всеми, кому дорога свобода и ненавистно угнетение. Мицкевич и был выразителем этих тенденций польской истории. Во всех освободительных движениях мира принимают самое активное участие польские повстанцы: и в походах Гарибальди, и в борьбе инсургентов Венгрии и Испании, и в боях на парижских баррикадах 1848 г., и в схватках коммунаров с версальцами. Недаром Тургенев заставляет французов признать умирающего на баррикадах в восставшем Париже Рудина — поляком.

На этой основе и развивался патриотизм Мицкевича. Его национальное чувство не противопоставляло свой народ другим народам, отечество — человечеству. Такое противопоставление — характернейшая черта немецкого национального сознания. Это идея немецкого Vaterland'a, в которой национализм получил наиболее отталкивающее выражение. Но не менее чужда великому поэту Польши и такая идея всечеловеческого единства, которая носит абстрактный характер, лишена понимания того многообразия и своеобразия наций, которое и составляет духовное богатство человечества, без которого немислимо человеческое творчество. «Гражданин вселенной» презирает свой народ, живет в некоей республике свободных умов, вне пространства и живого исторического движения. Мицкевич предельно глубоко чувствовал свою национальность. Душа Польши, казалось, избрала своим обиталищем его поэзию. Никто больше него не черпал из самых истоков национального духа — из народного творчества. Народный миф был не менее родным его гению, чем утонченнейшие переживания современного культурного человека:

О, песнь народа! Ты как страж во храме
Его преданий, были вековой,

С архангельским и словом, и крылами —
И держишь меч архангельский порой.

Песнь народа становится для поэта святыней, «козачего завета» и в то же время духовным оружием его.

Это не обычное романтическое любование безыскусственностью, «непосредственностью» народного творчества. Для Мицкевича оно нечто неизмеримо большее, чем эстетическая ценность; вернее, оно может быть ценностью

эстетической лишь потому, что неизмеримо значительнее одной только эстетики: красоты без высшей правды нет для Мицкевича. Красота у Мицкевича — национальная в своей конкретности форма стремлений, идей, дорогих всему человечеству. Мицкевич любит свой народ и со всей силой влечения к родному, и со всей силой разумного убеждения. Он уверен в том, что какая-то существенная сторона общечеловеческой правды воплощается или раскрывается именно в национальной форме его народа, и, не будь ее, осталась бы невыраженной. Кто так мыслит, тот может соединить патриотизм и широкие интернациональные симпатии, которые оставались разъединенными и у националистов, и у космополитов.

В то время как у представителей немецкой романтической реакции идея «всемирной литературы» лишь прикрывала националистические притязания, Мицкевич никогда не ограничивал своих интернациональных связей любованием художественными произведениями другой литературы. Его интернациональные симпатии охватывали прежде всего людей, а не литературу. Недаром в своей знаменитой «Оде к молодежи» призывал он «опоясать земной шар, сдвинуть его с его основ... и на новые направить пути». Опоясать и сдвинуть не для того, чтобы над ним властвовать, а чтобы освободить его.

Замечательно, что Мицкевич не смешивает идеи отечества, родного края, как дома населяющих его народов, с представлением об одной национальности, хотя бы в этом доме и преобладающей... Любовь к отечеству шире любви к одному народу в современном многонациональном государстве. Право на отечество принадлежит всем народам, его населяющим. В этом смысле характерно отношение Мицкевича к еврейскому народу — исключительное в его время. Достаточно вспомнить Янкеля из «Пана Тадеуша», чтобы понять, на какую нравственную и вместе с тем творческую высоту поднялся здесь Мицкевич. Гимн отчизне, единой для всех ее народов, ненависть к конфедератам, предавшим ее пруссакам — этим предкам позднейших польских друзей Гитлера, — все это прозвучало во вдохновенной игре еврея в заключительной сцене гениальной поэмы.

2

Мицкевич выдержал испытание на верность интернациональным связям и в другом трудном вопросе — в вопросе о русско-польских отношениях. Нужно, правда, исключить период, когда его светлый ум был одержим тоянистскими идеями.

Мицкевич приехал в Россию в самый разгар декабристского движения и скоро сблизился с

его вождями. Быстро образовавшемуся контакту способствовала родственность социальной природы, с одной стороны, и общеславянские тяготения — с другой. Позже сблизился Мицкевич и с Пушкиным. И великий поэт Польши, и великий поэт России были одинаково глубоко заинтересованы в утверждении культурной самобытности своих народов и литератур как народов и литератур славянских. В утверждении национальной самобытности Мицкевич видел залог их сотрудничества и дружбы.

Развитие национальной самобытности связывается у Мицкевича с признанием неповторимости и незаменимости каждого народа для человечества вообще с его подожгительной ролью в общечеловеческой семье, — в особенности среди близких по племени народов.

Самобытность и на ней основанное единение двух великих славянских культур особенно важно ввиду наличия такой антиславянской силы, как юнкерски-бюргерская Германия¹.

У декабристов также сильны были тенденции общеславянской солидарности. Вспомним прекрасное стихотворение А. И. Одоевского «Славянские девы»:

Что ж не поете, ляшские девы,
В лад ударяя легкой стопой,

обращался поэт-декабрист к Польше, как и к другим славянским народам, и спрашивал:

Боже, когда же сольются потоки
В реку одну? Как источник один,
Да потечет сей поток исполни,
Ясный, как небо, как море широкий,
И, увлажяя полмира собой,
Землю украсит могучей красой!

Но решающее значение для Одоевского имела судьба старшей сестры — России, ее освобождение.

Старшая дочь в семействе славяна
Всех превзошла величием сана,—
Славой гремит, но грустно живет;
В тереме дни проводит, как ночи,
Бледно чело, заплаканы очи,
И заунывно песни поет.

Освобождение этой «старшей сестры» и декабристы, и Мицкевич мыслили как кровное дело всего славянства, а в особенности заинтересованы были в нем два главных славянских народа: русский и польский. Лозунг польских повстанцев 1830 г. «За вашу и нашу свободу» был лозунгом и русских дворянских революционеров. Стихи того же Одоевского, написанные о польской революции, перекликаются с посланием «Русским друзьям» Мицкевича. Одоевский писал:

Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков
И вздрогнули в сердцах живые струны,—
Все чувства вдруг в созвучие слились...
Там с Русью ях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.

¹ Не лишен интереса тот факт, что впоследствии Мицкевич согласился занять славянскую кафедру в Париже исключительно потому, что иначе «какой-нибудь немец влезет на нее и станет лаять против нас».

Польская революция вызывает перед поэтом видение пяти каменных декабристов со следами веревок на шее: «Как венец вокруг вы, вьется синий пламень».

Русские мученики не менее дороги и Мицкевичу:

Куда вас кинул рок? Рылеев, с кем я встарь
Лелеял замысел мятежный и свободный,
На виселице ты! О, трижды проклят царь,
Чьей подлою рукой убит трибун народный!
Бестужев, где твой меч? В угоду палачу
Ты брошен в рудники, и твой потушен

пламень.
С поляком скованный навек плечом к плечу
Ты, воин и пророк, дробишь подземный
камень...

Трепетной болью братского сострадания
ненависти к палачам полны изумительны
строки:

Пусть ваши кандалы расплавит гневный ст
Слезами жгучими окровавленной Польши.

До польского восстания 1830 г. контакт между поэтом Польши и декабристами распорядился на все прогрессивные круги тогдашнего русского общества. На прощальном ужине марта-апреля 1829 г. Мицкевичу был поднесен кубок с выправленными на нем именами Е. А. Баратынского, бр. Киреевских, Н. А. Полевого, С. П. Шевырева, С. А. Соболевского и др. — отнюдь не революционеров. Для таких людей, как П. А. Вяземский и И. В. Киреевский, Мицкевич являлся драгоценным посредствующим звеном между обоими родственными народами и их культурами.

После восстания 1830 г. круг взаимных симпатий, несомненно, сузился, но расхождение с некоторыми из его бывших друзей по польскому вопросу не отразилось на отношении Мицкевича к русскому народу. Мицкевич не поддавался столь понятному при ущемленном национальном чувстве соблазну — сорвать свой гнев против тирана на угнетаемой им стране, сделать ответственным русский народ за разгром Польши. Недаром говорил он о «братстве народов, расторгнутом правительством».

В 70-х годах на страницах «Русского Архива» велась интересная полемика: об отношении Мицкевича к русскому народу. Известный переводчик Мицкевича Берг утверждал, что «Мицкевич всю жизнь любил русский народ и отзывался о нем сочувственно». «Мицкевич, — писал Берг, — не испугался даже сказать о паждах в аудитории, переполненной польскими эмигрантами, на своей лекции о преобразованиях Петра, такие слова о русском народе «Крестьяне губернии Московской, Архангельской и Новгородской, — того, что называлось тогда Великой Россией, образовали ядро этой (петровской) армии. Народ этих губерний выдается из всех народов славянской расы. Эти люди высокого роста, сильные, крепкие, способности изумительные; это, может быть, самый способный народ Европы» (т. VIII парижского изд. (1870 г.) лекций Мицкевича стр. 403).

Известный славист Гильфердинг пытался доказать тождественность отношения к России Мицкевича, и всей враждебной ей польской эмиграции. Однако все, что приводит Гильфердинг в защиту своего взгляда, применимо лишь к творчески бесплодному периоду жизни поэта, когда он и мыслил и действовал под влиянием

мистической экзальтации. Влияние последней на Мицкевича было так же папубно, как на Гоголя, с той лишь разницей, что Мицкевич нашел в себе силы справиться с мистической одержимостью.

При потере внутренней свободы все вопросы, раньше столь ясные для пронзительного ума Мицкевича, не могли не быть затемнены. Тогда создается Мицкевичем его теория польского мессианизма, все запутавшая и извратившая. Эта теория порождена отчаянием, полным стремлением как-нибудь вознаградить себя за изгнание польской революции. Следует, однако, учесть и то, что мессию своего «богоизбранного» народа Мицкевич видел не в господстве над другими народами, а в его жертве собою на благо всего человечества. Как ни относиться к этому мистическому верованию, его нравственный смысл очевиден и глубоко противоположен германским притязаниям.

3

Есть одна исключительно интересная страница в истории русских взаимоотношений Мицкевича, значительная с разных точек зрения: объективной, моральной, историко-литературной. Это дружба Мицкевича и Пушкина — дружба двух величайших поэтов славянского мира, их расхождение после польского восстания 1830 г. и след этой взаимоотношений в жизни одного из них после смерти другого. Не же здесь ясно, но все полно глубокого смысла: взаимоотношения поэтов — людей, рождающихся в своих странах раз в столетие, сплетены ут с судьбами их народов...

Пушкин и Мицкевич — гении моцартовского типа.

Обоим больше всего радовали творческие содания человека — свои ли, чужие ли. По отношению к чужим они были только более шедь на признание. Каким же счастьем для них обоих было соприкоснуться с великим творчеством, и не в книге, а в самой жизни вступить в общение с живым носителем этого чуда!

Взаимная радость общения выражалась у аждого по-своему. Тихая и созерцательная у Мицкевича, она бурно проявлялась у Пушкина. Дядень, приятель польского поэта, так рассказывает об этом: на одной из импровизаций Мицкевича Пушкин «сорвался с места и, ерота волосы, почти бегая по зале, выкрикнул: Какой гений! Какой священный огонь! Что я ядом с ним?» и, бросившись на шею Адама, бнял его и стал целовать как брата».

Другой современник — К. Полевой — вспоминает:

«Любопытно было видеть их вместе. Прониательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромнее в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, ак бы желая его одобрения... Уважение его поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне в 1828 г. Он... ескожько увлекшись в похвалу, сказал между рочим: «Недавно Жуковский говорит мне: наш ли, брат, ведь он заткнет тебя за пояс. ы не так говоришь,— отвечал я, он уже заткул меня».

Все это очень характерно для Пушкина с его экспансивностью, с его обаятельной склоностью скорее недостаточно оценить себя, чем ыть несправедливым к другой творческой лич-

ности, так же, как и он, преданной делу Аполона.

Мицкевич отвечал русскому гению полной взаимностью признания.

«Только однажды,— подводит он итог деятельности Пушкина,— дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединит в себе столь различные и, повидимому, исключают друг друга качества»...

«Кто же заменил его? Писатели с умом? Пушкин не был ли их всех умнее? Певцы сюжетов, баллад? Пушкин далеко превзошел их».

Байронические мотивы у Пушкина Мицкевич объясняет не подражанием, а тем общим и Пушкину, и Байрону духом времени, который выразил себя раньше в Байроне, а — затем в Пушкине. «Поэтому,— рассуждает Мицкевич,— если не существовали бы творения английского поэта, Пушкин был бы провозглашен первым поэтом Европы».

Но еще больше, чем эти высокие оценки, важно, что Мицкевичем Пушкин был чрезвычайно глубоко и своеобразно понят.

Мицкевич один из тех читателей «Онегина», от которых за сблзнительной легкостью поэтического рассказа не укрылся трагизм его содержания.

«Поэма проникнута более жгучею тоскою, чем произведение Байрона...»

Отдает себе ясный отчет Мицкевич и в исторических причинах этого настроения.

«Разделявший чувства своих друзей, молодой и порывистых либералов, Пушкин испытал жестокое разочарование».

Таким «разочарованием» явилось бессилие дворянской революции, понятие Пушкины уже в самом начале его работы над «Евгением Онегиным». Мицкевич переживает здесь с Герценом и Белинским. Тоска в «Онегине», о которой говорит Мицкевич,— та самая тоска, которую столь точно охарактеризовал Герцен в следующих строках:

«Нам... ирививают желания, стремления современного мира и нам кричат: «Оставайтесь рабами, немymi, бездейственными, или вы погибли». Оставалось лишь подобно Онегину метаться в поисках забвения гнетущей «громидной пустоты», неизбежной, когда потеряна вера в идею, которой жили».

О том же по существу, что Мицкевич, но только в иной, учитывающей цензуру форме, говорит Белинский: «Здесь (в «Евгении Онегине») он исчерпал до дна современную русскую действительность, но — боже мой! — какое это грустное произведение!.. В нем жизнь является в противоречии с самой собой, лишению всякой субстанциональной силы. Весь этот роман-поэма несбывающихся надежд, недостигающих стремлений...»

Мицкевич понял это, понял еще и то, что ослепленные блеском пушкинской формы современники не заметили и что лишь теперь открылось нам:

«Он,— пишет Мицкевич о Пушкине,— презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления... Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гете».

Не поддасться иллюзии пушкинского объективизма в 1837 г.,— для этого необходима известная конгенитальность.

Мы не будем ее преувеличивать. Лучше отдадим себе отчет и в сходном, и в различном у обоих поэтов.

Польское восстание 1830 г. проявило эти различия.

В стихах Мицкевича «Русским друзьям» есть жезкие, негодующие строки против тех, кто занял в польском вопросе враждебную повстанцам позицию. Не без оснований можно предположить, что они относились и к Пушкину, хотя Пушкин и не назван там.

Мицкевич Пушкина не понял.

Одна из характернейших особенностей пушкинского гения — исключительное самообладание. Ее ни в коем случае нельзя понимать как объективистское бесстрашие. Здесь речь идет о том, что поэт владеет своими чувствами: как бы сильны они ни были, — гений его еще сильнее. В процессе творчества Пушкина все субъективно-временное и если не случайное, то ограничивающее кругозор поэта, тает, как воск от огня. Отсюда справедливое отношение к противнику, соединенное с особенно сильной уверенностью в своей правоте и столь же энергичным, как и спокойно-умелым ее отстаиванием. Вспомним отношение Пушкина, столь преданного своей родине, к Наполеону, его намерение написать своего «Рославлева», свободного от шовинизма, присущего Загоскину. И эта же черта сказалась в его стихах: «Он между нами жил», являющихся ответом на стихи Мицкевича «Русским друзьям».

Какое умение стать выше личной обиды, особенно больно жалящей, когда исходит она от столь уважаемого лица; какая редкая способность сохранить во всей ясности образ бывшего друга, а теперь противника, какое умение понять его!..

Был ли теоретически и тактически прав Пушкин в польско-русском споре — вопрос другой, которого касаться здесь нет надобности. Но Пушкин писал свои стихи, а затем свой ответ Мицкевичу, исходя из того, что считал справедливым. Пушкин считал, что русские и поляки, как члены одной славянской семьи, не должны выносить своих споров на суд других народов, а раньше или позже — договориться сами. Стихи Пушкина направлены не против поляков, а против вмешательств других государств во внутренние дела России. Вот этот взгляд Пушкина, ставший вполне ясным в наши дни, не был понят Мицкевичем.

Но если Мицкевич и ошибался порой, то умел и освобождаться от ошибок.

В этом убеждает цитируемая нами статья о Пушкине — единственная статья, давшая европейскому читателю после смерти Пушкина правильное представление о великой утрате, понесенной русской и мировой культурой.

И может быть, раскаяние в нанесенной Пушкину незаслуженной обиде звучит в следующих словах:

«Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил; все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца».

Об одной из своих бесед с Пушкинным погрательно рассказал Мицкевич в опышке «Петербург», озаглавленном «Памятник Петру Великому». В дождливый вечер, взявшись за руки и накрывшись одним плащом, стояли Пушкин и Мицкевич у памятника. Волнующий образ «временя грядущих», когда исчезнут распри народов!

Их души, возышавшая над земными
препонами,
Были подобны двум породнившимся
альпийским скалам,
Хотя и навеки разделенным водной
стремниной.

Они едва слышат шум своего врага,
Сближаясь друг с другом поднебесными
вершинами.

Вражда народов, естественное братство которых расторгнуто правительствами или командующими классами, различает и гениев их, — говорит здесь Мицкевич. Гении могут до поры до времени склоняться друг к другу в проникновенной беседе, делясь сокровенными думами, но вражда заставит их услышать свой шум, как ни высока вершина гениальности.

В тот момент, когда польский поэт стоял рядом, «под одним плащом», с поэтом русского народа, прославленным на севере своими песнями, ничто еще не отделяло этих высот.

5

«Петербург» — романтическое произведение по всей своей художественной структуре. Различие в восприятии и воспроизведении действительности сказывается весьма резко и определенно в трактовке одной и той же темы: петербургского наводнения 1824 г. Реализм пушкинского изображения противопоставлен романтическому претворению того же явления в символах Мицкевича. Исследователи уже отмечали, что у польского поэта наводнение происходит тогда, когда по законам природы оно невозможно: зимой, в леденящую стужу. Эта двойная необычайность — и самого наводнения, и момента, когда оно происходит, — должна подчеркнуть характерную для романтической поэмы загадочность самого героя — таинственного Олешкевича, пронзающего свое «мене, текед, фарес» императорскому Петербургу. Такой же приговор выносит и сам поэт.

«Царь Петр» попустил бразды лошади. Видно, летел он, топча все на пути. Сразу вскопил: он на самый край скалы. Бешеный конь уж приподнял копыта, царем не удерживаемый конь скрежещет, грызет удила. Чувствуешь что он полетит и разобьется вдребезги. (Цитирую по прозаическому переводу В. Спасовича.)

Но с таким решением вопроса национальный поэт России согласиться никак не мог, и из мрачного предсказание польского поэта он отвечает:

Красуйся, град Петров,
И стой неколебимо, как Россия!

Поэт русского народа верит в неколебимость города и страны, народа и государства; чужь гения постигло здесь историческую неизбежность победы своего народа и своего государства. Не страшны им никакие испытания!

Мицкевич не видит и не оценивает по достоинству великой прогрессивной роли Петра как государственного деятеля.

С решением вопроса об отношении народа и государства связано разрешение основной проблемы в поэмах Мицкевича и Пушкина.

Это — вопрос о правах исторического деятеля, о нравственном оправдании исторического героя. Два великих славянских поэта отнюдь не освобождают его от моральной ответственности. Права человеческой личности дороги каждому из этих поэтов. Противоречие им

интересов отдельного человека с помыслами и идеями исторического деятеля также было основано ими. Когда Пушкин в памятнике Петра феседовал о нем с Мицкевичем, то перед обоими стоял этот вопрос. У Мицкевича Петр является чем-то вроде «сверхчеловека», нарушающего законы человеческого естества, глухого голосу сердца, ставящего себе одну цель — доказать свое всемогущество».

Гуманный Пушкин также не мог не задуматься о той цене, которую пришлось заплатить народу за петровские преобразования, но Пушкина Петр действует не из своих личных убеждений, личных интересов, требуя жертв от народа.

Идея государства-Молоха, для которого люди — только покорное орудие, — это немецкая идея, весьма удобная для гогенцоллернов, гитлеров и их приспешников. Необходимость исторического дела для блага народа оправдывает Пушкина те жертвы, которых оно требует. Мицкевич, и Пушкин одинаково чужды индивидуализма, только Пушкин в этом отношении последовательнее и глубже. Индивидуализм их противопоставление своих интересов национальному целому — бессмертному народу — отрицается Пушкиным и в большой и в малой степени. Жертвы личности необходимы для издания возможностей ее же роста, ее возвышения — таков закон исторической необходимости.

Поскольку действия Петра были определены исторической и национальной необходимостью, а не личной заинтересованностью, он только был вправе, он должен был их совершить. Таков окончательный ответ Пушкина и вопрос, занимавший двух гениальных собеседников в ту дождливую ночь, когда под одним плащом стояли они перед изваянием титана-Петра.

16

Различия во взглядах Пушкина и Мицкевича на Петра, символизирующего проблему прав исторического героя, движутся, однако, в пределах одной и той же этической концепции. Мы бы позволили себе сказать, что это славянская концепция личности в ее отношении к обществу, противоположная прежде всего немецкой, в которой культ будто бы довлеющего себе государства сочетается с поклонением властителю, отождествляющему государство со своим личным произволом.

Содержание этой славянской концепции — гармоническое единство личности и общества. Исключительная ответственность за судьбы всякой человеческой личности, а следовательно и общества, — составляет вытекающее из данной предпосылки этическое следствие.

Оба поэта отдали дань байроновскому индивидуализму, но, отдавая ее, уже с самого начала освобождались от него, обнаруживали свою самостоятельность.

Байрон волновал их могучими страстями как злого рода мерою величия человека, но Мицкевич и Пушкин не могли мириться с таким объектом титанизма, как отдельная ограниченная личность. Великим страстям подобают и ели, еще большие чем эти страсти: «силу должно измерять по цели, а не цель по силам», — проникновенно сказано в «Песне Филатов». И могучие страсти в творчестве Мицкевича даже тогда, когда ломают нравственные формы, направлены не на индивидуалистические

цели. В таком произведении, как «Конрад Валленрод», где байроновское влияние сказывается сильнее всего, мы имеем дело скорее со столкновением одних нравственных норм с другими, чем с отрицанием этики.

Нигде Мицкевич и Пушкин не отбрасывают с презрением самолюбивости этические нормы как «обязательные лишь для «человеческого стада», а не для «высших людей».

Как ни велика в национальном поэте Польши любовь к отечеству, но противоречие ее любви к человечеству недопустимо. Глубоким убеждением Мицкевича было, как справедливо замечает один из его польских критиков, что «если совершенствование поляка как человека встречает отпор со стороны самого поляка, лучше ему погибнуть, чем продолжать существование на основе своих отрицательных черт». И в мессианизме Мицкевича, обрекшем польский народ на жертву для человечества, получила свое, правда, болезненное выражение эта черта этичности в творчестве великого поэта славянства.

Для своих тенденций и Мицкевич и Пушкин находили опору в народном творчестве, в народной мудрости; питавшая их поэзию народная стихия нашла у них свое наиболее глубокое выражение. Если мы обратимся к такому произведению Мицкевича, как «Дзяды», то нас поразит, как многим обязан поэт народной мысли, народному творчеству. Элементы фольклора здесь очень разнообразны, но можно уловить в них единое начало, единую линию, особенно близкую поэту. Это — мечта о космосе, преодолевающем хаос как природный, так и человеческий. Каждая из грешных душ, являющихся здесь перед нами, погрешила чем-нибудь против космического начала. Погрешил и Густав, отдавшись эгоистической любовной страсти; искупить свой грех может он лишь полным перерождением в Конрада, борца за родину.

В основе всей концепции лежит какая-то полусознательная уверенность, что человек — укротитель буйных стихий. Этика и выражает эту общую, мировую тенденцию в применении к человеку. И величайший грех его, когда он сам уподобляется тем слепым природным стихиям, которые должен подчинить своей творческой воле.

Для Мицкевича эгоизм, доходящий до насилия над ближним, — измена человеческой сущности, и нет ему прощения.

7

Удовлетворяет ли выпущенная Гослитиздатом книжечка своей задаче — задаче актуальной и политически важной?

Лишь отчасти. Мы не говорим о размерах издания — меньше четырех печатных листов; но тем ответственнее отбор произведений для такого сборника. Критерием выбора должно быть не только художественное совершенство, но и социально-политическая значимость. Однако редакция далеко не всегда идет по этому единственно правильному в данном случае пути. Она дала такие бесспорно прекрасные в художественном отношении вещи, как «Лилия», «Синтезянка» и т. п., но лишила нас возможности украсить статью цитатами из «Оды к воле», из заключительной сцены «Пана Тадеуша», из «Дзядов» и подобных им...

Не находим мы и замечательной статьи Мицкевича о Пушкине, которую следовало дать полностью как значительнейшее явление.

Как переведены вошедшие в сборник произведения?

Переводить Мицкевича, несмотря на близость обоих языков, или именно поэтому,—дело трудное. Недаром у нас, за малыми исключениями, нет таких переводов, которые не разочлаживали бы читателя. Кроме обычных трудностей,—языковых, различия культур,—имеются и особые, связанные со специфическими чертами польского поэта.

Мицкевич—один из тех исключительно редких художников, которые органически соединяют мир высокой культуры (Мицкевич—один из образованнейших людей своего времени) и мир народного творчества. Автор «Дзядов» умеет сочетать эти миры в новое единство, не жертвуя одним другому. И не в том дело, что Мицкевич владеет формами народного творчества. У Мицкевича нет и следа стилизации под фольклор. Он так же серьезно относится к легендам и повериям народа, как и сами наивные их творцы. Он живет в этом мире, раскрывающемся ему как мир народной мудрости, которая и остается основой и исходной точкой человеческой мысли, для идей и образов культурного мира. Последние могут лишь развивать откровения народной мысли. Для Мицкевича нет самого вопроса о степени реальности или правдоподобия мифа; он оправдан и несомненен в силу той ценности—прежде всего этической, которую носит в себе. Как это происходит у Мицкевича—сложный вопрос психологии творчества и творчества гениального, которого мы здесь касаться не можем, но это—факт, с которым приходится считаться переводчику.

С данным фактом связан и другой: отношение поэта к природе, определяющее его пейзаж.

В творчестве Мицкевича сохранилась та интимность общения с родной природой, которая отличает народное творчество. И потому, что отношение к природе у Мицкевича имеет такой интимно-народный характер, при котором с природой связаны наиболее глубокие переживания, поэт, как справедливо было уже отмечено, «изображает не только ландшафт, но и духовную жизнь поляков среди этого ландшафта».

Природа у Мицкевича тянется к человеку, как и человек к ней, ждет его, нуждается в нем. Они равноценны друг другу, хотя и не всегда могут найти друг друга и быть друг с другом в согласии.

Так в поэме «Фарис»:

Пальма тень свою и плод
Мне протягивает тешно:
Оставляет мой полет
Эту ласку безответной,
И пальма в глубь оазиса бежит,
Шурша усмешкой над моей гордыней.

Нередко голос природы звучит укором человеку, который с вершин творения падает ниже ее, и вместо того, чтобы помочь и побороть «распря стихий», еще более, чем она, обуреваем ею. В «Конраде Валленроде» природа—живой укор людской вражде.

Интимность отношений человека к природе, богатство ее одушевленной поэтом жизни приводят нас к еще одной специфической особенности поэзии Мицкевича. Природа у Мицкевича не только не статична, пейзаж у него не только не описателен, но наделен обилием ос-

мысленных жестов, как и отдельные явления природного мира.

Даже покой полон у Мицкевича движения: в тишине только воспринимаются и различаются такие явления движущегося мира, которые обычно незаметны: полет журавлей, невидимых невооруженному человеческому глазу; колышание мотылька в траве; прикосновение скользкого тела пресмыкающегося к растению. Жадное ухо поэта могло бы услышать в час покоя голос с родной Литвы, если бы он позвал его.

В передаче движений—жестов природы—Мицкевич исключительно точен, и это ставит переводчика перед новыми трудностями, требуя от него в условиях другого языка соблюдения рифмы и ритма без ущерба для этого основного качества. Эти трудности часто остаются непреодоленными.

Вот несколько примеров того, как высококвалифицированные переводчики с такой задачей не справляются.

«Я слышу журавлей в незримой вышине», переводит Бунин, не давая эквивалента стиха из сонета «Аккерманские степи»—стиха, который в прозаическом переводе П. А. Вяземского читается так: «Слышу, как гланутся журавли, которых не достигнул бы взор сокола».

...Там, пасти рек питая

И клювы родников, сидит Зима седая—

также не передает отмеченную особенность словесной живописи Мицкевича, у которого этот стих из сонета «Вид на горы из Козловских степей» имеет другой, более действенный характер: «Клювы потоков и зевы рек пьют из ее гнезда». Поэтическое восприятие обобщено в переводе О. Румера. У того же переводчика:

И как в водоворот попавшая ладья,

Мой разум в забвенье владает на мгновенье,

а у Мицкевича: «Мысль, как челн, вращаемый водоворотом, закружится и на мгновенье потонет в забвении».

Я созерцать люблю стремительный набег
Волн расхлывшихся и серебристый снег,
Что окаймляет их гремящие обвалы.

Это красиво, но скорее вариация, чем перевод. Мицкевич гораздо проще, даже в своих фантазиях на восточные мотивы; изысканность здесь скорее мешает, чем помогает. У Мицкевича «пенистые волны то, в черный строй сомкнувшись, кипят, то, как серебристые снега несчетных радугах, великолепно кружатся».

Очевидно, О. Румер не ставил себе задачей передать эту тонкость восприятия движения.

Еще больше ослаблен переводчиком словесный жест в таком замечательном сонете, как «Плавание».

«Ветер! Ветер! Бьется корабль, срывается (удила, ныряет в пенистую мятели, заносит выд, затоптал волны, и сквозь небеса летит, челом рассекает облака и ветер под крылья хватает».

Здесь воспроизведение движения корабля полно драматизма, чрезвычайно последовательно развитого. В стихотворном переводе мало осталось и от драматизма и от последовательности.

Попутный ветер! Вскачь летит корабль
И, сбросив удила, ныряет вверх и вниз:

Вспененные бока до неба вознеслись,
Хватает за крыло он ветер, хлябь секущий

Мицкевич сумел остановиться там, где энергия переходит в грубую натяжку, но переводчик, к сожалению, не последовал его примеру. У него «вскачь летит корабль все пуще». А вот такой драгоценный штрих, воспроизводящий движение: «ныряет в пенистой мятели» — у него не передан.

Всем этим мы не хотим отрицать достоинств работы такого переводчика, как О. Румер. При большем внимании к творческим особенностям Мицкевича он мог бы справиться со своей весьма нелегкой задачей.

Требует поправок перевод знаменитой «Песни Филаретов», и, к сожалению, именно в таких местах, которые весьма важны для характеристики мировоззрения молодого Мицкевича.

В хорошем переводе песни Д. Горбов допущена искажающую ее смысл неточность. Поэт говорит: «в реку греческих, римских книг ты погрузился не для того, чтобы там гнить: нет, чтобы забавляться как греки, а драться как римлянин (A jak Rzymianin bil). Мысль ясная, Мицкевич — против оторванной от жизни и борьбы науки. А в переводе эта мысль пропала:

На то ль нырял ты в реку
Ученых книг, чтоб гнить?
Нет, ликовать, как греки,
И римлянином быть. (!)

Другая существенная мысль: об отношении силы и цели. Она важна как выражение нравственной требовательности поэта:

«Измеряй силу целью (намерением), а не цель силой» (Mierz siłę na zamiary, Nie zamiar podług siły).

Смысл этой строфы выражен в переводе так: «Мерь... силу твердой верой, лишь вера ей предел».

Одно из самых замечательных стихотворений Мицкевича — «Русским друзьям» — переведено В. Левиком. Особо отмечаем этот перевод, достойный подлинника.

Заканчивая нашу статью, пожелаем, чтобы интересное начинание Гослитиздата нашло более совершенное продолжение, чтобы крепла духовная связь нашего читателя с величайшим поэтом Польши, когда и русский и польский народы борются под общим лозунгом: «За нашу и вашу свободу».

I. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Михаил ШОЛОХОВ. *Они сражались за родину.* Главы из романа. Воениздат НКО СССР. Вып. 3. 64 стр. М. 1944.

В прошлом году, тотчас же после первой публикации в «Правде» законченных глав романа М. Шолохова «Они сражались за родину», Воениздат выпустил их отдельной книжкой в «Библиотеке красноармейца». Новое произведение Шолохова вызвало большой интерес у читателей-фронтовиков. Издательство получило сотни писем офицеров и красноармейцев, выражавших желание как можно скорее ознакомиться с продолжением романа и узнать о дальнейшей судьбе Лопатина, Звягинцева и других его героев.

Это побудило Воениздат, не ожидая окончания романа, продолжать публикацию отдельных его глав во фронтовой серии «Библиотека красноармейца».

Недавно массовым тиражом издан третий выпуск.

* * *

А. ФАДЕЕВ *Ленинград в дни блокады* (из дневника). М. «Советский писатель». 1944. 148 стр. Цена 2 р. 75 к.

Книга А. Фадеева посвящена бойцам и жителям Ленинграда, пережившим тяготы свирепой фашистской блокады. Составлена она из дневниковых записей за апрель—июнь 1942 года.

Автор рассказывает о женщинах осажденного города, о ленинградских школьницах, о бойцах и командирах, защищавших город, об эпроювках, подводниках, летчиках и снайперах, о строителях и работниках знаменитой «Дороги жизни», проложенной через Ладожское озеро и связавшей Ленинград с «Большой Землей».

Книга А. Фадеева рисует беспримерную борьбу ленинградцев за свой великий город. Это — наброски, впечатления, записи человека, попавшего в город непосредственно после тяжелой зимы 1941—1942 года и увидевшего, что «ни один город любой другой страны, даже наиболее передовой, не устоял бы, попади он в положение, не то, что подобное ленинградскому, а раз в четыре лучше..»

* * *

Вячеслав ШИШКОВ. *Емельян Пугачев.* Историческое повествование. Книга первая. Издание второе. М. Гослитиздат. 1944. 487 стр. Цена 12 р.

Первая книга большого исторического произведения В. Шишкова включает в себе три части. Каждая из них отмечает особый период в формировании личности Пугачева, как будущего вождя народного движения, в связи с исторической обстановкой и на ее фоне.

Книгу открывают картины детства Пугачева, его молодости и службы в казачьем полку в годы Семилетней войны с Пруссией. Из елизаветинской армии, глубоко национальной по духу и составленной из двух основных сословий тогдашней России—крестьянства и дворянства, автор переносит читателя в Петербург, вводит его во дворец, показывает вскользь Елизавету, подробно и ярко обрисовывает Петра III, его краткое царствование и смерть.

Характеристика Екатерины II, как личности и представительницы дворянской империи, начатая в первой части книги, развертывается во второй ее части. Здесь даются объективно и верно нарисованные портреты государственных деятелей эпохи и картина развития внутренней политики екатерининского правительства.

В ряде сцен помещичьего и крестьянского быта автор показывает влияние крепостнических отношений и на господствующее сословие, и на закабаленное крестьянство. Нензбежность стихийного его выступления в борьбе с крепостническим гнетом и безрезультатность этих восстаний в связи с их неорганизованностью показаны в глазах, описывающих восстание крестьян села Большие Травы. Случайный участник и руководитель этого восстания, Пугачев психологически готовится здесь к своей позднейшей исторической роли.

Третья часть начинается «историческим пейзажем» времен Первой Польской и Первой Турецкой войны скатертинского царствования. Пугачев снова на войне. Вскрывая внутреннее сцепление событий, подготовлявших массовое движение, которое предстояло возглавить Пугачеву, автор останавливает внимание читателя на московском «чумном бунте» и в веренице событий выделяет обстоятельство, подготовившее решение Пугачева «не ради себя, ради черни замордованной» объявиться царем Петром Федоровичем.

Пугачев у раскольников, Пугачев на Яике, и развернувшиеся здесь события завершают обстановку оформления личности исторического Пугачева — вождя восставших и круга его ближайших соратников. Этим заканчивается первая книга замечательного исторического повествования В. Шишкова.

* * *

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. *Капитан 1-го ранга.* Роман. Часть 1-я. М. Гослитиздат. 1943. 192 стр. Цена 4 р.

Новый роман, недавно умершего А. Новикова-Прибоя — это история моряка Захара Псалтырева. Писатель называет историю своего героя «необыкновенной». Действительно, крестьянский парень Захар Псалтырев, взятый в морской флот, не раз попалал в «необыкновенные»

положения. Уже на втором году службы, будучи вестовым командира крейсера, опустившего человека, сложенного жизнью и царской бюрократией, он фактически заменяет капитана, командует экипажем, наводит на судне боевой порядок.

Однако интерес романа не в фабуле, а в герое, не в случайности событий его жизни, а в жизненной правде судьбы Захара Псалтырева. Это один из тех даровитых и волевых русских людей, которые даже в тяжелейших условиях царской службы пробивали себе путь к намеченной цели.

Псалтырев пришел во флот с твердым намерением изучить на корабле какую-нибудь специальность. Он шел к своей цели неторопливо, расчетливо и уверенно, полный сознания своего достоинства, которого не могли в нем подавить ни брань, ни отупляющие фельдфебельские учения, ни унижения службы в денщиках «при барыне». В конце первой части романа Псалтырев — отважный моряк, строевой квартирмейстер, унтер-офицер, патрист, озабоченный тем, что боевая сила русского флота не на надлежащей высоте.

Действие опубликованной части романа происходит накануне тех великих событий, когда «народ из городских окраин и глухих деревень, волнуясь, рвался к свободе, к иной жизни, достойной своего духовного величия».

* * *

**СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. С. Брусиловский про-
рыв.** Исторический роман. Часть вторая.
Горячее лето. М. «Советский писатель».
1944. 292 стр. Цена 10 р.

Вторая часть романа Сергеева-Ценского отнимается к наступлению Брусилова в Галиции летом 1915 г. Автор проследивает судьбу 101-й дивизии, которой командует генерал Гильчевский. Ополченская дивизия становится ударной войсковой частью, удачно форсирует болотистую, трудную для переправы, речку Пляшавку, затем реку Стырь. На генерала Гильчевского возлагается ряд ответственных задач в наступлении, и он с честью их выполняет, несмотря на тяжелые природные условия, недостаток снарядов и бездарность ряда других командиров в дивизии.

На фоне разворачивающихся в романе исторических событий проходит судьба других его героев — прапорщика Ливенцева и любимой им девушки Натальи Сергеевны Веригиной. В Брусиловском наступлении Ливенцев проявляет себя как мужественный и толковый офицер и становится командиром батальона. История Ливенцева в этой части романа заканчивается встречей его в госпитале с Натальей Сергеевной Веригиной, ставшей сестрой милосердия.

Небезынтересно отметить, что события, изображенные в романе, происходят в тех местах, где сейчас идет победоносное, стремительное наступление Красной Армии. Это, конечно, повышает интерес к роману Сергеева-Ценского, и выход его нужно признать как нельзя более своевременным.

* * *

ВЕЛИКАЯ ДНЕПРОВСКАЯ ПЕРЕПРАВА.
М. Военное издательство НКО СССР. 1944.
48 стр. Цена 35 к.

«Волны великой реки в седом обрамлении прибрежных отмелей катились перед танкетками. Мотострелковый батальон бригады стоял в строю.

— Перед нами Днепр, — сказал командир, — кто хочет первым переплыть его, привлечь на себя внимание и огонь немцев, чтобы обеспечить переправу батальона?»

В строю стояли юноши. Почти все они были комсомольцы, и все они, как один, сделали шаг вперед. Разрешение получили лучшие из лучших — Петухов, Иванов, Сысолятин, Семанков...»

Таков один из выразительных эпизодов книги, очерков, рассказывающих о легендарной переправе победоносных войск Красной Армии через великий днепровский рубеж в 1943 году.

Книга составлена по материалам центральной и фронтовой печати. Вошедшие в нее очерки и корреспонденции показывают всенародный глубоко идейный характер героизма советских бойцов и офицеров, с такой яркостью выявившийся в исторических боях за правый берег Днепра.

Книга дает представление о битве за Днепр и рассказывает не только о героизме, но и о боевом мастерстве Красной Армии.

2. ПОЭМЫ, СТИХИ, ПЕСНИ

СБОРНИК СТИХОВ. М. Гослитиздат. 1943.

576 стр. Цена 20 р.

Сборник построен как своего рода хрестоматия по истории русской поэзии советской эпохи. Открывается он Маяковским — избранными стихотворениями 1918—1930 гг. За ним следуют поэты, творчески сложившиеся еще до революции, но в дальнейшем органически связанные свою поэзию с революционной действительностью, с судьбами своей страны в новое искусство, родившегося после Октября. Это Блок, Брюсов, Белый, Ахматова. Хорошо и полно представлены в сборнике Есенин. Удачно представлены поэты следующего поколения, начавшие свою деятельность в предреволюционные годы, но сформировавшиеся уже в советское время: Пастернак, Асеев, Тихонов. Далее следуют представители старшего поколения поэтов, впервые выступивших в литературе в годы гражданской войны: Александровский, Полетаев, Казин, Безыменский, Жаров, Уткин, Светлов, Голубный. Из этого ряда хотелось бы видеть более полно показанным творчество Багрицкого. Широко отражена в сборнике поэзия последнего предвоенного десятилетия, представленная именами Лебедева-Кумача, Исаковского, Гусева, Твардовского, Суркова, Шнурочева, а также поэтов, наиболее значительные произведения которых были созданы уже в годы войны: Долматовского, Симонова, Алигер. Замыкается сборник представителями поэзии для детей: Маршак, Барто, Михалков.

Приведенный перечень поэтов, включенных в сборник, не является исчерпывающим. Но сборник отвечает своей задаче, то есть дает достаточно полное и конкретное — в меру возможностей, обусловленных хрестоматийным характером, — представление о русской поэзии 1917—1942 гг. Жаль, что в сборнике нет редакционного введения, в котором составителями разъяснялись бы принципы отбора и систематизации материала, а также — кратких био- и библиографических сведений о каждом из представленных в сборнике поэтов.

БЕЛАРУСЬ В ОГНЕ. Сборник стихов белорусских поэтов. Под общей редакцией Петро Глебка. М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1943. 80 стр. Цена 2 р. 25 к.

Сборник составлен из произведений, написанных за годы Великой Отечественной войны. В него вошли стихи крупнейших белорусских поэтов: Янки Купала, Якуба Коласа, Максима Танка, Аркадия Кулешова, Пимена Панченко, Петруся Бровка, Петро Глебка и др. Стихи эти посвящены воинам Красной Армии, партизанам, мужественно борющимся с ненавистным врагом, всему белорусскому народу, белорусским полям и лесам, — чудесной природе родной страны.

Многие из вошедших в сборник произведений уже приобрели широкую популярность. Их читают в подполье, в партизанских отрядах, знают в каждом уголке Белоруссии. На их слова слагаются песни, зовущие к борьбе за освобождение родной земли, прославляющие героев этой борьбы.

Сборнику предпослано предисловие секретаря ЦК ВЛКСМ Белоруссии тов. М. Зимянина. Отмечая, что за годы Отечественной войны многие белорусские поэты создали интересные, значительные по содержанию и новые по своим формам произведения, он пишет: «Настоящий сборник по своим размерам не в состоянии включить все то лучшее, что создано нашими поэтами за время войны. Но, несмотря на это, книга все же дает представление о белорусской поэзии; переживающей сейчас новый период своего расцвета».

Содержание сборника подтверждает правильность этих слов.

Стихи белорусских поэтов переведены на русский язык Н. Рыленковым, М. Голодным, С. Городецким, М. Зенкевичем, С. Левманом, Н. Сидоренко и др.

ПОЭТЫ УЗБЕКИСТАНА — ФРОНТУ. В переводах с узбекского. М. Госполитиздат. 1944. 76 стр. Цена 2 р. 50 к.

В числе участников сборника — крупнейшие современные поэты Узбекистана, такие как Гафур Гулям, Хамид Алимджан, Айбек, молодые узбекские поэты Мадамин Даврон, Зульфия, покойный Алим Умари, Хамид Гулям, поэт-сказитель Ислам Шаир, поэты-песенники: Чусий, Сабир Абдулин.

Они славят подвиги бойцов на фронте и героев самоотверженного труда в тылу, «учат народ священной ненависти к врагу», воспевают дружбу народов и мощь Советского Союза. Вошедшие в сборник произведения посвящены и лучшим сынам узбекского народа («Джизтам» — Айбек, «Артиллерист Мухамед» — М. Шейхзаде, «Джигит» — Тимур Файшак, «Мухамеду Нурагимову, герою Отечественной войны» — Тимур Фатшак и Алим Умари и др.), и легендарным защитникам Ленинграда («Ленинграду» — М. Шейхзаде, «Ленинград — Узбекистан» — Алим Умари, «Крепость севера» — Миртемир и др.) и столице Советского Союза — Москве («Моя Москва» — М. Шейхзаде).

Сборник выпущен под общей редакцией П. Антокольского.

Переводы с узбекского выполнены поэтами: В. Державиным, Н. Ушаковым, А. Кочетковым, Л. Пеньковским, Л. Сомовой и С. Городецким.

Степан ШИПАЧЕВ. Избранное. М. Гослитиздат. 1944. 112 стр. Цена 5 р.

В «Избранное» С. Шипачева вошло около ста стихотворений. Наиболее ранние из них датированы 1926, 1927 и 1929 годами, но подавляющее большинство стихов относится к 1938—1943 гг. — то есть к периоду поэтической зрелости автора.

Стихи располнены по тематическим циклам. Сборник открывается циклом, посвященным детству и юности поэта. Затем идут циклы на темы, связанные с жизненной дорогой человека: стихи о любви, о семье, о старости, ряд стихотворений, выражающих отношение автора к жизни и смерти, веру его в творческое бессмертие. Широко представлена тема родины стихами о природе различных уголков Советского Союза.

Заключают сборник стихи 1941—1943 гг., посвященные Великой отечественной войне народов Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков.

Книга включает все лучшее, написанное автором за последнее время, и дает достаточно полное представление о его творчестве.

ЗИНАИДА ШИШОВА. Блокада. Поэма. М. «Советский писатель». 1943. 24 стр. Цена 1 р.

Тяжкую зиму 1941—1942 г. Зинаида Шишова провела в осажденном Ленинграде. Этой ленинградской зиме и посвящена ее поэма «Блокада».

В поэме З. Шишовой нет единого сюжетного стержня, хотя отдельные зарисовки, картины ленинградского быта в зиму 1941—1942 гг. органически входят в рассказ матери, составляющий основное содержание поэмы. Это рассказ о том, как выходила она в суровейших условиях блокады своего большого сына. Огромная воля к жизни, борьбе и победе, героизм, выдержка — эти чувства и свойства, характерные для осажденных, но не сдавшихся ленинградцев, нашли свое выражение в поэме:

Да, Ленинград остыл и обезлюдел,

И высятся пустые этажи,

Но мы умеем жить, хотим и будем,

Мы отстаили это право — жить.

ЗА РОДИНУ. Стихи воронежских поэтов Воронеж, Воронежское областное книгоиздательство. 1944. 32 стр. Цена 2 р.

1942 год вошел в историю древнего русского города Воронежа как год тяжелых испытаний. Воронеж пережил артиллерийские обстрелы, уличные бои, бомбардировки. В течение нескольких месяцев линия фронта проходила по улицам города. Он подвергся сильнейшим разрушениям, но не склонил головы под ударами бронированных фашистских дивизий.

В небольшом сборнике стихов воронежских поэтов, посвященном борьбе за Родину, значительное место занимает тема родного города.

А. Винокуров в стихотворении «Бессмертный подвиг» рассказывает о подвиге младшего лейтенанта Василия Колесниченко, протаранившего на горящем истребителе вражеский самолет над Воронежем, М. Морев слагает свою песнь машинисту, ведущему танки и снаряды в Сталинград, «Баллада о сержанте» М. Аметистова посвящена земляку поэта, сержанту Сомову.

Почти половину сборника составляют стихи, рассказывающие о возвращении в родной город,

освобожденный от фашистских захватчиков: стихи А. Ерохина («Тишина», «Домой»), О. Кожуховой («Мой город»), И. Локшина («Воронеж»), П. Кустова («Встреча с городом»), В. Бокаева («Улица любимая») и др.

Кроме произведений известных авторов в книжку вошли стихи А. Решетникова, С. Виноградова, Ф. Туликова, В. Гришина и В. Мезенцева.

* * *

А. АНИСИМОВА. *Песни про войну.* Пенза. Издательство газеты «Сталинское знамя». 1943. 32 стр. Цена 2 р.

Книжка эта выпущена издательством пензенской газеты «Сталинское знамя». Под стихотворной «Сказкой про бабу Домну» стоит пометка—«Село Поим, Пензенской области». В книжке—песенные сказы, девичьи песни, припевки, частушки.

Произведения А. Анисимовой связаны с поэтическими традициями и формами устного народного творчества. Вызваны они к жизни событиями великой народной войны за освобождение советской земли от гитлеровских захватчиков.

Героиня сказов в песен А. Анисимовой—русская девушка, вместе с родиной переживающая все испытания войны. Она предпочитает смерть фашистскому плену («С той поры река бьется пеною»), идет работать на завод, заменяя ушедшего на войну любимого («На нашем заводе»), выходит с подружками в поле «комбайну помогать» («Ты ли не богатая, советская земля!», вслед за милым уходит сестрой на фронт «раны перевязывать» («Уезжаю на войну»), учится летать, чтобы вместе с любимым разбить врага («Мой миленько-ястребючок»), тоскует в разлуке с милым, но твердо ждет его возвращения («Цвела черемуха»), оплакивает суженого, погибшего в бою с врагами («Ее милый друг спит в земле сырой», «Цветик алый»).

Несмотря на некоторое однообразие внешних приемов художественного изображения и нередкие стилизованные погрешности, А. Анисимова находит и свежие краски, и запоминающиеся меткие эпитеты, сопоставления, свидетельствующие о незаурядных поэтических способностях автора.

3. ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ, ЭСТРАДА

ВСЕВОЛОД РОКК. *Инженер Сергеев.* Пьеса в 3 действиях. М. Гослитиздат. 1943. 80 стр. Цена 5 р.

Действие пьесы происходит в первые недели Отечественной войны. Гитлеровские полчища, тесня героически защищающую родную землю Красную Армию, приближаются к одному из промышленных центров страны.

Проектировщик и строитель, ныне директор мощной электростанции, старый большевик, инженер Сергеев получает приказ подготовить взрыв станции, чтобы она не попала в руки врага. Тяжело ему уничтожать собственное детище, но он знает, что выше интересы роди-

ны требуют этого, и готовится выполнить приказ.

Враги стремятся помешать Сергееву. Они рассчитывают использовать в своих интересах огромную энергию, вырабатываемую совершенными механизмами станции, засылают на станцию агентов, которые должны предостеречь взрыв. Вокруг этого и разворачивается наполненное драматизмом действие пьесы.

В издании воспроизведены эскизы декораций к пьесе работы худ. М. Бобышева.

* * *

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ. Эстрадный сборник для красноармейской художественной самодеятельности. М. Государственное издательство «Искусство». 1944. 120 стр. Цена 5 р. 50 к.

За годы Отечественной войны глубокая связь советского искусства с Красной Армией особенно укрепилась. Одним из показателей, свидетельствующих о неразрывной связи советского искусства с родной Красной Армией, является массовое развитие красноармейской художественной самодеятельности, несущей слово писателя и песню композитора в самую гущу красноармейской массы.

За годы Отечественной войны глубокая связь для красноармейской эстрады, заметно увеличилась. Лучшее из написанного ими прочно вошло в репертуар артистов-воинов.

Многие из напечатанных в сборнике произведений имеют все основания рассчитывать на горячий прием красноармейской аудиторией.

В сборнике напечатаны стихи, рассказы и фельетоны И. Эренбурга, А. Толстого, А. Твардовского, М. Исаковского, К. Федин, В. Каверина, В. Гусева, В. Лебедева-Кумача, В. Ардова, Г. Рыклина, Е. Долматовского, С. Болотина, частушки А. Резапкина и С. Вышеславцевой, песни Хренникова, Блантера и др.

* * *

СЕЛЬСКАЯ ЭСТРАДА. Репертуарный сборник, выпуск четвертый. М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1944. 32 стр. Цена 50 к.

Развитие самодеятельного искусства в нашей стране вызывает огромную потребность в репертуаре для тысяч и десятков тысяч самодеятельных кружков города и деревни.

Выпускаемые издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» совместно с Всесоюзным домом народного творчества им. Н. К. Крупской репертуарные сборники «Колхозная эстрада» призваны в ряду других изданий удовлетворять эту потребность.

Только что изданный четвертый выпуск «Колхозной эстрады» содержит текст и музыку гимна Советского Союза, стихи С. Михалкова, М. Светлова, В. Кузнецовой, С. Васильева, песни Б. Белого, М. Ковалева, В. Захарова, комедию в одном действии Т. Новяковой «Подвиг», рассказы бр. Тур, Е. Кононенко, П. Павленко, А. Резапкина и др.

II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ. *Избранное.* Писатели-патриоты великой родины. М. Гослитиздат. 1944. 171 стр. Цена 3 р.

Один из величайших гениев человечества, художник и мыслитель подлинно мировых мас-

штабов, Толстой является, вместе с тем, писателем в высшей степени национальным, с замечательной полнотой отразившим в своих творениях своеобразие русского национального характера, Вдумчивый и сосредоточенный наблю-

датель русской жизни в самых многообразных ее проявлениях, Толстой преклонялся перед моральной силой русского народа, его выдержкой и стойкостью в труде, его постоянным стремлением к справедливости, несокрушимым мужеством в минуты опасности. Он внимательно и серьезно изучал историю русского народа, восхищался его песнями и сказками, красочностью и выразительностью народного языка. «Как не радоваться, живя среди такого народа, как не ждать всего самого прекрасного от такого народа».—эти строки могли бы служить эпиграфом ко всему, им написанному.

Настоящий сборник представляет собою своего рода монтаж толстовских текстов—художественных, публицистических, мемуарных, эссеистических,—в которых с наибольшей яркостью отразился именно этот патриотический народный пафос его творчества. Первый раздел сборника включает один из очерков сева-стопольского цикла и двенадцать фрагментов из «Войны и мира», второй объединяет несколько десятков отрывков из художественных произведений, статей, дневников, писем, расположенных по тематическим группам: Толстой о патриотизме и любви к отечеству, о русском народе, о народном языке и искусстве, о русской природе.

Предпосланная сборнику вступительная статья Н. И. Гусева вводит читателя в круг вопросов, отраженных в текстовой его части.

* * *

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. *Избранные тексты из критических и публицистических статей.* Писатели-патриоты великой родины.. М. Гослитиздат. 1943. 100 стр. Цена 2 р.

«Народность понимаем мы не только как умение изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. д.,—писал Добролюбов.—Чтобы быть поэтом истинно-народным, надо больше, надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ».

Настоящий сборник содержит семнадцать отрывков из критических и публицистических статей великого революционного демократа, преимущественно посвященных разработке принципа народности как руководящего принципа его теоретических воззрений вообще и его художественных взглядов, в частности.

Текстовому материалу предпослана вступительная статья Н. А. Глаголева, сообщающая основные факты биографии Добролюбова и его литературно-критической деятельности.

* * *

Н. С. ЛЕСКОВ. *Повести и рассказы.* Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Б. М. Другова. М. Гослитиздат. 1943. 276 стр. Цена 8 р.

Высоко ценявший Лескова Горький тонко характеризовал его как неутомимого охотника за своеобразным русским человеком. В другом месте, говоря о «писательском подвиге» Лескова, Горький видел его задачу в том, чтобы «ободришь, воодушевить Русь ...страну, которую надо любить... так, чтобы сердце каждый день и час кровью плакало от мучений этой любви».

Отправляясь в большой мере от этих горьковских оценок, автор вступительной статьи к настоящему изданию определяет основную тему лесковского творчества, как тему русского героизма и народной талантливости. Отсюда автор делает правильный вывод об особом значении литературного наследства Лескова для наших дней — дней великого подъема народного духа, ярчайшего расцвета творческих сил и способностей народа, ярчайшего их обнаружения в Великой отечественной войне.

Из пяти представленных в сборнике произведений Лескова четыре относятся к числу тех, в которых творческое своеобразие писателя отразилось с наибольшей полнотой и выразительностью: «Очарованный странник», «Несмертельный голован», «Левша» и «Тупейный художник». Пятое — рассказ «Железная воля»,— помимо интереса новизны (в состав собрания сочинений Лескова он не вошел и принадлежит, таким образом, к числу «забытых» его вещей), примечателен, как опыты сатирического воздействия пруссаческого колонизаторства и стяжательства.

* * *

В. Г. КОРОЛЕНКО. *Очерки и рассказы.* М. Гослитиздат. 1944. 272 стр. Цена 7 р.

Характерной чертой литературного облика Короленко является его исключительное моральное обаяние. Истоки этого обаяния, единодушно отмечаемого всеми современниками, превосходно обобщены в известной горьковской оценке Короленко. Для Горького Короленко был выразителем идеального типа русского писателя, во всем жизненном поведении которого нашли выразительное и совершенное воплощение лучшие черты русской классической литературы: ее выдающаяся идейность, моральная чистота, горячая любовь к родине и родному народу, сочетающаяся с высотой нравственных идеалов. Именно этими своими чертами особенно близок и дорог Короленко нашей эпохе, когда героически отстаивая в борьбе с захватчиками свою честь и независимость, русский народ осуществляет в то же время великое дело освобождения всего человечества от фашистского рабства.

Объемистость литературного наследия Короленко и его жанровое многообразие делают не легкой задачей отбора таких его текстов, которые в сумме своей давали бы более или менее полное представление о его творчестве. Составители настоящего сборника справились с этой задачей достаточно удачно. Из художественных произведений Короленко мы здесь находим «Сон Макара», «Чудная», «Миру», «Лес шумит», «Река играет», «Без языка». Два фрагмента из цикла «В пустынных местах» знакомят читателя с манерой Короленко-очеркиста. В большом отрывке «Мое первое знакомство с Диккенсом» отражено выдающееся дарование Короленко-мемуариста, развернувшееся с полной силой и блеском в «Историю моего современника». Недостатком сборника является отсутствие каких бы то ни было сопроводительных редакционных примечаний, в частности— хотя бы краткой вводной статьи, которая давала бы читателю общее представление о Короленко и разъяснила бы принципы отбора и размещения включенного в сборник материала.

В. В. МАЯКОВСКИЙ. *Полное собрание сочинений.* Том. X. Стихи. 1929—1930. Статьи, стенограммы выступлений 1926—1930. М. Гослитиздат. 1944. 427 стр. Цена 15 р.

После вызванного войной почти трехлетнего перерыва вышел из печати очередной десятый том полного собрания сочинений Маяковского.

Настоящий том включает стихи 1929—1930 гг., в том числе вступление в поэму опятшкетке «Во весь голос», статьи, очерки и заметки, относящиеся к последнему пятилетию жизни Маяковского и среди них статью «Как делать стихи», а также стенограммы выступлений Маяковского за тот же период.

Подавляющее большинство стихов, вошедших в том, характеризует газетно-публицистическую работу Маяковского. Большая часть их печаталась в свое время в газетах «Комсомольская правда», «Рабочая газета», «Вечерняя Мо-

сква», журналах — «Чудак», «Крокодил» и др. Впервые включено в собрание сочинений стихотворение «Товарищу подростку», написанное Маяковским в 1930 году для альманаха «Вторая ступень», предполагавшегося к выходу в издательстве «Молодая Гвардия» и опубликованное «Комсомольской правдой» в 1939 году.

Из статей, заметок и стенограмм 1926—1930 гг. в настоящий том не вошли материалы, относящиеся к работе Маяковского в кино и театре (они включены в том IX собрания сочинений, как и написанная в тот же период пьеса «Баня»).

Из стихов 1929 года в ранее вышедшие тома включены лозунги для агитплакатов по охране труда (в том IV) и стихи, написанные в связи с поездкой Маяковского за границу весной 1929 года (в том VII).

Произведениям Маяковского сопутствует обширный комментарий, составленный редактором тома В. Каганьяном.

III. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ДАЙНЫ. *Литовские народные песни.* М. Гослитиздат. 1944. 36 стр. Цена 1 р.

Литовский народ на протяжении всей своей истории боролся и ненавидел своего исконного врага — немцев, не раз пытавшихся поработить литовцев. Эта ненависть нашла свое отражение в народном творчестве — в песнях, преданиях, сказках, пословицах. Об этом свидетельствует выпущенный Гослитиздатом сборник литовских народных песен — дайн. Здесь и песни о набегах на Литву крестоносцев и о борьбе с ними («Бородатые злодеи из-за моря», «Прыгал чорт проклятый», «На войне с крестоносцами я не погибну»), и цикл бытовых песен, рисующих тяжелую жизнь Литвы под

немецким ярмом, и песни 1915—1918 гг. — периода немецкой оккупации в первую мировую войну, и др.

Все эти песни поются в Литве и сейчас. Они проникнуты ненавистью народа к полным захватчикам и полны неугасимой веры в торжество правды и справедливости:

Утонет Пруссия в крови!
Мы извоетрам мечи свои!
Не задрожим, не пошестнемся
И победим пруссаков!

Сборнику предпослана краткая статья Юозаса Жюгджа «Немец-захватчик в литовских дайнах».

Перевод дайн выполнен Сусанной Мар.

IV. ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, ДОКУМЕНТЫ

И. МАЙСКИЙ. *Перед бурей.* Воспоминания. М. Гослитиздат. 1944. 228 стр. Цена 7 р.

«Основным мотивом, побудившим меня написать эти воспоминания, — пишет в своем предисловии автор, — было желание на собственном примере показать, как люди старого поколения, выросшие в условиях царской России, приходили к революции».

В соответствии с этим замыслом автор сравнительно мало места уделяет своей семье и годам раннего детства, а в рассказе об отроческих годах останавливается главным образом на событиях, сыгравших роль в формировании его взглядов на жизнь.

Интересны главы этой части воспоминаний, посвященные описанию поездки автора с отцом в город Верный, вместе с партией юноbranцев, и путешествию на арестантской барже, ходившей между Тюменью и Томском. Здесь автор, тогда еще мальчик, впервые сталкивается с подлинной жизнью, «с народом», с крестьянской массой, с солдатской «кобылкой».

Подробно останавливается автор воспоминаний на системе преподавания в годы его отрочества. Он дает портреты и характеристики гимназических учителей, товарищей по гимназии. Перед читателем проходит целая галерея типов дореволюционного профессионального учителя, людей, подобных «человеку в фуля-

ре, душивших мысль и парализовавших волю подрастающего поколения».

Однако, несмотря на казарменный гимназический режим среди молодежи стихийно возникли разнообразные кружки, гимназисты читали, собирались, спорили, думали, решали «вечные вопросы».

Обо всем этом подробно рассказывает автор. Книгу заканчивает глава «Я нахожу дорогу». Окончив гимназию, автор приезжает в Петербург для поступления в университет. «И когда на дальнем горизонте показались десятки черных фабричных труб, изрыгающих темные клубы дыма, когда на солнце ярко сверкнули золотой купол Исакия и горячее дыхание столбы ударило мне в лицо, — в моей голове вдруг пришли в порядок мысли, чувства, искания, надежды, ожидания, которые в течение стольких лет волновали и тревожили меня, как-то само собой сформулировался всеразрешающий вопрос: я должен принять участие в рабочем движении».

* * *

Н. ТЕЛЕШОВ. *Записки писателя.* Воспоминания. М. Гослитиздат. 1943. 268 стр. Цена 7 р.

Николай Дмитриевич Телешов, известный писатель-реалист, современник и друг Чехова,

Горького, Леонида Андреева и многих наших крупнейших писателей, один из организаторов и создателей литературного содружества «Среда», активный общественный деятель, выпустил интересную книгу своих воспоминаний. Она посвящена литературной жизни Москвы конца прошлого и начала этого века.

Автор подробно рассказывает о литературных кружках того времени — «тихомировском», во главе которого стоял известный педагог Д. И. Тихомиров, «давыдовском», «суриковском», особое внимание уделяя литературному кружку «Среда», объединявшему почти весь цвет реалистической литературы того времени. В «Среде» впервые была прочитана Горьким его пьеса «На дне», здесь Леонид Андреев читал почти все свои произведения, выступали Шаляпин, Собинов и другие крупнейшие мастера искусства. «В течение четверти века не было или почти не было в Москве ни одного общественного дела, ни одного культурного начинания, где бы так или иначе не принимал горячего и ближайшего участия «Среда», — пишет автор.

В книге особого внимания заслуживают главы, посвященные воспоминаниям автора о Чехове, Горьком, Леониде Андрееве. Интересны также заметки Н. Д. Телешова о писателях-самоучках: Белоусов, Слозове и других, с которыми ему приходилось неоднократно встречаться.

Помимо чисто литературного материала, в книгу вошли театральные воспоминания, а также бытовые зарисовки, основанные на впечатлениях длительной поездки по Уралу, результатом которой была книга очерков Телешова, открывшая в свое время молодому писателю путь в большую литературу.

Заключившаяся книга главой «Начало Художественного театра», в которой Телешов наряду с уже известными фактами сообщает немало нового и интересного. Такова, например, записанная Телешовым беседа со Станиславским во время его ночного посещения музея при МХАТ.

Книге предпослано претисловие А. Дармана.

* * *

ЗАВЕТЫ СУВОРОВА. Сборник суворовских изречений. Составил К. Пигарев. М. Гослитиздат. 1943. 40 стр. Цена 1 р.

В сборник вошли изречения Суворова, взятые из «Науки побеждать», военных наставлений, приказов и писем великого русского полководца, а также афоризмы его, известные по записям современников. Сборник открывается характерной русской народной и русского воина: «Горюксь, что я русский». «Русак не трусак», «Русские пруссаков всегда бивали», «От храброго росойского пренадера... влкакое войско в овете устоять не может». Изречения говорят об обязанностях воина, о воинском долге и дисциплине («Дисциплина — мать победы», «Смерть или плен — в е одно»), определяют личные качества солдата и офицера («Сам погибай, а товарища выручай», «Где меньше войска, там больше храбрых»). Многожсленные афоризмы характеризуют военную педагогику Суворова и его тактику: «Тяжело в ученье — легко в походе. легко в ученье — тяжело в походе», «Быстрога и вытиск — душа настоящей войны», «Удивить — победить» и многие другие.

Особым разделом напечатаны «Черты истинного героя» — выдержки из знаменитого письма Суворова к Скрывицкину — молодому офицеру, служившему под начальством великого полководца.

Предисловие к книге написано К. Пигаревым.

* * *

РАЗГРОМ НЕМЦЕВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. Признания врага. М. Воениздат НКО СССР. 1944. 80 стр.

В этой маленькой книге, составленной из показаний врага, читатель найдет много выразительных черт, восстанавливающих картину грандиозного разгрома немецко-фашистской армии под Сталинградом.

Книга представляет собой сборник, в который включены отрывки из писем и дневников немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом, а также показания военнопленных и некоторые другие документы, захваченные в ходе боев Красной Армией.

Большинство этих писем, дневников, показаний и документов относятся к ноябрю — декабрю 1942 г. и к первой половине января 1943 г. Разумеется, они не предназначались для печати и потому содержат достаточно откровенные высказывания немецких солдат и офицеров, рассчитывавших, что единственными читателями будут их родные и близкие — адресаты писем. Вот, например, одно из приведенных в сборнике красноречивых показаний врага:

«...Командир батальона капитан Шотман всегда говорил солдатам: мы должны во что бы то ни стало взять Сталинград. Если мы не возьмем Сталинград, то Германия разлетится вдребезги. (Из показания пленного солдата Генриха Гесс. 12-я рота 578-го пехотного полка 365-й пехотной дивизии.)

Сборник составлен коллективом сотрудников Института Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б).

* * *

КАРЛ ГРЕВС. Тайны германского штаба. (Дневник шпиона). М. Воениздат НКО СССР. 1944. 104 стр. Цена 2 р.

«Средний человек имеет очень слабое понятие о том, что представляет собой в действительности шпионаж и как работает европейская тайная агентура.

Настоящая книга является первым неприкрашенным рассказом об этой системе сыска; категории мужчин и женщин, привлекаемые для этой работы, средства, применяемые для получения нужных сведений, риск, связанный с этой работой, — обо всем этом дает предельно мое книга», — так начинается свой рассказ о двенадцатилетней работе на службе немецкой разведки доктор Карл Гревс.

Книга «Тайны германского штаба» написана Гревсом в начале первой мировой войны, вскоре после разоблачения и ареста его в Англии. В свое время она вызвала сенсационный интерес, хотя автор далеко не выполнил своего обещания. О средствах, методах и способах работы немецкой агентурной разведки Гревс рассказал очень сдержанно. О «мире шпионизма» мы узнаем из его книги гораздо меньше, чем из таких, например, книг, как «Разведка и контрразведка» Макса Ронга или «Секретная война» Рантелена, переизданных Воениздатом в прошлом году.

Для советского читателя, знакомого с этими произведениями, «дневник» Гревса, работавшего, главным образом, в области международного политического сыска и находившегося все

время в центре мировых событий, интересен прежде всего тем, что он знакомит с некоторыми тайнами немецкой политики, подготовившей первую мировую войну.

У. БИОГРАФИИ И ПОРТРЕТЫ

БОР. ЕВГЕНЬЕВ. *Александр Николаевич Радищев.* М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1943. 72 стр. Цена 1 р.

Творческие возможности Радищева хорошо определены Пушкиным: «Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых ступеней государственных. Но судьба готовила иное...»

Настоящая книжка — опыт художественной биографии мужественного революционера, зрелого политического мыслителя, вошедшего, на правах равного, в блестящую плеяду энциклопедистов — просветителей XVIII века. Автор не ограничивает себя задачей дать читателю минимум познавательного материала, достаточный для того, чтобы получить общее представление о Радищеве. Избегая нарочитой «беллетризации» изложения, он, в то же время стремится воссоздать цельный, живой, исторически конкретный образ своего героя. Он рассказывает о детских годах Радищева, о периоде его пребывания в Лейпцигском университете, о его работе над «Путешествием из Петербурга в Москву», сибирской ссылке, наконец о последнем этапе его жизненного пути.

Вместе с тем автор не стесняет себя рамками собственно биографического жанра. Он дает широкую картину идейных исканий Радищева, характеризует его не только как писателя-гуманиста, но и как борца-революционера. Особенно подчеркивает он обаяние морального облика Радищева — его внутреннюю стойкость, силу воли, неподкупность, — все те черты, которые сообщают его личности первостепенное воспитательное значение.

* * *

Академик Е. В. ТАРЛЕ. *Павел Степанович Нахимов.* М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1944. 136 стр. Цена 2 р.

Наиболее широко Нахимов известен как один из героев Крымской войны 1854—1856 гг. В начале кампании он прославил себя разгромом турецкого флота в морской битве под Синопом, потом — в качестве организатора и руководителя обороны Севастополя. Но не одними только боевыми подвигами определяется его значение в военной истории России. В ряду современников он выделяется своим последовательным демократизмом, противостоящим тем соловьио-бюрократическим началам, которые пронизывали структуру и быт царской армии и, особенно, царского флота. Этот демократизм нашел яркое отражение не только во всем его жизненном поведении, в отношениях с влетями и с подчиненными, но и в его теоретических воззрениях. «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только друзья, которые на него действуют, — учил он. — Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на abordаж, если понадобится. Все делает матрос, если мы, начальники, не будем смотреть на службу, как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчинен-

ных — как на ступени для собственного возвышения».

Настоящая книжка не является ни простым жизнеописанием Нахимова, ни даже популярным очерком его жизни и деятельности. Написанная в высшей степени кратко, экономно, она, в то же время, носит характер законченного монографического исследования, дающего полное и всестороннее представление о Нахимове, как о человеке, как о военно-историческом деятеле. Большая часть книги посвящена, естественно, Нахимову именно как герою Севастопольской обороны. Но сосредотачиваясь преимущественно на тех моментах грандиозной исторической эпопеи, в которых Нахимов был основным действующим лицом, автор много внимания уделяет также обрисовке исторического фона воссоздаваемого им индивидуального образа. Отсюда — лаконические, но очень содержательные экскурсы в область военно-политической истории тех лет, колоритнейшие характеристики соратников Нахимова, — например, Тотлебена, — а также представителей высшей русской военной знати, — например, как князь Меншиков, главнокомандующий, — как князь Долгоруков. Построена книжка на обширном материале, часто — свежем, — и с большим в научный обиход. Написанная собственными другим работам тем же автором, восходной исторической эрудиции и блестящим блеском.

* * *

К. ОСИПОВ. *Степан Осипович Макаров.* М. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». 1943. 40 стр. Цена 1 р.

В замкнутой, привилегированной среде высшего морского офицераства в царской России адмирал Макаров занимал особое место. Он был, едва не стало ему карьерой, не достигший ни каких бы то ни было высших ступеней в военном и придворном мире, сосредоточивший исключительно своему умению и энергии.

Автор настоящей книжки рассказывает о Макарове прежде всего как о выдающемся деятеле области военно-технической. Макаров был сконструирователем подводных лодок, доживший до наших дней, — человек, достигший таких успехов, которых раньше не приходил до того им один человек.

Выдающийся гидрограф, Макаров был вместе с тем превосходным тактиком. Теоретик по вопросам тактики, Макаров он вошел в историю русской войны как храбрый и мужественный воитель. В короткое время командования гидрографическими кадрами он сумел завоевать доверие и уважение всей подчиненной ему организации, и понес смертью храбрых в сражении с японцами.

В рассчетливой на широкую известность работе К. Осипова использован обширный исторический материал. Автор добросовестно обработал биографические сведения о Макарове и живо и внимательно полно и конкретно характеризует многообразную деятельность

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР ЯШИН — В Крыму, <i>стихи</i>	1
А. СУРКОВ — Сестра нашей славы — весна, Рассказ гвардейца, За Днепром, Современник, Застольная песня, <i>стихи</i>	2
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Вице-адмирал Нахимов, <i>повесть</i>	5
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Клятва (Записки фрезеровщика Николая Шаронина), <i>повесть</i> (окончание)	61
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Случай с Саввой, <i>стихи</i>	83
ВИТ. ТРЕНЕВ — Поединок, <i>рассказ</i>	91
ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ — Привет герою, <i>стихи</i>	97
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Русский характер (Из рассказов Ивана Сударева)	98
ЛЕОНИД СОВОЛЕВ, ОЛЬГА МИХАЛЬЦЕВА — Родина, корабль, командир (Морская душа), <i>литературный сценарий</i>	102

С ФРОНТА

КОНСТ. СИМОНОВ — Два письма из Тарнополя	132
В. ВЕЛИЧКО — Реквием	139
Б. ПОЛЕВОЙ — Одна из встреч. Переправа	142

ПУБЛИЦИСТИКА

ИОСИП БРОЗ-ТИТО — Борьба народов поработенной Югославии	145
АЛЕКСАНДР РУБАКИН — Франция заговорила	157

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Е. ГЕРАСИМОВ — Герои фронта о героях романа	167
И. СЕРГИЕВСКИЙ — «Ленинградский год»	169
Н. КАЛИТИН — «Знамя бригады»	170
А. НАРКЕВИЧ — Характеры и поступки	173
А. ЛАВРЕЦКИЙ — Поэт всеславянской демократии	177
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	184

ИСПРАВЛЕНИЕ

в № 1—2 журнала «Октябрь»

Стр.	Колодка	Строка	Напечатано:	Следует:
157	левая	8 сл.	не на полях	не только на полях

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ДАВЛЕНКО, И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ШИПАЧЕВ,
М. М. ЮНОВИЧ (зам. секретаря).

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 2/10, телефон К 3-44-22.

1-й год издания.	Тираж 25000 экз. Подписано к печати 26/V и 14/VI 1944 г.	А 7862	Печ. листов 12. Уч.-зв. л. 24, 19 В печ. л. 80340 экз. Цена 10 р.
------------------	--	--------	---

18-я тип. твеста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СЛК РСФСР
Москва, Шубинский пер., 10. Зв. 365